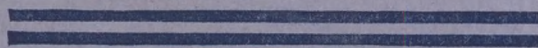


Н О В Ы Й
М И Р

2

Н О В Ы Й М И Р

2



1957

1957

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIII

№ 2

Февраль, 1957 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ЕЛЕНА МИКУЛИНА — Тридцатитысячник	3
МУХТАР АУЭЗОВ — Так родился «Туркестан». Перевод с казахского	19
ВЕРА ЗВЯГИНЦЕВА — Моему молодому другу. Осень и человек, стихи	46
МАРК МАКСИМОВ — Здравствуй, юность моя! Стихи	48
ПАВЕЛ КОГАН — Из стихов разных лет	52
БАДАВИ РАМАЗАНОВ — Девочка, разбившая кувшин, стихи. Перевод с лакского Я. Козловского	58
П. ПАВЛЕНКО — Кавказская повесть	60
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА «СЕПТЕМВРИ». Иван Руж. «Септември» и болгарская литература.— Елисавета Багряна. Письмо, стихи.— Ламар. Старая водяная мельница. Дятел, стихи.— Людмил Стоянов. Стамбулов пал (главы из первой части романа «Детство, юность и война»).— Ангел Тодоров. Народная песня, стихи.— Божидар Божилов. Бай Стамен, стихи.— Веселин Ханчев. В осенний час. Воспоминание, стихи.— Блага Димитрова. Перед весной, стихи.— Банчо Банов. Канарейка и кошка, стихи.— Лиляна Стефанова. Разговор с морем, стихи.— Орлин Орлинов. Болгарин, стихи.— П. Незнакомов. Случай с Пенлеве, рассказ. Переводы с болгарского С. Маршака, Т. Рузской, Вл. Соколова, Евг. Евтушенко, Гр. Поженяна, Сергея Михалкова, Евг. Винокурова, Мих. Луконина, М. Клягиной-Кондратьевой.	120
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
МИЛАН ЮНГМАН — Единение писателей с народом (Письмо из Праги)	159
ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ	
ВЕРА ДРИДЗО — Надежда Константиновна	162
ЛЕВ ЛЮБИМОВ — На чужбине	177
ИЗ ПИСАТЕЛЬСКОГО АРХИВА	
АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ — Субъективные заметки (Из записных книжек)	207
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
БОРИС АГАПОВ — О хорошем и о плохом (Из заметок об очерке)	241
ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Л. ДЕНИСОВОЙ и В. ЖДАНОВА «Модернизация и произвол в освещении прошлого»	251
(См. на обороте)	

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	253
В. Перцов. Всеволод Вишневский в своих дневниках.— Д. Благой. О казусах и ляпсусах.— М. Алексеев. Драматизм простого рассказа.— И. Борисова. Герои и события.— Л. Лазарев. С добрым чувством.— В. Сквозников. В кольце пустых фраз.— Е. Елагина. Песни бури и гнева.	
<i>Политика и наука</i>	276
В. Ливенцов. К истории Народного фронта в Западной Украине.— А. Хавин. Труд по истории народного хозяйства.— Инженер М. Голей. В мире кристаллов.— Кандидат географических наук И. Забелин. Друг угнетенных негров.	
МЕЖДУ ПРОЧИМ...	
В. Типот. «Джентльмены удачи»	283
КОРОТКО О КНИГАХ	285
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ЕЛЕНА МИКУЛИНА

★

ТРИДЦАТИТЫСЯЧНИК

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года председателю колхоза имени Кирова, Полтавского района, Омской области, Григорию Степановичу Галеннику присвоено звание Героя Социалистического Труда.

1

От деревни Воронцовки дороги идут в разные стороны. Одна ведет на маленькую железнодорожную станцию Исиль-Куль, другая—в районный центр Полтавку, а затем, пролегая через многие села и деревни,— к бурному Иртышу, на берегу которого раскинулся сибирский город Омск.

Обе дороги длинные. До Омска от Воронцовки сто пятьдесят километров, до железной дороги — семьдесят пять. Короче говоря, Воронцовка — глубинная деревня; сельскохозяйственная артель имени Кирова, которая объединяет ее жителей, в областных организациях числится одной из отдаленных.

Тем не менее секретарь областного комитета партии Григорий Дмитриевич Щелоков, не заглядывая в записную книжку, называет по памяти все основные показатели этого хозяйства, говорит о людях колхоза имени Кирова так, словно со многими из них он знаком лично и не раз встречался.

Близки дела этого колхоза и сердцу начальника областного управления сельского хозяйства товарища Кидай и заведующего сельскохозяйственным отделом обкома КПСС товарища Кузнецова. Даже технический секретарь этого отдела Анфиса Андреевна, услышав, что речь идет о колхозе имени Кирова, улыбается приязненно и в то же время многозначительно: по всему видно, что знает она о жизни кировцев значительно больше, чем «полагается» знать по ее должности.

От непринужденности, с которой велись в Омске первые беседы об этой артели, от того, что никто из моих собеседников не рылся, как бывает это часто, в отчетах, не требовал от своих помощников справок, мне показалось, что я тоже уже знаю и председателя колхоза Григория Степановича Галенника и секретаря партийной организации Василия Григорьевича Василенко, огородницу Сою Курочкину, заведующую птицефермой Екатерину Марцун, бригадира полеводческой бригады Михаила Диденко и многих других колхозников, чей творческий труд окружил далекую степную деревню заслуженной славой.

И так захотелось быстрее попасть в Воронцовку, своими глазами увидеть все, что в ней происходит. Я отказалась от приглашений отдохнуть после дальней дороги и вскоре была уже в поезде, который, неспешно пробираясь в ночной темноте, останавливаясь на каждом разъезде, держал курс на Исиль-Куль.

Спать не хотелось. Раскрыв блокнот, я стала перечитывать беглые записи, сделанные во время беседы с секретарем обкома.

Существует мнение, что цифрам нет места в очерке, что цифры, их сухие столбцы ассоциируются лишь со щелканьем счетных косточек, что рассказ о живых делах людей требует других, более пышных и ярких одежд.

Так ли это? Если цифры говорят о росте людей, об увеличении выпуска продукции, если они упрямо лезут вверх — за ними чувствуется напряженный вдохновенный труд людей. Именно таковы цифры, раскрывающие деятельность колхоза имени Кирова.

Три года назад доход этой сельскохозяйственной артели составлял немногим более миллиона рублей. В 1956 году, по балансу на первое октября, он достиг шести миллионов семисот пятидесяти тысяч рублей.

Три года назад на землях колхоза было собрано 56,4 тысячи центнеров зерна, и из них сдано государству 21,4 тысячи центнеров. В 1956 году здесь собрано 113,3 тысячи центнеров зерна, а на заготовительные пункты вывезено 86,7 тысячи центнеров.

Самое примечательное в этой статистике, на мой взгляд, не только резкое увеличение валового сбора зерна — для этого могло быть множество причин: увеличение посевных площадей, благословенное урожайное лето, — а и очень высокий процент выхода товарного зерна. Сравните: 21 тысяча и почти 87 тысяч центнеров! Ведь это в четыре с лишним раза больше. В то же время общий сбор зерна увеличился только вдвое. Но, может быть, председатель колхоза Галенник, тридцатитысячник, бывший районный работник, в пылу честолюбивых стремлений быть на виду во всей области вывез под метелку все зерно из колхоза, сделав трудодень невесомым, как степное «перекати-поле»?..

Я листаю блокнот.

По три килограмма зерна получил в 1956 году каждый колхозник на свой трудодень, больше, чем в предыдущем году, да пока, в счет аванса, — по шести рублей деньгами. А в семье Михаила Диденко до октября уже было 2 512 трудодней, у Анны Батенок — 2 027, у Ольги Зуболей — 2 070...

Нет, не обижены колхозники. За свой труд и полеводы, и доярки, и пастухи получили сполна. Полученное зерно не терялось зря, а было хозяйски сбережено и пошло в дело. Так в чем же секрет этих побед?

Узнала я его несколько позже.

2

Разные дороги ведут в Воронцовку. Но по какой бы из них вы ни приближались к деревне, прежде всего взгляд остановится на высоких, густо разросшихся тополях и низко склоненных вербах. И если забыть на минутку, что от Украины нас отделяют просторы Западной Сибири, Уральские горы, полноводная Волга, то покажется, что мы на въезде не то в Диканьку на Полтавщине, не то в Джулинку, что стоит на берегу Южного Буга.

Весь облик Воронцовки — широкие прямые улицы, белые стены домов, свитые из лозы плетни — настойчиво твердит нам: Украина, Украина... И кажется, что вот-вот взвывается в прозрачном осеннем воздухе чей-то сильный голос, неся навстречу приедем слова знакомой песни:

В кінці греблі стоять верби,
 Що я насадила...
 Нема того миленького,
 Що я полюбила...

И о чудо! Песня рождается, она приближается к нам многоголосым украинским хором. Поют ее женщины, до отказа заполнившие кузов автомашины.

— На глубинный пункт Заготзерна едут, — поясняет шофер. — Колхоз все зерно сдал сполна, зернышко к зернышку, а теперь оттуда возят его на элеватор автомашинами. Заведующий пунктом попросил у колхоза подмоги.

— А почему поют по-украински?

— А как же еще им петь? — удивился шофер. — Мы ж тут все хохлы, Пятьдесят лет назад деды наши пришли сюда, кто из Полтавщины, кто из-под Киева. Сели на сибирскую землю и начали жить...

Начинали с малого. Развязали бабы «хусточки», в которых принесли семена любимых злаков — кавунов, подсолнухов, фасоли. Бережно посадили в землю веточки привезенных с собой украинских тополей и верб...

Прошло полвека. Из тонких побегов выросли могучие деревья. Вместо десятка мазанок в Воронцовке стало триста двадцать дворов. У одного Марка Зуболея здесь живут восемь сыновей и дочек, а таких семей, как Зуболей, насчитаешь немало.

Может, и не стоило говорить о том, что жители Воронцовки не коренные сибиряки, а дети ласковой Украины. Ведь наш рассказ должен быть о том, как добивались члены артели успеха, как трудились не за страх, а за совесть. Но сейчас, когда на сибирские земли идет великое переселение нашей молодежи, когда партией, правительством и всем советским народом поставлена задача — в короткий срок не только распахать целинные земли (это уже, кстати сказать, сделано), а обжить их по-настоящему, — история Воронцовки приобретает особый смысл и значение.

Хороша сибирская земля. И, несмотря на суровость климата, щедра к людям.

— До нее только подход требуется, — сказал мне дед Мироненко, задумчиво глядя на решето, полное яблок. Яблоки были разные. На дне теснились мелкие красные «зимники», над ними лежали прозрачные «папировки», а сверху красовались огромные шестисотграммовые антоновки, все как на подбор.

Высокий лысый дед Мироненко грузно сидел на лавке, расставив ноги и обеими кистями темных жилистых рук опираясь на палку.

— Сибирская земля родючая, — говорил он медленно, мешая русскую речь с украинской, — У меня в саду яблони и груши хоть и низкие, а по центру с корня дают. Кавуны успевают. Дюже крупные не бывают, а с годову мужика вырастают. Но зато у них своя цена против украинских — слаще. Да тут, как посмотреть, весь продукт ядренее: молоко у коров жирнее, пшеница крупнее, яблоко медвее...

От яблок шел густой, летний аромат. Из-под широкой скамьи выглядывали желтые бока тыкв, на белоснежной печке алым ожерельем радовал глаз перец.

Полно, Сибирь ли это?

— Суровый климат не беда, — продолжал дед Мироненко. — Бывает, что и человек с виду сердитый, а на поверку выходит, что он людям намного больше пользы приносит, чем другой, с виду ласковый да приветливый. Так и наша Сибирь. Зима долгая, холодная, зато лето горячее, плодоносное. Вот оно так на так и получается... А с Григорием Степановичем мы обязательно дотолкуемся насчет колхозного сада. Будут у нас первосортные яблоки! Вот такие же, как в моем саду. — Он взвесил на руке тяжелую антоновку.

Мы вышли из хаты в сад. Первый легкий морозец уже схватил землю. Плодовые деревья были приготовлены к зимовке. Их узловатые ветви прижаты к земле кучами хвороста, кое-где присыпаны соломкой.

Дед Мироненко — фигура в Воронцовке заметная. Страстный садовод, самоучкой достигший замечательных успехов в выращивании стелющихся садов, он долгое время, а правильнее сказать, все время, от артельной работы уклонялся. Хорошо трудились в колхозе его дочери, а дед с утра до вечера копался в своем саду. Но, видно, новый председатель сумел добраться и до дедовой души, раз он так настойчиво заговорил о колхозном садоводстве. Хотя и с большим опозданием, но дед Мироненко, видимо, подверг основательной ревизии свои взгляды на артельный труд, а пересмотрев, не одобрил их и решил идти по новой дороге.

Надо сказать, что за последние годы у многих местных колхозников неожиданно для окружающих обнаружилось неизвестные доселе способности. Жил, жил человек, ничем не примечательный, и вдруг объявился в новом качестве.

Так вот случилось и с Екатериной Ивановной Марцун.

Жила она со старухой матерью и сынишкой Володей одиноко и незаметно. Худенькая, маленькая, как говорят на Украине, дробненькая, своей подвижностью и быстрыми движениями напоминала полевую птицу. Работала Катерина много и жадно, но в бригадах долго не держалась.

Перемена в ее жизни началась три года назад, с той поры, когда вновь избранный председатель колхоза Григорий Степанович Галенник позвал Катерину в свой кабинет и поговорил с ней по душам. Впрочем, разговор был очень короткий.

Сидели рядом с ней два почти незнакомых человека. Новый председатель колхоза и новый секретарь партийной организации смотрели на нее внимательно, она смотрела на них исподлобья, сердито. А когда спросили, пойдет ли она на птицеферму работать, сказала, как в холодную воду прыгнула:

— Пойду, если полной хозяйкой там сделаете. Тогда, может быть, и куры нестись станут и цыплята перестанутдохнуть.

Сказала и замерла.

— Ну вот и договорились, — ответил Галенник. — Принимай, Катерина Ивановна, завтра ферму от Пашинского. Только смотри — что при-мешь, за то и отвечать будешь...

— Ну чего ты за каждой курой гоняешься? — пытался урезонить Катерину Пашинский. — Кура, она и есть кура — одной больше, одной меньше, какая беда. Вот акт, где записано, что вся живность на месте. Чего тебе еще надо?..

Но вновь назначенная заведующая считала. И недосчиталась ста двадцати четырех кур. Да и те восемьсот, которые имелись в наличии, глаз не радовали. Грязные, с выщипанными хвостами, бледными, вялыми гребнями, несушки жалась по углам курятника, даже не подходили к гнездам.

— Ах ты, горе луковое, — вздыхала Катерина Ивановна, глядя на пятнадцать яиц, собранных за день от всех несушек. — Как же я с вами хозяйничать буду?

Но вздыхала она недолго. Выгнала кур на улицу, засучила рукава и вместе с птичницами стала чистить курятник.

Вычистили, побелили, вымыли окна, составили трехразовый рацион — повеселели куры. Раньше до позора дело доходило, когда на районных собраниях оглашали цифры яйценоскости по колхозу: за год несушка давала... три яйца! А тут через короткое время старые куры словно за ум взялись. У гнезд хоть очередь выстраивай.

Подсчитала Катерина Ивановна, что даст колхозу такая активность несушек, вышло — по пятьдесят восемь яиц на курицу за год собрать можно.

«Мало, себя не оправдаем», — решила она и пошла в наступление. Задумала обновить весь состав обитателей фермы. Закупила на инкубационной станции три с половиной тысячи цыплят и стала их выхаживать,

как умела. Сохранила почти всех. Стали желтые цыплята белыми молодками, а с ноября занеслись. На дворе снег, ветер, пурга метет, в окрестных колхозах забыли о свежих яйцах, а у Марцун на птицеферме по тысяче штук яиц в день собирают.

К этому времени Екатерина Ивановна уже подобрала надежных птичниц: Анну Морозову, Любу Сквородину, Надю Степанову, сама разработала нормы оплаты их труда.

В нынешнем году удалось получить от каждой несушки по сотне с лишком яиц. По этой отрасли хозяйства колхоз имени Кирова вышел на первое место в районе.

Случилось так, что перед вечером, разыскивая Василия Григорьевича Василенко, секретаря колхозной партийной организации, я заглянула в правление. Василенко был там, но не один. Возле стола как-то бочком, неудобно сидела Екатерина Ивановна Марцун и что-то очень гневное говорила секретарю, хлопая по столу небольшим свертком в газетной бумаге.

— Вы мне подарком глаза не закрывайте. Меня платьем не укупишь! — кричала она.

— Так то ж не я вам дарю, — спокойно заметил Василенко. — То весь колхоз, правление вам купило на платье, как лучшей птицеводке. В воскресенье мы тут всем передовикам премии давали, а вас не было, так я сберег в своем столе.

— Ну и что ж, что правление, — не унималась женщина. — За что вы меня подарками закидываете? За те сто три яйца на курку? Так это же, Василь Григорьевич, дуже мало.

— Ну чего ж ты хочешь? — все так же спокойно допытывался Василий Григорьевич.

— Условий! Первое дело, мне нужен птичник. Неможно цыплят около свинарника воспитывать. Как только выпустишь их, дашь корму — бегут поросята, а курчата волнуются, тикают куда попало... И еще — не хочу я получать трудовни с потолка.

— Как — с потолка? — удивился секретарь. — Тебе пишется сорок процентов от трудовой председателя колхоза. А ты сама член правления, знаешь, откуда берутся его трудовни.

— Так пусть он свои трудовни и получает. А я не хочу зависеть от его работы. Я хочу получать за свой собственный труд — за сохранность молодняка, за яйца, за то, что у меня на ферме куры веселые. Понятно?.. Нет мне интересу от тех трудовых, что бухгалтер мне каждый месяц начисляет, не заглядывая, что на птицеферме делается. Подошли цыплята — Марцун все равно пишется шестьдесят четыре трудовни, перестали куры нестись — все равно столько же, как если они нанесут по полторы сотни яиц за год. Такая гарантийная оплата для лодырей хороша. Переменить порядок оплаты надо. Недодумали мы с вами на правлении.

Они еще долго беседовали. Но теперь разговор шел в мирных тонах. Говорили о том, как поднять доход фермы. Екатерина Ивановна вытащила из кармана помятую тетрадку, обгрызенный карандаш и стала подсчитывать какие-то граммы ячменя, отрубей. Заинтересованный секретарь склонился над тетрадкой.

3

Соня и Михаил Курочкины живут на краю Воронцовки, в одной из «причепивок» — новых улиц, образованных домами молодоженов и тех, кто по той или иной причине перебрался с насиженного места. Соня работает в огородной бригаде, Михаил — шофер одного из одиннадцати колхозных грузовиков.

Ничем эта пара в колхозе особо не примечательна. Нет их имен среди знатных людей колхоза, прославившихся высокими достижениями в тру-

де. И тем более отчетливо видно на примере этой пары, как незаметно, день за днем идущее в гору артельное хозяйство так же незаметно, исподволь, но все сильнее втягивает каждого колхозника в свою жизнь. Глядишь — человек стал и больше беспокоиться об артельном добре, и ответственность перед колхозным обществом острее почувствовал, и огонек в работе появился. Рождаются новые отношения к коллективному труду, получают выход дотоле незаметные черты характера.

Михаил прошел всю войну, имеет боевые награды, был ранен. Последствия ранения сказываются и по сей день, они то и дело дают о себе знать. Михаилу было трудно работать в поле, он чувствовал по-мужскому обидное к себе снисхождение, постепенно стал отчуждаться и уже смотрел на свои колхозные обязанности сквозь пальцы.

— Ты коммунист? — спросил однажды Галенник Курочкина. — Фронтовик? — И, будто вовсе не ожидая ответа, задумчиво, внимательно посмотрел на молодого колхозника.

Подергав воротник гимнастерки, переминаясь с ноги на ногу, Михаил покусал губу, помолчал, потом, глянув прямо в глаза председателя, сказал:

— Я коммунист и фронтовик, Григорий Степанович. И вашу думку вижу: какого, мол, лешего этот Курочкин тянется в обозе? А Курочкин, может, тоже хочет быть передовым человеком в колхозе. Хочет, а не может. А почему?.. Вот до вас никто об этом не задумывался. Нет у человека желания к работе, и ну его к бису!.. Специальность шофера получить бы. Однако учиться едут у нас передовые люди, а Курочкин в хвосте ведь...

— Шофером, говоришь, — усмехнулся Галенник. — Ну что ж, быть твоим. Пошлем и тебя на курсы.

Первое, что я увидела во дворе Курочкиных, — это новый трехтонный грузовик. На его блестящий капот была накинута ватная куртка Михаила, а сам он, присев на корточки, тщательно вытирал заднее колесо машины. Рядом, поеживаясь от морозного ветра, забирающегося под пуховый платок, стояла Соня с кувшином в руке. Из кувшина шел пар.

— Проходите, проходите в хату, — зачастила она украинской скороговоркой. — Мы зараз кончим купать эту дитину. Бачите, як мий чоловік за неї доглядає, краще, чим за жінкою! — Она выплеснула на колесо остатки горячей воды и по-девичьи быстро, обгоняя меня, побежала к крыльцу.

В хате пахло свежеспеченным хлебом. Акулина Ивановна — мать Сони — только что вытащила из печи пышные белые караваи и накрывала их вышитым полотенцем.

— Из новины, — сказала она почтительно. — Нынче все двory у нас с пирогами. Вчера председатель распорядился на мельнице, чтобы в первую очередь колхозникам зерна намололи.

— Вот так куда ни кинь — везде наш председатель, — откликнулась Соня, хлопчущая у стола. — Век ему благодарна буду, что Миша шофером стал. Не узнаешь его теперь — повеселел!

...Вечер застал меня в доме Курочкиных. Мы сидели возле ярко горящей печки. Примостившись на широкой деревянной кровати, Соня тихонько перебирала струны гитары. Акулина Ивановна, позевывая, подкладывала в топку пучки соломы. Михаил, в майке, обнажающей его мускулистые руки, делился своими мыслями по поводу международных событий. Затем разговор незаметно перешел на колхозные дела.

— Хороший урожай нынче собрали, главное — ни одного зерна не потеряли, — сказал Михаил. — А раньше-то бывало... И как это получается? Люди те же, а работа идет по-другому.

— Ну нет, не скажи,— запротестовала Соня, все так же меланхолически перебирая струны гитары.— Переменились у нас в колхозе люди. Хоть бы ты иль я. Забыл, как учился на шофера? А я помню.— Она ласково посмотрела на мужа и повернулась ко мне.— Курсы были организованы в селе Вольном. Там ребята наши и жили, домой только на побывку заявлялись. Вернее сказать, приходили, да не все: мой лишь изредка мелькнет, как зимнее солнышко. Я и поплачу, иной раз не сдержусь, крикну: «Видать, не любишь меня! Вон хлопцы по три дня в неделю дома бывают». А он как каменный. Молчи, говорит, так надо. И вправду, сдал экзамены лучше всех. Григорий Степанович доверил ему новую машину. Вот он и стал у меня другим человеком. Скажешь, не так? — засмеялась она.

— Ну чего там обо мне рассказывать,— недовольно отстранился Михаил от ласковой Сониной руки.— Все ты выдумываешь. Какой был, такой и есть. Просто, в колхозе у нас порядка стало больше.

Но Соня не сдавалась. Она уперлась локтями в приподнятые колени, подперла ладонями розовые щеки и, сосредоточенно глядя на ослепительно горящую солому, тихо, как бы сама с собой, рассуждала:

— А порядок отчего получился? От того самого, что люди за ум взялись. Ну когда ты так работал, как нынешнюю осень? Только начали изпод комбайнов зерно возить, так я тебя и дома-то не видала, ни днем, ни ночью... А взять Виктора Тоцкого? Тоже незаметный был в работе, а как Галенник похвалил его на уборке, теперь вперед так и рвется. Или жена его, Мария? Я ведь с ней в одной бригаде работаю, вижу. Из себя бабонька выходит, хочет первой быть.

Соня под села ко мне и доверительно сказала:

— Вот я так понимаю, почему у нас сердце к Григорию Степановичу тянется. По совести он работает, не то чтобы так... себя только показать: тридцатитысячник, мол... Ну, конечно, и трудодень теперь нас всех манит. Увесистый нынче он стал. Завлекательный. К тому же и совесть у колхозников стала чувствительнее. Давно ее у нас никто так не ворошил. Все больше горлом брали, стращанками... Теперь, при Галеннике, в колхозе сразу известно, кто хорошо работает, кто плохо. Вот и лестно в хороших походить...

— Ну будет тебе, совсем заговорила нашу гостью, спать пора,— нарочито степенно, но втайне, вероятно, довольный женой, прервал разговор Михаил.— Кончайте, мама, топку!..

Женщины ушли в другую комнату, а мы остались покурить на сон грядущий. Отвернувшись к окошку, словно хотел там что-то разглядеть в черноте ночи, Михаил неожиданно сказал:

— Может, она и права, Соня-то?.. Вы как полагаете?..

4

Много лестных отзывов довелось мне выслушать о Галеннике. В областном и районном комитетах партии высоко оценивались его агрономические познания, партийная дисциплинированность, хозяйская сметка. В колхозных хатах за неспешной беседой я узнала, что Григорий Степанович очень отзывчив на чужую беду. Заболеет ли кто — непременно зайдет проведать. Если надо отвезти человека в больницу, немедленно пришлет подводу либо машину. Это по его предложению колхоз закупил транспортеры для погрузки зерна, и теперь на току отпала необходимость поднимать тяжело груженные ящики. Вся работа колхозниц свелась к тому, чтобы пошевеливать лопатами зерно, бегущее по транспортеру прямо в самосвал. Слыхала я и то, что Галенник «на подъем легкий», с утра до вечера на ногах. И на фермах и в бригадах своим глазом за всем смотрит...

Но после личного знакомства с Григорием Степановичем я пришла к выводу, что сила председателя колхоза имени Кирова кроется отнюдь не в его специальных агрономических знаниях и не только в организационных способностях, которыми он тоже не обижен. Разве мало у нас среди руководителей колхозов хороших специалистов-агрономов и рачительных хозяев? Мне самой доводилось встречаться не раз с такими, а все-таки не видела я в руководимых ими колхозах ни такого трогательного единения, ни такой заботы об артельном хозяйстве, ни таких бурных и в то же время надежных успехов, как в этом сибирском колхозе.

На мой взгляд, главное качество Галенника — подлинно большевистская честность, на которой строятся его отношения с колхозниками. Та честность, которой чужда демагогия, звонкая фраза, та честность, которая не боится прямо сказать о трудностях, но умеет, когда надо, и строго требовать.

Один из колхозников мне рассказывал:

— Спервоначально Григорий Степанович показался нам подходящим человеком: спокойный, самостоятельный мужчина, говорит скупно. Проголосовали мы за него дружно. Но как только он в своей речи на выборном собрании дошел до ближайших перспектив хозяйства, как только сказал: «Наша задача — как можно скорее построить свою электростанцию», так в зале раздались смешки. Ведь эту самую станцию мы собирались строить, почитай, уже десять лет. На каждом выборном собрании новый председатель бил себя в грудь и кричал: «Товарищи колхозники! Перво-наперво мы с вами зажжем в колхозных хатах электричество». Сначала, конечно, верили, а потом всякую веру потеряли... А вот теперь слышим — Галенник с того же начинает. Некоторые мужики — шапки в руки да по домам. И сразу по деревне пошел слух: не будет, видно, толку и от этого председателя — тоже начинает обещаниями потчевать... Прямо конфуз получился.

— Ну, а потом что было? — спросила я.

— А потом известно что. Через год не только электростанция появилась в колхозе, но и в каждой хате радио заговорило. Ну, а дальше — больше. Началось строительство животноводческих ферм, водопровод к коровникам провели, стали колхозные хаты перестраивать... И вот что удивительно, — продолжал он задумчиво, — людей не прибавилось, а на все стало хватать рабочих рук — на полевые работы, на животноводство, на строительство. И ведь никого силой работать не заставляют. Сами просятся. А секрет тут простой — интерес у людей появился. В этом году на трудодень, бухгалтер говорил, в конце года по десять рублей деньгами придется. Зерном у каждого все закрома засыпаны. На большую дорогу выходит наш колхоз...

Мне очень хотелось скорее увидеть «голову» колхоза имени Кирова, о котором шли самые добрые слухи. И вот, когда мы встретились впервые, при первом же взгляде на плотную и в то же время подвижную фигуру Галенника, на его широкое загорелое лицо с упрямым подбородком и спокойными глазами мне показалось, что я видела этого человека не раз и другим он быть не может.

А когда Григорий Степанович засмеялся, блеснув зубами, и от глаз к вискам побежали тонкие ниточки ранних морщин, сами глаза потеплели, — стало понятно, и почему так тянутся к нему люди и почему так доверяют ему в большом и малом деле.

Под стать председателю оказался и парторг колхоза Василий Григорьевич Василенко. И хотя внешне он был совсем иной — более высокий, тонкий, строгий и подобранный, носил хорошо выглаженный светлый костюм и шелковую рубашку с галстуком, в то время как Галенник предстал перед нами в простых сапогах и телогрейке, — между ними было то

неуловимое единство, какое часто возникает между хорошо сработавшимися командиром и комиссаром боевой части.

Совместная работа Галенника и Василенко началась три года назад. С чего начинали они? За какой кончик колхозной веревочки тянули, чтобы вытащить расшатанное предыдущими неудачными руководителями хозяйство?

Трудно сейчас, три года спустя, восстановить события в их хроникальной последовательности. Не было в Воронцовке своего летописца, который день за днем отмечал бы происходящее. Да если говорить правду, многое делалось одновременно, особенно в животноводстве и полеводстве, и события разворачивались так бурно, что и уследить за ними было почти невозможно.

Прежде чем действовать, надо было в точности знать обстановку. С утра до темного вечера Григорий Степанович ходил по фермам, заглядывал в грязные кормушки, наблюдал с часами в руках, сколько тратят доярки времени на подноску воды, а скотники — на доставку кормов и уборку навоза. Посадив рядом с собой колхозного агронома, объезжал квадраты полей, требуя характеристику каждого поля: какая структура почвы, какие сорняки растут, как обрабатывали в прошлом году.

— Не пойму, чего он добивается, — удивлялся старый агроном. — Знакомится с каждым полем, как с молодой девкой.

Но Галенник ездил по полям не зря. Вскоре он представил на обсуждение правления колхоза свой план индивидуальной обработки каждого участка. На одном предлагал провести культивацию, на другом — лущение, на некоторых — глубокую вспашку, а на остальных — ограничиться более мелкой.

— К земле требуется персональный подход, — говорил он.

По настоянию Галенника произвели закрепление участков за бригадами. А весной ввели личную ответственность сеяльщиков. Это означало, что трудодни им начислялись не как обычно во время сева, после обмера площади, а только тогда, когда на полях поднялись всходы и на изумрудных коврах полей отчетливо выступили плешины огрехов.

В эти дни по полям ходила комиссия — бригадиры полеводческих и тракторных бригад, член правления колхоза и агроном. Они определяли качество сева, и в зависимости от оценки комиссии сеяльщикам начислялись трудодни.

Результат новой системы сказался на будущий год. Сеяльщики так провели посевную, что бригаде контролеров, объезжавшей поля, оставалось только радоваться. Огрехи исчезли, всходы были дружные и ровные. Хотя в 1955 году в Омской области урожай был низким и соседи кировцев едва-едва собрали с гектара по шести центнеров зерна, каждый гектар воронцовских полей дал в этот засушливый год по двенадцати центнеров.

Строгий контроль за нормами высева, индивидуальный подход к участкам, повышенная ответственность сеяльщиков и трактористов особенно ярко сказались в 1956 году. По всей сибирской земле клонились под ветром золотые нивы, но на полях Воронцовки они были особенно тучными. В первой полеводческой бригаде с 2 100 гектаров собрали по 21 центнеру зерна.

Нынешним летом возглавлять эту бригаду был поставлен молодой бригадир, коммунист Василий Винник. Но готовил ему землю, сеял старый Диденко, много лет проработавший бригадиром, а теперь задумавший перейти на менее сложную и хлопотливую работу.

Полеводство, ранее считавшееся в колхозе делом немудреным, теперь и впрямь стало беспокойной работой. С приходом Галенника за каждой полеводческой бригадой закрепили постоянные тракторы и постоянного комбайнера. И все же вся ответственность за урожай лежит на плечах полеводов и, в частности, их бригадира. С ранней весны уходят они в поле,

и, пока не соберут осенью все зерно, нет им покоя ни на минуту. А зимой начинается агроучеба. И опять бригадир отвечает за то, чтобы все сто членов его бригады аккуратно посещали занятия.

Под руководством Винника молодежь потрудилась на славу. С 800 гектаров собрали по двадцать шесть с четвертью центнеров отборного зерна.

— Это ж не работа, а мученье, такую пшеницу никакой комбайн не берет, — жаловался комбайнер Егор Степанович Меньков, человек почтенный по годам и по опыту работы.

Для большей убедительности председатель колхоза показал мне это поле. Стерня напоминала густую щетку. Даже через тронутые легким морозом остатки стеблей земля не просвечивала. Несколько волокуш стаскивали солому. Уже готовые стога выстроились тесной шеренгой, сберегая место для последующих.

— Сто пятьдесят семь пудов зерна с гектара — это не шутка! — сказал Григорий Степанович, покусывая соломинку. — А ведь можно и больше собирать с этой щедрой земли. Только подход к ней нужен.

— Персональный? — пошутила я, вспомнив его любимое слово.

— Вот именно — персональный, — очень серьезно ответил Галенник. — Именно такой подход нужен в колхозе и к людям и к земле. В нем секрет коллективного хозяйства.

5

Путь, который избрал наш народ для преобразования крестьянского хозяйства, — правильный, верный путь. Но возле каждой широкой дороги петляют тропки. И многие, не умея сразу выбрать верную дорогу, долго кружат на одном месте, напрасно теряя силы и время.

Отличительной чертой руководителей сибирского колхоза имени Кирова является умение выбирать наиболее прямые и короткие пути.

Одним из них было создание колхозной строительной бригады. Некоторые председатели колхозов, а порой и работники партийных организаций, считают, что такие бригады можно создавать лишь из умелых, опытных работников. Но это — ошибочное мнение. На первом этапе строительных работ в колхозе, когда обычно ведется ремонт общественных зданий, достаточно и тех мастеров, которые всегда имеются в каждой деревне. В колхозе имени Кирова строительную бригаду на первых порах возглавил Василий Петрович Рипп, прошедший хорошую школу в армии, в строительном батальоне. Были в той бригаде и женщины, никогда раньше не державшие в руках плотницкого топора, — Татьяна Лупп, Софья Белявская и другие. Но и они через короткое время сравнялись в работе с такими, как Тимофей Литовченко и Николай Линьков, известными в колхозе работниками «на все руки».

Закончив работы на электростанции, бригада сразу принялась за строительство большого коровника. Одновременно был заложен на ферме домик животноводов.

Домик для животноводов вызывал удивление колхозников. Зачем он нужен дояркам? Разве они покинут свои хаты?.. Но Галенник и Василенко преследовали совсем другую цель — они хотели, чтобы работники молочной фермы почувствовали заботу колхоза, полюбили свой труд. Когда дом был готов, туда завезли никелированные кровати, дали белоснежные простыни, добротные одеяла, поставили тумбочки. В одной из комнат разместили красный уголок, в кухне соорудили очаг, где можно было приготовить во время дежурства горячую пищу. Нашлось место и для стола заведующего фермой и учетчика.

Теперь в дни отела коров доярки могут отдохнуть в теплом, уютном помещении. И в новом коровнике работать стало легче. Подвесная дорога облегчила труд, электрический свет прогнал не только темноту, но и грязь.

Оставалось провести на ферму воду и установить автопоилки. Для этого надо было проложить от колодца с ветродвигателем трубопровод длиной в добрых полкилометра. А уже осень на исходе, в воздухе то и дело начинали кружиться белые мухи. Медлить с укладкой труб было нельзя. И вот в один из воскресных дней, когда все колхозники отдавали дань смачным вареникам, из репродукторов зазвучал голос председателя.

Как всегда спокойно, он объяснил положение: если сегодня не укроем положенные в траншеи трубы, труд наших строителей пропадет напрасно, автопоилки не смогут действовать, опять придется всю зиму таскать воду ведрами.

— Кончайте завтракать, товарищи колхозники, — сказал председатель, и слушателям ясно представилось, как улыбнулся в эту минуту Григорий Степанович, как побежали от уголков глаз к вискам тонкие ниточки морщинок, — через полчаса я жду вас возле фермы.

Пришли все как один. И к концу дня трубопровод был глубоко спрятан под землю. Теперь зима была не страшна.

В 1955 году надой от каждой коровы за год составил 2 303 литра. Теперь он будет еще выше. Галенник добился своего. За три минувших года ни одна из доярок не ушла с фермы. Да и зачем? Труд их стал легче, колхоз окружил животноводов вниманием. Раньше они получали премиальную надбавку один раз в год, по проценту выполнения плана, а сейчас общее собрание установило для них новую систему — 1,5 процента от надоя молока. За год это составляет на каждую доярку почти тысячу литров молока. А ведь это только премия. Кроме того, в зависимости от надоя и состояния поголовья животноводов начисляются трудодни. В общей сложности за год их набирается до тысячи. Перемножьте число трудодней на десять рублей, прибавьте по три килограмма зерна на трудодень, и вы получите довольно круглую сумму ежемесячного заработка: более тысячи рублей.

Важным стимулом является также и общественное мнение. Василий Григорьевич Василенко сумел сделать соревнование колхозных животноводов гласным и поэтою действенным. Каждую декаду на производственных совещаниях обсуждаются причины отставания той или иной доярки, вопросы рациона животных, новые предложения. А раз в квартал о работе коллективов ферм говорится на правлении колхоза, а затем и на общем собрании колхозников. Здесь определяются места в соревновании, сумма денежной премии, ценные подарки.

«Ум — хорошо, а два — лучше» — одна из любимых поговорок Галенника. Широкая демократия, ставшая в последнее время существенным принципом руководства, не замедлила дать свои результаты.

Нынешней весной, обсуждая Устав сельхозартели, общее собрание внесло в него серьезные поправки, заметно приближающие организацию и оплату труда колхозников к положению на промышленных предприятиях. Категорически была отвергнута уравниловка в обязательном минимуме трудодней для женщин. Как ни намекали в районных организациях, что наиболее правильной цифрой будет 250 трудодней, собрание решило по-своему: нельзя равнять многодетную мать с молодой или девушкой. Если от женщины, обремененной детьми, потребовать обязательный минимум в 250 трудодней, она, будучи уверена, что ей не справиться с ним, махнет рукой и вообще работать не станет. А если дать ей посильную загрузку, то она и норму выработает, а там, глядишь, и дальше пойдет. Народ не ошибся. Как только для женщин, имеющих четырех и более детей, установили минимум в 100 трудодней, Меланья Короб, Галина Моляка и другие матери уже к сентябрю имели на своем счету по 175—180 трудодней.

Для женщин-одиночек норму приняли в 180 трудодней, для тех, кто имеет одного-двух детей, — 150. Зато каждого мужчину общее собрание

обязало отработать в течение года не менее 450 трудодней. Для престарелых и инвалидов второй группы, продолжающих работать в хозяйстве, принят гарантийный минимум.

Введена в колхозе имени Кирова и система оплачиваемых отпусков: руководству — месячный отпуск, бригадирам и колхозникам, занятым на постоянных работах (шоферам, животноводам и другим), — двухнедельный, а остальным колхозникам, выработавшим обязательный минимум трудодней, — десятидневный.

Для поощрения председателя колхоза, для того чтобы он, как мне пояснили, «не торопился покидать артельное хозяйство», общее собрание решило установить ему надбавку за выслугу лет. Проработает три года — получит на пять процентов трудодней больше, чем ему причитается. Через пять лет надбавка увеличивается до десяти процентов, а после десяти лет — до пятнадцати процентов.

— Я пятипроцентник, — с шутовой гордостью говорит Григорий Степанович Галенник. — Недавно минуло три года, как принял хозяйство. Ничего, — смеется он, — придет время, все пятнадцать процентов буду получать. Я ведь в трудоднях заинтересован, от государства заработной платы не получаю, как другие тридцатитысячники. Почему отказался? Скажу откровенно: хотел на одном языке с колхозниками разговаривать. Ну, как я буду с них требовать? Как буду убеждать в том, что весомость трудодня непосредственно связана с качеством работы колхозника, а его личное благополучие зависит от весомости трудодня, если сам нахожусь на содержании государства? Неловко получается, правда? А так мы с ним на одном положении. И знаете, — продолжал Галенник, — я ничего не прогадал. Хотите посчитать мой месячный заработок в этом году? Он не уступает заработку директора крупного завода. Тысячи три получается. Да и агроном наш и зоотехник хорошо обеспечены. Специалисты с высшим образованием получают у нас восемьдесят процентов заработка председателя, а те из них, кто имеет среднее образование, — шестьдесят процентов. Видите, как оценивают члены артели образование! Соответственно определяется заработок заведующих фермами и бригадиров. Думаете, накладно для колхоза? Не беспокойтесь, колхозники научились считать общественные денежки, они прекрасно понимают, что такие затраты окупятся сторицей.

Кажется, в обширном хозяйстве не осталось ни одного уголка, который председатель колхоза радушно не показал бы. Побывали мы в колхозном клубе, стареньком, но довольно вместительном, в библиотеке, где на самодельных полках собрано почти пять тысяч томов книг, познакомились с работой радиоузла, которым руководит Аркадий Николаевич Демин.

Радиоузел с успехом исполняет роль многотиражной газеты. В просветах между областными и центральными трансляциями радио сообщает все колхозные новости. Но бывает и так, что из репродуктора слышится голос Демина, обличающий какого-либо члена артели в неблагоприятном поступке.

Как-то со стройки исчезло несколько досок. Расследование быстро обнаружило виновника. И в тот же день радио обнародовало его имя и фамилию. Доски были возвращены.

— А ну его к бису, то радио, — смущенно говорил колхозник, — на все село осрамило.

Впрочем, такие «новости» колхозное радио сообщает очень редко. Да, пожалуй, за последний год «конфузное» сообщение было всего один раз. Чаще из репродуктора в хаты приходят веселые вести. Вот недавно после обычного вступления: «Внимание, внимание, говорит радиоузел колхоза имени Кирова...» — были оглашены фамилии многих колхозников. Всех просили зайти в одно и то же время в правление колхоза.

— Я даже испугалась, — рассказывала Соня Курочкина. — Как будто бы и трудодни выработала и все у меня в порядке... Однако пошла. А уж в конторе народу собралось душ восемьдесят. «Кому я тут понадобилась? Зачем?» — спрашиваю. «А затем, — говорит Галенник, — что хотим тебя пригласить в украинский хор, который будет организован в нашем колхозе». — «Так я ж уже старая!» — «Тут постарей тебя есть!..» Оглянулась я кругом, и правда — многие с сивыми бородами...

Организация хора народной песни отнюдь не пустая забава. Экономика артели достигла высокого уровня, электрический свет удлинит вечера, радио приблизило к далекой сибирской деревне культурную жизнь больших городов. Многие колхозники занимаются и в кружке текущей политики, и в агротехнической колхозной трехгодичной школе, и в кружке конкретной экономики, в каждой хате найдешь газету, библиотечную книгу. А все-таки явно ощущается потребность людей в большем культурном размахе.

Посоветовался председатель с парторгом, с правлением колхоза. Решили требовать от областных организаций опытного заведующего клубом, чтобы смог организовать драматический кружок, струнный оркестр, хор. После долгого ожидания заведующий клубом приехал. Он оказался... молодой девушкой с тоненькими бровями и застенчивым выражением лица.

— Галина Павловна Петушенко, — представилась она Галеннику, протягивая свою ладошку.

Встретили ее радушно. Но прошел месяц-два, а в глазах завклубом стояли все те же настороженность и испуг, которые заметили председатель колхоза и парторг в первые дни ее приезда. И немудрено.

Воронцовка славится певцами. Здесь почти в каждом дворе свой «артист». Колхозники хотели, чтобы новый завклубом объединил их силы, приобщил к музыкальной культуре. А откуда могли взяться режиссерское мастерство, музыкальная культура у школьницы, окончившей трехмесячные курсы библиотекарей? И хотя жители Воронцовки отличаются свойственной украинцам приветливостью и тактом, но заведующая клубом все-таки почувствовала, что постепенно люди от нее отдалились и роль ее свелась по существу к надзору за порядком в зале во время киносеансов. Тогда и взялось правление колхоза за организацию хора.

В Омске есть Дом народного творчества. Неужели он не в состоянии помочь колхозам наладить их самостоятельность?

В поисках полезных развлечений для молодежи колхозники не остановились перед большими затратами на кавалерийский клуб. Да, да, в этом далеком сибирском колхозе есть ипподром, прекрасные скаковые лошади.

В прошлом году в Воронцовке побывал представитель ДОСААФ — известный коневод товарищ Бусыгин. Беседа с Галенником, он упомянул о том, что конный спорт не только вырабатывает у молодежи прекрасные волевые качества, но и прививает вкус к другим видам физической культуры. Поговорил Бусыгин и уехал, не подозревая, что его слова упали на благодатную почву. А через некоторое время он получил письмо из колхоза с просьбой помочь организовать конный спорт в Воронцовке.

Сейчас на импровизированном ипподроме, на краю деревни, каждый день собирается молодежь, а порой и пожилые люди — посмотреть, как скажут породистые кони, как приобретают мастерство конников комсомольцы Федор Яковенко, Сергей Старовой, Федор Зуболей и другие.

Но самой замечательной была, конечно, первая тренировка, в которой принимал непосредственное участие Галенник.

Кому скакать первому? Хлопцы сбились в кучу и шумно спорили. Тренера в колхозе еще не было, а начинать тренировки надо, нельзя же коням давать застаиваться! И тогда Галенник решил показать пример.

Вспомнив свою армейскую службу, он подтянул потуже пояс, вскочил на коня и послал его на препятствие. Взвился буланый конь и легко перенес председателя через высокий барьер.

— Сам не знаю,— удивленно вспоминает Галенник,— как это у меня хватило духу на такой прыжок. Ведь к барьеру подойдешь, и то страшно делается: стоит, как дом. А ничего, прыгнул. Вот что делает честолюбие!

6

Да, Григорию Степановичу Галеннику нельзя отказать в честолюбии. Любит он во всем и везде быть первым. Но когда перед моим отъездом сидели мы за столом в его доме и беседовали особенно задушевно, удалось мне оценить это его «честолюбие».

Редко бывает Галенник в кругу домашних. Но когда бывает, то весь как-то изнутри светится теплом и лаской. Очень любит ему, видно, и жена и четыре дочки. Старшая — семиклассница Люся — учится хорошо, в школе она первая общественница, бессменный редактор стенной газеты. Отец охотно рассказывает и об успехах, проказах и шалостях младших.

— Но мать их держит строго, — шепчет он мне. — Честно говоря, поражаюсь, как она везде успевает! И в сберкассе работает, и дома хозяйничает, и в школьном комитете участвует...

Григорий Степанович вдруг замолчал и пристально посмотрел на меня, постукивая пальцами по столу.

— Вам, наверно, не терпится задать вопрос: доволен ли я своей работой в колхозе? — спросил он неожиданно. — Ведь такой вопрос задает мне каждый новый человек, приезжающий в Воронцовку. И, конечно, вы ждете знакомых слов: я, мол, как коммунист, в любую минуту готов выполнить каждое поручение партии. Верно ведь? Сознаться, вы уже заранее записали эту фразу в своем блокноте. — Он хитро прищурился. — Конечно, такой ответ был бы вполне правильным. Партия может и должна распоряжаться нами, коммунистами. Но вопрос не только в этом. Поймите меня правильно, может быть, вам мои слова покажутся странными. Я хотя и доволен тем, что нахожусь у руководства крупным хозяйством, но своей работой не удовлетворен. Меня не покидает ощущение, что делаю я не все то, что от меня вправе ожидать колхозники... Резервов в нашем артельном хозяйстве еще столько, что голова порой кружится и руки начинают томиться от невозможности все охватить сразу... Разве мы все сделали для того, чтобы добиться наибольшей урожайности полей? А удои? Ну что такое 2 304 литра на одну фуражную корову, когда в других хозяйствах по три тысячи получают! Наши члены артели получают в нынешнем году по десять рублей на трудодень, а я слышал, что в других колхозах — по восемнадцать — двадцать платят. Можем и мы этого добиться? Безусловно, можем, а вот, значит, не додумали что-то...

Григорий Степанович порывисто встал из-за стола, прошелся по комнате.

— Недавно узнал я, как в алтайском колхозе имени Молотова, где председателем товарищ Гринько, кадры специалистов готовят, и даже заготовили. Говорят, в том колхозе уже многие бригадиры высшее образование имеют. А у нас в этом деле похвастаться пока что нечем... А кто тут виноват? Мы сами. Знаете, почему завидую колхозу имени Молотова? Да потому, что они проблему специалистов решили полностью и перестали надеяться на приезжих. Чего греха таить, известно, что из городов в колхоз хорошие специалисты ехать не хотят, хотя мы и создаем им все условия для хорошей жизни. Рассказать, как Гринько своих специалистов готовит?

Григорий Степанович отодвинул тарелку с печеньем и стакан недопитого чая, уселся поудобнее.

— Как только кончаются экзамены в десятом классе, Гринько приходит в школу и выясняет у педагогов, кто из ребят к какому делу склонность имеет. Кто ботаникой увлекается, а кого больше зоология привлекает. Затем вызывает школяров на правление колхоза и беседует с ними. Хочешь учиться в институте, хочешь принести своему колхозу пользу? Пошлем тебя в институт. Дадим стипендию от колхоза. Все годы учебы будем помогать, только держи и ты свое слово — приезжай обратно в колхоз. И посылают. А когда возвращаются студенты домой на каникулы, каждый перед правлением отчитывается: как учился, чего достиг, какие отметки за семестр заработал... Вот ведь какое замечательное дело люди придумали, — вздохнул Галенник. — А я упустил. Если бы мы послали своих десятиклассников в институты три года назад, у нас сейчас уже на подходе были бы свои собственные агрономы и зоотехники.

— Но ведь и сейчас еще не поздно последовать примеру алтайцев, — сказала я.

— Обязательно. Без этого нам дальше двигаться невозможно.

...Планы на будущее у членов артели серьезные. В 1957 году решено соорудить еще несколько крупных хозяйственных зданий, построить большой клуб, продолжать строительство колхозных хат. Старые, дедовские мазанки уже не удовлетворяют колхозников. Они хотят жить в новых, просторных домах, под железной высокой крышей, с большими окнами. Таких домов и на центральной улице и в обеих «причепивках» за последние два года появилось семьдесят. Но к концу пятилетки предполагается заменить все триста двадцать домов в колхозе.

И тут уместно вспомнить о претензиях артели к проектировщикам Омской области.

За последние три года доход колхоза имени Кирова возрос в шесть с лишним раз. Капиталовложения в строительство увеличились за это время почти в четыре раза, есть реальная возможность строиться добротно, по плану, по хорошим типовым проектам.

Но в том-то и беда, что нет здесь этих планов и проектов. Сколько ни добивался колхоз, чтобы из области выехал в Воронцовку архитектор, пораскинул умом, посоветовал, где лучше разместить фермы, как распланировать новые общественные здания, — не помогли ему... Нет сегодня генерального плана новой Воронцовки, не предвидится его и в ближайшее время. Даже районный центр, Полтавка, застраивается «как бог на душу положит».

— Мало прислушиваются к нашим просьбам, — с горечью сказал мне секретарь партийной организации колхоза. — А мы ведь ни одного решения не принимаем без совета с членами артели. Научились выслушивать людей, вникать в их нужды. Есть еще формализм в руководстве колхозами, — добавил он многозначительно. — Но ничего, корни уже выдержаны, а с ветками мы и сами управимся...

Больше ничего не сказал мне в тот раз Василий Григорьевич Василенко. Смысл его слов раскрылся несколько позже, при изучении сравнительных показателей нескольких колхозов Павловского района. Тут выяснилось весьма любопытное обстоятельство. Места артелей в социалистическом соревновании определяются не по фактическим показателям, а по процентам выполнения производственных планов. Ну, а как известно, планы составляются по достигнутым за прошлый год показателям примерно так: колхоз имени Мичурина в 1955 году получил от каждой несушки по 80 яиц — на 1956 год запланировали ему 100; колхоз имени Кирова собрал по 100 яиц — ему записали в план 130. Такое же соотношение имеется и по другим отраслям производства.

Но кому легче добиться перевыполнения плана? Конечно, тем, у кого достижения передовиков еще не стали повседневными делами, тем, кому

не надо искать новых путей для увеличения товарной продукции, а достаточно перенести на свою почву готовое, известное, достигнутое в других колхозах. Представьте себе, что в конце года, после подведения итогов, окажется, что мичуринцы выполнили свой план на 110 процентов, а животноводы колхоза имени Кирова — только на 105. Конечно, передовиками будут считаться мичуринцы. Ведь у них процент выполнения выше! Правильно ли это? На наш взгляд, нет.

Самыми главными показателями хозяйственной деятельности колхоза должны явиться не проценты, а реальный, вещественный выход сельскохозяйственных продуктов, поступивших в государственные закрома. И тогда станет ясным, что первое место принадлежит тем, кто продал государству от каждой курицы сто яиц, а не восемьдесят, кто с каждого гектара посева свез на элеватор не двенадцать, а восемнадцать центнеров. Иначе говоря, высшую оценку работы должен получить тот, кто приносит больше пользы государству.

Настал день отъезда. И вот уже машина за околицей деревни. Впереди ровной скатертью легли сжатые нивы и серая, бесконечная лента дороги.

Я оглянулась. В чистом утреннем небе силуэты тополей казались нарисованными тушью. За ними вставало красное зимнее солнце. Через несколько минут не стало видно и тополей.

До свидания, Воронцовка, маленькая точка на карте нашей великой Родины!

Омск, ноябрь 1956 г.



МУХТАР АУЭЗОВ

★

ТАК РОЖДАЛСЯ „ТУРКЕСТАН“

Этот очерк посвящен дням и делам покорителей целины не в дни сбора казахстанского миллиарда — он рисует события того времени, когда закладывались основы для будущего миллиарда. Эти основы слагались не только из новой техники, не только из фондов — семенных, денежных, материальных, — но и из новых нравственных устоев строителей социализма.

Возникнув — иные в 1954 году, а другие, как описываемый здесь «Туркестан», в 1955 году, — все совхозы севера и юга Казахстана шли к урожайному 1956 году через трудности и преграды. Строя новое мощное хозяйство, герои целины вместе с тем создавали и новый стиль отношения к тому краю, который они осваивали, — к его пространствам, к людям, в нем обитающим.

Не крестьянствовать, не горе мыкать они пришли, как приходили прежние переселенцы, гонимые нуждой, земельной теснотой и прочими невзгодами царской России, и не прежняя колониальная окраина их встретила здесь. Пришли строители социалистического хозяйства, культурные, вооруженные новейшей техникой, пришли высокосоциальные сыны и дочери Советской Родины на еще не освоенные ее просторы, пришли свои, родные люди.

Потому-то с ростом осваиваемой целины, с ростом хозяйственной мощи совхозов росла и подлинная братская дружба между посланцами различных народов, республик, городов и коллективов Советской России и старожилками Казахстана, местными жителями — казахами, русскими, украинцами. Поведать о посланцах партии, самоотверженно работающих в качестве руководителей, агрономов, трактористов, инженеров-механизаторов, комбайнеров, несущих наряду с хозяйственными задачами драгоценные начала искреннего братства, творческого сотрудничества во имя всестороннего подъема культуры коренного населения в еще слабо обжитом краю, — значит раскрыть еще одну важную сторону великого похода на целину. Однако как мало еще пишется об этой стороне нашей действительности, а писать о ней в романах, очерках, стихах и поэмах, отображать ее в пьесах и кинокартинах нам кажется сугубо необходимым.

По бездорожью

К утру истекли третьи сутки с тех пор, как начался этот мучительно медленный путь, а конца ему не видать. Вокруг холодное безмолвие снежной пустыни, лишь трактор «ДТ-54» с грохотом, скрежетом и лязгом черепашьей ползет по безлюдной степи. Стбит на мгновение умолкнуть мотору, как наступает такая тишина, словно ты опустился под воду.

Немало намучился этот трактор за прошедшие сутки. Нескончаемые цепи отрогов Қаратау, крутые холмы далеко вширь раскинувшейся

Актау — не будет им, казалось, ни конца, ни края, никогда не выползет трактор на равнину. Только что, навалившись всей своей богатырской мощью, преодолел он еще одну крутизну и теперь снова, вцепившись гусеницами в крутой бок холма, скрежеща и окутываясь клубами синего выхлопного газа, карабкался на гребень перевала. За ним, скрипя и дребезжа, громоздился на прицепе темный неуклюжий груз. Он казался большим, словно дом, этот самый обыкновенный красный товарный вагон, поставленный на полозья из рельсов.

Сквозь безлюдье и бездорожье, сквозь снег и стужу тащился он за трактором и вот добрался наконец до края, именуемого Жоном.

Медленно шедший рядом с трактором человек небольшого роста, в белых валенках и белом полушубке, поднял руки в меховых варежках и резко опустил их вниз, давая трактористу знак остановиться.

Трактор стал, сотрясаясь от работающего на малом газу мотора.

«Не глушить мотор, только не глушить — так они договорились. Не глушить ни в лютый мороз, ни в буран...»

Тракторист спрыгнул наземь. За сутки, проведенные без сна, его обожженное морозом, обветренное лицо потемнело, синева небольших, слегка навывкате, глаз как бы сгустилась.

— Ух, пропади он пропадом, этот собачий Жон! — проворчал он. — Дотянем мы до него наконец, товарищ директор?

— Да вот он, Жон, дотянули, — коротко ответил директор. — Только вряд ли он тебя порадует сейчас, товарищ Новиков... — и, с трудом скрывая утомление, двинулся к теплушке.

Разговор продолжался уже у мешка с дорожными продуктами. Всю ночь и утро они двигались натошак. «Доберемся до Жона — тогда и поедим».

Теперь оба с жадностью набросились на черствый хлеб и колбасу с кожурой, подернутой плесенью, кусками отламывали замерзшее масло.

По-зимнему пасмурное небо не прояснялось, густо нависали свинцовые облака. Всюду, насколько хватал глаз, громоздились холмы, укрытые снежным покрывалом, а за ними тянулись к горизонту бескрайние белые степи — загадочные, холодные, чужие. Нигде ни признака человеческого жилья. Какие уж тут села или города, хоть бы попались одна-две избышки, овечий загон или кошара, какие еще вчера радовали глаз и согревали сердце.

Собственно, путники хорошо знали, что степь эта необитаема, но от незнакомого, угрюмого мира все же веяло холодом.

— Хорош солнечный Казахстан, ничего не скажешь! — бурчал тракторист, набив рот хлебом с колбасой.

И директор поддержал:

— Была бы это Кустанайская или Павлодарская область, тогда понятно, а то Джамбулская! Мыслимо ли, чтобы на юге в конце февраля такой снег да мороз держался!

Видимо, он был осведомлен об этих местах лучше своего спутника и теперь делился с ним своими соображениями:

— Правду мне говорил один товарищ в области, что зимы холоднее нынешней здесь лет тридцать не было. И что дорога будет тяжелая — тоже говорили, но таких сугробов, такого безлюдья я все-таки не ожидал. Как бы то ни было, до Жона мы добрались. Вон те нескончаемые холмы в стороне от хребта, на который мы только что взобрались, и эти мелкие сопки и те возвышенности — все это в земельных границах нашего совхоза. Да что там говорить, хлебом мы еще с тобой горюшка, товарищ Новиков! С нашим-то грузом да по такой дорожке вряд ли к вечеру до жилья доберемся. Так что закусывай давай поплотней, не жалей ни масла, ни колбасы, а то как бы и у нас с тобой мотор не заглох. «Не глушить мотор!» — это ведь не только к машине, а и к нам с тобой относится.

Директор засмеялся — заразительно, громко, обнажая мелкие ровные зубы. Большие, светло-голубые, глубоко запавшие его глаза словно излучали теплый свет. Проникая в самую душу, они выражали спокойную умную силу, и в глубине их вспыхивали огоньки энергично работающей мысли.

Словно заражаясь его настроением, Новиков сказал:

— А каково теперь тем совхозам, которые организуются на севере Казахстана?! Им небось еще тяжелее, чем нам!

— Ну, это как сказать,— уклончиво ответил директор.— Есть у них и свои трудности, а кое в чем им, может, и полегче.

Готовясь к поездке, он основательно ознакомился с экономикой и географией республики и теперь приводил факты, почерпнутые из книг.

— Действительно, Кустанайская, Северо-Казахстанская, Павлодарская и даже Кокчетавская области холоднее, и снега там глубже и бураны чаще. У нас ведь такой снег и мороз, как в этом году,— редкость. Зато там гор меньше, степи ровные. Трактору в тех краях куда легче. Такой совхоз, как наш,— за девяносто километров от железной дороги, да каких километров! — через горы да овраги, через камни да обрывы — поискать надо! Один вагон до центральной усадьбы три дня тянем. Так что жми, брат Новиков, на все педали! — завершил он, выливая в кружку тракториста остатки горячего чая из термоса.

Подкрепившись и слегка передохнув, они снова пустились в путь. С лязгом, скрипом и скрежетом медленно поползла машина по бугристому кряжу Жона.

В тусклом свете ненастного дня окрестность представляла в неясных очертаниях: серое небо и безлесная степь, сливаясь, придавали всему, что вокруг, мутно-лиловатый оттенок. На возвышенности подуло пронизывающим морозным ветром, и Новиков, то и дело отрываясь от руля, растирал обмерзающее лицо. А директор по временам оборачивался к жгучему ветру спиной и шел так, защищая нос и уши руками.

Ветер гнал по Жону колючий снег. Сухая поземка, крутясь и извиваясь, неслась навстречу. Разыгралась метель, все глубже становились сугробы. Дорога терялась, и лишь редкие неясные следы вели путников — слепая, неверная тропа. Каменные глыбы и редкий, сотрясаемый вихрем колючий кустарник то и дело преграждали ускользающий путь, на котором было сейчас сосредоточено все внимание тракториста. И вдруг директор, все время шагавший рядом с трактором, остановился: что-то мелькнуло вдали сквозь метель. Казалось, будто какое-то живое существо поднялось над редким низким кустарником и снова упало, возникло на мгновение и исчезло.

Сначала директор подумал, что это мелькнули рога горного козла, потом показалось, будто кто-то протянул кверху руки, проваливаясь в глубоком снегу. Директор догнал трактор и, вскинув руки, дал сигнал «стой!».

Новиков, изумленный, остановился.

— Посмотри-ка, мне показалось?.. Не человек ли там замерзает? — указал директор вправо.

— Ну, а коли и замерзает, что мы можем сделать? — недоуменно пробормотал Новиков.

— Как что? Помогать, спасать!

— Кому помогать, кого спасать? — начинал сердиться тракторист. — Пусть мне самому помогут, я тоже замерзаю. Не будем мешкать, товарищ директор, не до того сейчас! — и снова включил скорость.

— Стой, сворачивай вправо! — Голос директора прозвучал резко и властно.

— Товарищ директор, смеетесь вы, что ли?

— Вы понимаете, что я вам говорю: человек погибает! Сворачивайте сейчас же! — Глаза директора грозно сверкнули.

Новиков со злостью стиснул зубы.

— Как я сверну? Как я найду потом след? Собьемся с дороги, тогда без посторонней помощи не вылезем. Не знаю, как здесь, а уж там-то, в совхозе, без нас люди наверняка погибнут. Третий день сидят без продуктов!

Директор был непреклонен.

— Сворачивай сейчас же!

Но раздраженный и измученный Новиков продолжал упорствовать:

— За машину я отвечаю! Куда я попру на такие камни? — И он снова включил скорость.

Тогда небольшой человек в белом тулупе забежал вперед и стаял на пути трактора. Он не пошевелился даже тогда, когда трактор приблизился к нему вплотную, только румянец гнева вспыхнул на его темном обветренном лице.

Скрипя всем корпусом, трактор стал поворачивать. Директор устремился вперед и первым достиг одинокого куста, под которым померещилась ему человеческая фигура. Действительно, в сугробе, скорчившись, лежал человек. На нем был казахский чапан, голова закутана платком. Женщина! Директор наклонился, подхватил женщину под мышки и, вытащив из сугроба, заглянул в ее лицо, вдоль и поперек изборожденное глубокими, словно высеченными на камне морщинами. Это была маленькая, тщедушная старушка.

— Ой, алла! — чуть слышно сказала она, и брови ее дрогнули, глаза приоткрылись.

Все тело женщины дрожало, зубы стучали, она теряла сознание.

Увязая в снегу, Новиков спешил на помощь. Подхватив на руки маленькую, как ребенок, старушку, мужчины понесли ее к теплушке и, быстро отодвинув примерзшую скрипучую дверь, положили на низкие нарты: «Спирту!» Они торопливо растирали ей руки, ноги, влили несколько капель в рот. Когда жгучие капли проникли сквозь ее редкие зубы, старушка сильно поморщилась — жизнь начинала возвращаться к ней, возвращалось и сознание. Наконец ее веки приподнялись, и из-под них сверкнули острые светло-карие глаза, уже сознательно устремленные на склонившихся над ней мужчин. В знак благодарности она часто-часто закивала головой.

— Как тебя зовут? Имя? Как твое имя? — спрашивали они, но она не понимала по-русски, да к тому же, видимо, была туга на ухо, и только поспешно твердила какое-то свое заветное слово:

— Сада... Садага... Садаган кетеин. Садага!..¹

С этого времени они ее называли «Садага» — директор и Новиков решили, что это имя.

— Из какого ты колхоза, Садага? — спросил директор.

— Ждан!.. Жданов!

Путники переглянулись.

— Соседи наши!.. Колхоз как раз возле нашей базы! Это колхоз имени Жданова, что на Жоне?

Они поочередно кивали старушке, тыкали пальцами себе в грудь, а потом в сторону, туда, где по их предположению находился колхоз. «Мы, мол, туда как раз и едем!»

¹ «Садаган кетеин» — «Стану твоей жертвой» (выражение, означающее глубокую благодарность).

Новиков оживился, словно спасение старушки придало ему сил. Вытащив из своего вещевого мешка термос с горячим чаем, он налил ей полную чашку: «Пей, Садага! Будь здорова, Садага!»

Они наперебой угощали ее, подавая то хлеб, то масло, шутили и смеялись, нимало не смущенные тем, что она их не понимала.

Потом они снова тронулись в путь. Местность называлась «Жоном», то есть равниной, но это название звучало злой иронией. Раза три-четыре они оказывались на краю отвесных круч и обрывов, на их пути снова и снова вставали крутые подъемы. Промерзшие рытвины и ухабы словно хватили трактор за гусеницы, глубокие овраги долго не выпускали из своих клещей.

Маленькая старушка, укутанная в большой тулуп, весь день пролежала в вагоне, свернувшись калачиком, и постепенно приходила в себя. Ухабы и рытвины, подъемы и спуски долго швыряли ее из стороны в сторону по полу вагона, и она тихо охала: «О боже мой... Ой, алла!.. Садаган кетеин!»

И только когда глубокая ночь окутала все непроницаемым мраком, впереди трактора замерцали редкие красноватые огоньки. Потом совсем близко возникли силуэты домишек. Пробуждая безмолвие Жона, послышался собачий лай.

— Собачки! Миленькие, родненькие, лайте, бегите сюда! — смеясь, восклицал директор, расправляя онемевшее, истомленное дорогой и холодом тело. Безмерно счастливые тем, что вырвались из мертвого молчания нагорья, путники приближались к заветному крову:

Здесь было всего несколько избушек, всего около десятка дворов, но везде теплились огоньки — аул еще не спал. Навстречу грохочущему трактору выбежали люди. Веселые, оживленные, они вмиг окружили прибывших, обнимали их, говорили все сразу, наперебой:

— Алексей Иванович, родной!..

— Здорово, товарищ директор!..

— Что долго не ехали?.. Соскучились мы тут, стосковались до смерти...

— Боялись, заблудитесь в буран, пропадете!..

Директор крепким словом помянул путешествие.

— Думали, ноги протянем! А вы-то все живы? С голоду никто не помер?

— Голодные, как собаки!.. Хлеб еще вчера кончился... Третьи сутки без горячего!

— Хлеба привезли? Продукты доставили?

Мужчины и женщины гомонили разом.

— Все, все есть: и хлеб, и мясо, и масло, и крупа, и еще кое-что найдется, — смеялся Новиков. — Теперь уж поживете всласть, не помрете!

— И не только вы! Вон старушка Садага совсем было богу душу в степи отдала, замерзла, а и та, глядите-ка, живехонька! — И директор отодвинул тяжелую дверь вагона. Завернувшись в тулуп, старушка сидела на корточках на полу.

— Мама! Мамочка дорогая! — раздался отчаянный крик, и молодая казашка метнулась из толпы к старушке.

— Мама моя! Жива, родная! — К вагончику бросился чернобородый казах в лисьем малахае.

Тут только обнаружилось, что в толпе, встречавшей директора, были и местные колхозники — казахи. Казалось, старушка всем доводилась родней: кто кричал «мама», кто — «тетя», одни называли ее почтительно «Сака», другие дружески — «Сақыш».

— Ты жива, дорогая, а мы по тебе уж отходную читали!

— Весь колхоз на конях два дня тебя ищет, все кустики обшарили. Смеющиеся и плачущие от радости старики и юноши, пожилые и мо-

лодухи, девчѳнки и мальчишѳки гомѳнили, как на базаре. Колхозник в лисьем малахае, Сальмен, держал старушку Сақыш на руках, как ребенка, а она сквозь слезы говорила:

— Ни от дегей своих, ни от мужа, ни от сѳмого господѳ бога не видела я такого добра, как от этих двух русских. Милые мои детки, ведь я уже умирала... Отходную прочла, и под снегом меня похоронило. Это они меня из могилы подняли, в мертвое тело мое душу живую вдохнули! Все, кто почитает меня, в вечном долгу перед ними. Садаган кетейн! — И обеими сухонькими ручками она схватила руку директора, пытаясь прильнуть к ней губами.

— Э, нет, так не годится, Садага! — Директор смутился и, смеясь от волнения, тихою рукой отнял руку. — Так не нужно! — Он крепко обнял старушку и бережно, неловко похлопал ее ладонью по спине.

Некоторое время спустя в небольшом казахском ауле завершилась история дорожного знакомства директора совхоза со старушкой Сақыш: жители десяти домов поселка разместились в пяти и освободили остальные пять домов для работников совхоза, которые, за неимением другого жилья, ютились в холодных брезентовых палатках. С горячими словами благодарности колхозникам новоселы гурьбой перетаскивались на новое место.

Местные колхозники вообще с первых же дней встретили работников совхоза по-дружески, во всем старались помочь им. Они варили пришельцам еду, в любое время ставили самовары и зазывали в гости — душу чайком погреть... Можно ли было рассчитывать на бѳльшее? Ведь суровая зима тяжело давалась и самим колхозникам — жили тесно, терпели лишения...

А теперь, в знаѳ дружбы и благодарности за спасение «мѳтери колхоза», они сделали, казалось, и невозможное: дали кров сорока человекам. Новоселы радовались и благодарили хозяев так, словно те уступили им не тесные избушки, а пышные хоромы.

Несколько дней назад, когда на эту холодную, неприятную возвышенность прибыли первые три машины с новоселами, они чувствовали себя одиноко, неуютно. Понимая, что главное в эту стужу и буран — спасение людей, директор решил прежде всего перебросить сюда теплушки. Первую теплушку и притащил сегодня трактор «ДТ-54». Ее ждали те, кто должен был составить ядро будущего совхоза: агрономы, главный инженер, секретарь партийной организации, комсомольские работники, механизаторы, трактористы, комбайнеры... Именно они, вверившие свои судьбы и свои знания, свое настоящее и свое будущее невысокому человеку с худым обветренным лицом — директору совхоза Алексею Ивановичу Строгову, — представляли собой сегодня совхоз со звучным именем «Туркестан», совхоз, основанный на пустынной равнине Жѳн, Сары-Суйского района, Джамбулской области.

Главное — это кров

На следующий день небо по-прежнему оставалось хмурым, в морозной степи гуляла колючая поземка.

Хорошо выспавшийся и отдохнувший, Строгов с утра принялся за осмотр колхозных дворов. Он пригласил с собой и секретаря парторганизации — розовощекого казаха Турсунова.

Несколько дней люди ничего не делали и теперь с жаром набросились на работу. В пяти дворах, которые колхозники временно уступили новоселам, закладывался фундамент новой жизни. Специалисты, комсомольцы, домашние хозяйки — все стремились устроить жизнь как можно лучше, красивее, как можно рациональнее использовать каждую комнату, каждый уголок двора, чуланчик — лишь бы была кровля над головой.

В одном дворе разместилось отделение связи. Здесь же отвели комнату под врачебный пункт. В другом дворе разбил свою палатку кооператив, а неподалеку устроили кухню.

Две комнатки небольшой избушки Турсунов отвел под кабинет директора и контору. Это было как бы первичное ядро совхоза: директор, главный агроном, главный инженер, партийная организация, комитет комсомола, профсоюз. Казалось бы, и тесно и неудобно, но даже неудобства эти были сейчас милы сердцам людей: ведь здесь начиналась жизнь их «Туркестана».

Палатки, привезенные первыми новоселами, — белесые, светло-голубые, серые — расположились вокруг пяти колхозных дворов, а посередине был установлен прибывший ночью красный вагон. Над его крышей призывно, как флаг, развевался густой дым, словно приглашая людей к первому очагу.

Своими ладно сработанными и точно пригнанными деталями, яркой свежей окраской, прозрачными оконцами и чистыми ступеньками у входа, всем своим видом выделялся на общем фоне этот вагон — радостный признак наступающей новой жизни.

Труднее всего в эти дни было с топливом. Но и здесь выручили колхозники. Они поделились с новоселами дровами, кизяком, хворостом,

От имени работников совхоза парторг Турсунов поблагодарил колхозников, произнеся перед ними по-казахски целую речь. В этой речи были торжественные и высокие слова, были слова дружбы и признательности, и все они шли от самого сердца.

После этого коротенького собрания Строгов стал снова собираться в путь. По вчерашней дороге ему предстояло добраться до станции Шолактау, находящейся в девяноста километрах от совхоза. Это была конечная железнодорожная станция. Туда приходили грузы для «Туркестана», туда же из Джамбула и Ташкента прибывали для работы в совхозе все новые и новые партии людей. Чем встретить их? Где разместить? Ведь для этого потребуется не менее десяти — пятнадцати теплушек, таких же, как та, первая.

Но у Строгова уже был некоторый опыт, и он подсказал выход: пускай прибывшие на Шолактау тракторы пойдут в совхоз своим ходом с теплушками на прицепе. Так же, как трактор Новикова, они сразу включатся в работу.

Он поделился этим планом с главным инженером, с главным агрономом и парторгом Турсуновым. Они поддержали.

Направляясь к машине, ожидавшей его у красного вагона, Строгов увидел, как из машины вдруг выпрыгнула Нина Петровна, агроном совхоза, но, не отойдя и трех шагов, снова вернулась, припала к груди шофера и навзрыд заплакала.

Крупное лицо шофера потемнело, горькая складка легла меж нахмуренных бровей. Оба они, и мужчина и женщина, казались застигнутыми внезапной бедой.

Строгов быстро открыл дверцу кабины, подсел к шоферу, обнял его, слегка погладил женщину по склоненной голове.

— Ну, что ж теперь делать, Нина Петровна, золотая вы моя! Слезами-то не поможешь. Крепитесь! У вас дочка осталась, Надя. Берегите ее...

Нина Петровна подняла заплаканное, разгоряченное лицо. Шофер отвернулся: из его глаз потекли крупные, тяжелые слезы. Отрываясь от мужа, Нина Петровна в упор посмотрела на Строгова.

— Я ничего... Я и Васе советую: ты дома не сиди. Ты садись за руль и поезжай с Алексей Ивановичем. Я ему так и говорю: что толку со мной сидеть, плакать да горевать? Лешу-то не вернешь, нет его теперь... Поезжай, Вася милый... Обо мне не беспокойся... Поезжайте! Поезжайте! — говорила она быстро-быстро, словно уговаривая и себя и не

успевая подбирать другие слова.— Мы ведь сюда не горевать приехали, мы сюда вытерпеть, вынести, все преодолеть приехали. Поезжай, миленький Вася, поезжай!

«ГАЗ-69» рванулся с места и помчался той же дорогой, которой на днях прибыл трактор. На заднем сиденье молча сидел тракторист — комсомолец Ткаченко, которого Строгов взял с собою для приемки машин.

— Благодарю свою Нину Петровну за мужество, за доброе слово. Благодарный она у тебя человек! — сказал растроганный Алексей Иванович.— Трудно ей, тяжело ей, ведь она мать. И кто же знал, что случится такое горе, что придется сына в чужом краю схоронить? А я тебя благодарю, Вася, за безотказную работу твою. Твое горе — мое горе. Мы с тобой старые друзья, много вместе пережили, переживем и это. А если я что смогу...:

Вася крепко потряс ему руку.

— Было, всякое было,— промолвил он с горечью и, устремив глаза на дорогу, погнал машину.

Они и вправду были старыми друзьями и немало пережили вместе. Лет пять назад, когда Строгов был директором Чеховской МТС, под Москвой, в его кабинете неожиданно появился высокого роста молодой человек со скуластым восточным лицом, в элегантном синем пальто, мягкой серой шляпе и черных перчатках.

Это и был демобилизованный из армии шофер первого класса Василий Захарович Матайбаев.

В 1931 году он, семилетний казахский мальчик, осиротел и воспитывался в детском доме в Семипалатинской области, а затем в школьном интернате. Потом ушел в армию... Потом началась война... Вернувшись, работал под Москвой, неплохо зарабатывал. Там встретил он Нину, которая училась на агронома. Они полюбили друг друга, поженились...

В МТС, где работал Строгов, супруги прибыли уже специалистами: он — отличный шофер, она — знающий агроном.

В Чеховской МТС они проработали пять лет. Там родился у них сын Алеша. Хорошо жила эта семья — дружно, ясно, просто. На берегу лесного озера, окруженный высокими соснами, стоял их маленький домик. Семья Строгова подружилась с Матайбаевыми, часто они навещали друг друга, сблизились.

Но вот в начале прошлой зимы Строгова пригласили в обком. От имени Московской партийной организации ему предложили поехать на целину. Трудностей не скрывали. Строгов быстро и молча обдумал предложение. Он понимал, как круто должна была измениться вся его жизнь, но, не выходя из кабинета, сказал:

— Я согласен...

Разговор с женой оказался нелегким: были и слезы, и бурные упреки, и категорические возражения. Но Строгов все же собрался в дорогу. Из всех сотрудников МТС он обратился к одному лишь Матайбаеву.

— Я еду в Казахстан, на твою родину. Говорят, что нам отвели суровые и холодные земли, плохо приспособленные для жизни. И возможно, в первые месяцы нам придется пожить в первобытных условиях. Но все-таки я еду! И не для того, чтобы через год вернуться... Мне в Московском комитете так сказали: «Сам будешь хорош — и земля к тебе будет хороша!» Кто знает, может, и в самом деле там мое счастье! В спутники я могу взять только человека верного и энергичного, так что агитировать никого не буду. Никого силком за собой не потяну. Жену с семьей оставляю здесь. Захотят — сами придут, встречу с радостью, не захотят — уговаривать не стану. Но только я ведь знаю: захотят, придут... А вот тебя зову. Поедешь со мной?..

Матайбаев и минуты не думал, так загорелся он предложением Строгова. Конечно, здесь оставалось благоустроенное гнездо, привычно нала-

женная жизнь, а впереди — и лишения и тяжелые дни. Но только одно условие он поставил перед Строговым, готовый идти за ним хоть на край света:

— Край, куда лежит наш путь,— моя родная земля, а значит, и детям моим наполовину родина. Но только я не могу сбидеть Нину. Мы с ней дали друг другу слово ничего не делать, не посоветовавшись. Но я так думаю: она согласится. Ведь она агроном, и агроном хороший. И моим детям она мать. Так что, надеюсь, поедет!

И Вася не ошибся.

Во время вечернего чая Нина выслушала доводы мужа, молча обдумывала их, то наливая чай, то убирая и подавая посуду. Потом, подсев к Василию, обняла его за плечи и сказала:

— Что же, Васенька, поедем с Алексеем Ивановичем... Я согласна...

А теперь она, сраженная горем мать, проводив мужа в дорогу, осталась в поселке.

Василий Захарович гнал свой «ГАЗ» с такой скоростью, что после обеда они уже прибыли в Шолактау. И здесь их охватила лихорадка работы. Время не ждало: кончался февраль, а к пахоте в этих краях приступают в начале марта. Поток людей, оборудования, машин затоплял Шолактау, и только то, что среди прибывающих сразу находились водители, облегчало положение. Строгов сажал их на машины, грузовики, тракторы, самосвалы: следил, чтобы они брали с собою достаточное количество продуктов и всяческого оборудования для устройства на территории совхоза всех, кто приезжал. Вместе с Матайбаевым и Ткаченко он проверял все, вплоть до комплектов постельных принадлежностей; на каждого новосела должно хватить и еды, и дров, и одеял.

За четыре дня, в которые караваны тракторов и автомашин вереницей тянулись по Жону, Строгов и Василий дважды побывали на базе.

Когда в последний раз они ехали из Шолактау, Строгов, глянув сбоку на Матайбаева, вдруг удивился: до чего же изменился парень за эти дни и ночи, пускай бессонные и горячие, даже голодные — бывало и так!..

Лоб и щеки Василия почернели, а крупный нос еще резче выделялся на осунувшемся лице...

Нет, это не от бессонницы, не от усталости... Видно, тоска по пятилетнему Алеше, видно, неизбывное отцовское горе подтачивали Василия. И какая при этом выдержка, какое спокойствие!..

Глядя на исхудавшего, измученного Васю, Строгов подумал, что надо бы дать ему отдых.

— Уж которые сутки мы не высыпаемся,— обратился он к шоферу.— Давай-ка, Вася, здесь, в Актогае, сделаем остановку да часика три поспим. Как ты на это смотришь?

Матайбаев понял хитрость директора и решительно запротестовал:

— Нет, Алексей Иванович, что же это такое, зачем?.. Да я и не устал вовсе...

Он расправил занемевшие плечи и, словно набравшись новых сил, прибавил скорость.

В воздухе холодало, потянуло морозным ветром. Поравнявшись с сопкой, где была найдена старушка Сакыш, они увидели мощный трактор, который, как и тогда, тащил красный вагон. По предположениям директора, это был уже пятый, и вел его комсомолец Ткаченко.

Когда машина, глубоко ныряя в сугробы, обогнала вагон и поравнялась с трактором, Строгов вышел из кабины.

Посиневший, с опухшим от ветра лицом, Ткаченко казался совершенно окоченевшим,— у директора от жалости даже сердце зашлось. На парне не было и мало-мальски подходящей одежды: стеганая фуфайка, старенькие брючишки да стоптанные сапоги.

— Да ты ведь, поди, закоченел совсем! — воскликнул Строгов. — Почему же не сказал, что тебе надеть нечего?..

Сорвав с себя толстый и широкий вязаный шарф, которым поверх воротника полущубка повязывал лицо и шею, Строгов укутал им плечи Ткаченко. И тут, к удивлению директора, парень широко улыбнулся.

— Ничего, товарищ директор, все в порядке! — и бесшабашно тряхнул головой. Он был, казалось, неуязвим, в нем пылал огонь молодости. И, глядя на него, впервые за эти дни тихонько рассмеялся Василий.

Строгов хорошо его понял: действительно, Ткаченко мог внушить и чувство бодрости, и любовь, и гордость... С такими можно жить и работать!

Молча, кивком головы, простившись с Ткаченко, он сел в машину.

К утру Ткаченко прибыл на базу, притащив за собой красный вагон.

Слабые солнечные лучи, прорвавшиеся после обеда сквозь серую пелену, вселили немножко радости в сердца людей. Потом просвет в тучах увеличился, солнце осветило все кругом, и тогда люди увидели первую на Жоне улицу, образованную двумя рядами красных вагонов. Десять вагонов! Из труб клубами валил дым, видно было, что в поселке уже есть теплые гнезда.

К вагонам примыкал целый городок палаток. Белые, желтые, голубые, они весело пестрели в лучах солнца. Хотя палатки были сделаны трехслойными — брезент, сукно и белая ткань, — в эту студеную пору в них было не очень-то тепло. И все же это был кров над головой.

В каждой палатке стояли аккуратно заправленные койки, все сверкало безукоризненной чистотой и новизной...

Так на безлюдной Жонской возвышенности, возле десятка незavidных избышек, разрасталось ядро нового поселка. Быть может, он выглядел еще неказисто, но ведь это было лишь самое начало большой развивающейся и растущей жизни.

Первая борозда

Наступил март, а зима все еще не покидала Жон. Солнце едва пригревало, снега сходили медленно.

На базе будущего совхоза работало уже около ста человек — примерно третья часть всех необходимых людей. С нетерпением ожидали остальных.

Каждый день Строгов говорил по селектору с Шолактау, справляясь, не прибыл ли кто еще. Он тревожил и руководство областного треста совхозов и обком, возмущался, бранился: люди явно опаздывали!

Необходимо было срочно приступать к пахоте, ко всем плановым работам, а областные организации и Министерство совхозов не выполняли своих щедрых обещаний, становились тормозом в больших делах этой и без того трудной весны.

Однажды, во время очередного разговора с обкомом, Строгов сгоряча помянул имя одного из членов ЦК, который лично напутствовал целинников и обещал им свою помощь.

— Не можете вы — придется и впрямь обратиться к нему! — в сердцах пригрозил Строгов и тут же подумал, что угроза эта была, пожалуй, излишней, ненужной.

Так или иначе, но этот разговор возымел свое действие: той же ночью областные организации поставили Строгова в известность, что в его распоряжение направляется значительная группа добровольцев с Кавказа, в частности из Армении.

Строгов решил приступить к пахоте и сообщил об этом новоселам.

Народ оживился. После завтрака в теплушку, где Строгов сидел в это время с главным агрономом и еще несколькими работниками, ввалилась

группа трактористов. За Новиковым и Ткаченко протиснулись комсомольцы Целигородцев, Кокорев и Попов. Перебивая друг друга, они говорили:

— Давайте начнем, товарищ директор...

— Доколе ждать у моря погоды, товарищ Строгов!.. Давайте пахать!..

— Дозвольте приступить — машины готовы!..

Для всех тракторов трактористов хватало. Накануне они уже были сгруппированы в первые четыре бригады. На лицах вошедших Строгов читал страстное нетерпение взяться за дело.

Директор знаком подозвал главного агронома Трегубова. Вместе с ним из соседней комнаты появились Вася и Нина Матайбаевы.

— Ну, что скажете? — обратился к ним Строгов. — Видите, и моторы наши, и специалисты сами стучатся в двери. Так начнем или повременим?

— Да ведь снегу-то еще многовато! — с сомнением проговорил Трегубов, не решаясь высказаться впрямую.

Нина тоже колебалась:

— Не знаем мы местных условий. Посоветоваться бы со здешними людьми.

Ее поддержал Трегубов:

— Какой здесь характер таяния, долго ли распутица бывает? Мало мы еще знаем Жон, да и вообще-то область эту мало знаем. Посоветоваться бы и впрямь не худо!

— А ну, обождите, ребята! — Строгов задержал трактористов. — А ты, Вася, пригласи-ка сюда старожилы из колхоза.

В подобных случаях Вася был незаменимым помощником Строгова — ведь он еще помнил свой родной язык, и хотя речь его местным жителям казалась нескладной и даже смешной, все же они его понимали.

— Сейчас я вам соберу целый аксакальский совет, совет белобородых! — живо откликнулся он на просьбу директора.

И пока Вася бегал в аул, Нина рассказала, что аксакальский совет — это совет старейшин, а цвет бороды тут ни при чем.

Трактористы весело смеялись.

Когда Вася вернулся с колхозниками, вагон оказался тесным для собравшихся, и все вышли на улицу.

Имена прибывших аксакалов звучали в рифму: Альмен, Бармен и Сальмен. Все они были родственниками старой Сақыш. Чернобородый Сальмен приходился ей сыном, а двое других — деверьями. Бороды у них были хоть и с проседью, но еще отнюдь не белые.

Пришла и бодрая, говорливая и проворная Сақыш со своей морщинистой, тощей и смуглой подружкой Асель и двумя старичками — Досаном и Есеном, которые тоже состояли с ней в каком-то отдаленном, но кровном родстве.

Строгов встретил их с радушной улыбкой:

— Ну вот и аксакальский наш совет и его председатель Садага!..

Он долго тряс руку старой приятельницы, а она в знак дружбы кивала ему головой, приговаривая: «Садага, садага!»

Пошли расспросы: какая тут земля, да какая весна? Досан, Альмен и Сальмен отвечали степенно, сдержанно, не сразу, а сначала посоветовавшись между собой. Зато когда они говорили, то уж их поддерживали обе старушки и Есен с Барменом. Вася переводил.

По их словам выходило, что так как земля здесь, на возвышенности, быстро просыхает, то пахать надо пораньше, пока снег еще не совсем сошел. И хотя они твердят об этом каждую весну, но окрестные колхозники их не слушают, запаздывают с севом, плетутся в хвосте. И еще они говорили, что в этих местах вода глубоко в почву не проникает; не верите — раскопайте примерно на метр, и вы не увидите там ни капли влаги. А из верхних слоев она испаряется, едва пригреет солнышко.

Строгов с интересом прислушивался к старикам, каждое слово которых было продиктовано многолетними наблюдениями, жизненной мудростью.

— Так что ж ты скажешь, Садага? — спросил он, дружески похлопав приятельницу по сторбленной спине. — Советуешь сегодня пахоту начинать?

Тут вмешался Вася со своим переводом.

— Благословлять будешь? — спросил он и быстро провел ладонями по своим щекам, словно становясь на молитву. — Молиться будешь?

Ему явно не хватало казахских слов, но старуха поняла его и, смеясь, закивала головой:

— Ну, сейте, хорошо сейте! Да поможет вам Дихан-баба, покровитель хлебопашцев, благослови господь!

И вот Ткаченко, прицепив к своему трактору плуг, выехал, чтобы провести пробную борозду. Увлекая за собой трактористов и агрономов, Строгов шел вслед за трактором, измеряя складным метром глубину вспашки. Время от времени он просил остановить трактор, углубить борозду. Проверив влажность земли на разных участках, все убедились в том, что старики правы: на глубине шестидесяти — семидесяти сантиметров почва была совершенно сухой, влага впитывалась не более чем на сорок сантиметров.

Только после этой тщательной проверки Строгов объявил трактористам свое решение:

— Есть добрая русская пословица: «Сей в грязь — будешь князь», — сказал он. — Аксакальский совет дело нам говорит. Спасибо ему, и вам спасибо, товарищи трактористы, что проявили инициативу, большое спасибо! Теперь вы, товарищ Целигородцев, садитесь на ваш «ДТ-54» и ведите первую борозду.

— Есть, провести первую борозду! — чеканно ответил Целигородцев.

Через несколько минут почти все работники совхоза с веселым шумом собрались у помещения бригады Мальца. Сюда же прибыли и колхозники со Ждановской фермы — все от мала до велика! Торжественно, перед лицом всех собравшихся, началась прокладка первой борозды первого на Жоне целинного совхоза «Туркестан».

Впереди оживленной ватаги двигался трактор Целигородцева. Жирные, блестящие на солнце пласты чернозема, перемешиваясь со снегом, отваливались из-под плуга.

На следующий день на участке этой бригады первую борозду провел тракторист Воробик. Заняли свои участки и приступили к пахоте и две другие бригады.

Вместе с Трегубовым и Ниной Петровной Строгов на своем «газике» целый день объезжал поля. Холмы и долины Жона, даже его скаты, лога и овраги — все было разделено на огромные квадраты. Далеко вокруг слышалась ритмичная музыка мощных машин, вскрывавших дерн и круто выворачивавших пласты почвы.

Три дня пахоты дали ощутимые результаты. Впереди всех трактористов оказался Целигородцев. С первого же дня он выполнял три нормы. За ним шли трактористы, дававшие по двести процентов плана, и ни один из начавших пахоту не делал менее чем полторы нормы.

К вечеру третьего дня, когда Целигородцев, закончив работу, собирался ехать на базу, к нему подошли Строгов, бригадир Малец и секретарь комсомольской организации — долговязый механик Геннадий Безродный.

— А ведь я сначала сомневался, — раздумчиво заговорил Строгов, вспоминая свои недавние колебания. — Думал, не рано ли начинаем. Выходит, что нет! Трактор Целигородцева с треском выгнал с Жона зиму. Заметили? И погода-то стала теплее, и снег изрядно подтаял!..

— Земля подсказывает! — смущенно пробасил Целигородцев. — Не зря трактористы весну почувяли!

Нина Петровна улынулась, а Безродный поддержал тракториста шуткой:

— Кто зеваает, тот воду хлебает, верно? Вот инженеры и агрономы не проявили инициативы, замешкались, а вы оказались смелее, потому-то вы и впереди.

— Да вовсе мы не замешкались, — возразил Трегубов. — Это инженер Богданов советовал нам повременить...

— Богданов — инженер молодой. Возможно, ему и незнакомы старые традиции, — не согласился Строгов. — Ну да ничего, мы с Богдановым свои традиции создадим, новые!

На улочках нового поселка, на площадках у временных жилищ — всюду кипела в эти дни дружная работа. Тут были трактористы, механики, шоферы, строители, электрики, водопроводчики... Народ понемножку прибывал, и все же людей еще не хватало.

После трех дней пахоты у столовой новорожденного совхоза собралась «летучка», чтобы наскоро подвести первые итоги.

Кратко сообщив о том, что уже сделано, Строгов заговорил о неотложных делах ближайших дней и прежде всего о необходимости перехода на круглосуточную пахоту.

— Не станем ждать, пока снег окончательно растает, — сказал он. — Давайте закрепим за каждым трактором по два тракториста. А бригадиры пусть сегодня же к вечеру дадут им задания...

Недостаток в рабочих руках ощущался очень остро. Особенно нужны были трактористы. Об этом говорили и агрономы, и бригадир Малец, и инженер Богданов. В их выступлениях звучали тревога и даже укор, хотя они и знали, что никто из присутствующих, в том числе и директор, не повинен в том, что люди так запоздывали.

Трактористы горячо говорили о том, что тревожило их, мешало им в эти первые дни весенней страды. Дошел разговор и до столовой; она явно не справляется со своим делом. Людям, которым дорога каждая минута, приходится много времени тратить на еду. В ожидании лучших времен столовая все еще ютится во дворе Сальмена. Столы стоят всюду, даже в сарайчике, а все равно больше ста человек накормить невозможно, да и этим-то приходится выстаивать длинные очереди. Когда же работать?

А общежития? В них как следует не отдохнешь — холодно. Питьевой воды, пусть хоть мутной, и то не хватает. Медпункт по существу не может оказать больным необходимую помощь, плохо оборудован, мал. Снабжение тоже неважное, нет даже табака. Работники торговой сети возятся-возятся, а магазин все еще не открыт. Но ведь действительно, не продавать же товар прямо из мешков да в руки. А расположиться как следует негде.

Все это было так, и ни спорить, ни оправдываться здесь не приходилось. Да Строгов и не собирался. Наоборот, он еще и от себя кое-что добавил, честно вскрывая недостатки в организации быта целинников. И тут же рассказал о том, что и когда будет сделано, чтобы выправить положение. После этого собрания, не медля ни часу, Строгов решил выехать в Шолактау, чтобы там добиться всего необходимого, всего, чего не хватало людям совхоза.

Стояли страдные, горячие дни, когда, как говорится, земля горит под ногами.

По приезде в Шолактау Строгов оставил Васю отдыхать, а сам ушел по своим делам. Ночью в машине он подремал немного и сейчас чувствовал себя бодрым, свежим.

В молодости Стрѳгов учился на факультете механизации и электрификации, и потому многие механизмы он знал так же хорошо, как колхозный конюх знает своих лошадей. Да и в Чеховской МТС он всегда сам опробовал новые машины, изучал их, знакомился с каждой деталью.

Устроив Васю на квартире, где они обычно останавливались, Строгов сам сел за руль и тронулся в путь. Поглядывая на ясное небо, он чувствовал, как поднимается его настроение. Погода установилась солнечная, теплая, казалось, весна обещала быть благоприятной.

«Вот бы и на Жоне была такая благодать! — подумал Строгов. — Поддержало бы солнышко наших трактористов!..»

А на Жоне и впрямь выдался солнечный, теплый, благодатный денек. Выворачивая пласты жирной земли, трактористы и прицепщики, каждый на своем квадрате, с любопытством посматривали по сторонам, наблюдая, как властно в этом новом крае весна вступает в свои права.

В бескрайнем прозрачном небе, на головокружительной высоте, пролетали несчетные стаи лебедей, сверкая на солнце своими белоснежными крыльями. Их звучные клики то внезапно замирали вдали, то вновь возникали.

Нине Петровне эти белые караваны казались живым чудом. «Значит, и впрямь существует лебединая песня, только поется она не в конце, а в начале!».

За лебедями тянулись треугольники быстрокрылых уток. Они то шли высоко-высоко в воздушной синеве, то опускались и проносились почти над самой головой.

Многие новоселы еще не знали, что на северном склоне Жона находилось большое озеро Тушиколь. Все его окрестности, все островки, разбросанные на нем, были в эти весенние дни заполнены шумливыми стаями диких уток, гусей, белых аистов. Следом за лебедями все птицы тянулись сюда. Журавли кружили над озером. Стройными рядами, глухо гогоча, пролетали казарки.

С волнением смотрели целинники на перелетных птиц, оглашавших шумом небесные просторы и придававших им оживленный, праздничный вид.

А вскоре на склонах холмов, на солнечных проталинках, покрытых прошлогодним белесым ковылем, стали появляться степные птицы. Трепеща крыльями, слетались чернобрюхие перепела. Попадались и громадные, до смешного неуклюжие, серо-желтые дрофы.

Особенно интересными показались трактористам повадки ранее не известных им стрепетов, глазастых длинноногих пигалиц и дергачей. Эти птицы, казалось, совсем не боялись машин и даже с любопытством наблюдали за дымом тракторов, прислушивались к грохоту. Подолгу неподвижно сидели они на одном месте, как бы наблюдая за работой людей, и можно было подумать, будто они так поглощены движением невиданной армады машин, что даже поклевать забывают.

На пашне эти птицы и сами иной раз напоминают озабоченных, усердных работников: суется, бегают, перелетают с места на место, и за их черными, серыми, бурыми фигурками не уследишь. Когда же вся эта гомонящая птичья стая взмывает ввысь, она выглядит белым облаком — куда девается темное оперенье?..

Далеко к северу от Жона простираются песчаные степи, летом и зимой они служат приютом для многих диких животных. В последние годы в этих песках обитали многочисленные стада степных антилоп — бокенов. На скалистых вершинах Жона, в ближних отрогах Каратау и Алатау, водятся и горные козы и дикие бараны — архары.

Обильные снега, выпавшие этой зимой, надолго задержали весну. Пески тоже были покрыты толстым белым покровом. И вот теперь жители Сары-Суйского и Джамбулского районов стали свидетелями пересе-

ления в эти края несметных стад бокенов. Уже с середины февраля пастухи, находившиеся со своими отарами в открытом поле, проезжие путники и охотники, вышедшие на промысел, стали поговаривать о «великом переселении бокенов». Некоторые видели тысячные стада, другим попадались мелкие группы по десять — пятнадцать голов.

Сегодня, в ясную погоду, когда вся окрестность до горизонта свободно открылась взору, трактористы всех четырех бригад заметили какое-то движение на ранее пустынной, мертвой равнине. Это шли многочисленные стада диких коз. Необузданные дикие животные, завидев рокошующие тракторы, огромными скачками унссились прочь. Дорогу тракторам пересекали стада архаров. Их движения быстры, но необычайно плавны, будто на бегу животные больше всего озабочены тем, чтобы уберечь от толчков свои необыкновенно красивые огромные рога.

За мчащимися бело-серыми антилопами с трудом поспевают только что родившиеся тонконогие детеныши. И все это летит, стремительно летит в одну сторону, словно бесконечная стая птиц.

Вчера еще холодный и чужой, Жон, озарившись голубизной неба и яркими лучами солнца, вдруг показался новоселам теплым, родным.

Прошло всего три погожих, светлых дня, а производительность труда трактористов резко подскочила. Повысилось настроение людей. А тут еще во главе колонны машин, набитых продуктами, инструментом и разными товарами, вернулся Строгов...

Теплые дни, согнавшие последний снег, были использованы полностью. Соорудили и оборудовали полевые станы тракторных бригад. Трактористы имели теперь удобное жилье, горячее питание. Да и на центральной усадьбе жизнь понемногу налаживалась, входила в свою колею.

Однажды в центре поселка появилась стенная газета «Туркестан». Вскоре на полевых станах начали выходить первые «боевые листки». В самых людных местах были повешены доски показателей. На полевых станах, разбросанных на далеких пространствах Жона, по выходным дням устраивали громкие читки газет, а библиотека, приютившаяся на одном из дворов центральной усадьбы, уже имела своих постоянных читателей.

К концу распутицы электрический свет озарил радость жилища новоселов.

Инженер-мелиоратор Гольдин не упустил ни одного родника, ручья, речушки — все взял на учет! Он изучил режим вешних вод, промерил глубины образовавшихся водосбросов.

Строгова очень интересовала эта работа, и каждый раз, когда директор приближался к сухой возвышенности, на которой расположилась центральная усадьба, он напряженно думал об одном — о воде.

В окрестностях усадьбы протекали маленькая речушка Жамансары и большой ручей Учбас. Недалеко был и родник Акбулак.

Инженер Гольдин изучил режим и возможности этих источников водного питания совхоза и ломал голову над тем, в каком же месте поставить запруду, чтобы образовалось озеро. Откуда лучше повести арык для снабжения водой центральной усадьбы? Как распределить воду, чтобы ее хватило и для орошения и для питья?.. Ведь речь шла о той воде, которая впоследствии должна пойти по трубам водопровода в уютные квартиры благоустроенных домов! Директор выслушивал сообщения, соображения и сомнения Гольдина, но не только не тревожился, а, наоборот, был даже очень доволен. «Пытливая мысль работает, стало быть, жизнь наладится, до всего дойдем», — думал он.

...Круглосуточный, жаркий труд новоселов быстро дал свои плоды: план весенней пахоты наполовину был уже выполнен. И как раз в этот момент на дороге, ведущей из Шолактау, показалась густая туча пыли:

это шли новые потоки грузовых машин. Около двухсот человек, которых так давно ждали и в которых так остро нуждались, прибыло в совхоз «Туркестан».

То была большая всеобщая радость. Однако вместе с новыми людьми в Жон прибыли и новые заботы: как обеспечить их всех жильем и питанием? Ведь нехватки и неполадки все еще мешали делу! Так в более или менее устоявшуюся жизнь совхоза, в жизнь, которая стала легче с наступлением солнечных дней, ворвались, вломились новые трудности.

Люди ехали из теплых краев, с Кавказа. Они не были приспособлены к этому суровому климату, надо было оберегать их, думать о них, делать для них все необходимое...

И, отложив в сторону все дела, Строгов и его верный «штаб» в лице главного агронома Трегубова, главного инженера Богданова, секретаря парторганизации Турсунова, комсомольского вожака Безродного и руководителя снабженцев Мендиярова занялись судьбами новых «туркестанцев».

Тучи сгущаются

Долгожданные люди словно принесли с собою плохую погоду.

К вечеру того же дня снова изрядно подморозило, подул студеной ветер, и это еще больше обострило положение: ведь не все еще были как следует размещены, не все успели поесть с дороги, негде было обогреться, отдохнуть... Недовольство, упреки и даже брань неслись в адрес администрации.

Маленькая столовая, в которой и без того вечно была сутолока и стояли очереди, оказалась забитой хмурыми, обросшими в пути, утомленными людьми. Шум, гам, теснота...

Строгов разделил вновь прибывших на группы, прикрепил к ним «старожилов», которым поручил заботиться о новичках. Хорошо еще, что накануне на всякий случай были поставлены ряды запасных палаток. Теперь предстояло разместить в них народ.

Всякое было в этот суматошный, тяжелый день. Но люди, которые серьезно отнеслись к новой обстановке, поняли всю ее сложность, старались смягчить положение. Трактористы Погосян и Геворкян, шофер Казарян, комбайнеры-механизаторы Старовойтов и Агаян — эти быстро нашли общий язык со «старожилами», без лишних пререканий и споров брались за предложенную работу, без стонов и жалоб заняли свои места в палатках: что ж поделаешь, не на курорт ехали! Образуются...

Но были, конечно, и другие. Эти не оставляли Строгова в покое. Пока он, наводя порядок, торопливо ходил от палатки к палатке, бегал в кооператив, в столовую, на бельевого склад, за ним неотступно, по пятам, следовала шумливая кучка недовольных. Кричали, перебивая друг друга, новички, как шквал, обрушивались на директора:

— Хотите нас, как скот, на улице держать, под тряпичным потолком?!

— Не больно-то вы о целине беспокоитесь, раз о людях заботы нет!

— Бюрократ бездушный, людей не жалеет!

— Сами-то небось в вагончиках устроились!..

— Тепленькие местечки позанимали!

— Попробуйте-ка сами — в палатках, где ветер гуляет!

— Весь день голодные, холодные, кипятку и то приготовить не могли!

Так и сыпали, так и сыпали, не давая и рта раскрыть, обступая директора плотным кольцом.

— Да кто вы будете? Фамилии-то ваши как? — пытался он познакомиться, поговорить с людьми, успокоить их.

— Зачем вам наши фамилии? Чтобы потом расправу над нами чинить? — кричал какой-то парень с чубом, выпущенным из-под маленькой кепчонки.

Не отвечая, они все теснее обступали директора и все пуще и пуще галдели.

— Все люди, все человеки, фамилия ни при чем!

— Все по путевкам приехали, все одинаковые, труженики советские, целиннички!

— А вам фамилии подавай!..

Внезапно откуда-то из темноты раздался спокойный, рассудительный голос:

— Погодите, товарищи! Речь идет о теплом жилье? Попробуем, разберемся. Ну-ка, расступитесь, дайте пройти!

И сразу смолкли крики и брань.

Крупный, широкоплечий казах с энергичным открытым лицом шагнул в середину гомонящей, сбившейся в кучу толпы. Как со старыми знакомыми, поздоровался он за руку со Строговым, Березиным, Матайбаевым.

— Товарищ Сандыбаев! — воскликнул Строгов. — Когда приехал? Вот уж кстати так кстати! — И он показал на теснящую их толпу.

Сандыбаев умел говорить с народом, хорошо знал русский язык, и его уверенные, убедительно звучащие слова, обращенные к приезжим, быстро охладили разгоревшиеся страсти.

— Я вас давно уже слушаю, товарищи, — сказал он. — Речь идет о теплом крове. И это, конечно, понятно — прибыли издалека, намерзлись, а ночь наступает холодная. Все понятно! Узнав, что вы выехали из Шолактау, я специально и приехал сюда из Байкадама. И я вам прямо скажу, что вы здесь видите, то и есть! Никто от вас ничего не прячет! Люди вы, надо полагать, разумные — сами поймете положение. А оно трудное! Однако я принял кое-какие меры. Здесь живут колхозники-казахи. Недавно они уже уступили совхозу пять своих дворов со всеми постройками, а сами — десять семейств — ютятся в оставшихся пяти. Только что я с ними разговаривал. Потерпите одну только ночь. Утром колхозники переберутся в летние войлочные кибитки, а вам отдадут все свои избы и дворы. А вы, товарищи Строгов и Березин, немедленно возьмите на учет больных, если они имеются, и тех, кто легко одет. Устройте их потеплее.

— Спасибо за помощь, товарищ секретарь! — горячо поблагодарил Строгов. — Ну, кто говорил, что больной, что озяб, — идем все вместе, список составим на размещение! Идем! Идем! — направляясь к вагону, звал он за собой враждебно примолкшую группку парней.

Только что изошрявшиеся в ругани, сейчас они что-то замешкались и, пятясь, поодиночке рассеялись кто куда.

— Вовремя прилась твоя помощь! — Строгов крепко потряс руку Сандыбаеву. — И как это колхозники согласились?! Ведь самим трудно — дети, старики... А эти что? Здоровые ребята как на подбор!

— Значит, колхозники тебя полюбили, — сказал секретарь. — К тому же казахи — народ гостеприимный. И не этим гаврикам, конечно, они свои дома отдали, а тебе, совхозу! Ты, брат, обязан колхозу имени Жданова, как отцу родному...

— Да ладно, ладно, — весело согласился Строгов. — Я ведь уж говорил тебе: беру шефство над колхозом имени Жданова и условий никаких не ставлю. Даю слово коммуниста. Пусть только совхоз на ноги станет — увидишь: не только ждановцы, а все окрестные колхозники, и из «Учбаса» и из «Амбулака», — все от нас помощь получают. А аксакальскому совету, который так меня поддержал в эту чертову ночь, я по гроб жизни обязан, сам понимаю...

И хотя оба они как будто говорили об одном и том же и во всем друг с другом соглашались, каждый при этом не упускал из виду своего, интересов с в о и х людей, и это хочешь не хочешь, но прорывалось наружу. Поняв это, оба громко и весело расхохотались.

О большой партии людей, прибывших на Жон, Сандыбаев узнал, сидя в своем кабинете, из телефонограммы Джамбулского обкома. Через представителя райкома в Шолактау он был точно осведомлен даже о часе прибытия пополнения и сразу отчетливо представил себе, какие трудности возникнут перед еще не окрепшим совхозом.

Когда-то секретарь райкома полушутя-полусерьезно пообещал Строгову: «В трудную минуту мы с председателем райисполкома Алпысбаевым сразу окажемся около тебя. Глянешь, а мы тут как тут!»

И действительно: за час до прибытия новоселов он уже был в избушке у Сальмена и Бармена. Собрав всех от мала до велика обитателей пяти дворов, Сандыбаев поговорил с ними, объяснил положение и без всякого нажима добился радикального решения вопроса.

— Вам, товарищи, большое-большое спасибо,— говорил он ждановцам.— В лютую зиму, сами терпя неудобства и тесноту, вы уступили свои жилища новоселам. Почему вы это сделали? Да прежде всего потому, что совхоз и вам принесет со временем громадную пользу и всему нашему народу, который еще вчера кочевал. Разве вы не заметили, что с первого момента появления совхоза каждый день открывает вам что-то новое, доселе неизвестное?

— Действительно,— вмешался Бармен, хозяин двора, где происходило собрание.— Действительно, мы много нового увидели.

— Прежде всего,— продолжал секретарь,— вы увидели, что наша с вами жизнь, наши урожаи зависят от машинной техники,— верно я говорю?

И чернобородый Сальмен горячо поддержал Сандыбаева.

— Вот мы, например, пашем, так у нас какими здоровыми комьями земля ложится,— сказал он.— А гляньте-ка на ихнюю пашню: земля пышная, мягкая, как мука.

Досан, Есен, Альмен и Бармен с восхищением защелкали языками, а Сандыбаев пытливо всматривался в их лица, стараясь понять, насколько же глубоко уважение и любовь к новому проникли в сердца его собеседников.

— Ни малейшего огреха не оставляют!

— А как глубоко пахнут!

— По сравнению с совхозной наша пахота никуда не годится.

— А вода? Заметил, как они о воде заботятся? Ведь каждую каплю на учет взяли!..

— Дал бы бог погоду — большие дела сделают, да и не только для Жона,— подытожил эти короткие реплики Сальмен.

Бармен подхватил, глядя прямо в глаза Сандыбаеву:

— Добра от них ждем, товарищ Мардан, думаем — не подведут!

Вызвав колхозников на откровенную беседу, Сандыбаев развивал свою мысль:

— Эти новоселы нам еще и не то покажут, не только как землю пахать, но и как дома строить, больных лечить, за детишками ухаживать. Освещение, отопление, весь быт ваш изменится к лучшему.

— Строгов нам так и обещал,— перебил Сальмен.— За эти, мол, ваши дома, мы вам новые построим.

А Бармен добавил:

— Он говорит, что и школу совхоз для наших ребятишек построит. клуб, кино, больницу и баню.

Тут и Сақыш припомнила один свой разговор с директором:

— Ваши, говорит, домишки ветхие, пожитки незавидные. Колхозники, говорит, должны жить хорошо, культурно! Как встретит, так и скажет: скоро, мол, скоро все к лучшему переменится, все у вас будет скоро. Чуть не молодость мне вернуть обещает,— пошутила она.

И вот в разгар этих разговоров Сандыбаев рассказал собравшимся о деле, за которым сюда пришел. Он сообщил, что в совхоз сегодня прибыла масса людей, что все они сейчас, в сущности, под открытым небом, а это очень осложняет дело. Он осторожно напомнил при этом о добром старом обычае — по весне переселяться в юрты, поближе к речке. Правда, сейчас еще рановато, но ведь иного выхода нет, и потому он просит колхозников оказать дружескую поддержку новоселам — завтра с утра перебраться в юрты, а пять оставшихся зимних дворов временно отдать совхозу.

Хотя и не сразу, но колхозники все же согласились уважить просьбу секретаря.

Сандыбаев сообщил колхозникам о твердом обещании Строгова к осени построить для колхоза имени Жданова новый образцовый поселок. Райком сам будет следить за выполнением этого обязательства. А о теплом гостеприимстве, какое ждановцы оказали новоселам, как о благородном примере узнает весь район.

И только добившись такого решения, Сандыбаев сообщил о нем Строгову.

Теперь, когда основной вопрос был решен, предстояло заняться знакомством с новыми людьми. По опыту других районов Сандыбаев и Строгов знали, что в массе хороших людей, едущих на целину, попадаются и любители легкой жизни.

Строгов вспомнил о бойких парнях, которые сегодня мутили вновь прибывших. Такие могут дурно повлиять на молодежь. Правда, все они прибыли на целину по путевкам, но ведь в иных организациях путевки выдавались всем без разбору, а от таких ребят многие руководители только и ищут способа отделаться. В общем, в каждом благородном деле есть свои трудности, как говорится, репейник, который цепляется за подол.

Организаторы совхоза ясно представляли себе, что зерно зерном, но совхоз должен стать и очагом социалистической культуры, должен стать примером как в ведении хозяйства, так и в области морали. И потому никоим образом нельзя проходить мимо таких безобразных явлений, как сегодняшнее поведение хулиганов, игравших на временных бытовых трудностях.

Оставшись один, Строгов, как был, в одежде, свалился на свою жесткую койку, но беспорядочные, тревожные мысли не дали ему уснуть.

Жизнь на Жоне непрестанно менялась. Как теплый весенний день уступал свое место темной холодной ночи с морозным ветром, так и окрыляющие надеждой удачи сменялись неприятностями, срывами. Из огня да в воду, то в жар, то в холод бросало директора. И, засыпая, он все еще видел перед собой горящие злобой глаза и сверкающие в оскале зубы парня с чубом, слышал грубый голос другого, обидные, несправедливые упрёки третьего...

Репей цепляется за подол

Колхозники сдержали слово. С утра, установив свои юрты, они перебрались туда со всеми пожитками. Не медля и часа, Строгов осмотрел все углы и закоулки оставленных пяти дворов, велел залатать все прорехи, застеклить разбитые окна. Во всех мало-мальски пригодных для жилья помещениях были настланы деревянные полы, в будущих общежитиях сколотили нары, установили койки. И те, кто вчера отказался жить в палатках, уже к вечеру могли переселиться.

Большой сарай приспособили под столовую: хорошенько отмыли и побелили стены, обили клеенкой потолок, из длинных досок сколотили столы и лавки. Получилось довольно приличное помещение, где одновременно могли обедать человек пятьдесят — шестьдесят.

Еще с вечера Турсунов стал группками собирать коммунистов и беседовать с ними. Безродный провел комсомольское собрание. Выявлялись специальности вновь прибывших, производилась разбивка на бригады. Механизаторы и агрономы присматривались к людям, сообщая свои соображения Строгову. С шоферами беседовал Вася Матайбаев: кто они, откуда, где работали, как кого зовут?

Трактористы Новиков, Целигородцев, Воробик и Ткаченко знакомись с своими товарищами по профессии. К этому времени совхоз уже засеял половину всей посевной площади. Предстояло быстро и хорошо завершить эту работу.

Об этом говорили Строгов и Березин на общем собрании, которое созвали, завершив устройство новоселов.

Трактористы Петросян и Давтян, шофер Казарян, механизатор Старовойтов сказали, что прибыли на Жон не как сезонники, а на постоянное жительство.

Часто поглядывая на собравшихся своими горячими черными глазами, Петросян поделился с товарищами своей заветной мечтой, мечтой творческого человека, считающего себя посланцем солнечной Армении в Казахстане.

— Я привез сюда из родного Еревана подарок, символ дружбы наших республик. Это веками взращенная на моей солнечной земле лоза винограда. Никогда раньше здесь не выращивали фруктов, а я своими руками посажу и выращу виноград. И пусть его лоза будет лозой нашего братства, а его плоды — плодами нашей дружбы и нашего труда!..

Собрание бурно аплодировало черноглазому смуглому парню, который первым сумел выразить дружеские чувства, уже зарождавшиеся среди этих людей.

Однако и здесь резкой, фальшивой нотой прозвучали выступления трех парней, которых еще вчера заметил Вася Матайбаев в толпе, осаждавшей Строгова. Они и сегодня держались обособленно и выступали друг за другом.

Первым говорил Шарафьянов — огромный детина с блестящими глазами и выступающей вперед массивной челюстью. Вторым — румяный, чернобровый Агабеков с наглыми сероватыми глазами и редкозубой усмешкой, третьим — атлетически сложенный, большеголовый и курносый Мотов.

Сегодня они пели ту же песню, что и вчера.

— В этом совхозе ни о чем, кроме машин да семян, не думают! До человека и дела нет никому! Загнали нас в хлевы да в курятники, где и свинья-то жить не стала бы. И это называется «заботой о человеке»? И это — «своевременно принятые меры»?

— А что было бы, если бы колхозники над нами не сжалились, свои развалюшки нам не уступили? Ведь и жратвой до сих пор нас не обеспечили! А теперь нарочно на мелкие группки дробят, чтобы в холодные палатки, а то и вовсе на мороз выгнать?!

— От имени всех двухсот вновь прибывших мы требуем директора к ответу. Куда вы нас привезли? — горланили они, без конца повторяя одно и то же.

Шарафьянов, задавший тон этим кляузным речам, все больше распалялся. Вскочив с места, он орал, махал руками и то и дело тыкал огромным пальцем в сторону Строгова:

— Всю ночь напролет двести человек — двести человек! — коченели на морозе в палатках! Люди кашляют, простудились, больны! Вы за это еще ответите!

Эти истерические крики раздражали и наконец вызвали негодование большинства собравшихся. Один за другим люди брали слово и говорили, что прежде всего никто не знает этих троих и никто не поручал им выступать от имени большинства.

— Мы знали, что едем на целину, а стало быть, не ждали готовенького, знали, что все надо сделать своими руками. Если же шарафьяновы еобирались на курорт и рассчитывали на дворцы да хоромы, то они перепутали адрес.

Эти насмешливые слова Геворкяна собрание встретило веселым хохотом и шумными аплодисментами. Горлопаны были посрамлены.

И все же Шарафьянов не был одинок. Вглядываясь в лица собравшихся, стараясь уловить настроение людей, Строгов заметил еще человек десять, которые хотя и сели подальше друг от друга, но были связаны единым стремлением — поддержать крикунов. То тут, то там раздавались одинокие возгласы:

— Правильно, Шарафьянов! За всех говори!

— А ты, видно, рад, что тебя в хлев загнали! — злобно крикнул кто-то Геворкяну.

После выступлений Турсунова и Березина, терпеливо разъяснявших положение, Строгов предложил закрыть собрание, сам ограничившись лишь коротким словом, в котором заверил людей, что сделает все возможное для улучшения их жизни.

Это было в характере Строгова: длинным речам он предпочитал реальные дела.

Но вот и новички приступили к работе. И тут-то Шарафьянов, Агабеков и их дружки раскрылись полностью. Прежде всего оказалось, что они не имели никакой профессии — ничего не знали и ничего не умели.

Всеми правдами и неправдами стремясь зацепиться на центральной усадьбе, они быстро «перековались», не переставали твердить о своей сознательности, о том, что приехали по доброй воле поднимать целину, и так далее и тому подобное.

Один прибился к строителям, другой — к электромонтерам, третий устроился около киномеханика.

Строгов считал, что это даже лучше: пусть остаются на центральной усадьбе, на глазах. Иногда он пытался беседовать то с одним, то с другим, вызывая на откровенность, стараясь узнать об этих парнях побольше, чтобы легче было «подобрать к ним ключи»...

На первых порах Шарафьянов и вся его группа словно бы подтянулись. Они всячески выказывали свое усердие и готовность трудиться. Однако через некоторое время, по наущению Шарафьянова, Мотов, Пыжов и Агабеков стали требовать у Строгова денег. По их словам, у каждого из них на родине остались либо старушка мать, либо жена с ребятишками, все разутые-раздетые, голодные и холодные. Да и самито пообносились, говорили они и при каждом удобном случае демонстрировали свои дыры и заплаты, настойчиво внушая директору, что находятся в куда более тяжелом положении, чем все другие новоселы.

Строгов выплатил им подъемные, надеясь этой уступкой успокоить их, сосредоточить их внимание на работе. И действительно, какое-то время они вели себя скромнее, трудились добросовестнее.

Наступило пятое апреля. На тысячи гектаров распростерлась поднятая целина. Казалось, весь бескрайний простор Жонской равнины покрылся черным бархатом.

Это была первая крупная победа совхоза. Люди, которые в лютую службу пришли в снега этого пустынного, необжитого края, не только закрепились здесь, но и заметно продвинулись к своей большой цели.

Общественность и руководство области и района с удовлетворением отметили работу передового коллектива. В день завершения сева на базу прибыли комсомольцы из Байкадама. Они поздравили победителей и вручили им премии.

В ответном слове гостям комсорг Безродный выразил горячие чувства всего коллектива молодых патриотов.

— Мы покроем безводную равнину озерами,— сказал он.— Мы наполним степи золотым зерном, мы тяжелое сделаем легким...

Взволнованно звучали слова юной учительницы, комсомолки Жанаевой, выступившей от комсомольцев района:

— Наш район, удаленный от центров страны и в прошлом кочевой, ожидает от такой мощной организации, как ваша, много добра. Вы призваны создать не только хлебородный край, но и край культурный...

Под шумные аплодисменты молодая учительница преподнесла совхозу радиоприемник «Родина». А за ней уже шли другие комсомольцы. Они несли патефоны, часы, шахматы... Но как самый дорогой дар было воспринято коллективом совхоза поднесенное ему пламенеющее красное знамя Казахской республики. В гуле восторженных голосов, в шуме аплодисментов почти не слышно было слов, которые сказал Безродный, приняв из рук Жанаевой блестящее белое древко. А сказал он о том, что к двадцатому мая молодежь «Туркестана» торжественно обещает выполнить план подъема паров.

Погода потеплела. Жизнь коллектива входила в нормальную колею, обретая слаженный трудовой ритм.

Продолжались полевые работы, начались и строительные. Поднимались дома, приближался к осуществлению большой и смелый план мелиоративных работ. А ведь с ним было тесно связано все будущее совхоза!

Еще когда в начале зимы прошлого года Строгов приезжал сюдазнакомиться с местностью, он понял, что главной трудностью здесь будет вода, и решил, что прежде всего предстоит создать вблизи будущей центральной усадьбы искусственное озеро.

И вот сейчас уже можно было приступить к постройке водоема, используя для него воды небольшой речушки Жамансары.

Однако вопрос о месте будущего озера и о его объеме все еще оставался предметом споров между Гольдиным и Строговым. И прежде чем окончательно его решить, Строгов послал Васю к Сальмену.

— Собери-ка, Вася, пять-шесть наших друзей из аксакальского совета. Скажи им, что позарез нам нужны сейчас их мудрые советы!

Прибывшие на место старики подробно осмотрели замеренный Гольдиным участок и сказали, что, по их мнению, участок этот не годится. Речку Жамансары они знали очень хорошо. Она образуется из множества больших и маленьких источников, родничков и ручейков. То ли от состава почвы, то ли из-за камней, но некоторые из этих источников в иной год закупориваются, и приток их вод в общее русло Жамансары прекращается. Тогда речка мелеет, у нее едва-едва хватает сил добраться до теперешней центральной усадьбы.

Если строить озеро на русле двух наиболее сильных из этих ручьев, родники окажутся на дне озера! Хорошо, если они все время будут свободными от затора. Но ведь могут же и закрыться! Как же тогда их прочищать?

— Послушайте стариковского совета, ройте котлован на два километра ниже по склону,— сказал Сальмен.— Тогда и родники будут доступны для прочистки и озеро окажется еще ближе к городку.

И, благодарный старикам за еще один добрый совет, Строгов решил: быть по сему!

— Ручаюсь головой — не ошибешься! — сказал он молодому инженеру.

Когда строительство озера приближалось к концу, уже создавались планы проведения арыков по улицам совхозного городка. По берегам арыков будут посажены фруктовые деревья, и со временем вокруг поселка возникнет зеленый пояс.

Строгова не оставляла еще одна новая, большая и смелая мечта: создать лесозащитную полосу в пятьдесят метров шириной. Будущее сияло перед ним, наполняя радостью сердце. Однако светлые мечты и большие планы омрачались кучкой бузотеров, возглавляемых Шарафьяновым.

В совхозе все еще было много неизжитых трудностей, нехваток. Хотя каждый из прибывших был в известной мере устроен, но палаточный быт продолжался. Не хватало и помещений для общественных и культурных организаций. Из-за отдаленности от Шолактау — центра снабжения — частенько не хватало не продуктов, то горячего, то промтоваров, то инструмента, и это не давало ни Строгову, ни его помощникам ни минуты покоя. Не было дня, чтобы они вздохнули свободно.

А Шарафьянов и его «ребята» все с большей изобретательностью использовали в своих интересах эти трудности.

Теперь Шарафьянов стал в позу нелицеприятного обличителя «нерадивого» директора, изображая из себя этакого бескорыстного борца за нужды коллектива. Не было уголка, куда он не сунул бы свой нос, не было дела, в которое бы не вмешался. Он «критиковал» кооператив, произносил громовые речи против рабочкома, и всюду, куда бы он ни являлся со своими молодцами, вносил склоку и раздор.

Брыкаясь в помещские администрации, он искал и находил поводы для ругани и скандала. А когда напивался, то лез в драку и несколькими здоровым парням с трудом удавалось уговорить его.

Можно было бы, конечно, убрать всю эту шарафьяновскую «бражку» из совхоза. Но Строгов не хотел этого делать. Он верил в силу трудового коллектива и все еще надеялся исправить бузотеров. Однако настал день, когда поведение Шарафьянова стало нетерпимым.

Однажды, без всякого на то повода, он схватил за шиворот и поволол прочь от продуктового ларька колхозника-казаха, пришедшего купить чаю и сахару. Попутно хулиган осыпал грубой бранью продавца Меркадырова, обвиняя его в том, будто он продает из-под полы дефицитные продукты «своим казахам». Он кричал и ругался в явном расчете на то, что привлечет всеобщее внимание и натравит армян и русских на казахов.

Растерявшийся было при первом натиске скандалиста молодой здоровенный колхозник Жакып, опомнившись, молча развернулся и одним ударом отшвырнул Шарафьянова прочь. И когда тот попытался снова наброситься на Жакыпа, парень, в упор глянув на него гневными глазами, коротко бросил:

— А ну, подойди, попробуй! — и недвусмысленно сжал в руке толстенную плеть.

Шарафьянов долго и безобразно ругался, но подойти не посмел.

Узнав, что рабочком собирается поставить на общем профсоюзном собрании вопрос о его поведении, Шарафьянов поздно вечером, без

стука и без предупреждения, ввалился в комнатку Строгова, ведя за собой своих «молодцов». В руках у него было заявление за семью подписями. В заявлении содержались демагогические обвинения руководства в сознательном обмане внозь прибывших, в злостном зажиме критики. В конце группа Шарафьянова писала о своем решении вернуться в Ереван.

Строгов тут же вызвал к себе Березина и двух своих заместителей и объявил, что назначенное на завтра собрание должно состояться сегодня.

— Придется дать коллективный ответ на коллективное заявление,— сказал он.— Понятно? — И в упор поглядел на Шарафьянова и его товарищей. — Мы вас долго слушали, теперь вы послушайте нас. Ответ на свое заявление получите на собрании через два часа.

Разговор оказался коротким. В своей предельно сжатой речи на собрании Строгов коснулся лишь двух моментов.

— Вы говорите, что приехали из Еревана и уедете в Ереван. Нет, Шарафьянов, Агабеков, Дивов, Мотов и Пыжов. Уйдя отсюда — а вы отсюда уйдете! — вы не вернетесь в Ереван по той простой причине, что явились вы не оттуда. Это нам теперь доподлинно известно. Откуда же? — спросите вы. А ниоткуда и отовсюду. Такие субъекты нигде долго не задерживаются, потому что они оторвались от нашего общества и ни один край им не мил, никакой труд не дорог. Однако мы не позволим вам чернить своим поведением общественность города Еревана. Я буду хранить это ваше заявление, чтобы изобличить вас, если вы попытаетесь еще где-нибудь кого-нибудь ввести в заблуждение. Только честным трудом вы сможете смыть позорное пятно, которое сами на себя наложили этим заявлением. Ведь оно говорит о недостойной попытке присвоить и народное доверие и народные деньги, которые вы получили от государства.

Эти слова были голосом совести всего коллектива. Строгов умело и ясно выразил мысли и чувства присутствующих. Его поддержали все, кто выступил на собрании...

И все же он вернулся в свою тесную каморку с тяжелым, исполненным гнева сердцем.

Если бы Строгов мог с глазу на глаз поговорить хоть с одним из тех людей, кто, не задумываясь, посылал на целину вместе с честным большинством и подобных проходимцев,— он бы высказал этому человеку немало справедливых и горьких упреков. «Как можно на всенародный подвиг посылать кого попало, спихивать с рук никчемных, заведомо негодных людей?! Пускай, мол, их там исправляют, а нам лишь бы избавиться!»

По горькому опыту этого года Строгов знал, что не только в «Туркестан», но и в другие совхозы просочились и лодыри, и хулиганы, и отъявленные уголовники. Кое-кого из них разоблачили, осудили, выгнали с позором, а кое-кто и сам бежал от общественного суда. И люди, которые с легкостью посылали на целину подобный сброд, даже не задумываются над тем, что наносят ущерб всенародному делу!

Охваченный справедливым гневом, Строгов долго ворочался с боку на бок, не в силах успокоиться и уснуть.

Через три-четыре дня после собрания Агабеков, Мотов и Дивов бежали из совхоза, присвоив таким образом выданные им государственные средства. Их уход круто изменил поведение Шарафьянова. Каза-лось, что это и для него было неожиданностью.

— Мы ведь только так, грозились, что уйдем, а сами и не думали уходить... Право слово, просто хотели директора припугнуть! — говорил

он каждому встречному и поперечному, всем, кто хотел и кто не хотел его слушать, и ругал своих бывших дружков на чем свет стоит.

— Я не знал их, ошибся, я считал их советскими ребятами,— заверял он.

Мало кто верил ему, но вскоре оказалось, что Шарафьянова и впрямь будто подменили. Исполнительностью, сдержанностью, усердием он явно стремился загладить перед товарищами вину за свое прежнее буйное поведение.

Золото Салкын-Беля

В горячем труде коллектив совхоза и оглянуться не успел, как лето перевалило за половину, и их труд стал приносить обильные плоды.

Обширные просторы Самал-Тау и Салкын-Беля покрылись золотом колосьев. Мертвый край оживал, становился краем несметных богатств.

Постепенно продвигалось и строительство совхозного поселка. Вырастали все новые и новые дома. В степи поднимался городок.

По просьбе Строгова несколько домов было построено из камня, вынутого при рытье котлована под фундамент большого шестиквартирного корпуса.

Улицы будущего селения уже отчетливо прочерчивались рядами одноэтажных четырехквартирных домиков. И хотя новоселы взирали на них с пламенной надеждой, ни одна из этих построек еще не была завершена.

Привыкший быстро и четко выполнять все задания, данные совхозу, этот энергичный, оперативный и деловой человек был в вопросах строительства совершенно бессилён и от этого раздражался еще больше.

Уже шла уборка хлебов, а в совхозе все еще не было ни одного крытого тока. Горы обмолоченного зерна росли и росли; на одном только участке под открытым небом высился огромный холм в двенадцать тысяч центнеров пшеницы.

Все это было известно областному тресту совхозов, и что же?

«Союзтранс» уже давно обещал прислать машины для вывоза зерна, но дальше обещаний дело не шло. А если польет дождь? Не надеяться же на бога, хотя сухая погода с середины лета как будто установилась прочно.

Не один «крупный разговор» имел Строгов с соответствующими организациями, а сдвигов никто пока не видел.

Была и еще одна забота, тяготившая директора. Когда среди сплошных массивов золотого хлеба, уходящих далеко за горизонт, то и дело раздавались тревожные гудки комбайнов, им овладевало настоящее смятение.

Этими гудками комбайны, бункера которых до отказа заполнялись зерном, вызывали самосвалы. А самосвалов не хватало. Но разве не твердил он и об этом областному центру?..

Невнимание области к запросам совхоза порою представлялось директору граничащим с преступлением. И вот сегодня по телефону он изливал всю накопившуюся у него горечь секретарю райкома Сандыбаеву.

— Когда поедешь в область, непременно заезжай ко мне,— попросил он Сандыбаева.— Расскажешь потом в обкоме и в облисполкоме о нашем положении!

Вечером, к концу работы, Сандыбаев приехал в совхоз. Чтобы поговорить без помех, он повез Строгова в колхоз имени Жданова.

У юрты Сальмена Строгов выпрыгнул из машины и, как обычно, весело крикнул на ломаном казахском языке:

— Меники Садага кайда? (Где моя Садага?)

Навстречу, приветливо улыбаясь, спешила Сақыш.

— О, давай заходи, Садага!

— Как живешь-можешь, Садага?

— Жива-здорова! Твое-то здоровье как? — перебивая друг друга и величая один другого шуточной кличкой «Садага», шумно здоровались они. Их бестолковая дружелюбная болтовня всегда смешила Васю, а особенно Сандыбаева и его шофера Абиша. Строгов, кроме нескольких приветствий, ни слова не знал по-казахски, а Сақыш не понимала по-русски. И все же это не мешало их взаимной симпатии.

Секретарь райкома и директор расположились в юрте Сальмена. Никто здесь не мешал их разговору, да никто и не вмешивался в него. Все прекрасно понимали трудное положение совхоза — Вася и сам при каждом гудке комбайна морщился, как от зубной боли.

Покочив с делами совхоза, Строгов при помощи Васи повел с хозяевами дома свой всегдашний разговор о будущем колхозе.

— В ваших колхозах нет ни огорода, ни фруктового сада, ни бахчи. Куда это годится?

И они соглашались. Действительно плохо! И ведь слова его относятся не к одному их колхозу — так было во многих артелях Сары-Суйского района.

— А жилье? Избушки построены кое-как, не лучше, чем в прошлом, при кочевой жизни. Ветхую кибитку, что стоит возле тока, вы громко именуете «Красной юртой». А там сверху дождь льет, внутри ветер гуляет, ценные книги портятся. Клубов нет, школа на хлев похожа. И добро бы от бедности, а то ведь колхоз-то ваш — миллионер! Правду я говорю?

И Сақыш согласно кивала: правду!

Строгов имел право сказать — так жить больше нельзя, ведь к этому времени с помощью совхоза уже были построены добротные двух- и трехкомнатные дома для одиннадцати семей колхозников, переселенных с Жона. Таких хороших домов в этой округе еще и не видели. Сальмен, Альмен и другие ждановцы считали дни, оставшиеся до переселения в дома, возведенные на центральной усадьбе.

К этому времени Строгов стал у них своим человеком. Он частенько заезжал к колхозникам, выпивал вдвоем с Васей у Сақыш целый самовар чаю, ведя пространные беседы о житье-бытье поселка. Он пил кумыс, как заправский казах, и полюбил национальные блюда, которыми его угощали.

Слава о Строгове, как о хорошем хозяине и умелом руководителе, дошла до всех окрестных колхозов, и к его советам охотно прислушивались все — от старушки Сақыш до секретаря райкома.

Сегодня он говорил еще и о том, что здешний народ не знает цены воде, хотя живет буквально на краю пустыни. А между тем на маленьком прибрежном участке, у речушки Учбас, прилегающем к совхозу, женщины под руководством Нины Петровны вырастили замечательный огород. Теперь все люди совхоза обеспечены на зиму картофелем и овощами. Почему же колхоз имени Жданова не берется за такие дела?..

Вспомнив свое директорство в Чеховской МТС, Строгов покритиковал и себя самого:

— Жили среди такого обилия воды — тут и реки, и ручьи, и озера, а никому и в голову не пришло использовать ее как следует, на сады да огороды.

Говоря о положении дел на Жоне, Строгов поделился с друзьями своими планами на будущее. Он не был вполне удовлетворен урожаем этого года, хотя все посеянное в совхозе взошло и созрело. Лето стояло

сухое, днем — неимоверная жара, но ночная прохлада помогала росту хлебов. А если бы своевременно учесть опыт местных колхозников, можно было бы получить куда больше зерна.

— Думаю и верю, что в будущем году мы удвоим урожай! — горячо сказал он. — Вот я слышал, как Сальмен говорил Васе, что, мол, пашем мы не так, как следовало бы. В этих местах верхний слой почвы быстро выветривается. Уж коли честно пахать, так пахать глубоко. Глубже вспашешь — больше получишь. И мы из этих его слов агротехнический вывод сделали. Провели пробную глубокую вспашку на участке в шестьдесят гектаров и на нем получили вдвое больший урожай.

И перед тем как расстаться с друзьями, Строгов заключил:

— Хоть и помучил меня Жон изрядно, хоть и скакал я здесь из огня да в полымя, а сердцем к здешнему краю прирос. Никогда его не покину. Мне и камни-то здешние сделались милы, и архары эти, и птицы. Вот наладим мы совхоз по-настоящему, сделаем его школой опыта для всех окрестных колхозов, поднимем и ваш, ждановский, и «Учбас», и «Актогай» — расцветет наш Жон! А чтобы говорить нам с тобой, Садага, по душам, выучу я казахский язык, тогда и без Васи мы с тобой обойдемся.

Сандыбаев, молча наблюдавший за развеселившимся Строговым, который, казалось, сбросил с себя на час все гнетущие его мысли и тяготы, дружески поддразнил:

— Когда ты сюда первый раз приехал, так был довольно-таки питанным товарищем, а сейчас вон как тебя подвело! То ли думы тебе покоя не дают, то ли для сверхскоростного движения вперед ты себя тренируешь? Небось, избавившись от лишнего веса, облегчение почувствовал?

И Строгов, смеясь и качая головой, похлопал себя по впалым щекам и по животу.

— Шестнадцать килограммов спустил — не шутка! — посетовал он.

А Сандыбаев, глядя на этого усталого человека с глубоко запавшими глазами, вдруг подумал: «Этот не подведет, за этим люди пойдут...»

Когда, поуживав, они вышли из юрты, над колхозом уже спустилась ночь, овевая прохладой дремлющие просторы Жона. Луна высоко в небе несла свою бессонную вахту, охраняя мирный сон долины.

Чуть постояв под ярким небом этой ослепительной ночи, Строгов и Сандыбаев крепко пожали друг другу руки и пошли к своим машинам. Нарушая ночную тишину и оставляя за собой густые клубы пыли, они помчались каждый в свою сторону, навстречу новому трудовому дню.

Перевод с казахского.



ВЕРА ЗВЯГИНЦЕВА

★

МОЕМУ МОЛОДОМУ ДРУГУ

Я люблю твою злость молодую,
По душе мне твой вечный задор,
Но сегодня с тобой поведу я
Тихий немолодой разговор.

Ты — в старинном армянском селенье,
Я — в российском глухом городке;
Мы росли не в одном поколеньи,
Друг от друга росли вдалеке.

Но сроднило нас общее счастье,
Побратала забота одна,
Одержимы единою страстью
Мы с тобою на все времена.

Ты, вошедший хозяином века
В дом, отстроенный нам Октябрем,
Не забудь о труде дровосека,
Что в дремучем лесу топором

Наземь рушил деревья с натугой
Для строения, где будешь ты жить
Со своей вишнеглазой подругой,
Где ты станешь со славой дружить.

Не гордись беспечальным уменьем,
Дальнозоркостью редкой своей, —
Сквозь тернистые дебри сомненья
Пробирались миллионы людей

Для того, чтобы истина эта,
Та, которая светит тебе,
Стала запросто жизнью поэта,
Доброй помощью в трудной борьбе.

Не считай благодарность смешною,
Старомодной ее не зови, —
Вспомни тех, что вставали стеною
«За великое дело любви».

Те, что жили борьбой и тревогой,
Вправе требовать и от тебя,
Чтоб ты шел своей новой дорогой.
Их великих надежд не губя.

Не о гении, не о герое
Я сегодня с тобой говорю,
А о том, кто — незримо порою —
Приближал нашу жизнь к Октябрю.

О простом человеке России,
О рабочем, борце рядовом,
О поэтах, что скромно сносили
Тишь безвестности в мире былом.

Все твоей они отдали славе, —
Ждать своей было им недосуг.
Вот о чем забывать ты не вправе.
Молодой мой, заносчивый друг.

ОСЕНЬ И ЧЕЛОВЕК

По тусклому стеклу окна
Текут большие слезы:
Природе вспомнилась весна
И желтые мимозы.

Природе хочется опять
Стать каплями капли,
Ей хочется кипеть, сверкать
И чтобы птицы пели.

Все это возвратится к ней
Уже через полгода.
У человека жизнь грустней,
Чем у тебя, природа.

Но он не проливает слез
О том, что дни уходят,
Что время мчится под откос,
Вино в бочонках бродит.

И называет он дождем
Осенних слез потоки,
Сам уложиться принужден
В положенные сроки.

Шли б вовремя дожди, и снег,
И молодость, и зрелость, —
Огня на твой достанет век,
Раз пламя разгорелось.

Природа льет потоки слез,
Дни холодов пророчит...
А человек седых волос
И замечать не хочет.



МАРК МАКСИМОВ

★

ЗДРАВСТВУЙ, ЮНОСТЬ МОЯ!

В АРМИЮ

В зрелость вышел из дыма я,
и в запас — из огня,
и, как в место родимое,
потянуло меня
от больных разговоров,
от иных паникеров
к вере юности прочной,
к точной стали затворов,

в царство твердой брони,
где побудка с рассвета,
где устав и — ни-ни —
демагогии нету,

где приказ есть приказ,
служба длительная,
да под праздник на час
«увольнительная».

Здравствуй, холод оружия!
Огневая семья!
Здравствуй, мужество дружное,
здравствуй, юность моя!

Как живете, что можете,
молодые стрелки?
Что вы старшим доложите,
походившим в штыки?
Как заправочка, воины,
Нет ли трещин в броне?..

Спят ли ныне спокойно
те, кто пал на войне?

КТО ИДЕТ?

Район учений. Фары гасим.
И понеслись навстречу мне
и «кто идет?» и темный «газик» —
все, как бывало на войне.

Да, все, как в юности бывало:
и дот и кухня на пути.
Но память большего искала
и долго не могла найти.

И вдруг я понял: просто в этой
учебно-предгрозовой мгле
волнения нету, страха нету:
— Вот даст — и столбик на земле!

Свои и здесь и за рекою,
один над всеми генерал...
И только Марс
всему покою
в ту полночь противостоял.

Да красным выкропив дорогу,
регулирующих глазки
мигали воинскому богу,
как подчиненные божки.

И я в учебный дот забрался
под недостроенный накат,
и невсамделишным казался
кричавший «кто идет?» солдат.

Ну, кто? С поверкой предрассветной
комбат под новеньким плащом?
Ну, связь? Ну, повар? Кто еще?
(Район учений. Вход запретный.)

Но днем ревело так ретиво
на невсамделишной войне,
что волны ядерного взрыва
и красный Марс
приснились мне.

Я закачался, в небе лежа
на красном атомном грибе,
уже я искрой стал и все же
тянулся вниз,

к Земле,
к тебе.

Была Земля в тот миг зловещий
еще округлей, чем всегда.

По ней,
 шипя,
 что головешки,
 в моря катились города.
 В венках и черных лентах газа
 она качалась, как в гробу.
 А Марс, как Нельсон одноглазый,
 смотрел в подзорную трубу.

И я с небес упал со стоном
 и рад был, что не в пух, а — в дот!..

Войскам каких Наполеонов
 солдат горланил:
 — Кто идет?

Он прав. Чем громче этот голос,
 тем глубже в мире тишина.

Не спи,
 чтоб ночь не раскололась
 ответом:
 — Я иду. Война!

О ПОТОМКАХ

Когда будут все в человечестве сыты
 и в счастье поверят любые неверы,
 одеты в зарю, целофаном покрыты
 от вирусов — вдруг занесут их с Венеры! —

когда будет договор с Марсом самим
 о мире подписан в хрустальных колоннах
 и слово «солдат», непонятное им,
 потомки найдут в словарях электронных,—

я всех их заставил бы: в двадцать годков
 хоть месяц ходить в пропотелых, истертых,
 в хлопчатобумажных святых гимнастерках,
 музейных, как юбки шотландских стрелков.

Чтоб месяц не знали покоя на свете,
 махоркой пропахли чтоб мамини дети!
 Покоя не знали, махоркой воняли,
 чтоб их строевым помкомвзводы гоняли!..

А после пусть ходят в своих сверхнейлонах
 по самым стеклянным паркетам, сверкая:
 уже они люди, уже непреклонны,
 уже ты открылась им, дружба мужская!

ЧУЖОЙ ГОЛОС

Как на месяц надел я опять гимнастерку
да решил посмотреть, как мне форма идет,
посмотрел, и впервые подумалось горько:
«Гимнастерка все та же, а ты, брат, не тот!»

Преодо мной, отражаясь в зеркальном покое,
встал мужчина — еще не в отставку, в запас,
но уже на лице выражение такое,
что погоны полковничьи в самый бы раз.

Как пошел тот мужчина в широкое поле,
в сапожищах кирзовых привычно пыля.
Где ты, юность моя? Даром пожил я, что ли?
Даром жизнь свою прожил, родная земля?!

А земля кукурузой и хлебом качала,
все земля понимала, земля отвечала:
— Успокойся, в любой моей травке-былинке
по минутке твоей, по горячей кровинке.
Нет, недаром, товарищ, ты пожил как надо,
ну, а я разве чем пред тобой виновата?

И в штабном блиндаже было снова, как дома,
даже много надежней — брезент и солома,
пахло юностью снова — бензином и потом,
и потрескивал мир у радиста в руках.

Но эфиру наскучило быть полиглотом,
говорящим буквально на всех языках:
в блиндаже закружил,
зашуршал над брезентом
русский голос с чужим, иностранным акцентом.

Он участливо ныл, рассыпался на части —
все о наших ошибках да о наших несчастьях,
он без боли вещал, он трещал без запинки:
ведь мои — не его — на рябинах кровинки!
Он, шипя, клеветал, в измышленьях не мешкал,
пену злобы у рта выдавал за усмешку,
он так ловко юлил, брал так нежно за локоть,
что хотелось мне

выйти

и танки потрогать.

Вышел. Танки стоят. Часовые у пушек.
Прикури у солдат да послушай частушек!
Мать-земля широка! Дай, товарищ, огня!
Штык горит у древка, ходит ротный с часами...

В ночь такую была бы надежна броня,
а в делах своих мы
разберемся и сами.



ПАВЕЛ КОГАН

★

ИЗ СТИХОВ

Московские поэты моего поколения хорошо помнят сухощавого и угловатого юношу, удивительно жизнелюбивого и страстного, резкого в своих жестах и суждениях. Из-под густых сросшихся бровей пылливо и оценивающе глядели на собеседника глубоко запавшие темные глаза. Это был Павел Коган. Горько говорить о нем в прошедшем времени. Человек, живший ощущением грядущей победы, погиб в 1942 году под Новороссийском.

Вся его жизнь была подготовкой к подвигу. В рост шел он по жизни и в рост пошел на смерть. Вражеская пуля сразила его во время разведывательного поиска, которым он руководил.

Мы вместе с ним учились в МИФЛИ и Литинституте имени Горького. Не ошибусь, если скажу, что он жил поэзией. В этом слове он заключал, разумеется, не просто стихотворчество, но и всю свою жизнь, свое отношение к судьбам поколения. В его юношеских стихах, порой угловатых, но ярких и талантливых, поражает острое чувство времени — черта, основополагающая для истинной поэзии.

Стихи, которые сейчас впервые узнают читатели, были написаны молодым поэтом на самом пороге его литературной деятельности.

Сергей Наровчатов.

* *
*

Есть в наших днях такая точность,
Что мальчики иных веков,
Наверно, будут плакать ночью
О времени большевиков.
И будут жаловаться милым,
Что не родились в те года,
Когда звенела и дымилась,
На берег рухнувши, вода.
Они нас выдумают снова —
Косая сажень, твердый шаг —
И верную найдут основу,
Но не сумеют так дышать,
Как мы дышали, как дружили,
Как жили мы, как впопыхах
Плохие песни мы сложили
О поразительных делах.
Мы были всякими, любыми,
Не очень умными подчас.
Мы наших девушек любили,
Ревнуя, мучась, горячась.
Мы были всякими. Но, мучась,
Мы понимали: в наши дни
Нам выпала такая участь,
Что пусть завидуют они.

Они нас выдумают мудрых,
Мы будем строги и прямы,
Они прикрасят и припудрят,
И все-таки

пробьемся мы!

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

И пусть я покажусь им узким
И их всесветность оскорблю,
Я — патриот. Я воздух русский,
Я землю русскую люблю,
Я верю, что нигде на свете
Второй такой не отыскать,
Чтоб так пахнуло на рассвете,
Чтоб дымный ветер на песках...
И где еще найдешь такие
Березы, как в моем краю!
Я б сдох, как пес, от ностальгии¹
В любом кокосовом раю.

1940 г.

ГРОЗА

Косым,
стремительным углом
И ветром, режущим глаза,
Переломившейся ветлой
На землю падала гроза.
И, громом возвестив весну,
Она звенела по траве,
С размаху вышибая дверь
В стремительность и крутизну.
И вниз. К обрыву. Под уклон.
К воде. К беседке из надежд,
Где столько вымокло одежд,
Надежд и песен утекло.
Далёко,

может быть, в края,
Где девушка живет моя.
Но, сосен мирные ряды
Высокой силой раскачав,
Вдруг задохнулась

и в кусты
Упала выводком галчат.
И люди вышли из квартир,
Устало высохла трава.
И снова тишь.
И снова мир,
Как равнодушие, как овал.

Я с детства не любил овал!
Я с детства угол рисовал!

1936 г.

¹ Ностальгия — тоска по родине.

ПИСЬМО

Вот и мы дожили,
 вот и мы получаем весточки
 в изжеванных конвертах с треугольными штемпелями,
 где сквозь запах армейской кожи,
 сквозь бестолочь
 слышно самое то,
 то самое,—
 как гудок за полями.
 Вот и ты —

товарищ красноармеец музввода,
 воду пьешь по утрам из заболоченных речек.
 А поля между нами.
 А леса между нами и воды.
 Человек ты мой,
 человек ты мой,
 дорогой ты мой человеке.
 А поля между нами.
 А леса между нами.
 (Россия!
 Разметалась, раскинулась
 по лежбищам, по урочищам.
 Что мне звать тебя?
 Разве голосом ее осилишь,
 если в ней словно в памяти, словно в юности:
 попадешь — не воротисься.)

Я и писем тебе писать не научен.
 А твои читаю,
 особенно те, что для женщины.
 Есть такое в них самое,
 что ни выдумать, ни намучить,
 словно что-то поверено,
 потом потеряно,
 потом обещано.
 (...А вы всё трагической героиней,
 а снитесь девочкой-непокойкой.
 А трубач — тари-тари-та — трубит: «По койкам!»
 А ветра сухие на Западной Украине.)
 Я вот тоже любил одну, сероглазницу,
 слишком взрослую, может быть, слишком строгую.
 А уеду и вспомню такой проказницей,
 непутевой такой, такой недотрогой.
 Мы пройдем через это.
 Мы,
 лобастые мальчишки невиданной революции,
 в десять лет — мечтатели,
 в четырнадцать — поэты,
 в двадцать пять — внесенные в смертные реляции.
 Мое поколение —
 это зубы сожми и работай.
 Мое поколение —
 это пулю прими и рухни.
 Если соли не хватит —
 хлеб намочи потом,

Если марли не хватит —
 портянкой замотай тухлой.
 Ты же сам понимаешь, я не умею бить в литавры.
 Мы же вместе мечтали, что пыль, что ковыль, что криница.
 Мы с тобою вместе мечтали пошляться по Таврии
 (ну, по Крыму по-русски),
 а шляемся по заграницам.
 И когда мне скомандует пуля «не торопиться»
 и последний вздох на снегу воронку выжжет
 (ты должен выжить, я хочу, чтобы ты выжил),
 ты прости мне тогда, что я не писал тебе писем.

А за нами женщины наши,
 и годы наши босые,
 и стихи наши,
 и юность,
 и январские рассветы.
 А леса за нами.
 А поля за нами —
 Россия.
 Огромная Республика Советов!
 Вот не вышло письма.
 Не вышло письма,
 какое там!
 Но я напишу,
 повинен.
 Ведь я понимаю,
 трубач — тари-тари-та — трубит: «По койкам!»
 И ветра сухие на Западной Украине.

1940 г.

РАКЕТА

*Открылась бездна, звезд полна,
 Звездам числа нет, бездне дна.*

Ломоносов.

Трехлетний
 вдумчивый человек,
 Обдумать миры
 подошедший к окну,
 На небо глядит —
 и думает Млечный
 Большою Медведицей зачерпнуть.
 ...Сухое тепло торопливых пожатий,
 И песня,
 Старинная песня навзрыд,
 И междупланетный
 Вагоновожатый
 Рычаг переводит
 На медленный взрыв,
 А миг остановится,
 Медленной ниткой
 Он перекрутится у лица.

Удар!
 И ракета рванулась к зениту,
 Чтоб маленькой звездочкой замерцать.
 И мир,
 Полушарьем известный с пеленок,
 Начнет расширяться,
 Свистя и крутясь,
 Пока,
 Расстоянием опаленный,
 Водитель зажмурится,
 Отворотясь.
 И тронет рычаг.
 И, почти задыхаясь,
 Увидит, как падает, дымясь,
 Игрушечным мячиком
 Брошенный в хаос
 Чудовищно преувеличенный мяч.
 И вечность
 Космическою бессонницей
 У губ,
 У глаз его
 Сходит на нет,
 И медленно
 Проплывают солнца,
 Чужие солнца чужих планет.
 Так вот она — мера людской тревоги,
 И одиночества,
 И тоски.
 Сквозь вечность кинутые дороги,
 Сквозь время брошенные мостки.
 Во имя юности нашей суровой,
 Во имя планеты, которую мы
 У мора отбили,
 Отбили у крови.
 Отбили у тупости и зимы.
 Во имя войны сорок пятого года.
 Во имя чекистской породы.
 Во и!-
 -мя!
 Принявших твердь и воду.
 Смерть. Холод.
 Бессонницу и бои.
 А мальчик мужает...
 Полночью давней
 Гудки проплывают у самых застав.
 Крылатые вслед
 разлетаются ставни.
 Идет за мечтой,
 на дому не застав.
 И, может, ему,
 опалив ресницы,
 Такое придет
 и заглянет в мечту,
 Такое придет
 и такое приснится...
 Что строчку на Марсе его перечтут.

А Марс заливает полнебосклона.
Идет тишина, свистя и рыча,
Водитель еще раз проверит баллоны
И медленно
Переведет рычаг.
Стремительный сплав мечты и теорий,
Во всех телескопах земных отблестав,
Ракета выходит
На путь метеоров.
Водитель закуривает.
Он устал.

1939 г.

ИЗ РОМАНА В СТИХАХ

...В те годы в праздники возили
нас по Москве грузовики,
где рядом с узником Бразилии
художники изобразили
Керзона (нам тогда грозили,
как нынче, разные враги).
На перечищенных, охрипших
врезались в строгие века
империализм, антанта, рикши,
мальчишки в старых пиджаках.
Мальчишки в довоенных валенках,
оглохшие от грома труб,
восторженные, злые, маленькие,
простуженные на ветру.
Когда-нибудь в пятидесятых
художники от мук сопреют,
пока они изобразят их,
погибших возле речки Шпрее.
А вы поставьте зло и косо
вперед идущие упрямо
чуть рахитичные колеса
грузовика системы «АМО»,
и мальчишки моей поруки
сквозь расстояние и изморозь
протянут худенькие руки
людям
коммунизма.

Апрель 1941 г.



БАДАВИ РАМАЗАНОВ

★

ДЕВОЧКА, РАЗБИВШАЯ КУВШИН

Школьный друг мой обречен на муку:
Тьма пред ним. Не видит ничего.
И при встрече ищут вашу руку
Две руки протянутых его.
Тихою вечернею порою,
Ненароком вспомнив о войне,
Он вздохнет,
А я глаза закрою
И увижу, будто бы во сне,
Как в тени раскидистых черешен.
Босиком, соседки нашей сын
Весело танцует, чтоб утешить
Девочку, разбившую кувшин.

На его штанах видны заплатки.
Не беда: он истинный джигит.
Слышала она, что из рогатки
Им однажды коршун был убит.
Это он над речкой бесноватой,
Там, где скалы высятся вокруг,
Переходит пропасть по канату.
Это он!..
И сердце сжалось вдруг.
Помнится:
Ручьи на горном склоне
Объявили раннюю весну,
А десятиклассник на фургоне
Уезжал из дома на войну.
Плакала соседка:
«Мой сыночек!» —
И, пробившись сквозь толпу мужчин,
Протянула юноше платочек
Девочка, разбившая кувшин.

Вскоре, палкой шупая дорогу,
Что вела как будто к небесам,
Он вернулся к отчему порогу
И узнал людей по голосам.
Всех узнал.
Лишь мать одна молчала.
И пришел к ее могиле сын.
Рядом с ним, печальная, стояла
Девочка, разбившая кувшин...

Жизнь летит.

На сына наглядеться
Нелегко вчерашнему бойцу,
Он порой прижмет мальчишку к сердцу,
Пальцами прильнет к его лицу.
И вокруг щебечут звонко птицы,
И ручьи срываются с вершин...

Людам впору на тебя молиться,
Девочка, разбившая кувшин.

*Перевод с лакского
Я. Козловского.*



П. ПАВЛЕНКО

✱

КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ

«Кавказская повесть» П. А. Павленко публикуется впервые. Рукопись ее хранилась в архиве писателя. О замысле произведения и о том, как оно писалось, П. А. Павленко рассказал в написанной в 1938 году заметке, выдержки из которой приводятся ниже.

«Много лет меня занимала тема «Кавказской войны», национально-освободительного движения кавказских горцев. Материал был обширен и нов, контуры большого исторического романа казались легко решаемыми. Однако, когда я ближе познакомился с материалом (а начал я работать над этой темой с весны 1933 г.), дело оказалось труднее, чем думал.

Написать исторический роман о Шамиле и Хаджи-Мурате, по-новому разгнать течение борьбы и определение характеров было, быть может, и интересно, но недостаточно... Показать прошлое Кавказа можно было лишь в свете опыта и побед Великой Октябрьской революции.

Контуры будущего романа расплывались. Не Шамиль и не Хаджи-Мурат, чувствовал я, должны явиться героями повествования. Но кто же, если не они?

Я стал «копать» материал с другого края, погрузился в события 1918—1920 гг. И тут совершенно неожиданно нашел новый рисунок, новую отправную точку. Изучая краснопартизанское движение в Дагестане за 1920 г., я нашел среди героев борьбы за Советскую власть несколько стариков, когда-то, в юности, принимавших участие в движении Шамиля. Их путь — от борьбы с царизмом при Шамиле до борьбы за Советскую власть в наше время — был той самой почвой, на которой только и мог вырасти мой роман. И уже не Шамиль, а рядовой горский боец становится у меня героем романа.

Этому герою мне не пришлось даже сочинять биографию. До сих пор еще живы такие люди, и я их видел собственными глазами. Им было лет по сто, по сто десять, сто двадцать. Некоторые из них отчетливо помнили события сороковых и пятидесятых годов, а двое принимали активное участие в гражданской войне в Дагестане в период 1919—1920 гг. Мне оставалось лишь воссоздать их жизнь и, взяв от каждой ее наиболее типические черты, построить образ своего героя. Найденный герой сразу же изменил концепцию романа, привел с собою множество новых идей, возбудил множество новых поисков вокруг, казалось, уже достаточно известной темы.

Находка героя романа привела к тому, что весь накопленный материал пришлось заново пересмотреть, заново расценить. Но роман сложился уже прочно...»

ПРОЛОГ

Лето 1933 года было особенно знойным в Дагестане. Сухой белесый блеск солнца делал дни долгими, твердыми. Нехотя растворялись они в коротких ночах, упрямо дыша каменным жаром до рассвета. От солнца светлели, будто выцветали, реки.

Ленивая, выпитая жаром вода их едва струилась под горячей галькой, тоже блестяще-белой, или несмело ползла под корягами и обломками скал, шуруша, подобно медленной осыпи, вызванной несмелым ветром. Травы были сухи и певучи, как струны, и пели от малейшего движения ветра, от толчка птичьих крыл, от касания насекомых.

Раскаленный камень аулов дышал запахом хлеба, и казалось, вот-вот подгорит и запахнет дымом.

Стекла окон, глядящих на юг и с рассвета до ночи зажженных нестерпимо-ярким огнем солнца, перемигивались световыми зайчиками. Все заполнял собой сухой, горячий, звучный воздух.

Как горы, как облака, как ущелья, он входил в образ Дагестана важнейшей чертой его характера.

Не в первый раз въезжал я в горы Дагестана. Но ни разу не открывались мне они с такой ясной силой, с такой полной смелостью, когда каждый камень раскрывает смысл когда-то исполнившегося на нем события.

Неторопливо начинался путь от моря к горам. Бережно поднимал он путника от приморских равнин к нагорью, незаметно окружая его мелкими хребтами, все еще, казалось, далекими от настоящих гор.

Но горы давно уже начались.

Они так тесно обступили дорогу, так грузно валяются на нее своими облупленными боками, похожими на рваные чувалы с горохом, так неистово тащат вверх дорогу на своих кремнистых горбах, что совсем незаметно переносишься в горную глушь, туман и сырость высокогорных впадин, в ветер, насыщенный травами, грузными от росы.

И уже нет ничего, кроме гор.

Они стоят, похожие на окаменевшие тучи, и небо, касаясь их, тоже каменеет и валится на них, днем дымчато-голубоватой, а ночью темно-синей густотой, и сливается с ними до самого верха, так, что нельзя отличить границ камня и воздуха. Огни высоких аулов и блеск невысоких звезд переплетаются между собой.

Было лето, и народу в аулах казалось мало.

Одни ушли со стадами на летние пастбища, другие спустились к приморским плоскостям на сезонные строительные работы, третьи копались в садах, не видных с дороги, четвертые пробивали дороги в скалах, и далекое эхо взрывов не затихало в горах.

Тому, кто видел кудрявые горы западной Грузии или торжественные снеговые хребты Сванетии, скучным показался бы в те дни Дагестан.

Его горы нескладны, неряшливы, я сказал бы, почти захолустны.

В них нет ни женственной прелести имеретинского горного рисунка, ни суровой мужественности сванских вершин, ни дымчатой всклокоченности лесистых чеченских гор.

Горы Дагестана облезлы, как чучела сов, изъеденные молью, и такого же серого дикого цвета. Этот мышинный оттенок здесь проступает всюду, даже сквозь фиолетовые луга чебреца и полыни, как тело сквозь прорехи рваной одежды. Лишь на юге, вдоль границ с Азербайджаном и Грузией, да местами на северо-западе, вдоль Чечни, еще сохранились гривы могучих лесов и луга, в гигантской траве которых, говорят, можно без труда заблудиться.

Середина же Дагестана многими своими чертами напоминает Армению. Та же суровая простота, тот же эпос камня и та же необъяснимая красота воздуха, ощущаемая именно как красота. Она делает воздух самой богатой частью пейзажа.

Нищ вылинявший на солнце камень гор. Груба вода. Тощи травы. Один лишь воздух наполнен красками, ароматами и даже очертаниями, когда, развернув красно-желтые или голубые с серебром облака, он взбивается на закате тысячью пятен, напоминающих раскаленное цветное стекло, а на рассвете прорисован тончайшими пушинками снежно-розовых перистых облаков и похож на ту гамму цветов, что запечатлена природой на внутренних плоскостях океанских раковин.

Дагестан завернулся в воздух, как в кусок шелка.

Каменистое тело его грубо и загорело, но в пазухах гор, в щелях глубоких балок притаились сады, каких не встретить нигде.

Дагестан — маленькая страна. Сверху, с самолета, она представляется застывшим каменным морем, огромные валы которого разошлись в тяжелом шторме. Где-то в пучине ущелий уютятся люди.

Не виден Дагестан и из окон поезда, и только пешеходные и вьючные тропы достигают самых дальних углов, как бы соединяя не только аул с аулом, но и давно прожитую историю с сегодняшним днем.

Есть места, наполненные историей, как могучей и яркой природой. Таков Дагестан. Он весь в зарослях старых легенд и преданий, в старых могилах, в старых воспоминаниях, еще не изгладившихся из общей памяти и продолжающих жить в тесной связи с сегодняшним.

Нигде не встретишь такой близости истории к жизни, и это и удивляет и трогает одновременно.

Было время, Дагестан и Чечня шестьдесят лет подряд дрались за свою независимость. Затем наступила полоса голодной, мрачной жизни под полицейским кнутом. Воспоминания о героическом прошлом были единственным искусством народа, его поэзией, его духовным лекарством, кодексом его мужества и его надеждой вперед.

Октябрь 1917 года освободил эту старую героиню из многолетнего заточения.

Образы великих дедов, живо сохраненные в памяти внуков, восстали тогда для нового круга жизни. Ничего как бы не было между прошлым и сегодняшним. Десятилетия рабства казались теперь лишь простым выжиданием. Герои как бы не умерли, а притаились.

Порабощенный народ обычно привязчив ко всему хорошему и гордому, что было у него в прошлом, и ради будущей своей жизни живет ушедшим долгие, чем следует.

Сбросив рабство, он строит и из того, что было в запасе, в памяти, в традиции, но не должен забывать, что с той поры в народной глубине уже выросли и возмужали силы, готовые к жизни, открытой им революцией, без повторений легенд.

Иначе история может стать орудием тех, кто, в сущности, против этой истории, кто не совершал великих дел в прошлом и не совершит их в будущем. Великие образы дедов оказываются тогда игрушкой в грязных и чужих руках, их именами клянутся и их старыми знаменами потрясают враги народа. И то, что было самым светлым и любимым, оказывается в грязи и служит рабству. Тот, кто повторяет историю, видит, что повторил не то.

Но история всегда остается с народом, и великие образы ее никогда не мешают накоплению новых великих дел. История тогда лишь против народа, когда она не в его руках. Проходит время, дедовские знамена возвращаются в музеи, и видно, что народ двинулся и пошел вперед гигантской поступью. Тогда хорошо сызнова вспомнить предания, не для того чтобы обнадежить и подкрепить себя ими, но лишь для того, чтобы увидеть, что великого стало больше и что прежнее великое менее велико, чем свое, сегодняшнее.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

Шел 1847 год.

Керим Асадуллаев, темирханшуринский купец, имеющий постоянную связь с немирными горцами, послал Шамилю в Ведено известие, что русские затевают поход в горы.

Пробыв пять суток в седле, гонец прискакал в Ведено еле жив, в рваной чохе, в рваных чириках, с лицом, до крови иссеченным деревьями на лесных тропах. Он впервые проникал так далеко в горы, почти к грани-

дам Чечни. Поклониться имаму и послужить ему ради веры было давней его мечтой. Он ел хлеб у русских и не боролся против них, и, быть может, это был грех его жизни.

Стояли последние минуты лунной апрельской ночи, когда гонец Иса въезжал в спящее Ведено, предводительствуемый мальчиком, сыном старого кунака, мельника из Гергебиля.

На зелено-голубеющем, не то полуночном, не то уже полутреннем небе едва проступали сине-белые контуры гор, вблизи синих, а вдали и выше еще покрытых снегом.

Вот-вот ожидалось солнце. Воздух, наполненный криками рано проснувшихся птиц, казался ветренным.

По узким улочкам, забираясь в сакли, мягко, бесцельно стлался дым очагов.

На каждом шагу храпели натрудившиеся за ночь псы, слышался плач ребят, негромкие разговоры женщин.

Сакли были чеченского типа — из глины с соломой — и выглядели беднее дагестанских, улицы, правда, шире и не очень круты, зато грязны, да и весь аул мертв, пуст и сер. Ни лавок, как в Темир-хан-Шуре, ни уличных торговцев, ни ночных сторожей, ни красивых высоких жилищ, похожих на крепости, как в Чохе. Коровы, мыча, бродили на улицах, задерживая движение, и мальчик долго хлестал их нагайкой, чтобы кое-как протолкнуться с конями вдоль стен жилищ.

Не такой полагал увидеть Иса столицу имама, управлявшего отсюда Чечнею и Дагестаном, уничтожавшего беков у берегов Черного моря, руководившего восстаниями адыгейцев, завязывавшего сношения с галгаевцами (ингушами) и осетинами и державшего в напряжении всех русских от Тифлиса до Ставрополя.

Закутанный башлыком по самые глаза, Иса никого не встретил, кроме нескольких древних старух, подбиравших в глиняные горшки свежий коровий помет. Лишь на крохотной, нестерпимо грязной площади у мечети столкнулся он с группой мюридов, чистивших коней, да у ворот большой, окруженной глиняным забором сакли сонно окликнул его часовой-чеченец.

Кривая шербатая пушка на деревянном лафете стояла у ворот. Пять или шесть каменных ядер были сложены горкой возле орудия. На ядрах сидел часовой.

Здесь вот и жил имам. Он еще спал. Зевающий часовой велел гонцу обождать, показав рукой на спящую очередь давно ожидающих.

Человек двадцать, завернувшись в бурки и бараньи шубы, лежали на сухой, утоптанной площадке перед воротами дома. Судя по оружию и фасону папах, тут были люди со всех концов гор.

— Я дальний. Из Шуры. Важное дело привез, — тихо сказал Иса.

Усталость кружила ему голову. Он был до крайности утомлен и вместе с тем счастлив, что увидит имама.

— Ложись. Все дальние, все важное дело имеют, — лениво и равнодушно повторил часовой. — Ты что — кумык? Откуда?

Гонец не ответил, не лег. Он глядел на пробуждение Ведено.

Деревня, глухая деревня! Разве сравнится она с Хунзахом, Чохом, Унцукулем или с Чиркеем? Тут и садов нет, одни леса окружают аул широкой и мрачной стеной. Поля пусты. Ущелья голы. Но имам всегда любил жить в уединенных местах. Чем пустынное и труднее место, тем оно было ему привлекательнее. Если б он мог, жил бы в скале, как птица. Он любил неприступность и ценил аулы, в которых имел пребывание, только со стороны безопасности. Остальное его не интересовало. Впрочем, Ведено было важно ему и тем, что лежало между Чечнею и Дагестаном, в самом центре его страны.

— Хаджи-Мурата нет тут? — спросил гонец часового.

— Нету.

— А из больших людей кто?

— Беноевский Байсунгур ночью прибыл...— И часовой кивнул на спящего на земле чеченца, все время старавшегося укрыть сползающей буркой обезображенное, безрукое плечо.— Как там, в Шуре? Соль есть? Почему? — спросил часовой.

Гонец молчал.

— Надо на вас, собак, хороший набег сделать,— прибавил, помолчав, часовой, раздраженный невниманием лазутчика.— Из одной чашки с русскими есть стали. Верно говорю?

Гонец и теперь не ответил — он слышал шаги во дворе, за воротами. Узкая калитка, взвизгнув, открылась. Вышел в одном белье Хаджио, казначей и домоправитель имама.

Иса подошел, сказал, откуда и от кого он, назвал свое имя, но лица не раскрыл.

— Вот ладно прибыл,— ответил Хаджио, принимая пакет и связку с русскими газетами. — Соль у нас кончилась... и свечи кончились... и рис кончился.

Он положил пакет на ядра, служившие сиденьем для часового.

— Отдохни, коня покроем, вечером заказ тебе дам, поедешь домой,— произнес он, оглядывая спящих возле ворот. — Цены у вас на все большие пошли. Неладно это.

— Цены идут вверх,— сказал Иса. — Слух есть, что поход будет в горы к вам.

— Э-э, будет не будет, кто знает! — иронически произнес казначей.— Бабы во сне всегда войну видят, мужчины во сне всегда хинкал едят. Ты от кого слыхал?

Иса глазами показал на письмо.

— Тогда надо будить самого,— сказал казначей с неудовольствием в голосе.— Эх ты! Молодой!.. Сразу надо было сказать про поход... Сделай быстро порядок! — приказал он часовому и ушел в дом.

Прикладом ружья часовой растолкал спящих возле калитки.

Во дворе имамского дома уже начиналась жизнь. Выводили на водопой коней, доили коров. Тонкий женский голос верещал где-то далеко, в помещении для скота. Пленный русский солдат вышел с кувшином за водой, миролюбиво оглядел Ису и, видимо, соображая, откуда он, спросил:

— Апшеронцев, слышь, никого не знавал?

— Ех.

— А кто убер сюда в горы нынешний год, не слыхал?

— Ех.

— Эх, и незадачный ты! — и быстро отскочил в сторону, уступая дорогу невысокому горцу с пустым рукавом черкески, вскочившему с разосланной бурки и шедшему к Исе быстрой, нервной походкой. На черкеске, поверх газырей, на левой и правой сторонах груди, были пришиты у него два серебряных ордена. Это и был Байсунгур, наиб беноевский.

— Письмо привез, — ласково доложил ему часовой, кивая на Ису. — Поход, наверное.

— Ялган, валла! Кто слух дал?

По-птичьему склонив голову набок, беноевский наиб так насмешливо поглядел на укутанного башлыком Ису, что тот рассмеялся.

— Хорош слух, если верный,— сказал Байсунгур.— Кровь дела просит.— И, присев на камень, стал оживленно обсуждать с часовым, куда вернее всего ударят русские и что надо бы предпринять в ответ, если слух оправдается.

Проснувшиеся приезжие приняли участие в разговоре. Иса не произнес ни слова, но все уже знали — поход!

Скоро загалдело человек двадцать зараз, Ису тащили в разные стороны, он молчал. Его расспрашивали. Он отговаривался незнанием. Вдруг Байсунгур легонько хлопнул его нагайкой по спине: Хаджи стоял в окне кунацкой и звал подойти.

Все сразу стихло.

Байсунгур растолкал сперщиков и слегка бегущей походкой пошел впереди Исы, быстро развязывающего свой башлык.

Имам, оказывается, не спал, и, как только Хаджи передал письмо, он тотчас прочел его и выразил желание переговорить с гонцом, несмотря на то, что это был совсем ему не известный человек.

В то мгновение, когда Шамиль появился у окна и неопределенным движением головы приветствовал все, что встретилось его глазам — весь мир аула, неба и гор, — Иса не успел ни разглядеть имама, ни запомнить его в движениях, а только почувствовал страх, слабость и непонятную зависимость от этого человека. Он раскрыл свое лицо, хотя мог не делать этого как лазутчик, и стоял, дрожа и замирая от восторга, готовый на все. Он уже не боялся, что его могут узнать. Он ничего сейчас не боялся, забыл обо всем, перестал видеть и чувствовать что-либо, кроме своего восторга, не знающего границ.

Барабанщики из беглых русских солдат гулко пробили раскатистый сигнал. Чистившие коней мюриды монотонно пропели:

— Ля-хавла-вала-куввата илла-билла-а-а!..

Все это произошло мгновенно. Широкая фигура имама заняла весь просвет окна. Из окна кунацкой вид был верст на тридцать округ. Аул висел на склоне гор, не застыя ни малейшего куска неба. Это был вид не на гору, а на горы, не на небо, а на небеса, не на окрестности, а на страну.

— Сын мой, как же ты видел наш Дагестан? — неожиданно спросил Шамиль Ису, широким взмахом руки приглашая его оглянуться вокруг.

Слова Шамиля показали Исе как бы истолченными в ступе, и сначала он ничего не понял.

Но когда сердцебиение, глушившее Ису, схлынуло и прохладный пот приятно освободил тело от мучительного оцепенения, он увидел руку Шамиля, медленно перебирающую четки.

Янтарь их был крупен, зерна его напоминали гирьки.

«Рублей четыреста золотом», — подумал Иса и, испугавшись неуместной внимательности, быстро отвесил поклон, конвульсивно вздрагивая плечами.

— Имам, — прошептал он, — в каком отношении изволишь спрашивать?

— Ты в наших горах впервые, а Керим пишет, что ты человек умный, верующий, вот я и хочу узнать у тебя — какова показалась тебе дорога, обычаи и все, что ты мог увидеть проездом?

— Имам, позволишь сказать правду?

— Разумеется, говори.

— Имам, во владениях твоих дороги очень тяжелые, — с подчеркнутым соболезованием, которое должно было показать, что слова эти никак не могут обидеть имама, произнес Иса, — путешествие весьма затруднительно по причине множества лесов, переправ и ущелий. Я делал верст по пятьдесят в сутки. Что же касается гостеприимства, то я им доволен.

Шамиль слушал, улыбаясь.

— Да-а, любезный, вот это-то я и хотел от тебя услышать. Я не смею равняться с могущественными государями, — он произнес эти слова с недоброй иронией, — я простой горец Шамиль, но моя грязь, мои леса, мои ущелья делают меня сильнее многих.

Он провел рукой по бороде, добавил шутливо:

— Если бы я мог, умастил бы маслом леса, а грязь дорог смешал бы с медом.

Шамиль щурил глаза, лицо его от этого становилось насмешливым. Он был сегодня добр.

— Я понимаю так,— продолжал Шамиль, помолчав,— что тебе не очень понравилось у нас.

Это было сказано в шутку, но без улыбки.

Пленный солдат засмеялся и, втянув голову в плечи, пробежал с кувшином за угол. Иса поклонился, желая сказать что-нибудь приятное, как полагается гостю, но Шамиль не стал слушать его.

— Ну и поезжай с миром.— И, ничего не сказав о привезенном письме и не отдав за труды, Шамиль обратился к другим ожидавшим его.

Иса поклонился, отступил шагов на пять назад и, поворачивая голову вправо и влево, широко и успокоительно вздохнул.

Шамиль заговорил с Байсунгуром, и Иса сейчас только увидел Шамиля таким, каким запомнил его на всю жизнь.

— Что приехал? — спросил Шамиль безрукого наиба.— Разве дел у себя нет? Или обидели тебя? — добавил насмешливо и стал внимательно слушать объяснения Байсунгура, разглядывая окружающих и не глядя на докладывающего.

Шамиль был в простой рыжей черкеске из хунзахского сукна, в темном ситцевом бешмете под нею, в старых морщинистых чириках, в черной папахе, обтянутой белой, не первой свежести кисеей. В руках он держал четки старого крупного янтаря, обкручивая ими рукоятку большого кинжала отличной кубачинской работы. Шамиль был плечист, широк, с рыжей от хны, широкой и плоской, будто вытуженной, бородой и с очень седыми бровями, лохмами падавшими на глаза.

Лицо его было страшно, хотя и не уродливо, скорее даже красиво. Но оно выражало ничем не прикрытую жестокость. В тонкой линии носа, в пучочках волос, торчащих из ноздрей, в морщинах широкого умного лба, в длинных тонких губах, усы над которыми были слегка подстрижены, чтобы не лезли в рот, в бледном цвете лица, в пологом покате плеч, даже в худых — сравнительно с фигурой — ногах лежало это общее, умом необъяснимое выражение спокойной, раз навсегда предусмотренной жестокости.

Иса отошел и наблюдал за имамом издали. Шамиль оставался у окна, беседуя с Байсунгуром, и голос его, негромкий, но резкий, был слышен далеко, и при звуках этого голоса ничего нельзя было делать — он приковывал каждого, к кому бы ни относился.

Выслушав Байсунгура, имам обратился к ожидающим, спрашивал, у кого есть жалобы на наибов, и у ворот поднялся галдеж на множестве языков.

— Выслушай их, Байсунгур, — сказал Шамиль, — потом расскажешь нам.

К имаму подошел хиндаляльский наиб, высокий и статный красавец в новой черкеске, при дорогом оружии.

— Виновный знает свой час,— полусерьезно произнес имам.— Вчера о твоих делах думал, а ты уж и здесь.

Народ внимательно слушал, забыв про свои жалобы.

— Работа твоя дурно идет,— сказал имам, опять не глядя на стоявшего перед ним, а зорко рассматривая окружающих и как бы спрашивая всех их.— Русские лазутчики все твое знают, а ты рядом с русскими сидишь и ничего ихнего не знаешь. Вот солдаты твой народ обижают, а ты что сделал?.. Мы далеко живем, тихо живем, о твоей славе слуха не имели Расскажи, дай радости!

Наиб, густо побагровевший при первых словах имама, ответил:

— Нет послушания у некоторых моих. Жалобу на них приношу.

— Свою палку надо в руке иметь, за моей ходить далеко, — ответил имам и тотчас спросил: — Кто твое сердце рассердил, кто твоей палки не испугался?

— Мюрид Исмил вышел из моего послушания, великий имам. Закрытый для меня человек, веры в него нет у меня. К русским ходит, что там говорит — не знаю, к нам приходит, что нам говорит — не верю. Недавно перехватили мои русского офицера... Я за него выкуп назначил, письмо русским послал. А Исмил, тому не внимая, украл офицера у моих, трех моих людей ранил, одного убил насмерть и скрыл от меня пленного. След вел к гергебильскому мельнику, от него — к гергебильскому сотенному Идрису. Именем твоим велел им выдать пленного — отказались.

— Если слово верное — накажи крепко, — сказал имам. — Смерть тоже в твоих руках, ты наиб, — добавил он назидательно.

Толпа, окружившая окно, у которого говорил имам, заволновалась. С дальнего края сквозь нее пробивался Исмил.

— Верно сказано: виновный знает свой час, — прищурясь, заметил Шамиль. — Не сам пришел, грех привел?

Невысокий, плотный, с клочковатой русой бородой и озорными детскими глазами, Исмил смело подошел и поклонился имаму.

Народ неодобрительно зашумел за его спиной:

— Кяфыр был, кяфыр остался. На правоверных кинжал поднял... Судить надо...

— Имам! — резко и звонко произнес Исмил. — Все было, как наиб объяснил, только пленного не было.

— Говори.

— Бежал от русских в горы наш человек, аманат. Мальчишкой отдали его русским, там вырос, офицером стал, решил в горы, домой, выйти. Важное дело тебе нес. Наибовы люди взяли его на цепь, менять решили. Вот где беда!.. А я в те дни в крепость к русским тайно ходил, узнал — ищут они беглеца и большие деньги дают за него, потому что секрет он важный знает. Я — назад. А того аманата наиб на обмен уж послал, вот-вот обменяют. Взял я тогда кинжал во славу твою, кинжал дело решил — аманата кинул я на коня, ушел в Гергебиль, к сотенному Идрису, семь дней пролежал с аманатом под мельницей... едва живой он был, ранен крепко...

— Ну, почему его ты менял? — перебил Исмила наиб. — «Аманат», «аманат», а где аманат?.. Настоящий офицер был, клянусь аллахом, большой разведчик...

— Человек сказал мне — вези меня к имаму. Слово для него важное есть. Потом хотите — убейте.

— А где аманат? — закричали в толпе.

— Вот он, вот! — раздался детский голос, и мальчик, проводник Исы, толкнул вперед человека в башлыке и бурке, стоящего в стороне от толпы.

Все ахнули. Дело развивалось, как в сказке.

Шамиль погладил бороду — ему тоже дело нравилось. Он любил, чтобы дела шли, как записано в книгах, в острой, красивой последовательности.

— Последний говорящий произносит самое главное, — сказал Шамиль. — Так у нас в книгах записано. Проверим, подтвердится ли.

Мальчик стащил с человека бурку и развязал на его голове башлык. Все увидели тонкого хрупкого юношу с забинтованной головой, с подвязанными руками. Рваная черкеска его была в крови, ноги в окровавленных, ставших от крови рыжими чириках. Он шатался.

Шамиль молчал, выжидая.

— Эй, скажи твое слово!.. Ты!.. — шептали отовсюду, но неизвестный долго молчал. Плечи его тряслись — он плакал.

Шамиль сделал знак, и Байсунгур беноевский пригласил в дом хиндальяльского наиба, Исмила и забинтованного человека. Мальчик, приведший в Ведено Ису, тоже вошел во двор дома, поддерживая раненого и неся на себе его бурку.

Народ загалдел, заспорил.

— Хороший шаг не пропадет даром, — сказал имам народу и, воздев над ним руки, удалился от окна.

Иса лег на земле и тотчас уснул под крики и споры.

Он лег, забыв укрыть лицо башлыком, как обязан был сделать лазутчик, чтобы никто потом не мог опознать и выдать его.

Над ним шумели спорщики. Иные шагали через него, другие наступали на руки, третьи, смеясь, разглядывали чужое лицо, желтое от дороги и пыли.

Он лежал, припав к земле, как хаджи перед камнем Каабы, как грешник, увидавший вершину мира.

Все было достигнуто и осталось позади. Он видел имама. В его жизни ничего не могло быть торжественнее и страшнее этого.

Он спал, не желая проснуться. Обида мучила его. Сколько мечтал он пробраться к имаму, сообщить ему важное и получить в поощрение нечто, что навек осчастливило бы его. Он знал, что имам скуп, но скупые, если уж раскошеляются, так удивительно. И он чувствовал, что дело, ради которого он прибыл сюда с опасностью и трудом, не коснется его ожидаемым образом. И вдруг сон шатнулся, исчез. «Аллах милосердный!.. Не сочли бы хоть за лазутчика русских! Прости, прости, всемогущий!» — Иса завыл и застонал и без сновидений погрузился в забытье.

А вечером его разбудили и велели идти в глубь имамского дома. Было уже темно, огромный двор неясно освещался двумя жирниками, блеяли овцы, пахло хинкалом. Женский сдержанный смех раздавался где-то вблизи, но что-либо видеть ему не удалось. Хаджио ввел Ису в свою комнату, помещавшуюся рядом с кладовой, и долго диктовал заказы, выговаривая за плохое качество риса, присланного Асадуллаевым в прошлом месяце и еще не оплаченного имамом.

— Соль дешевле не будет?

— Соль дороже будет, — скромно отвечал Иса, — соль в русских руках, эффенди. Один русский офицер всю соль в свои руки взял.

— Знаю я этого офицера. Знаю я его руки, — раздраженно отвечал Хаджио. — Его руки маленькие. Когда бы твой хозяин у него доли не имел, дешевле соль была бы. Я Махсум-Махсума знаю.

Иса, не смея перечить, разводил руками и едва слушал Хаджио, лоя, не раздастся ли снова голос имама, но все было тихо в доме.

— Белой муки надо пять фунтов, — говорил Хаджио, — три шелковых бабских платка надо... Запомнишь? Вы там, у русских, и вправду одним грехом живете, прямо стыдно за вас, шарията не держитесь... Свечей надо! Как вернуться к себе, сразу все приготовь, наш человек будет в крепости, возьмет быстро... Богу молишься?

Иса обещал все сделать немедленно по возвращении в Шуру и осмелился спросить, где ему будет разрешено переночевать.

— Э-э, а еще джигит! — укоризненно сказал Хаджио и почесал висок. — Зачем тебе ночевать? Садись на коня да поезжай с богом...

И, рассердившись, сразу же отпустил Ису, еще раз приказав ему выезжать немедленно и в ауле на ночь не оставаться.

Тут же написал он Исе пропускной лист, крикнул дежурного нукера, чтобы тот проводил гонца до ближайшего аула, и сам проследил за тем, как гонец выехал со двора.

О привезенном письме опять ничего не было сказано.

Аул еще не спал, а в Гирнике, солдатской слободке, было и вовсе весело — оттуда доносились песни и смех. Иса вспомнил, что забыл в Ведено своего проводника-мальчишку, но возвращаться за ним поленился. Он ехал, блаженно повторяя в памяти встречу и свой разговор с имамом, стараясь подробнее все запомнить, чтобы было что рассказать в крепости, — и чем больше вспоминал он, тем все длиннее и содержательнее казалась ему беседа с имамом, будто они проговорили много часов на очень важные темы, решающие их жизнь. И поездка показалась удавшейся и счастливой, хотя тревога и не покидала Ису.

«Деньгами не одарил и спасибо не сказал».

Еще не успел Иса оставить Ведено, как были посланы люди к наибам, к ичкерийскому Шуаибу, шубутовскому Джаватхану, ауховскому Улубию и наибу Большой Чечни Талгику с приказом быть готовым к удару русских. Разослав гонцов, Шамиль долго сидел в рабочей комнате, думая о гражданских делах и перебирая книги. За домом начинался вечер. Шум стад и крики женщины приятно дрожали в воздухе, наполняя сердце грустным покоем. Потом запели, закричали будуны на минаретах, и Шамиль, давно уже чувствовавший, что время вечерней молитвы близко, отстранил книги и помолился, а затем снова погрузился в неясную работу мыслей, играя четками, без дела перебирая книги или надолго задумываясь неизвестно над чем и зная лишь одно, что над аулом ночь.

Ее покой воодушевлял имама. Ее покой был бодр. Не чувствуя усталости, имам читал и думал. Он любил книги (их у него было сорок два конных выюка), но в последние годы редко касался их и досадовал на это. По характеру своему Шамиль не был предназначен к составлению книг и потому любил их с горечью, как нечто такое, чего он никогда создать не может, хотя и понимает, как и для чего создаются книги.

Устное высказывание, наоборот, отлично подходило к его деятельному характеру, к его потребности сразу выражать свои впечатления, но в душе дар речи никогда не удовлетворял имама.

Шамиль был хорошим оратором, но объяснял себе это качество тем, что он всегда читал книги вслух. Так и в этот раз читал он допоздна, то как бы проповедуя, то выпрашивая или беседуя.

В десять часов Хаджио принес ему деревянное блюдо с сыром, сладкими, немного черствыми булочками и мягкими шоколадными конфетами, на днях доставленными лазутчиком из Тифлиса.

Шамиль быстро съел ужин, взял несколько конфет и ушел с ними на женскую половину, но скоро вернулся и уже в одиннадцать погасил огонь во флигеле, в конце внутреннего двора, где он всегда проводил ночи.

И только лег спать, как вскопчил и, набросив на себя тулупчик, служивший ему и одеялом, тихо, стараясь не шуметь, вышел на балкон и на ощупь побрел к кунацкой, где до завтрашнего разбирательства оставлены были хиндаляльский наиб, Исмиль и пленный.

В кунацкой еще не спали. Через приоткрытую на балкон дверь слышался негромкий разговор. Говорил молодой пленный. Речь была медленная, трудная.

— Я горец, — говорил он, — и вы сами понимаете это. Да вы боитесь меня...

Хиндаляльский наиб икнул от смеха.

— Видал? — сказал он Хаджио, который стоял у двери и рассеянно жевал тифлиские конфеты, то и дело доставая их из кармана шаровар.

— Кто я, откуда, где мать и отец — не знаю, — продолжал юноша, — но слышал я, что мой отец большой человек в горах.

Слушатели рассмеялись.

— Говори, говори... Виновный знает свой час, — поощрил Хаджио, шутливо употребив имамское выражение. — Что делал у русских?

— Учился военному делу, офицер был. Воевать умею,— достойно ответил юноша, и слушатели опять искренне рассмеялись, потому что рассказчик был хрупкий и тощий парень и явно врал про себя.

— Он правду говорит, — сказал молчавший Исмиль, — я о нем давно слыхал. Слух шел, будто он имамов сын, ну, это — вранье, я знаю... а что горец он — это точно. Образованный — вот происхождение и не показывается, обычай свои забыл...

— Кяфырами образованный! — проговорил хиндаляльский наиб. — Нам таких не надо. От таких людей вред идет. Эти аманаты — чужое племя, — сказал он, обращаясь к Хаджию. — От какого отца ни будь, а в русских руках чужой станешь... Видел я одного такого... Пустой человек... другой закон любит, другую жизнь хочет, наше родное дурным считает... ноги горские, руки горские, голова русская.

Офицер перебил его:

— По-твоему, Джамалдин, сын имама, тоже кяфыр там стал? Вредный нам будет?.. Э-э, нехорошо ты сказал...

Чтобы перебить разговор, Хаджию обратился к юноше:

— Если с добром пришел, с добра начинай. Набег на нас будет?

— Будет. На Гергебиль собираются. Гергебиль возьмут, на Салты двинутся. Надо нам, — робко, но твердо произнес юноша, — надо нам Гергебиль укрепить и, пока русские под ним стоять будут, ударить на Шуру...

— Верно сказал, — заметил дремавший в углу, на ковре, Байсунгур. — Когда говорят — ударить, всегда верю...

Шамиль, стоя под дверью, на темном балконе, думал, войти ли ему в кунацкую или вернуться к себе, но расслабленность, мучившая его с утра, и легкое приятное головокружение удерживали его в темноте ночи. Ему было грустно. Разговор о его сыне и этот неизвестный парень, искавший отца, расстроили его. «Этому малому можно верить», — подумал он с отеческой жалостью.

Он сделал шаг назад — нога его наткнулась на что-то живое. Он наступил сильнее, почувствовав под ногой человека, и быстро наклонился, держа руку на кинжале. Под ногой его был ребенок, ребенок вскрикнул — имам поднял его за руку и медленно и все-таки на цыпочках побрел к себе.

Дойдя до комнаты, имам сразу же упал на подушки, приготовленные ему для сна.

— Тссс, молчи, молчи... — шептал он, держа за руку мальчика. — Не надо никого звать... Откуда взялся?

— Имам, — лепетал мальчик, пытаясь поцеловать полу бешмета, — я привез ночью гонца из Шуры, лазутчик он, клянусь аллахом, деньги, говорит, большие будут...

— Тссс, не надо никого звать... Блаженны чтущие долг свой!.. Чей сын ты, чей сын?

— Мельника... Сурхая я сын, из Гергебиля. Увозил Исмиля — остался с ним. Аманата жалко.

— Сын мой — аманат!.. — прохрипел имам. — Спаси его аллах! Кто спасет?

— Идрис спас, — ответил мальчик, полагая, что вопрос обращен к нему, и не зная, что имам бредит.

— Мой сын Идрис, — пробормотал имам открытым дрожащим ртом. — Мой сын в Гергебиле. — Рука его разжала плечо мальчика и упала на пол. Мальчик зажмурил глаза и на четвереньках выскочил на балкон.

Известие, привезенное гонцом Асадуллаева, еще днем лишило Шамиля спокойствия, но он отстранял волнение всеми мерами, не чувствуя

тогда сил справиться с ним, как нужно. Весь вечер он делал вид, что отдыхает, и погружал мысль в отдаленные пророчества книг, чтобы не приблизиться к обдумыванию известия.

Шамиль не рассчитывал на большие военные действия в этом году, думая заняться внутренними делами, и поэтому намерение русских его сильно обеспокоило.

Еще весной посылал он наиба Абакара Дибира в набег на Тарки, Инко-Хаджио — на Кумух, Хаджи-Мурата — на Дженгутай. Дибира и Инко-Хаджио разбили, а Хаджи-Мурат ушел от сражения, взял только в плен мехтулинскую ханшу и стал — на потеху всем — жить с нею как с женой. От этого поступка было одно горе, одна печаль. Ханша эта приходилась тещей Даниэль-беку, а Даниэль-бек был тестем сына Шамиля — Кази-Магомы. Получалось так, что Хаджи-Мурат оскорбил родственницу имама, хоть и была она ханшей.

А Хаджи-Мурат, аллах его погуби, еще говорил среди своих приближенных: «Шамиль идет против ханов, он рад будет, что я ханшу унизил».

Печальный вышел набег.

После него народ было оповещен, что в текущем году имам не предпримет наступательных действий, и менять приказ Шамиль теперь не хотел. Да и собрать людей в набег было сейчас трудно, а еще труднее найти им общего начальника.

После весенних неудач Шамиль не хотел пускать своих наибов в сражения, раньше чем не проверит их заново.

Сам он был хорошим военачальником в том смысле, что, хотя и не умел командовать сражениями, задумывал их задачи всегда остро, умно, рискованно.

Сам он бывал храбр и жесток в бою, но спокоен, азартен и, зная за собой эти недостатки, доверял сражения то одному, то другому из своих приближенных, никогда, впрочем, не удовлетворявших его.

Наибы его выросли из абреков, из партизан, ладные и хитрые были джигиты, но править большой и долгой войной никак не умели.

Шамиль знал их лучше, чем самого себя, и никогда не полагался на их военные дарования, даже когда они успевали в делах.

В сотый раз пересматривал сейчас Шамиль каждого из наибов. Лучших давно уже не было. Ни каменно-твердого Сурхая, павшего под Ахульго, ни умного, твердого Ахверды-Магомы, наиба Большой Чечни, из пленных армян, человека такого ума, что перед ним все бледнели, ни Лабазана андийского, редкого хитреца и разведчика.

Шуаиб-Мулла, теперешний наиб ичкерийский, полуаварец, полученец, смелый из смелых, был ленив в делах управления, небрежен к людям, забывчив в бою. Дрался хорошо, а что к чему — никогда понять не умел. Джаватхан тоже был ладный джигит, но больше чем сотней людей не умел командовать. Улубий ауховский тоже был храбрый, но если в бою кто осмеливался быть храбрее его, он все забывал. Он любил рубиться шашкой, командовать не успевал. Таким же был и Байсунгур, наиб беновский. Этого все уважали за геройство. Он мог родного отца зарубить за трусость, был предприимчив, стоек, верен, но откровенно презирал осторожность, не понимал, что такое обдуманность, и все собственные неудачи объяснял колдовством. Всех их сильнее умом и опытом, благочестием и знанием тариката был разговорчивый, начитанный Кибит-Магома, наиб тилитлинский. В нем не было геройства отчаянного, но он все умел держать в голове, обо всем помнить и разное соображать, но и этого человека никуда не мог пустить Шамиль: Кибит-Магома спал и во сне видел, как он свалит Шамиля и сам станет имамом.

Храбростью же и умением в военном деле всех превосходил Хаджи-Мурат, наиб тлохский, бывший у русских когда-то правителем Аварии в чине

прапорщика. Но зато и опаснее этого Хаджи-Мурата никого не было в горах.

Когда-то, тому лет пятнадцать, Хаджи-Мурат и Осман, брат его, убили имама Гамзата, предшественника Шамиля, а потом, служа русским, Хаджи-Мурат не раз нагонял страху на людей Шамиля, пока не привел его аллах самого в горы к Шамилю.

Имам забыл тогда кровомщение, решил жить с Хаджи-Муратом дружно, но дружбы не получалось, и виноваты в том были они оба: оба боялись и не доверяли друг другу.

Шамиль имел тяжелую руку и славу старшего учителя, а Хаджи-Мурат имел славу старшего джигита и тоже не ленивую руку. Слава славе мешала, рука руке уступить не хотела. Неуважительный и непостоянный человек был Хаджи-Мурат, не знал и ничего не хотел знать, кроме набегов и джигитовок.

«Все разумные мысли, — думал про него Шамиль, — приходили ему в бою и уходили, как бой кончался. Да и храбрым он умеет быть не долее суток. Если бой дольше длится — он теряет лицо, а если бой короток — он всегда возьмет верх».

Хаджи-Мурат, как и Кибит-Магома, тоже подумывал об имамстве, и их обоим Шамиль держал вблизи себя, а если и отпускал на дальние дела, то всегда имел страх в душе: чем это кончится?

«Все хотят славы себе, позора мне».

Ни на одного из них не мог возложить сейчас Шамиль дело войны. А воевать было надо.

Имам очнулся, оправил бороду, облокотился на подушки и хлопнул несколько раз в ладоши.

Хаджи просунул голову в комнату. Едва раскрывая губы, невнятным голосом имам велел разбудить сына — Кази-Магому, беноевского наиба Байсунгура и омусульманившегося армянина Шах-Аббаса, секретаря, а также тех троих, что ждали разбирательства на завтра.

— Важное дело тем бывает важнее, что его надо решать быстро, — сказал Шамиль, когда вошли Кази-Магома в тулупчике поверх белья, Байсунгур в мятой черкеске, которую он никогда не снимал и на ночь, Шах-Аббас и пленный в том виде, как представлялись утром. — Ну-ка, почитай нам, Шах-Аббас, что там у русских, что они думают.

И бросил ему кипу газет, сегодня привезенных Исой.

Только что разбуженный, вялый со сна, Шах-Аббас, испуганно придыхая, чтобы не обнаружить, что он недавно курил трубку (а за курение протыкали раскаленным гвоздем ноздри), стал быстро, через пятое на десятое, читать тифлисскую газету «Кавказ».

Никто не знал, зачем Шамиль позвал их, но все понимали, что дело не в чтении, и потому слушали плохо. Да и сам Шамиль не вдумывался в сообщения русской газеты, хотя для приличия время от времени спрашивал:

— Кого, кого в генералы? Это не того, что у нас в плену был, под Ге-хами взяли? Ай, ладно! У нас в яме сидел, нам за ученье должен.

Шамиль отдыхал сейчас от напряжения, как от горячей, изнурительной бани. Но всегда за минутами слабости следовало легкое и бурное, не знающее границ вдохновение догадок. Шамиль поджидал его, рассеянно слушал газету и приятно волновался. Он любил это состояние. Оно всегда приносило ему успех в делах и делало его неотразимо сильным даже в собственных глазах. А сегодня было особенное — мысль о сыне связывала все его чувства и двигала их. В этой мысли была удача. Он целиком доверился ей.

Когда Шах-Аббас перевалил со второй на третью газетную полосу, Шамиль остановил его.

— Стой, Шах-Аббас! Большие люди в важных делах сначала шутят, а потом уже толкуют о деле. — И, смяв в горсточку четки, подбросил их два два на ладони. — Слух прошел, русские поход затевают. Куда удалят — не знаем. Не лучше самим начать? Ты как думаешь, Кази-Магома? — спросил он сына.

— Как решишь, отец...

— Я спрашиваю.

Угрюмый красивый богатырь Кази-Магома повел плечом, ответил осторожно, почтительно:

— Укрепим Ходжал-Махи, место крепкое.

— Так. А ты, Байсунгур?

Наиб, не задумываясь, ответил:

— Самое крепкое место — хороший конь. Сто коней — крепость. Имам, я бы на Шуру напал.

— Так. Значит, набег на Шуру сделать? — переспросил имам и закрыл глаза, ожидая, что ему скажут.

Он сам ни за что не хотел набега, потому что в набег можно было послать одного Хаджи-Мурата, а у того и так славы много, сбавлять пора, но желал выслушать сына. Шамиль любил, решив что-либо, проверять замысел на своих близких, чтобы знать, как они понимают дело.

— Или укрепим Гергебилю, — повторил Кази-Магома. — Теперь инженеры у нас есть. А хорошо выйдет — пошлем Мусу балаханского в набег на Шуру.

Имам кивнул головой.

— Верно сказал. Русские у Гергебилю — мы в Шуру. Так. А в Гергебилю кого? — спросил он.

Сын развел руками.

Помолчали. Конечно, сказал про себя каждый из них, опытнее всех Хаджи-Мурат и, будь он человек верный, ему б и командовать.

Байсунгур шумно вздохнул.

— На Грозную можно еще набег сделать, — сказал он мечтательно. — Гребенских казаков тоже давно мы не щупали.

— Зато они нас два раза щупали, — без злобы сказал имам и повернулся к Шах-Аббасу, осторожно зевнувшему несколько раз.

— Что, здоровье твое плохо? — быстро спросил он.

— Нет, очень хорошо, имам. Милостью божьею.

— Здоровье твое неплохо, я знаю, — щуря глаза, сказал Шамиль. — Здоровье твое хорошее, только ты им не так пользуешься, Шах-Аббас. Ты вот своих ребят любишь — это хорошо, и веселый разговор ты любишь — это опять хорошо. А зачем ты все это любишь, Шах-Аббас, я не знаю, — продолжал Шамиль, внимательно разглядывая переводчика и слегка улыбаясь краешком губ. — Вот скажи мне, зачем человеку ребят любить?

— Имам, я думаю, для радости, — ответил переводчик, искоса поглядывая на Кази-Магому, но тот сидел, опустив глаза.

— Вот ладно! Верно сказал, — не унимался Шамиль. — А свой дом любить?

— Я недостойно скажу имам — тоже для радости.

— Достойно сказал, верно сказал. А коня любить? А свой кусок земли любить?

— Имам, я позволю себе думать — тоже для радости. Сколько ее ни имей, все больше хочется.

— Вот ладно! Ты, Шах-Аббас, трубку хоть и курил, а ум у тебя цел остался, — почти весело сказал Шамиль. — Вот ладно. Ну, а зачем, уважаемый Шах-Аббас, тебе столько радости? А?

— Аллах лучше знает, имам, — прошептал насмерть перепуганный Шах-Аббас. — Недостойно мне посягать на объяснение жизни, — добавил он, совершенно теряясь.

— А я тебе скажу, для чего человеку столько радости, — для труда, Шах-Аббас! Человек холостой работает хорошо — ему дают жену. Он — еще лучше. Тогда ему дают коня — он опять еще лучше. Когда он устает от подвигов, аллах посылает ему вторую жену — еще радость. Потом сына, потом другого сына. Понял? А когда человек плохо работает, коня у него нет, жены нет, детей нет, никакой радости нет. А ты у меня такой человек, Шах-Аббас, — радости у тебя много, а работы нет. За что я тебе дом дал, коня дал? Аллах меня покарай, не знаю. Неверно дал.

Шах-Аббас перебирал трясущимися руками полы бешмета, надеясь на то, что поучение имеет, по-видимому, в виду также и Кази-Магому, о котором вчера прошел слух, что он плясал в русской слободке за аулом.

Один Байсунгур не испытывал ни смущения, ни страха. Он сидел, глядя своими серыми глазами на имама, и его единственная правая рука железно лежала на кинжале. Байсунгур любил имама, гордился тем, что гостит у него, и одобрял суровость его жизни.

Шамиль бросил четки на ковер и сказал другим, еще не бывшим в эту ночь голосом, жестоким до шепота, глядя попеременно на сына и Хаджио:

— Акушинцы что у нас говорят? Будешь сладок людям — проглотят, будешь горек — выплюнут. Ладно сказано.

Он вдруг повернулся к стоящим в отдалении Исмилу и пленному.

— Сядь с нами, Исмил, — сказал он. — Гостя пригласи сесть. Чей будешь, откуда?.. Говорили мне, ты из гор взят?

Пленный стоя приложил руку к сердцу.

— Отец! — И Шамиль вздрогнул и прикрыл на мгновение глаза. — Чей я — не знаю, откуда — не помню. С десяти лет в аманатах был, все, что знал, растерял, осталась одна тоска... Есть у меня и мать и отец, есть и родной аул, но ничего обо всем этом не знаю...

Спустив глаза, Шамиль слушал, легонько качал головой.

— Дело твое трудное, — сказал он, дав офицеру высказаться. — Много сыновей поотдавали мы русским, я сам отдал старшего. Как узнать, чей ты?

— Мне говорили русские, что отец мой большой в горах человек.

— Кто у нас большой, мы сами того не знаем, русским откуда это узнать... Семья есть или холост?

— Холост, имам.

— Холостой родины не имеет. У нас и поговорка такая есть: «Откуда ты, — спрашивают одного малого. — Не знаю, — говорит, — я еще не женатый»... Мы так сделаем. Проверим, кто ты, откуда. Кровь голос подаст... У кого служить хочешь? Ты офицер, ты там, у русских, про нас слыхал?

— Имам, пошли в Гергебиль. Хочу служить у Идриса.

— Что знаешь о нем?

— Что он спит и видит, как за тебя умереть.

Шамиль задумался на одно мгновение. Все это были слова из забвения, счастливые слова, он шел за ними.

— Ладно сказал. Идрис будет старшим в Гергебиле, и ты помогай ему, покажи, что умеешь. Народ увидит, какой ты, узнает, чей. У русских как имя было?

— Аполлинарий.

— Афилон будешь. Идите.

Все встали, кроме Шах-Аббаса.

— Хорошо! Где мальчик, что привез гонца из Шуры? Спит? Положи ему в папаху конфет, сколько сам хочешь съесть за один раз. Идите с миром.

Байсунгур крикнул от удовольствия.

— Имам, достой быть под Гергебилем...

— Пускай молодые начнут...

Шах-Аббас выхватил из глиняного горшочка тряпку, пропитанную чернилами, взял деревянное перо и стал быстро писать на маленьких листочках срочное письмо имаму.

Написав письмо, Шах-Аббас свертывал его в трубочку и складывал в ружейную гильзу, как в конверт. Гильза вручалась гонцу.

— Крепкий набег можно сделать, — уже в дверях сказал Байсунгур.

— А набег не выйдет, — ответил имам. — Надо охранить Гергебиль.

Глава 2

После падения Ахульго в августе 1839 года военные дела на Восточном Кавказе в течение восьми лет не были блестящи и выгодны для русских. В 1840 году отложились Чечня, Салатавия, Гумбет. Через два года — неудачный ичкерийский поход генерала Граббе, через три — экспедиция Воронцова в Дарго, когда наместник, славный противник Наполеона, растеряв лучших генералов и погубив тысячи солдат, едва выбрался живым из дагестанских гор.

В 1847 году, в год начала нашей повести, князь Воронцов распорядился предпринять небольшое движение в горы, чтобы захватить Гергебиль и Салты, ключи к нагорному Дагестану.

Русские войска должны были двинуться двумя отрядами: Дагестанский — князя Бебутова — с севера, из Темир-хан-Шуры; Самурский — князя Аргутинского-Долгорукого — с юга, из Казикумуха. На выполнение всей боевой программы определены были май, июнь и июль, срок чрезмерный для обычной рекогносцировки, как именовалась задуманная экспедиция. Большой срок и малые цели похода сразу взбудоражили солдат. Распространился слух, что истинная цель похода не объявлена и что не иначе как Воронцов опять, по примеру сорок пятого года, ползет в глубь Дагестана. Слух этот всех взволновал, хотя и был неверен. Никакой другой цели, кроме взятия Гергебиля и Салтов, не существовало. Князь Воронцов хотел обойтись в этом году малым количеством людей и малыми деньгами, потому что просить специальных сумм на экспедицию в горы было совестно — сорок пятый год еще у всех был в памяти. Ему бы и денег не дали и кампании бы не разрешили. Поэтому на приготовление к походу было ассигновано всего лишь шесть тысяч рублей серебром. Но солдаты не знали обо всем этом и руководствовались голым соображением, что три месяца на овладение двумя аулами — много, значит предполагается еще что-нибудь. В князя Воронцова как в полководца никто на Кавказе не верил, и слухи о том, что он опять на рожон ползет, шли, обрстая на своем пути новыми слухами и догадками, от штабов к полкам, из полков в укрепления, все усиливая и обостряя общее беспокойство.

В первой роте знаменитого на всем Кавказе Апшеронского полка слух перед самым походом вырос в заговор: пятнадцать человек рядовых, все больше солдаты пятого, шестого годов службы (тогда солдат служил двадцать лет), решили уйти в горы. Одни уходили навсегда, собираясь переменить веру и обзавестись в горах семьей, как драгун Радомцев — ныне мюрид Исмил; другие — но таких оказалось всего четверо — бежали в качестве «обратников», то есть рассчитывали пробыть в горах с полгода, вернуться назад и получить вольную. В законе был пункт, что солдат, бежавший из плена Шамиля, получал вольную, и темирханшуринские купцы завели даже тайные «конторы» для проводки солдат в горы на определенный срок и вывода их оттуда.

Брали за такую операцию от двухсот рублей серебром и выше. Половину — перед побегом, вторую половину — после возвращения с гор. Дело было недешевое, и идти на него могли одни богатые мужики.

Четверо «обратников» должны были бежать на марше и не ранее чем после первой перестрелки, чтобы командир роты списал их без вести пропавшими в бою.

Одиннадцати другим было выгоднее бежать из крепости до похода, но и они согласились ждать четверых, потому что старосту выбрали себе одного на всю партию, да и проводника уже принесли тоже одного на всех.

Староста группы, мушкетер Гаврилов, из богатых смоленских крепостных, «обратник», уверял, что можно свободно обойтись и без проводника, у него в горах были свои кунаки, и он крепко на них надеялся, но решено было без проводника не идти.

Года три тому назад, в сорок четвертом, из крепости Грозной бежал в горы нижегородский драгун Алешка Радомцев, сожитель маркитантки Апшеронского полка Марьи Андреевны Саликовой и большой приятель Гаврилова. Слава о нем шла теперь крупная. Времени он в горах не терял — сразу же переиначился в мусульманина, стал мюридом, получил хорошую должность в отряде наиба Абакар-Дибера, взял жену с приличным хозяйством и ныне командовал конным отрядом. Новое имя его было Исмил. Ему все солдаты завидовали. Подумать только, какую жизнь раскрыл себе!

Был слухок, что Исмил и до сих пор еще не порвал отношения с Марьей Андреевной, и Гаврилов поэтому доверился ей, что бежит в горы, и попросил записку к Исмилу. Она медлила, но уже заметно склонялась к дружбе.

— Вернусь с гор, Андреевна, — говорил ей Гаврилов, — тогда Асдуллаеву конец придет — сам колониальное дело открою. Тут у вас не жизнь, а монетный двор. Соль возьмем в свои руки да бязь — вот и хрен нас кто тронет!

И часто намекал, что и она будет в доле.

Выступления отряда в горы ждали к базарному дню, что бывал в крепости по воскресеньям. В воскресенье и должна была решиться судьба всех пятнадцати человек.

В те дни собрался бежать в горы и прапорщик Аварский, выкrest из горцев. Судьба его была до странности романтична, но вполне в кавказском духе. Мальчиком девяти лет был он выдан аманатом от аула Гимры и вместе с другими детьми-заложниками отправлен на обучение в Ставрополь. Там находился он, не в пример остальным, на особом внимании. Поговаривали, что отец его — важная особа в горах, и многие думали, что это и есть тот самый Джамалдин, старший сын Шамилля, о пленении которого ходило столько фантастических слухов. И хотя обстоятельством выдачи Аварского и возраст его не сходились с Джамалдиновым, легенда все же осталась. Мальчик был окрещен Аполлинарием и под фамилией Аварского окончил кадетское училище. Прослужив год юнкером в Чеченском отряде, был произведен в прапорщики. Затем его откомандировали в Дагестанский отряд, где он сошелся с компанией разжалованных в солдаты гвардейцев, бывших декабристов и вообще либералов, не однажды был замечаем в предосудительных действиях, характера оказался неуживчивого и не проявлял никакого рвения в службе, что было воистину странно, так как он не лишен был способностей, болтал по-французски, много читал, а стрелял и рубился как бог. Казалось, такому человеку недолго жить в отряде, славившемся суровостью нравов. Однако Аварский продолжал веселиться, пристрастился к книгам и, невесть кому подражая, появлялся читающим даже на гарнизонных балах. Его прозвали «Марли» за отдаленное сходство с автором «Аммалат-Бека». Жил он бедно, в меру средств, даваемых должностью. Пить не пил, в карты не играл, одни лошади, да книги, да старое оружие составляли его увлечения.

Убеждение в том, что Аварский — сын важного человека, разделяли и темирханшуринские горцы. Он пользовался их любовью, впрочем легко объяснимой: говорил он по-кумыкски, как кумык, джигитовал, как истый абрек, был добр к детям. Его часто видели на темирханшуринском базаре одетым по-горски, в толпе кумыков, аварцев и даргинцев. Заломив папаху на затылок, он слушал воинственные повествования стариков, вполголоса напевал песни или сам рассказывал истории, вычитанные из книг.

Мужая как русский, все глубже чувствовал он себя горцем. Свободолюбивые мысли, усвоенные им от некоторых бывших декабристов, слагались у него в мировоззрение, которому душа искала живого дела.

— Во мне недаром слились две души, — говаривал он приятелям. — Я объединяю в себе идею родства двух народов, идею, которую уничтожить не может даже бойня, ведомая Петербургом на Кавказе. Так, сбившись с дороги в ночной темноте, два брата сталкиваются на узкой тропе и хватают друг друга за горло и рубятся до смерти. Между тем простое «салам» научило бы их разойтись мирно.

За такие речи можно было ожидать любого наказания, вплоть до разжалования, но Аварский отделался — как раз перед самым походом — двадцатью сутками ареста на крепостной гауптвахте. Здесь-то и сложился у него в окончательном виде план побега.

Дня за два до его исчезновения была холостяцкая вечеринка у штабс-капитана Брехниченко, артиллериста.

Собрались все весельчаки, весь цвет крепостного общества, и несколько приезжих из столицы штабных, которым хозяин хотел непременно показать кавказскую офицерскую семью в ее полной славе. Поэтому приглашены были в числе прочих и достопримечательные особы, мыслимые только в кавказской обстановке, — отставной поручик Максим Максимыч, душа всех попок в течение добрых тридцати лет, двое офицеров из декабристов, один барон, разжалованный в солдаты тоже в какой-то связи с декабристами, и прапорщик Аварский — этот «Марли» Дагестана.

Тулумбашем был Апшеронского полка капитан Оленин, известный рубака и скандалист.

Ожидались большие награды, как всегда, когда в походе участвовал сам наместник, и оттого настроение всех было приподнятым. Шуля, прикидывали, что кому выйдет — чин или орден, толковали о Шамиле, о его наивах и гадали, с кем именно из них придется иметь теперь дело.

В разговорах этих первую роль играл Максим Максимыч, знавший в лицо почти всех горских наивов, с которыми не раз он сталкивался в боевых делах.

— Максим Максимыч, а Кибит каков? А встречали ли Хаджи-Мурата? Доводилось ли видеть Алешку Радомцева? — наперебой расспрашивали его молодые прапорщики, еще не бывавшие в экспедициях и потому до крайности любопытные ко всему, что касалось гор.

— С Хаджи-Муратом главное дело — не торопиться, — нравоучительно отвечал старик сквозь дым своей неугасимой трубки. — А Кибит, что ж?.. Этот, господа, силен хитростью, сам-то не джигит он, но хитер за троих... А беглые наши — эти там в почете, верно. Есть такие кабанчики, господа... вот хоть тот же Алешка Радомцев, ныне мюрид Исмил... Ну-с, как сказать, в Хаджи-Мураты метит, лазутчик отменный, имейте в виду... Но бойтесь самого старика.

— А Шамиль сам в этом году выйдет, как думаете?

— Обязателью. Старика опасайтесь. Мастер нам карты путать. Помню я, дело было под Гимрами... в давние времена, само собой...

И пускался в долгий рассказ о годах, когда гремел на Кавказе Ермолов.

Капитан Брехниченко жил на форштадте в чисто кавказской манере. Сакля его, то есть турлучный домик из двух комнат с балкончиком, была убрана коврами и паласами, из мебели только широкая тахта да маленький ломберный столик, заменявший письменное бюро и обеденный стол. Поэтому гости были размещены на мутаках, закуски и выпивка — на барабах. Пить и петь, развываясь на коврах и мягких подушках, было удобно. На балкончике шестеро денщиков играли на балалайках и пели полковые песни.

Оленин — прирожденный тулумбаш — всем управлял с тонким искусством. То заставит рассказывать Максима Максимыча, то прервет его повествование песней денщиков, а там даст место анекдоту, охотничьему приключению, какой-нибудь штабной истории, чтобы затем внимание направить на умную беседу с декабристом или дать развернуться столичным гостям, охотникам до политики и стратегии.

Барон, разжалованный в солдаты, и прапорщик Аварский сначала держались в стороне — и пили мало и разговаривали сдержанно.

Но скоро вино возбудило и их. Беседа тем временем, оставив малые темы, взбиралась к большим вопросам — разбирали тактику Аргутинского, Пассека, Слепцова и самого наместника.

Оленин, сторонник решительных методов, всецело был за Аргутинского.

— Ты меня прости, Аполлинарий, — поминутно обращался он к Аварскому, — ты для меня русский офицер, и я тебя не стесняюсь, ты меня прости, пожалуйста, но я скажу, что думаю: никакого заигрывания с твоими горцами я не признаю. Говорят, школы будут строить для них. Смешно же, господа! Сами, значит, будем воспитывать из них врагов более грамотных, чем они есть.

— В чем же ты, в таком случае, видишь судьбу горцев? — спросил Аварский. — Я спрашиваю тебя и как горец и как русский офицер.

— Ты меня прости, Аполлинарий, я вот что думаю — в тебе самом показана естественная судьба горца...

— То есть ты хочешь сказать, что они должны перестать быть горцами, превратиться в плохих русских, забыть свой язык, обычаи, песни, предания, жить чужой историей и чужой славой...

— Да, Аполлинарий, да, да, да! — восторженно говорил Оленин. — Да, милый мой, да. Такова, брат, история цивилизации. Она жестока, но другой нет. Мы поглотим вас, впитаем в себя, растворим в себе...

— Зачем?

— Что «зачем»?.. Ты не полемизируй, погоди, ты меня напрасно только сбиваешь... Мы великий народ, у нас аппетит крупнейший, мы, брат, так съели Золотую Орду, что теперь и неизвестно, как это вышло. Смертию смерть поправ, понял?..

— Нет, я не понял, — бледнея, ответил Аварский, — и никак этого понять не смогу, да ты и сам не понимаешь, что говоришь... Нет, теперь ты погоди, теперь дай мне сказать... Горцы создали вам казачество...

— Кому «вам»?

— Ну, хорошо, нам. Нам — России. Ибо я действительно русский, ты прав. Горцы Кавказа приучили нас, русских, ценить и уважать свободу, мечтать о собственной свободе... Шамиль есть деятель России народной, как Разин, как Пугачев... Пушкин сказал, что такое Кавказ.

— Емеля, Емеля, прошла твоя неделя! Англицкая теория!.. Ни зерна русской мысли! Стой!.. Хотя мы, Аполлинарий, и кунаки с тобой, но принимали присягу оба...

— Да оставьте вы! Бросьте! — кричали им со всех сторон. Беседа принимала острый характер, присутствие столичных офицеров требовало окончить ее безболезненно. Вмешался хозяин.

— Какого черта, ей-богу! В вас больше сходства, чем различия. Ты тульский помещик, а ты — дагестанский, оба российские офицеры, о чем, значит, спор?.. Что ты, ей-богу, знаешь о своих горах, Аполлинарий?.. Ну, ни черта ты не знаешь. Сын Шамиля Джамалдин — горец не хуже тебя, верно? О чем мечтает? Вот мне рассказывал один приезжий — мечтает, брат, увидеть отца и столкнуться, чтоб старик сдался. Видал?

— Джамалдин, говорят, сватался за вашу сестру, Оленин, — сказал один из столичных офицеров, — верно ли, капитан?

— Верно. Да не отдам ни за что.

Все повставали со своих мест, обнимая спорщиков и наперебой предлагая им кончить пьяный спор и по-кавказски — расцеловаться. Барон, разжалованный в солдаты, единственный из всех трезвый, взобрался на табурет спеть куплет своего сочинения. Денщики на балконе грянули знаменитую солдатскую:

С нами бог и Фрейтаг с нами!

Шум сделался нетерпимым, и ни спорить, ни увещевать было невозможно. Тишину могла вернуть только дуэль.

Все чувствовали это и оттого еще более шумели. Катастрофа приближалась неудержимо. Послали за дежурным по крепости офицером. Вдруг к дому подкатила фура, и из нее торжественно вылезла маркитантка Апшеронского полка Марья Андреевна Саликова. Она никогда не являлась зря.

— Хлеб-соль, господа офицеры!.. Посади, ваше благородие, куда-либо, ног под собой не чую... — обратилась она к тулумбашу, хозяину стола, капитану Оленину. — Новость вам, ваше благородие, привезла... Шамиль собрался в Гергебиль!

Оленин обернулся к Аварскому.

— Решим наш спор после похода. Согласен?

— Отлично.

Они поклонились друг другу и разошлись.

— За поход! За поход!..

— Погодите, пусть расскажет подробно!..

— Черт возьми, вот будут дела!.. Ура, Марья Андреевна!..

В это время в кунацкую вошел дежурный по крепости.

— Ах, вы уже все знаете, — поморщился он, увидев Марью Андреевну. — Да, господа, это факт. Впрочем, я знаю гораздо меньше нашей уважаемой... Ну, выкладывайте, матушка, чего там...

— Имею слух самый верный, Шамиль собрался в Гергебиль, ожидают туда и Хаджи-Мурата... Крепкое дело предвидится!

— За поход! — Налили стаканы и выпили этот тост стоя.

— За свершение всех надежд! — И опять выпили стоя.

— За этот тост я выпью дважды! — громко произнес Аварский, придавая словам особое значение.

— Ты что, возлагаешь какие-нибудь особые надежды?

— Да. И не хочу скрывать их. — И он произнес стихами:

Всю жизнь, остаток прежних сил,
Теперь в одно я чувство слил,
В любовь к тебе, отец мой нежный,
Чье сердце так еще тепло,
Хотя печальное чело
Давно покрылось тучей снежной...
Проснется ль тайный свод небес,
Заговорит ли дальний лес,
Иль золотой зашепчет колос —

В луне, туманной выси гор
 Всегда мне видится твой взор,
 Всегда мне слышится твой голос.

Стихи, как это ни покажется теперь странным, были присущи кавказским пирам, и Аварского не прерывали, впрочем, может быть, еще и потому, что, каковы бы ни были стихи, они были лучше полемики.

— Нет, не входить мне в отчий дом, — произнес Аполлинарий почти дрожащим голосом, остановился и, налив вина, продолжал:

Меня чужбины вихрь умчал
 И бросил на девятый вал
 Мой челн, скользивший без кормила,
 Очнулся я в степи глухой,
 Где мне не кровною рукой,
 Но вьюгой вырыта могила.

— За поход! И за свершение всех надежд! — крикнул он, опрокинул в себя стакан с вином и вышел из сакли, ни с кем не прощаясь.

— Прескверная декламация! — заметил один из столичных.

— Следовало бы доложить командующему.

— Ну, господа, молодо-зелено, гулять велено! — вступилась Марья Андреевна. — Женить его надо, ваше благородие, оно все и пройдет.

— Тут, мать моя, не женское дело назрело, — сухо сказал Оленин.

— Э-э! Не женское! Наша сестра, как цепь на ногах. Не таких улещивали, ваше благородие...

...Все, что недавно тревожило молодого горца без родины, сейчас, во хмелю и азарте скандала, приобрело особое выражение.

Ему было и жаль случившегося и радостно за случившееся. Тягость жизни без семьи, сиротою без имени, теперь прорвалась наружу. «Бежать! — думал он. — Бежать в горы! Бегут же солдаты и находят там родину! Тем более найду ее я. Я принесу им с собою Россию».

В тот же день, к вечеру, посажен он был на гауптвахту по личному приказанию князя Бебутова.

Бежал он один. Через день или два получено было его письмо, адресованное Оленину. В нем объяснял, что уходит разыскивать саклю, где родился, и послужить народу, из среды которого вышел, называл себя не врагом, но другом русских, и в непочтительных выражениях отзывался о войне, ведомой российскими генералами.

Конфуз получился необычайный. Велено было поднять на ноги всех лазутчиков, дознаться, в каком ауле находится прапорщик, и возвратить его в крепость любыми мерами.

Глава 3

Нигде не должен был останавливаться Иса на обратном пути, но вышло иначе.

В пути получил он тайное уведомление от Керима Асадуллаева из крепости Темир-хан-Шуры, что в горы бежал прапорщик Аварский, которого необходимо вернуть обратно, сговорясь о выкупе его у тех людей, пленником которых он является.

Узнав, что имам приказал пятисотенному Идрису укрепить Гергебиль и намерен вскорости лично прибыть для освидетельствования работ, Иса свернул к Гергебилю, в тот аул, где он брал, торопясь к имаму, мальчика-проводника, рассчитывая узнать здесь больше, чем в другом месте.

Гергебиль был сильным аулом в четыреста дворов, с мельницами в Аймакинском ущелье и с садами в долине Кара-Койсу, старый, опытный в войнах аул.

Отсюда шли дороги во все концы гор. Место спокойное, верное. Жили здесь издавна.

Когда в Гергебиле узнали о скором набеге русских, старики собрали джамаат. От имама, говорили они, спастись трудно. Имам, спаси его аллах, такой человек, что, если захочет, пылинку из сена вытащит, свой человек, никому пощады не даст.

Русские же, если хорошо запереть ущелье, может, еще и не придут, как часто бывало. Поступить же так, чтобы не пустить к себе ни Шамиля, ни русских, было бы лучше всего, но так не выходило.

И, подумав, решили старики не перечить имаму и подчиниться его намерению. Они вышли за аул, оглядели горы.

Ущелье играло тенями высоких облаков и было пестрым, сине-зелено-рыжим. В узких балках гудели дальние громы. В их зевах стояли сине-ватые дымы, как от пастушьих костров: рождались низкие облака. Кругом, благоухая, зеленели старые дедовские сады, каких нет нигде, кроме Хиндаляля, блаженной страны глубоких и теплых персиковых ущелий, на страже которых стоял Гергебиль.

За узким Хартикунинским проходом угадывался Гуниб. За Кара-Койсу бурый склон горы был обвит похожими на ременные пути дорогами в Пудахар и Салты.

Подпрыгивая на сизых камнях, река взбивала воду в пенистое мыло. Рев воды всходил кверху незамысловатой песней, причудливо отдававшейся в боковых ущельях. Всегда казалось, что в горах — люди, даже когда их не было, и от каменной песни Кара-Койсу всегда было оживленно в Гергебиле.

— Хорошее наше место! — сказали вслух старики. — Пусть будет и дальше так!

В тот же день прибыл Идрис в сопровождении немногих нукеров. Он был неизвестен народу, свита его выглядела бедно. Не успел он слезть с коня, как все опустело в ауле. Ходжалмахинцы, салтинцы, аймакинцы, хиндахцы, все соседи, молотившие зерно на гергебильских мельницах, скупавшие сушеные персики или сыромятные кожи, бросились по домам.

— Что у вас горе пробовать, у себя его подождем! — говорили они.

Жители приуныли. Воевать в своем ауле никто не любил. Но уже толпами повалили те, для кого Гергебиль мог оказаться выгодным рынком. Опережая бойцов, неслись сюда оружейники с клинками, стальными нагрудными сетками и подковами; чувячники с запасами обувной кожи и набором конских уздечек. Кони, быки, ишаки под вьюками влачили пестрый товар войны. Пешком отовсюду спешили нищие — собиратели ядер на поле боя. Один за другим прибывали опытные в боях мюриды, известные военачальники и отдельные храбрецы. Прибыл молодой Омар салтинский, прибыл пушечный командир Джебраил унцукульский, прибыл беноевский Байсунгур, ждали инженера, ждали Хаджи-Мурата, Мусу балаханского, Кибит-Магому и самого имама.

Аул опять зашумел.

— Если дело пойдет хорошо и побьем русских, так сразу вернем убытки, — говорили гергебильские старики молодым. — Вы бейтесь, мириться с русскими наше дело. Мы уже двадцать лет с ними миримся, мы это дело знаем, как делать.

Но Гергебиль не знал Идриса.

Молодой начальник видел в ауле место, которое должно будет обороняться до крайности. Его требования к природе были сродни шамилевским — прекрасно лишь неприступное. Все остальное мешало ему. Ми-

ряться он не рассчитывал, рассуждать об убытках едва ли привык, потому что был еще беден.

Всю здешнюю жизнь он перевел на каменный счет. Он не требовал ни оружия, ни коней, ни баранов — камни! Каждый дом обязан был поставить на оборону камни. Камни принимались с укладкой в стене. Согратлинские каменщики следили за ходом кладки. Их старшина Халил согратлинский, человек знаменитый, выстроивший пять или шесть мечетей, шупал камни руками, выстукивал их, касался камня щекой — и браковал беспощадно. В этой голове были свои идеи о здоровых и больных камнях. Так что на дом приходилось не двадцать, а тридцать пять камней, каждый весом со взрослого человека.

Халил говорил: камень шершавый, как бы насыпанный песком, — трудный камень, с золотыми искрами — упорный, с черными точками — капризный.

Чем цвет прозрачнее, чище, тем долговечнее камень, чем меньше жил в нем, тем он цельнее, чем жилы тоньше, тем лучше он, чем более они выгнуты и завиты, тем он суровее, чем узловатее они, тем он грубее.

Камень, дающий в куске острый и неровный излом, плотен, а тот, который, будучи обрызган водою, дольше сохнет, — груб. Звонкий при ударе плотнее глухого, пахнущий серой крепче того, который не пахнет вовсе.

Всякий камень, чем влажнее место каменоломни, откуда он добыт, плотнее будет, как высохнет. Если смоченный водою камень прибавит в весе, значит будет от сырости разрушаться, а тот, что не выдерживает огня, не выдержит и солнца.

— Глухой тут камень, сочный, силы никакой не имеет, мало жить будет, — говорил Халил молодому начальнику Идрису.

— Шайтан его возьми, пусть сохнет к зиме, лишь бы русские пушки сейчас выдержал. Быстро делай!

— Силы никакой не имеет, дрожит, трещин в нем много. Крикнешь громко — он колется.

— Слушай, любезный, — говорил ему Идрис, — я камни не знаю, я тебя знаю. Ты камням скажи — шутки я не люблю. Я когда злой стану — у меня и камень закричит «ва-алла».

Камень и вправду кричал по ночам под молотками каменотесов. Глухой звук его становился раскатистее и звонче, как голос лихого наездника. Халил отыскал-таки голосистый, звонкий камень, не боящийся ударов металла и непогод.

Иса прибыл в Гергебиль в самый разгар поставки камней. Горы имама теперь ему меньше нравились.

Жили тут грубо и скучно, не так, как на плоскости. Он похудел, не курия. По ночам, во сне, пел и плясал и потом просыпался в холодном поту: не слышал ли кто-нибудь оголтелый вой его истомившейся от скучных подвигов души.

По дороге он много расспрашивал о молодом офицере, недавно бежавшем из крепости, но узпать ничего не сумел. В Гергебиле остановился Иса на мельнице, недоезжая аула, у отца мальчика, провожавшего Ису в Ведено.

Мельник, маленький сухой человек с узкой седой бородкой и бледными водянистыми глазами, ввел Ису в хижину, не выразив, впрочем, особенной радости при виде гостя.

— Раджаб твой остался в Ведено с Исмилом, — сказал Иса.

— Ладно.

Закон гостеприимства был, однако, законом — старик развел огонь и стал варить нечто вроде хинкала, супа с кукурузными галушками и острой чесночной приправой.

— Немножко время такое, тяжелое, — сказал он в извинение своей бедности. — Укрепления делаем, мяса нигде не достать.

Они разговорились.

— Хотел и я записаться в отряд к Идрису, — тихо и безучастно вымолвил мельник, — да нашему брату, бедняку, трудно: пешему никакой прибыли от войны, в руках что унесешь, а опасность большая.

Мельник решил не пускать и сына, тем более, что Раджабу, сыну его, не было шестнадцати лет и по закону он еще два года мог оставаться дома, но Идрис, новый начальник, распорядился иначе. Сегодня утром он ворвался на мельницу, отодрал старика нагайкой и велел ему стать с сыном на кладку новой крепостной стены, которую должны были закончить в самое короткое время, ибо уже выехали инженеры от имама дать ей оценку.

Картина бедной жизни в глухом ущелье и вид хозяина, изможденного множеством болезней, взволновали Ису. Ведено опять встало в сияющей чистоте.

Спокойное величие Шамиля временами еще волновало Ису, и он думал, что для мельника будет полезно выслушать рассказ о том, как живет и что думает этот, наверно, для старика святой и праведный человек.

Заслонив лицо от огня ладонями рук, тот слушал, бормоча в бороду.

— Старый теперь небось, — шептал он, — хитрый.

— Нет, имам очень сильный, крепкий, веселый, — сказал Иса, вспоминая свой разговор с Шамилем и улыбаясь.

— Веселый он и молодым не был, — грустно заметил старик. — Когда еще у нас, до Кази-Муллы, табак курили, песни пели, пляски плясали, — он и тогда не как все был.

Иса взглянул в водянистые глаза старика.

— Знал его в те времена?

— Во все времена я его знал.

Полный благоговейного любопытства, Иса придвинулся к старику.

Ак-Сурхай, нынешний мельник, мальчиком жил в аварском ауле Гимры. Кази-Мулла, первый имам, был тогда юношей, изучал коран. Шамиль был его соседом. С ним никто не вступал в драку, потому что он никогда не сдавался. Его можно было бить два дня подряд, на третий он все равно являлся попробовать свои силы. Отец Шамиля был кузнец, здорово пил; мать, ладная баба, вела весь дом. Лет двадцати от роду Кази-Мулла и с ним Шамиль, бывший моложе его на четыре года, ушли учиться к знаменитому мулле. Однажды был с ними на поклонении у праведника и мельник. Ходили к лезгинам.

Побыв у одного проповедника, Кази-Мулла и Шамиль возвращались домой, чтобы вскоре направиться к следующему. Хозяйства их приходили в упадок. Ак-Сурхай по дружбе смотрел за их садами и помогал семьям, как мог.

— А сыновья у тебя есть? — спросил гость.

— Одного русским отдал заложником, другой убит, — неохотно ответил хозяин, — третий с тобой был. — И стал рассказывать дальше о том, как Кази-Мулла, объявивший себя имамом, стал собирать людей на осаду Дербента.

Ак-Сурхай жил в те годы безбедно, но пошел ради дружбы к Кази-Мулле, все-таки свой односельчанин, надо было помочь.

Под Дербентом успеха добиться не удалось, и Сурхай пошел с Шамилем к Кизляру. Было у него в это время уже два сына.

— Богатый хинкал был! — с восторгом и завистью сказал мельник, вспоминая кизлярское дело, как голодный — сытый обед.

Но хоть хинкал был большой, а Сурхай вернулся из Кизляра с пустыми руками, потому что получил семь ран и долго провалялся в чеченских аулах.

Четыре года после того залечивал он свои раны. Родился третий сын, и жить стало трудно. За это время убили Кази-Муллу и место его занял Гамзат.

— Его тоже знал?

— Его я мало видел, он в чужих местах воевал, но все говорили — отчаянный.

— А когда убили Кази-Муллу, ты где был?

— Там же, в Гимрах. Едва оттуда ушел. Сам Шамиль тогда сказал мне уйти. Взял я ребят на плечи — пошел в аул, где семья Шамиля жила. Вдруг слух — Кази-Муллу убит, Шамиль едва живой, грудь насквозь штыком проткнута. Привезли мы его, лечили долго, жить стало нечем. А тут Гамзат как раз собрал десять тысяч бойцов и подступил к Хунзаху, чтобы истребить ханов аварских.

Все видели: пока ханы целы, никакой тарикат нельзя соблюдать, никакой правды вокруг тебя нет.

...Ханов вырезали, добро их разграбили. С ханским седлом и четырьмя серебряными кинжалами вернулся Сурхай с набега и, так как дом и сад его в Гимрах были сожжены русскими, переехал в Гергебиль, подальше от них, и купил у кадия половину мельницы.

А Гамзата в том же году убили. Имамом был избран Шамиль.

— Стал я джихад воевать, все бросил — землю, семью... Один Шамиль у меня остался.

— Ты был, когда его выбирали?

— Меня не звали, но слышать многое слышал. Что ж, с трудом выбрали — молодой. А другого лица не было, кроме него. Коран другие, может, и лучше знали, да Шамиль смелее был, не хан и не абрек, простой уздень, в бою показал себя, говорить мог. Вся жизнь становилась ясной от его слов.

— Мы его слово тоже знаем, — вежливо сказал Иса. — Закон он дал вам очень простой.

— Закон тихий, понятный, — воодушевился мельник. — А что вышло? Мы в горах никого не трогали — ни вас там, на плоскости, ни русских людей. Мы одних своих ханов ударили. Шамиль нам всегда говорил: «Люди эти — как постоялый двор: кто за ночлег заплатит, тот и живет в них. В каждом хане трое русских: купец, чиновник и офицер...» А вышел базар! Чем живем — не знаем.

Иса слушал старика, волнуясь и молодея и вновь загораясь тем сильным чувством правды и мужества, каким он был полон перед Шамилем.

Он жил в русской крепости, пил-ел с русскими из одной чашки, плясал на их вечеринках и любил белых полногрудых баб их, но совесть его всегда была больна. Мысль никогда не обращалась к своим грехам. Теперь же, думая о себе, он глядел на седого мельника, повествовавшего ему суровую историю голодной и чистой жизни, и стыд и презрение к слабости собственной жизни наполняли Ису. Перед его глазами сидел старик, забывший дни, когда он досыта ел, и страстно говорил о своем имаме.

Река стучала камнями, влача их в своем вертлявом громоздком потоке, и шум ее делал ночь возбужденной и деятельной. Очаг давно затянулся золой, свежий ветер, врываясь через трубу, резво взвывал и разносил по сакле серые шматки пепла, похожие на моль.

— Ложись, отдыхай, время много, — как бы уже забыв о рассказе, сказал хозяин, глядя пустыми глазами на приезжего человека, которому все здесь чужое.

— Говори, сна нет.

— Скоро конец расскажу.

И, будто повествуя о чьей-то другой жизни, стал продолжать о том, как его ранили еще дважды, как погиб, пропал в ичкерийских лесах его второй сын, как подорожала соль в горах и люди за соль теряли совесть, за соль принимали русских или присягали ханам, как покосилась его мельница и вот уже много лет печем ее поправить, как сидел он в казематах у русских, как бывал бит и оскорбляем ханскими приспешниками, бывшими на русской службе. Два раза сидел он в Шуре, два раза посылаем был с веревкой на шею в Грозную, бежал оттуда и пешком прошел всю Чечню, снова пойман и сидел во Владикавказе, снова бежал и через земли ингушей вернулся домой в лохмотьях и ранах.

— А имам не помог тебе?

— Он сам голодный был. Что мне помогать? — с ленивым безучастием к собственной бедности или, быть может, высокомерием произнес мельник. — Я живу ничего, — сказал он. — Сакля есть, работа есть, сын хороший. На войне счастья нет — вот мой грех.

Два года назад Воронцов, царский сардар, окружил Дарго, аул имама.

Большой хинкал опять заварился! Такой войны в горах не видали. Много хороших людей пропало, и таких, как они, не будет. Беноевский Байсунгур потерял руку. Лабазан андийский потерял руку и семь коней. Муса балаханский — сына, трех коней и жену! Он, мельник, принял две пули в грудь, потерял второго сына и дядю и оставил в лесах последнее ружье. Но и вознеслись многие.

Лицо старика оживилось. Он стал называть имя за именем. Идрис, Муртузали, Хазбулат, Инко-Хаджио, Омар салтинский, Хосро из Куппы, кубачинец Шефи, Исмил — бывший русский драгун. Этот собрал вокруг себя беглых русских солдат и дважды водил их в бой.

Русских против русских.

Те и те кричали «ура». Тут и там били барабаны. Позади беглых мюриды имама везли добытые в боях царские знамена и связки лент с орденами.

Но Воронцов взял Дарго. Взяв, остановился.

— Большой хинкал был, я знаю, — с важностью подтвердил Иса, стараясь ускорить повествование мельника.

— Хинкал не хинкал, а большие люди из этого боя вышли, — гордо повторил мельник, возбужденный воспоминанием о деле, сделавшем его нищим, но поставившем свидетелем великой славы имама. Исмил — аллах его суди по заслугам — переделся потом в русскую форму, ворвался в их колонну, стал заманивать солдат в лес. Заколоди трех генералов. Обоз отбили. Ак-Сурхай только схватил за рога корову, рубанул кинжалом по шее, вдруг Исмил закричал по-аварски:

— Сюда! Эй! Сюда! Сардара нашел!

И верно, невдалеке, прислонясь спиной к дереву, с палкой в одной руке и обнаженной шашкой в другой, стоял высокий, сухой старик генерал в длинном мундире и белой фуражке. Лицо бабье, с улыбкой.

— Сардар здесь! Берите его! — опять тогда закричал Исмил и бросился с кинжалом в зубах и шашкой в руке на старого генерала. — Берите живым!..

Голос старика стал громче. Пустые выцветшие глаза его раскрылись, он поднял худые цепкие руки, и по телу, истыканному железом штыков, прошла волна решительной силы. Он забыл, что рассказывал. Губы его беспомощно шевелились.

— Берите сардара! — все повторял он в попытках вспомнить течение своей повести.

За мельницей начиналось утро. Через дверь, плохо завешенную кошмой, было видно, как туман, доверху заполнивший ущелье, скрывался в

реку. Вода сосала его. Края ущелья легко вытягивались из белого сумрака, сразу же покрываясь солнцем.

Мужчины ломали камень, ребята и бабы грузили его на ослов и таскали на спинах. Согратлинские каменщики тесали плиты. Работа шла весело. Слышно было, Идрис с нагайкой в руке ходил между людьми, рассказывал прибаутки. Он был еще несерьезный, веселый, не привык быть начальником и только учился руководить. Женщины заглядывались на его дурное лицо. Он им нравился — веселый и озорной.

Его тарикат был простой — выстроить стену и оборонять аул, сколько надо. Умрут или выживут люди — была не его печаль.

Он рассказывал побасенки, хлестал, прибавляя обидные шутки, слишком задумчивых каменоломов.

— Эй, смотри, смотри, что такое! — закричали вдруг несколько человек, и толпа загалдела. Иса и мельник выскочили наружу. Народ смотрел вверх, на склон ущелья: два всадника спускались вниз по крутой, снизу казавшейся отвесной, стене. Лошади на задах скользили по тропе, неясной, как тень. Все, кто был в ущелье, побросали работу и собрались толпой у реки. Отсюда трудно было даже разглядеть лица всадников, так высоко они шли. Струйки мелких камней с водянистым шумом текли в ущелье, поднимая медленную, еще с ночи сыроватую пыль. Лошади съезжали на задах, неуклюже расставив передние ноги, а всадники, откинувшись назад, полулежали в седлах.

Когда до мельницы оставалось не более двадцати сажен высоты, лошадь первого всадника споткнулась. Кровавый ободранный зад ее легко оторвался от скалы и, окутавшись пылью, она понеслась вниз со страшным шумом, у самой воды отделилась от сопровождающей ее пыли и головой вниз, с пушистым, развевающимся хвостом, шлепнулась в каменистый поток Аймакинки.

Только тогда и заметили, что всадник остался жив. Вися на ветвях боярышника, он пытался стать на колени и вонзал кинжал в трещины меж камней. Клинок удержал его те несколько секунд, что нужны были для передышки. Потом он легко стал на ноги и, одергивая на спине чоху, побегал, пританцовывая, вниз по траве. Не остановившись, а лишь распластав руки, перескочил он мостик из одного бревна и развязно подошел под одобрительный гул толпы к мельнице. Это был всем известный мюрид Исмиль, бывший русский драгун Алешка Радомцев.

— Салам алайкум! — издали крикнул он, улыбаясь дрожащими губами, и обратился к Идрису: — Трудной дорогой ехали, едва от смерти ушли.

— Зачем так ехали? — спросил Идрис.

— Сердце его проверил! — небрежно произнес Исмиль, глазами указывая Идрису на своего спутника. — Помощником он тебе послан.

— Входи с добром, гость божий, — скороговоркой пробормотал Идрис, удивленно разглядывая приезжего, которого он недавно видел в крови и рубищах, подозреваемого в шпионстве. Хорошо считая чуха ловко сидела на тонком гибком теле. Оружие было бедное, но красивое. Приезжий был, несомненно, горец, но к какому народу он причислял себя, сказать было трудно. Он не был ни аварцем и ни кумыком, смугл для лезгина, слишком быстр в движениях для даргинца, слишком породист для лакца.

Народ побросал ломку камня и тесным кольцом окружил приезжего, о котором уже слышал многое. То, что Идрис назначен старшим, а наибу высказано строгое порицание, и, наконец, выбор для обороны Гергебиля приписывались ему.

— Откуда родом, молодой? — спрашивали женщины.

Офицер вышел из перешептывающейся толпы и, прежде чем войти в хижину мельника, грустно оглянул ущелье.

Оно вело как бы внутрь земли. Верхние края кое-где заслоняли небо. Шум реки, вертящейся между камнями, наполнял воздух неслабеющим грохотом. В нем терялись все мелкие звуки, и, казалось, бесшумно, как во сне, двигались люди, бесшумно пролетали от гнезда к гнезду большие сизые орлы.

Несколько мельниц, дрожа и пошатываясь, вертели колесами. Мучная пыль рассеянно вилась из щелей на их крышах.

— Войди! — сказал ему мельник.

Приезжий шагнул через порог и упал. Старая женщина с тазом в руках встретила его долгим, дрожащим, не то испуганным, не то ненавидящим взглядом и, раздев, стала промывать раны и ссадины.

В этот момент Иса, молча стоявший поодаль, подошел к Исмилу.

— Исмил, я Асадуллаева человек — Иса... С письмом к имаму ездил в горы, назад в Шуру не пускают. Ты меня знаешь.

— Кто не пускает?

— Я не пускаю, — сказал Идрис. — В Шуру ехать сейчас ему нельзя, болтать будет.

— Валлах, не буду. Камень я, — заговорил Иса. — Я разве не понимаю, что говорить.

— К русским теперь и правда трудно пройти, — сказал Исмил, садясь в седло и оправляя чоху. — Подождать надо.

— У меня кунак в Дженгутае есть, с ним сделаюсь. Я, как мышь, пройду, валлах.

— Верно говоришь?

— У меня и пластуны — кунаки. Тихонова ты знаешь, Исмил? Тихонов мне что хочешь сделает, покарай меня аллах.

— Дай его мне, — сказал Исмил Идрису. — Разведку с ним сделаю.

— Такому человеку нельзя много верить за один раз, — ответил Идрис.

— Я с ним сделаюсь! — засмеялся Исмил.

И в сопровождении почетных стариков поскакал к аулу.

Толпа двинулась было за ним вслед, но Идрис поставил коня поперек дороги.

— Два праздника в один день — и для святого тяжесть! — крикнул он со значением.

Иса первый бросился в каменоломню. За ним, смеясь и поругивая Идриса, кинулись и все остальные.

Ночью Фирдоус разбудила мельника и велела ему выйти к реке.

— Вай, аллах!.. Опять камень таскать?..

Жена засмеялась:

— Нет, сказать тебе много надо.

У реки было тихо, сонно.

— Чего пугала?

— Садись, отец, большое дело скажу.

— Что, днем не могла?.. Ночь, спать надо. Не такие твои года, чтобы ночью к реке ходить.

— Отец, слушай, что скажу... Сына своего первого видела я...

— А?

— Сына первого своего обмыла я, перевязала. Аллах вернул его, позор мой, грех мой.

— Вах, убей меня, что такое?

— Сын мой от молодого Аргута вернулся, у нас спит.

Сурхай ударил себя руками по ляжкам.

— Что будем делать? — спросила его жена.

Мельник развел руками. Уж много лет прошло с тех пор, как отдал он сына Фирдоус заложником русскому генералу, и почти не вспоминал о мальчишке, легко забыл о нем. Лишь иногда по ночам зимою, когда был

труден и прерывист сон в холодной хижине, видел он в полусне тонкое бледное лицо Алибека и сейчас же отбрасывал это видение. Мальчик был умный, упрямый и очень ладный — в мать.

Никто в ауле не знал о позоре Сурхая, а люди, слышавшие только, что он отдал аманатом своего сына, поначалу жалели его и высказывали сочувствие, а потом постепенно забыли об этом и уже не ставили поступок в заслугу мельнику, потому что каждый из них сам сделал в дальнейшем немало прискорбных дел.

Наконец забылось и имя мальчика и даже то, что он существовал.

И вот судьба вернула его в горы.

Мальчик стал взрослым.

— Нагнулась я обмывать его раны, вижу — на ноге след ожога. Помнишь, Сурхай, в огонь ты его хотел бросить?..

— Тссс!.. Это не он.

— Он, он!.. На ноге след, и на руке след. Я знаю — он.

Фирдоус заплакала.

Знала, что нельзя ей признать своим этого офицера, что позор ее ранней жизни невыносимо вернуть в дом, имевший других детей и славу беспорочной и чистой бедности, что засмеют их старость, лишат ее чести и сделают имя мельника посмешищем на годы вперед. Были они оба стары для этого.

— Ёх, не он это, — твердо сказал мельник и не стал больше продолжать беседу.

А она еще некоторое время постояла у реки, затем вернулась к дому, послушала, как храпят мужчины, как шумно вздрагивают всей кожей кони в пристройке, как бормочут во сне куры, и побежала на цыпочках к своему закуту.

Глава 4

Крепость Темир-хан-Шура спала, и были голубовато-серы мокрые едва зазеленевшие горы, и небо низким туманом стояло над грязными улицами, медлившими проснуться.

Но за крепостным валом давно уже курлыкали горские арбы. Медленный скрип их долго стоял за городом и вдруг ринулся в него разом. Заныли, запели улицы, запахло овцами. На звуки и запахи эти крепость отозвалась сразу. Рывкнули дворовые псы и, оцетинившись, повалили из подворотен на чужие запахи гор. Ворота домов, двери лавок, ставни белых турлучных домиков стали открываться вперегонки, и навстречу утру, идущему на скрипучих арбах, высыпали инвалидские жены, базарные скупщики, солдатки, собаки, телята, гуси. В шинелях внакидку вышли отставные фейерверкеры и егеря, высунулись из окон серьезные лица поручиц и капитанш, пробежали, голося, торговки лепешками и ситцевыми рубашками.

В разнеголосый шум утра медленно упал гул соборного колокола. Где-то вдалеке, на гауптвахте, прострекотали барабаны, пропел рожок — солдатский соловей. Базарный день начался. Народ повалил за реку, где на просторном выгоне горцы уже разводили костры и выпрягали быков, а местные купцы раскладывали на столах и лавках свои товары.

В арбах, запорошенных изморозью, лежали тонкие кривые поленца дров, грязные кашляющие овцы и булыжники зелено-серого прогорклого сыра.

Кузнецы из отставных солдат, разведя походные горны, гулко ударили молотками по переносным наковальням.

— Вот подкуем! Дешево подкуем! — хрипылыми басами рывкнули они на всю площадь.

Персы и таты, продавцы мелкой галантереи, разобрав свои перенос-

ные заплечные ящики, бросили на разостланные по земле мешки цветные нитки, гарус, золотое шитье, гребешки, куски бархата и персидского дешевого шелка. Армяне открывали бочки с кизляркой. Кумыки тащили чувалы с солью. Солдатские жены, высоко закатав подола пестрых юбок, металась от арбы к арбе, голося:

— Алты абаз барыда размер! Рубашка, подштанники барыда размер! Рупь двадцать всякий размер! — И на ходу примеривали свой товар еще не разгулявшимся покупателям.

Горцы из дальних аулов, граничащих с немирными, сегодня почему-то не прибыли. Толчая стояла лишь в винных да в одежных рядах, где действовали солдаты.

Вся крепость шаталась тут между ларьками, ела, обжигаясь, шашлыки на палочках; стоя хлебала борщ из мисок, привязанных бечевками к поясам поварих; пела песни, сгрудившись у винных бочек. К концу ранней обедни распоясались отставные — вышли веселые, выпившие, в зубах трубочки и, добродушно покашливая, заговорили:

— А ну, почтенные, продается, что вам придется. Нечего время терять!

На них были старые, но еще крепкие мундиры знаменитых Апшеронского, Кабардинского и Куринского полков, шинели внакидку, старые, латаные, не один поход пережившие сапоги, и в руках они несли снятые с себя натальные рубахи и подштанники.

— А ну, почтенные, продается, что вам придется! — лихо говорили они, посмеиваясь в седые усы.

Базар любил стариков. Их обступала тотчас тесной стеной молодежь действительной службы.

— Тю на вас, господин отставной!.. Возьмите гривенник у меня за так, выпейте, про Шамиля расскажите.

— Трубочка ваша не продажная? — робко спрашивал какой-нибудь молодой рекрут у сизого от холода и вина почтенного кабардинского унтера.

— Можно, милый! На с табачком! С огоньком! На, любя! Он беш абаз!

— Тю! За такую маленькую, да три рубли.

— Не девка, не тюкай мене. Смотри трубку! Вишня какая, видал? Гимринская вишня. Семнадцать лет трубка курена. На Кази-Муллу со мной ходила. На, потяни разок. Вкус-то какой!

— Четыре абазы дам, — небрежно, в кавказской манере, говорит молодой солдат.

— За эту трубку? — оскорбленно спрашивает отставной. — Да она у меня в семи походах была, дурак ты, право, действительной службы. Да ты на, курни еще, попробуй!

Торгуются долго, мелочно, с выдумкой. За отставными унтерами в винном ряду появляются и отставные поручики и капитаны, доживающие век вблизи родных полков и вблизи полковых кладбищ. Ровной юношеской походкой проходит после полудня апшеронец Максим Максимыч — Махсум-Махсум, как зовут его горцы. Его все знали.

— С праздничком, ваше благородие! — встречали его старые апшеронцы.

— С праздничком, Максим Максимыч! — кричали ему торговки борщом.

Ни одного базара не пропускал он ни зимой, ни летом и в любую погоду щеголял в штопаном офицерском сюртуке без погон, с георгием в петлице, к которому никому не позволял прикасаться. «Ермоловский, обжигает!» — всегда отвечал при этом.

С появлением Максима Максимыча столы у винных бочек сдвигались в один стол, и старые кавказцы, целуясь и обнимаясь, усаживались

за них по чи́нам и ле́там. В фу́ражку Максима Максимы́ча, заблаговременно положенную вверх дном перед председательским местом, опу́скали все свою́ долю.

Максим Максимыч садился, считал урожай.

— Нынче будем, как бы вам сказать, на декохте, да!.. Весь-то балмашкерад на семь рублей сорок копеек. Ну, я, как бы вам сказать, доложу до десятки.

Летом, в хорошие дни, на базар к часу дня выходил протоиерей, бывший штабс-капитан Кабардинского полка Чернышев, знаменитый рубака и пьяница.

— Три от меня, — прибавлял он торжественно и, благословив собрание, выпивал первый стакан и потом долго прохаживался стороною, слушая старые полковые песни и не раз стряхивая слезу с кровавых, апоплексических своих глаз.

Но сегодня было сыро, грязно, протоиерей со своим ревматизмом не вылезал из церкви, да и вообще базар не развевывался, не играл в полную силу. Ждали к часу Марью Андреевну Саликову, маркитантку Апшеронского полка, главную закупщицу, но и ее не было видно.

Не показывались и горцы.

Бывало, глядишь, сбросит с себя какой-нибудь джигит серебряный пояс, взмахнет им в руке и кинет к бочке под шумный смех окружающих. Или разыщет у себя за пазухой портсигар русской работы с дворянским вензелем или золотое кольцо с печаткой и, накупив за них вороха дешевого линючего шелка, с гиком проскачет на худоребром коне между борщей и лепешек.

— Ну, это мирной! — скажут о нем отставные с неодобрением.

— Наши не такими были! — И вспомнят тут же и о набеге в Гимры, и Хунзахское дело, и старых покойников генералов, и знаменитых наивов, и своих кунаков по сражениям.

— Наши-то в рот хмельного не брали! Серьезно жили! — произнесут с уважением о противнике. — Закон свой крепко держали.

Но вот отошла поздняя обедня, и Марья Андреевна Саликова в сапоге, с зонтиком в руках, появилась на базарном выгоне. К ней тотчас подбежал подручный ее, отставной егерь Илюшка, сухонький старичок с плешивыми седыми бачками.

— Купил чего? — спросила она.

— Ёх. Баранчики — одна худоба, сыру толкового тоже не видать. Зато, слышь, соль покупают, сколько возможно, — шепотом доложил он. — Господин поручик два рубля шесть гривен ночью доложил к машкераду — с большой прибыли, видать.

— Так-с! — произнесла решительно Марья Андреевна. — Соль эта, Илюшка, к походу.

— Об чем говорить!.. — Илюшка оглянулся, досказал шепотом: — Офицера нашего, говорят, Исмилка отбил, к Шамилю повел.

— Тьфу, мать честная... Поди-ка домой, самовар ставь. — И не спеша подошла к палатке Асадуллаева купить фунт пряников.

Весь базар сразу понял: поход! Раз Марья Андреевна ничего не берет, значит решила запастись на походе, за казачью копейку, как говорили в полках.

Да, по всему было видно, близок поход в горы, близок!

Соборный протоиерей, старый кавказец с рассеченным шашкой лбом, медленно вышел из храма к апшеронским и кабардинским могилам для поминовения старых героев и потом долго стоял на кладбище, благословляя подходивших к нему солдат и не торопясь к базарной площади.

Были тут и апшеронцы, и куринцы, и грузины в своих круглых войлочных шапочках, и драгуны в праздничных мундирах, и донцы, и даже

гребенские пластуны — староверы. Два гребенских казака особенно обращали на себя внимание. Одеты они были, как истые горцы, в старые черкески, в стоптанные чиршки, в клочковатые грязные папахи; на поясах висело обильное причиндалье, а у старшего из гребенских в добавление ко всему еще и скрипка. Оружие не казалось богатым и все-таки бросалось в глаза.

Сидя на могилке в дальнем углу кладбища, казаки сосредоточенно ели крутые яйца.

— Да это ж Харлампий Тихонов с братом! Вот скажи, пожалуйста! — крикнул дальнороткий протоиерей. — Кликни-ка мне их, сукиных детей, — сказал он церковному сторожу.

— Слушаю, ваше высокоблагородие!

По старой памяти, именовал сторож протоиерея офицерским званием, потому что, прослужив с ним восемнадцать лет в полку и семь лет в церкви, никак еще не мог отвыкнуть от мысли, что отец Александр другая особа, а не кабардинского полка капитан и георгиевский кавалер Чернышев.

Казаки поднялись на зов сторожа, вытирая усы тылами ладоней.

— Старого товарища и слепой узнаю, — сказал Чернышев старшему из гребенцов Тихонову, подошедшему легкой и вместе с тем очень неторопливой походкой.

— Старого друга и слепой узрит, — подтвердил казак, пожимая протоиерею руку, но не целуя ее, как делали другие. — Как здоровьечко, ваше высокоблагородие? Яхши?

— Скажешь тоже! Это только такой вид у меня, а нутро, брат, едва существует. Одними воронежскими каплями и держусь. Дожил-то до чего! — И Чернышев иронически оглядел свой громадный оплывший живот. — Ну, пойдем ко мне, угощу, расскажешь новости.

— Чох мерси! — рассмеялся старший Тихонов, легонько оглядываясь на брата, который почтительно стоял в сторонке, не принимая участия в разговоре. — Сроду не пил. Иной раз и хочу рискнуть, а нельзя.

— Брехня, брат, все это, — беззаботно сказал протоиерей. — Почему нельзя?

— Нам, охотникам, винный дух сильно вредит.

— Что я, сам не охотник, что ли? Накатит же на тебя иной раз такую глупость сбрехать... Отпугивает? — насмешливо спросил он казака.

— Святой вам крест, отпугивает. Ну, кабана не скажу, не проверено, а что птицу — так это верно.

— Староверские твои слова, колдуньи какие-то... Я, брат, ни одного непьющего охотника еще сроду не видывал... И больше скажу: трезвый охотник — это так себе, дураком. Ей-богу! Это ты кого, брата привел?

— Пора! — сказал Харлампий. — Пора к делу нарядить, парень — вво! В залого на заре выходим... кой-чего в размышлении есть.

— Ну-ну! Господь тебя благослови! Хоть ты и старовер, сектантского образа веры, а казак справный.

Харлампий, сняв папаху, низко поклонился Чернышеву.

— Травами стал лечить, говорили мне, — сказал протоиерей. — Ну, вот это не по тебе дело, ей-богу. Тоже хаким нашелся. И кто к тебе ходит сдуру?

Вдруг на базарной площади грянул выстрел, за ним другой, третий.

Все, кто был возле церкви, бросились к переправе. На гауптвахте пробил барабан. Народ на базаре рассыпался в разные стороны и закричал множеством голосов. Засновали какие-то конные. Еще выстрел! Командир первой роты Апшеронского полка капитан Оленин в скюртуке и подштанниках проскакал на неседланной лошади.

Протоиерей взошел на холм братской могилы. Губы его дрожали от веселого волнения.

— Э-ге-е-ей! — закричал он. — Что случилось?

Харлампий Тихонов, держа папаху в руках, втянул до блеска и синевы выбритую голову в плечи и глядел, не отрываясь, на выгон.

— Ну, чего ты там видишь? — волновался Чернышев. — А еще пластун, мать твою за ногу. Чего там?

— Погоди ты, ваше благородие, не дунди.

В это время какой-то конный выскочил из базарной толпы и помчался в горы, стреляя с седла назад. Конь прихрамывал.

— Баллах! Алешка Радомцев! — прошептал Харлампий. — Убей меня бог — он!

— Ну джигит, ах, сукин сын! — восторженно произнес Чернышев. — А ты не ошибся?

— Я его манеру стрелять вот как знаю... Он! Он, ваше благородие!

И, не говоря больше ни слова, побежал с кладбища, на ходу нахлобучивая папаху. За ним кинулся брат.

— А ведь не уйдет, пожалуй, — сказал Чернышев, глядя на конного.

Произошло вот что.

Только Марья Андреевна подошла к ларьку Асадуллаева за пряниками, как из ларька, крестясь, вышел ефрейтор Гаврилов. Вид у него был нервный, расстроенный.

— Чего ты? — спросила она.

Он оглянулся, будто за ним гнались.

— Андреевна, мать, благослови. Решили не ждать. Благословишь? Алешке письмо будет? Христом тебя богом...

— Да иди ты знаешь куда... Пьяный черт!

Он схватил ее за руку, норовя поцеловать, и всхлипывающим голосом опять запросил о чем-то.

— Никакого я Алешки слухом не слыхала, дурак! Сегодня выходите, что ли?

— Ах, сегодня все решится... Все решится, навсегда, — трусливо улыбаясь и чуть не плача, пропел Гаврилов, продолжая держать в своей руке руку Марьи Андреевны и встряхивая ее с пьяной задушевностью.

Тут какой-то конный горец на потном коне, закутанный в башлык, разъединил их.

— Эй, каджар! — насмешливо крикнул он в лавку. — Ики фунт фотоген, уч фунт соль, бир пакет свечка! — И, высунув русский золотой, игриво подбросил его в руке. — Быстро!

Конь приезжего так тесно притиснул Марью Андреевну к самой стенке ларька, что несколько шматков желтой пены, густо облеплявших конскую грудь, уже упало на ее салоп.

— Эй, парень, чем вперед смотришь? — привычно прикрикнула она, как всегда кричала на горцев, и занесла зонтик, как вдруг...

— Постоишь, курва, ничего, — услышала она голос Алешки Радомцева и, не оборачиваясь, почти закрыв глаза, обомлев от страха, оперлась о стойку. Конь дышал ей в шею.

Приказчик Асадуллаева тем временем приготовил покупки. Покупатель, не слезая с коня, принял их, дождался сдачи, равнодушно оглядывая базарную толпу, а спрятав купленное в седельные хурджины, быстро откинул башлык и вскинул коня свечой.

Марья Андреевна ахнула. Асадуллаев отступил в глубь лабаза.

— Керим-джан, — сказал всадник по-русски хозяину, — Керим-джан, увидишь кого из дружков, привет отдай от прапорщика Аварского, может заеду еще раз на днях...

— Радомцев! — раздалось в толпе.

— Чего вы, тишьте! — озорно крикнул народу всадник. Хохоча, он с места взял в карьер, ловко проскакал меж арб и понесся в горы, стреляя на скаку. Тут Марья Андреевна обернулась. Несколько патрульных солдат бросились вдогонку всаднику. Какой-то кумык из конной милиции ударил по скачущему с колена, кто-то пронесся верхом. Всё закричало, засуетилось. Заголосили фурштатские бабы.

— Вот шайтан так шайтан! — говорили кругом, застегивая шинели и куда-то спеша и волнуясь.

Всадник гнал коня насмерть.

«Значит, недалеко, — подумала Марья Андреевна. — Сменит на свежего, вывернется, чертяка». И, забыв про пряники, негибкой, медленной походкой пошла к себе.

«Вот охоробрил господь окаянного! — ласково думала она об Алешке, но на сердце было тяжело, страшно. — Давно ли только забыли о нем — так нет же, на!.. Рядом почти что мы были. Не сговор ли, мол, скажут».

И, как на грех, навстречу ей попался Харлампий.

— Твой бедует-то? — спросил он торопливо.

— Мой, — сама не зная что, прошептала Марья Андреевна и, бледнея, остановилась в изнеможении. — Ох, и что ж я говорю-то — хитрость это только его одна, Харлампий Никитич...

Казак уже не слышал.

На улицах крепости кучками стоял народ, шептались бабы. «Надедает он мне делов», — думала Марья Андреевна не то об Алешке, не то о Тихонове, и на душе было страшно, а вместе с тем и радостно. Ведь что там ни говори, а был Алешка ее мужиком не день и не два. Веселый, широкого нрава мужчина. Пришел он в полк лет пять назад и сразу прославился — под Чиркеем отбил наибский значок. Через полгода вынес офицера из боя и в том же деле налетел на Хаджи-Мурата, вознамерился рубануть его с плеча, да только откатал уши у наибова коня да прорубил седло. «Давай, драгун, давай!» — закричал Хаджи-Мурат, вертясь на окровавленном коне, и сам занес кривую шашку над головой Радомцева, но вывернулся Алешка — нырнул под брюхо коня, ушел, вися вниз головой.

Песенник был, ловкач. Бывало, в соборе как начнут петь один против другого — Алешка и Фаддей Братов, апшеронец, — так в соборе замрет все, а протоиерей в алтаре сейчас хватит рюмку воронежских: волнуется.

С тех пор как появился он в крепости, Марья Андреевна и жила с ним. И всё прекрасно шло у них, к счастью. Но вот два года назад, весной, Алешка перекинулся в горы. Сначала делу этому никто не поверил. Но оказалось — правда.

После побега Алешки Марья Андреевна враз изменилась, стала и строже и осторожнее и, чего никогда раньше не делала, залебезила перед начальством, стала похаживать в церковь, хоть и была когда-то гребенской старовойрой, распивала чай с капитаншами и прикармливала ротных фельдфебелей. Дело Алешки стало забываться и вдруг вот опять сегодня всплыло в недобром сиянии.

«Станет он мне в копейку! — думала она. — Да как бы еще не загребли, рабу божию».

Было ясно, что, как только Исмиль пронюхал о ее интересе к прапорщику Аварскому, принял все меры оставить того в горах.

«Не зря прибега-то, — думала она. — Узнать ему надо, кто такой офицер. Вот что ему, подлецу, надо».

Пришла домой, выпила кружку кизлярки, сразу план открылся. Поплакала, помолилась, но, делать нечего, вечером села на коня и по-

скакала на соляной промысел к старому другу — Максиму Максимычу — просить под вексель сто пятьдесят рублей на боевые действия.

План придумала строгий: поговорить на днях с Харлампием — и чтобы раз навсегда покончить с Алешкой. Был человек — и нет человека, иначе никак невозможно. Кроме Харлампия, никто б не мог взяться, но этот все на свете мог сделать — человек был отчаянной хитрости.

Максим Максимыч жил на хуторке, близ самого моря, выпаривал соль из озера. Деньги у него водились.

Она добралась до него ночью. Хозяин еще не спал. В тесной комнатенке его горел камин, сам он в домашнем овчинном тулупчике сидел у огня, куря трубку.

Лицо, раскрасневшееся от базарного машкерада, было приветливо.

— Здравствуй, здравствуй, невеста невестная! — сказал он с мрачной стариковской приветливостью. — Ишь, страх-то куда загнал! Не появись Алешка, обо мне сроду не вспомнила бы. Садись, рапортуй по всей форме.

Чувствуя доброе настроение и то, что она может еще повременить с откровенностью, Марья Андреевна сразу начала с дела — попросила на экспедицию двести рублей на три месяца, из десяти годовых.

Максим Максимыч достал карту Дагестана.

— Маршрут-то известен?

— Был слушок, на Гергебиль пойдём.

— Тут не предвижу большого дела, — сказал он. — Ежели б в Салатвию поход или в Ичкерия — я б тебе и триста целковых дал безо всякого стеснения. А тут, душа моя, останешься без профиту, верь старику апшеронцу.

Марья Андреевна не сдавалась, уверяя, что доход обязательно будет и что ожидают самого наместника, князя Воронцова, со свитой, — тут и шампанское пойдет, и коньяки, и мороженое.

— В даргинской я одного лафиту сто бутылок отпустила да сигар четыре ящика, — убеждала она Максима Максимыча фактами.

— Помню, душа моя, твой лафит, помню, да то другие времена были. Шик, блеск, георгиевские кресты на всех кустах... Нынче уж так не будет...

Марья Андреевна все-таки не сдавалась, но с деловым разговором решила повременить и сделала вид, что собирается в крепость.

— Ну, это глупость! — сказал хозяин. — Куда ты, душа моя, средь ночи поедешь! Не казак ты все-таки и не абрек, а? Я тебя чаем да чайной угощу... Вот мы сейчас чайничек вскипятим...

— Да уж ладно, хозяин какой нашелся, дайте-ка я сама! — И, как не раз уж бывало, вскипятила Марья Андреевна воду в старом, дважды пробитом пулями чайнике, принесла из сеней кувшинчик с виноградной водкой, нарезала копченой баранины.

Выпили по чарке от малярии, и начался разговор, воспоминания. Перебрали друзей прошлых лет, посудачили о начальстве, потолковали о прежних экспедициях и как бы помолодели на много лет.

— А ну, возьмите гитару, — душевно сказала Марья Андреевна, подмигивая и сладко вздыхая.

— Э-э, коза-стрекоза, что придумала. Да ведь слеп стал, и руки, знаешь, немзыкальны стали, — но взял гитару.

Лет тридцать прослужа на Кавказе, Максим Максимыч давно забыл, а может быть, и раньше не знал никаких романсов, кроме солдатских, да еще трех-четырёх самодельных поэм, сочиненных друзьями, но петь, как всякий старый кавказец, любил.

Максим Максимыч взял в руки старенькую гитару, на деке которой были вырезаны имена ее бывших владельцев, большей частью уже уби-

тых, названия походов, в которых инструмент участвовал, и множество странных выражений дружбы и любви, вроде: «Моя взяла», «Мария! О Мария!», «Пятнадцать куринцев и семь ведер — Эрпели!» — и запел хриплым кавказским баском свой любимый, кровью пережитый романс.

Товарищи, пора собираться в поход, —

негромко и мрачно, с оттенком грусти, пел Максим Максимыч.

Осмотрите замки, отточите штыки,
 Научитесь стрелять напо-ва-ал...
 Наблюдайте всегда и везде тишину,
 Наблюдайте порядок и строй...
 В дело дружно идти, в деле меньше стрелять —
 Пусть стреляют враги,
 А колонны идут и молчат...

Ах, сколько милых лиц, сколько неповторимых картин молодости и сражений неясно, но вдохновенно проносится перед ним волной нежности и печали! Откашлявшись от набежавшего волнения, он повторяет:

А колонны идут и молчат...

И громким, веселым голосом, поборовшим слезу, продолжает дальше:

По стрельбе отличи, кто сробел и кто нет.
 Робким — стыд, храбрым — слава и честь.
 Без стрельбы грозен строй,—
 Пусть стреляют враги...
 Подойдите в упор и тогда уж «ур-ра!»,
 А с «ура» на штыки — и колите, губите врагов.
 Что возьмете штыком, то вам царь на разживу дает...

Осенитесь крестом, помолитесь Христу
 И готовьтесь на славу, на бой...

В сущности, это был даже не романс, а приказ генерала Пассека от сорок третьего года. Теперь уже неизвестно, кому первому пришло в голову придумать мотив для текста приказа. Да никто б, наверное, и не согласился признать автором какое-то определенное и, чего доброго, чужое лицо. Ходил слух, что покойный генерал сам не раз пел свои приказы, говоря: «У меня если приказ, так вся душа наизнанку. Пишу и сам плачу».

— Налей-ка, Маша, чачи. С утра лихорадит. Да сама, душа моя, не плошай! — говорит Максим Максимыч обыкновенным ворчливым голосом, уже без поэзии. — Нынче климат, ей-богу, одна гниль, простуда. — И, притворно морщась, выпивает чаплашку душистой огненной водки. А Марья Андреевна, сжав губы, высасывает за компанию четверть рюмки.

— Хитришь,— грозит ей Максим Максимыч. — В Зырянах-то — помнишь? — кружками пила!

Этой фразой невольно вспоминает он знаменитое сидение с генералом Пассеком в Зырянах, окруженных Хаджи-Муратом, когда как раз и сложился только что спетый приказ и когда и Максим Максимыч, и она, Марья Андреевна, и тот — Алешка Радомцев — были и моложе, и сильнее, и ярче. А ведь как будто и немного лет прошло! Четыре года всего.

— Сердце-то болит за Алешку? — спрашивает ее Максим Максимыч и глядит соболезнующе покрасневшими и заблестевшими от чачи глазами.

— Скажете тоже, — с подчеркнутой и неестественной обидой отзывается Марья Андреевна. — Не я одна виноватая в своей жизни, — добавляет она строго и со значением.

— Обои, обои виноваты, душа моя. Вспоминаешь иной раз? Эх, Кавказ, Кавказ! Недаром говорится: «Сей погибельный Кавказ!» Занесла сюда нелегкая!

А в сущности, он очень рад, что прожил молодость в кавказских походах, в опасностях, в передрагах и теперь доживает свой век среди боевых товарищей, рядом с родными полками, а не где-нибудь в Орловской губернии, где надо тянуться черт знает перед кем да заискивать перед всякой сволочью. А тут его сам князь Моисей Захарович Аргутинский помнит по отчеству, да и все кругом знают, все — Максим Максимыч, да Максим Максимыч! — зовут, как родного. Да он и вправду родной всем. Скольких ребят крестил он, у скольких товарищей шафером был с того 1818 года, когда впервые, мальчишкой, вступил он в горы с незабвенным Ермоловым!

Да и горцы его знают, и горцы любят. Махсум-Махсум, говорят! Он человек твердый. Что с бою взял — то его, а что на дороге нашел — никогда не скроет, отдаст.

Кунаков у него кругом полно.

Понаедут, гостят дня по три, чачу украдкой пьют, табак его курят — он ничего, но уж как дело дойдет до соли, тут он с них шкуру спустит, потому что дело строгости требует.

И все-таки жизнь прошла, а ведь как еще совсем недавно она только еще начиналась. Еще успеет пожить — думалось. А вот, глядишь, голова в седине, холост, болен. Черт знает, как все это быстро произошло.

Те же мысли и у Марьи Андреевны, только они еще более мрачные, женские. У него хоть подвиги есть, товарищи, ордена да медали, а у нее что? Был на виду тот же Максим Максимыч — и нет теперь. Был под рукой Алешка — и нет теперь. Ни семьи, ни угла, как абрек какой, право, абрек!

На хуторе тихо и пустынно до жути. Ветер с моря свободно гуляет по голому двору, стучит в ставни, шагает по холодному чердаку. Сухой шум ветра, бьющего в стены домика крупинками песка, напоминает длинный осенний дождь. А выйти за дверь прямо страшно. Невидимое в темноте море гудит, ветер колетса песком и солью, воют и плачут шакалы, и небо такое черное, такое грузное, что кажется, вот-вот готово обвалиться на землю и навсегда покрыть собой здешнюю жизнь.

Конь Марьи Андреевны и тот беспокойно покашливает и фыркает в турлучном сарайчике, рядом с домом, не ест, прислушивается к ночной шакальской тоске, тоскует по крепости.

— И как вы тут только живете, Максим Максимыч, ведь страх какой, ей-богу, находит, — серьезно, с искренней жалостью и любовью говорит Марья Андреевна, но старик не любит, чтобы в нем принимали участие, и сразу ершится.

— С любимой, душа моя, и в шалаше рай и в аду очарованье, — отвечает он сухо. — Горы, сударыня, вокруг меня, чего ж мне надо. Из всех женщин они одни меня и любили, — добавляет он еще жестче. — И любят, душа моя, и берегут, и измены от них быть не может.

Тут берет гитару Марья Андреевна. Разбередила раны старика, надо утешить.

— Помните, — говорит она, — был у нас такой один, этот, из разжалованных, солдат или унтер, что ли, из господ. Песни который еще писал...

— Много их у нас было... Да ты что спеть-то хочешь, скажи — я по стиху сразу вспомню.

— Да спела бы «Сарафанчик», ежели подпоете.

— А, Полежаев, Московского полка! Кто его не знает!.. Ну, подлою, попробую...

И она заводит красивым, мягким, все обещающим голосом гребенской казачки:

Мне наскучило, девице,
Одинешенькой в светлице
Шить узоры серебром!
И без матушки родимой
Сарафанчик мой любимый
Я надела вечерком —
Сарафанчик,
Расстеганчик!

Но этих слов сердце Максима Максимыча уже не в силах выдержать.

— Налей-ка, Маша, — говорит он сипло. — Ну его к черту, пение это! Вконец простудил голос, ей-богу. Ночевать у меня будешь? Вот и ладно. Будет что вспомнить. Иди-ка распорядись.

И Марья Андреевна понимает, что мир заключен. Отложив гитару, идет она застелить низкую, крытую старым паласом тахту, а Максим Максимыч галантно отправляется посмотреть ее коня, и слышно, как он по-хозяйски оглаживает его и треплет по шее.

— Вот была моя жизнь тут, — говорит сама с собой Марья Андреевна, — и кто ее взял, как не Алешка! Ну и пусть, зато конец ему!

...Они тушат свет, ложатся и уже без слов вспоминают многое, что должно было идти так, а пошло иначе.

Долго, до самой зари, не спят они, хоть и притворяются, берегут друг друга.

А утром, выпив чаю и по чапашке чачи, Максим Максимыч говорит, глядя в окно, в сизый мрак туманного и штормового моря.

— Вот что, Маша. Я тебе сотню дам, пожалуй, даже полторы. Но уж береги, прошу, холостяцкий грош. Сама знаешь, как достался он. Керим этот твой, Асадуллаев, третий месяц за шесть ароб соли не отдает, персук проклятый. Главное, знаю, что в горы, собака, их отправил. Уж я молчу.

«И что ты за купец такой на мою голову, — с почтением и смехом думает Марья Андреевна, глядя на его седую всклокоченную голову. — Боже ж ты мой, да Гаврилов — дай только срок — мыло из тебя варить будет».

— Вздыхаешь? — говорит, провожая ее на крыльцо и помогая сесть на коня, Максим Максимыч. — Вздыхай, вздыхай перед боем. Хоть ты и маркитантка, а все равно. Под Ватерлоо, говорили мне, девять маркитанток погибло, имей в виду. Ну, с богом! Помни старика!

Появление Радомцева в Темир-хан-Шуре наделало много шуму в связи со скорым приездом на линию наместника и главнокомандующего князя Воронцова.

Хорошо еще, что его самого не было в тот день в крепости! Многим могло бы попасть, да и не за одного Радомцева. Тогда же, в базарное воскресенье, исчезло пятнадцать солдат из первой роты Апшеронского полка, а при попытке задержать Радомцева было убито семь и ранено десять мирных горцев, приехавших на базар, арбы их разграблены, быки уведены, тела раненых и убитых раздеты догола. Скрыть все это от наместника было явно невозможно, и начальник Дагестан-

ского отряда, старший в крепости, князь Бебутов, человек вспыльчивый и быстрый на решительные поступки, предпринял такие меры, какие и при Ермолове назвали бы драконовскими. Он закрыл духаны, запретил солдатам торговать своим скарбом на рыночном выгоне, обязал командиров рот и батальонов ежевечерне проверять наличие их солдат в домах, где они расквартированы, и, так как казарм не было, а люди по двое и по трое стояли в обывательских квартирах, ротные и батальонные теперь целыми вечерами, до поздней ночи, бродили из дома в дом, проверяя людей. Маркитанткам приказано было закрывать торговлю в девять часов вечера.

Меры эти не оказали, однако, нужного действия, скорее наоборот. Слухи о том, что готовится экспедиция, какой еще не было, теперь находили себе прочное подтверждение в новых порядках.

Марья Андреевна, как и все в крепости, верила только слухам, ни в грош не ставя факты, и готовилась изо всех сил к богатому, прибыльному, полному приятных возможностей походу.

Дня за три или четыре до предполагаемого выступления отряда, поздним вечером собрались у нее фельдфебель Окурко, апшеронец, штабной писарь Котиков и гребенской пластун Харлампий Никитич Тихонов. В середине пирушки, как бы невзначай, подошли дамы — жена фельдшера Зося и белошвейка Клава, втихомолку жившая с Асадуллаевым. Они пришли с гармоникой и принесли с собой фунт соленых тыквенных семечек.

— Вот уважили, истинно уважили,— лепетала Марья Андреевна, сажая их за стол и благодарно пожимая им локти.

С приходом женщин стол убрали заново, окна занавесили, собаку во дворе спустили с цепи, Илюшку отправили спать.

Начали веселиться всерьез, набело.

Гости, народ крепкий, пили и ели много и часто выходили с дамами погулять — то в соседнюю комнату, то в прохладный сарайчик во дворе, где невзначай валялись вороха сена, покрытые паласами.

Сама Марья Андреевна состояла дамой при пластуне, но — не в пример остальным — держалась сдержанно, молчаливо, хотя и во всем была внимательна и добра к кавалеру. Выходя с ним из сарайчика, спросила:

— На кабанов, слышала я, собрались? Вот стрелили бы когда и мне кабана...

— Можно. К походу? — спросил деловито Тихонов.

— Ну, к походу или когда там... как случай... Сон я, Харлампий, видала, и такое на меня нашло, что вот который день не могу ослобониться, и так подумала: закажу, думаю, Харлампью, пусть стрелит за меня кабана, может сойдет с души.

— Ага,— сказал пластун,— это бывает... Только того кабана, который сделал вам наваждение, его стрелить — тяжелое дело.

— Кто б говорил, а вам-то!

— Ага, вы уж так и думаете? А я вам скажу: ваш кабан дикой, ужасный, ну, и помимо того, как там ни крути — хрещёный кабан.

Марья Андреевна запустила руку за отворот полотняной праздничной сорочки, вынула сотенную. Пластун поглядел на деньги, на Марью Андреевну, покачал головой и, обхватив маркитантку за плечи, повел в дом.

— Эх, гребенская, и кто тебя спортил, нечистая сила! — сказал он вполголоса, прижимая женщину сильной страстной рукой и не глядя на ее бледное трясущееся лицо.

...Угомонились только к рассвету и, устав, сели ужинать во второй раз. Тут и завязался мирный деловой разговор, ради которого и созван был вечер.

— В экспедицию с нами не собираетесь? — спросил хозяйку фельдфебель Окурко.— Неважная экспедиция будет,— сказал он авторитетно.

— Ефрем Ефремович, сама, батюшка, не знаю, идти ли? — ответила Марья Андреевна, уже вдоволь хмельная, но еще более хитрая и ловкая от вина. — Хлопот полон рот, а заработать — заработаю ли?

— Больших делов не предполагено, — сказал писарь. — Вы как, со всеми тяжестями идете? — красиво спросил он фельдфебеля.

— Налегке, — ответил тот.

— Ну, ясно, один променад туда и сюда, — небрежно пояснил писарь.

Самым почетным гостем был Окурко. Его рота славилась, и Марья Андреевна на основании многих данных полагала, что в большом деле рота его будет первой, и тут он охулки на руку не положит, из камня сок выжмет.

— Не лежит и у меня душа к походу-то, — сказала она, вздыхая.

— Убытку иметь не будете, как я знаю вашу натуру, но особых дел не предвижу, — повторил фельдфебель, а писарь, даже не считая нужным возвращаться к теме экспедиции, перешел на салонный разговор.

— Мы без вас, Марья Андреевна, останемся, как без родной матери, — сказал он. — Вы у нас после главнокомандующего первая фигура. Согреться ли, закусить, время провести — все у вас.

Зоська кстати защебетала, что муж ее, фельдшер, тоже идет в набег, но он, дурной, никогда ничего домой не приносит.

— Который раз прошу его ковер мне достать, все люди привозят, а мой дурак каждый раз зеваает.

— Научная фигура! — снисходительно сказал писарь. — Ну, да это пустяки. Сделаем вам ковер. Сувенир, как сказать.

— В прошлый раз, как под Чиркей ходили, — вспомнил Окурко, — штук сорок одних паласов рота взяла. А молитвенных этих, маленьких, ну прямо более сотни, девать было некуда.

Клава, отлично знавшая эти паласы, потому что все их скупил Асадуллаев, заметила, кривя губы:

— Рваные они, дыра на дыре.

— Известно, не на базаре братья, — ответил Окурко. — Поди-ка поговори с этим народом. Ты за ковер, а он тебя ножом в бок. Или старуха какая зубами схватит. Тогда, в Чиркее, я на коврах на этих семь штук убил. Ну, вцепились, ну, вот ты что хочешь. Тут и ковер порежешь, в суматохе-то.

— А уж серебра, должно, хватанули! — сказала Клава.

— Нет, серебра им не пришлось, — сказал, засмеявшись, писарь. — Казачки их опередили.

Марья Андреевна оглянулась, где Тихонов, и не нашла его в комнате. У нее ноги замлели. Легонько оглядел комнату и Окурко.

— Эти везде успеют, — сказал он сухо.

Разговор как-то сразу расклеился. Поговорив еще о том о сем, мужчины стали прощаться. Марья Андреевна проводила их до плетня, поблагодарила, что зашли, вернувшись, уложила женщин вдвоем на тахту, выдала каждой по рублю и ушла к себе в кухню.

Из разговоров выяснила, что поход будет легкий, с двумя-тремя дневками, и что, пожалуй, кроме вина, да галет, да табаку, и брать с собой ничего не стоит. Но арбы три-четыре на всякий случай захватить надо. Мало ли что бывает!

В позапрошлом году так же вот собрались к Дженгутаю и тоже все говорили, что поход будет короткий, а сожгли пять аулов, никто ничем не пользовался. Пока думала да засыпала — вконец рассвело. Встала, выпила огуречного рассолу, взбудила женщин.

— Будет спать-то. Дома хватятся — скандал выйдет. Ну, с богом! Спасибо.

Заперла за ними калитку и легла досыпать, поставив ружье в головах, за подушкой.

Глава 5

Отряды горцев стягивались со всех сторон к Гергебилию. Конница Мусы балаханского собралась почти вся, но Хаджи-Мурат, как всегда, медлил и выжидал в глубине Аварии. Сейчас, впрочем, это было даже удобно, потому что рассеивало внимание русских. Лазутчики-лезгины как раз в эти дни доносили имаму, что Аргутинский привел в готовность войска Южного Дагестана, а лазутчики-кумыки то же самое сообщали о Дагестанском отряде Бебутова.

Мюрид Исмил должен был отправиться в глубокую разведку в Темирхан-Шуру, и хотя его воскресническое появление на базаре во многом затруднило дело и даже вызвало недовольство самого имама, Исмил, тем не менее, снова собирался посетить крепость, теперь уже тайно, без ухарства.

Он был сейчас вместе с Исой и двумя даргинцами — своими нукерами — в Дженгутае, в нескольких верстах от крепости, в ауле, считавшемся мирным, и по возвращении с крепостного базара уже несколько раз выступал перед здешней молодежью, склоняя ее присоединиться к войскам имама.

Исмил проводил дни на площади перед мечетью, рассказывая о делах имама, о стычках, подвигах и хитростях знаменитых наибов, смешно передавал обстоятельства своего налета на темирханшурунский базар и таинственно намекал на отчаянные дела, которые в ближайшее время будут исполнены им.

В оборванной черкеске, при кинжале в простых кожаных ножнах, без украшений, в старых, но аккуратных ноговицах, босиком, сидел он, поджав ноги, на гудекане и бойко лопотал по-кумыкски, заломив на затылок папаху. Он был рослый и тонкий, с хорошим лукавым голосом, и движения его были ловки и очень красивы, как у рожденного горцем. Курчавая русая борода благородно отмечала молодость и смелость его лица, коричневого от загара и пыли.

В ауле стояла кутерьма. Дженгутай хоть и был мирным аулом, но хозяева на всякий случай отправляли скот в соседние аулы, закапывали в землю оружие, ковры и серебро, беспокоились за сохранность девиц и в то же время как ни в чем не бывало приготавливали к продаже офицерам молодых барашков, кур, яйца и кислое молоко.

Как только наступала темнота, высылали за аул, на дорогу к крепости, часовых, чтобы быть предупрежденными заблаговременно о движении русского отряда. Молодежь наперебой просилась в дозоры, и старшина аула, бывший абрек, снисходительно улыбаясь, пугал их всяческими страхами под дружный смех бывавших в переделках стариков. На площади перед мечетью образовался как бы маленький сельский штаб. Отсюда отправлялись в дозоры, сюда возвращались сменившиеся, здесь же вспоминали старину, здесь же слушали Исмила и здесь же (что так удивляло даргинцев-нукеров и самого Исмила) молодые парни пели песни и лихо плясали под нехитрый аккомпанемент дудки и удары расщепленных палок по бревну, что заменяло барабан. Старики курили коротенькие деревянные трубки с серебряной насечкой. Даргинцы смотрели на курение и пляски враждебно и презрительно, но Исмила не раз подмывало броситься в круг и, заправив полы черкески за пояс, завертеться в сумасшедшей лезгинке. Хотелось и покутить. Но делать этого было нельзя, и он только покашливал и сплевывал, с раздражением глядя на танцоров. Часов в одиннадцать ночи дозорные у дороги сообщили, что верстах в пяти за аулом появилась пешая партия русских и залегла в садах, а когда ее окликнули, русские сообщили, что они перебежчики, но сдадутся только Исмилу, о котором знают, что он в ауле, и просили прибыть его к ним, пока темно.

— Ай валла! Вот и я дело получил,— засмеялся мюрид и, приказав своим нукерам приготовить коней, сказал старшине, что постарается дело кончить мирно и ладно, так, чтобы Дженгутай ни в чем замешан не был.

Конный, примчавшийся с сообщением о русских, громко крича и взвизгивая от возбуждения, носился теперь по аулу, всех будоража. Те, что отправились было по домам, опять вернулись на гудекан — подождать конца дела.

— Исмил, отпусти теперь, домой надо, — сказал Иса, подходя к мюриду.— Хозяин ругать будет.

Иса порядком устал от горской жизни и тосковал по дому. Он был уже не нужен мюриду и состоял при нем просто для виду, но сразу отпустить его в крепость, не передав кое-чего друзьям, Исмил не хотел.

— Скоро обратно буду, тогда решим,— сказал он неопределенно.— Еще дела есть с тобой,— и ускакал.

За ним пустились вскачь молодые дженгутайские ребята. Крича, улюлюкая и кувыряясь в седлах, они нестройно пели хором, напоминая Исмилу казаков, и, хотя ему нравилось их пение, они все-таки возбуждали в нем чувство снисходительности. В горах, у Шамиля, не так были приучены жить мужчины. Не пели, не пили, не плясали, табаку не курили. Характер от этого делался строже и свободнее. «Сволочи,— думал порусски о них Исмил,— и так и этак норовят прожить. И тарикат не держат, шариат не исполняют и русским не родня». Он закричал, чтобы молодежь оставила его, но не мог совладать с людьми. Никто не хотел отстать от знаменитого мюрида, всем хотелось увидеть, как он будет говорить со своими бывшими земляками.

Партия беглых под старшинством Гаврилова выбралась из крепости под шумиху в связи с появлением Исмила. За Муслим-аулом свернули с дороги и пошли горами, прячась от всего живого. У самого Дженгутая, там, где аробная дорога разделяется надвое, прилегли обсудить свое положение. Лучше было бы не идти далее скопом, а выделить вперед двух-трех человек с Гавриловым, остальным же схорониться в оврагах, но все боялись друг друга, и никто не хотел ни идти вперед, ни оставаться позади. И только двинулись далее, как тотчас их обстреляли, да не с одной, а с двух сторон, и по звукам выстрелов можно было определить, что стреляют и горские и русские ружья. Бросив одного раненого, остальные бегом и ползком едва добрались до садов вокруг Дженгутая и закричали сторожевым горцам, что требуют Исмила. Была уже ночь, но луна светила ярко и четко, хотя и непостоянно, из-за частых низких облаков, бросающих множество теней на густые и темные сады. Темнота чередовалась с голубым лунным блеском, и это было особенно тяжело и неприятно беглецам: В садах вокруг слышались голоса, шаги по сухим листьям, фыркание стреноженных коней. Звуки эти мешали сосредоточиться на возможной отовсюду опасности. Они лежали, уткнувшись лицами в землю, дыша приглушенно и затаенно. Сердца колотились. Они ни о чем не думали.

— Эгей! Э-э-эй! — раздалось наконец со стороны сторожевых.— Исмил тут! Кто старший ваш, выходи!

Гаврилов поднялся и побежал на голос. За ним стали осторожно двигаться и другие.

— Это я иду, Алексей, я, Гаврилов Семка! — прокричал Гаврилов для проверки.— Узнаешь?

— Иди, иди, слышу,— ответил голос Радомцева,— забирай левой под канавой.

— Кунак мой идет,— громко сказал по-кумыкски Исмил окружающим,— обмана нету.

Не успел он это сказать, как чей-то русский голос, левее того места, где шел Гаврилов, произнес:

— Кунак кунака зрит издалека,— и тотчас раздался выстрел. Кони горцев испуганно затопали, звякнули стремена.

— Исмила ранили!

Горцы ударили по садам из ружей. Из садов — беглецы слышали — им отвечали.

— За ради Иисуса Христа,— закричал Гаврилов,— тишьте вы, что делаете! Всех побьют! — и продолжал бежать на пули, потому что иного выхода не было.

Кто где, было не понять.

Он выскочил из-за крайних к дороге яблонь, подняв вверх руки, и сразу чей-то приклад опустился на его голову.

— Алешка! — крикнул он.— Спаси за ради бога, не виноват,— и упал. Стрельба разрасталась. Из аула скакала помощь.

Когда двое дженгутаевцев под руки привели на гудекан бледного, заплетающего ногами Исмила, площадь уже была полна народу.

— Что было? Что такое? — спрашивали все.

Молодежь особенно волновалась и возбуждала себя на воинственные поступки.

Вслед за раненым мюридом вели, хлеща нагайками, троих связанных по рукам и уже полуголых, в одном белье, солдат. Исмила положили на бурку.

— Что в мыслях имели? — спросил у солдат кадий.— Наш язык понимаете?

— Шли в горы,— сказал, выступая вперед, один из солдат. Окровавленное лицо его мрачно чернело под луной. Рана на макушке уже успела вспухнуть по краям, но, еще кровоточа, иногда страшно и жутко поблескивала и светилась под луной.— Шли в горы, уважаемый отец, пятнадцать человек нас было, клянусь богом. Одного потеряли в дороге. Подходим к вашему месту, чуем, идет кто-то за нами, а кто — не видим. Окликнули — не ответил. И только наткнулись на ваш пикет, только с Алешкой, то есть с этим, с Исмилом, разговор начали, а он как вдарит из штуцера по нас, да по вас, да еще... Ну, ваши тоже огонь открыли...

— Врешь, собака, кровь открою тебе, собака! — закричал Исмил, пытаясь подняться с бурки.— Врешь, разведку делал.

— Алексей Антоныч, клянусь тебе богом! — заплакал говоривший. То был Гаврилов. — Честно шли, ей-богу, да, видать, на самого Тихонова напоролись, вот как я думаю. В залогоу он как раз шел, нас приметил...

— Что дальше было? — спросил старшина аула.

— А то было,— плюясь кровью, сказал Исмил,— что наших сторожевых четверо да иных десятков пропали. Подошли, сволочи, к нашим постам, меня выкликать стали. Только я голос подал, ударили из садов... За сколько меня продавал, скажи открыто?

— Алексей Антоныч, душка-джан, честно шли, с душой, ей-богу...

В саклях заголосили женщины. Пронесли на бурках четверых погибших. Местный лекарь, разрезав кинжалом черкеску и бешмет Исмила, стал смазывать рану медом, смешанным с чем-то, обкладывая ее шелковым сырцом и перевязал ситцевыми тряпками.

Толпа на площади поредела.

Беглецы стояли со связанными руками.

— В яму их посадите! — сказал по-кумыкски Исмил.

Народ одобрительно зашумел.

— Алексей! Совесть имей! — крикнул Гаврилов. — Я честно шел, деньги отдал Асадуллаеву, хоть спроси.

— Иди, пока цел.

И, подгоняя прикладами и плетью, солдат погнали в глубь аула. Иса, все время молча сидевший возле Исмила, негромко промолвил: — Деньги за него Керим взял, теперь нехорошо выйдет, на тебя будет зло иметь Керим.

— Не люблю Гаврилова, — ответил Исмил. — Купить-продать да с чужими бабами шашни водить мастер. Тады еще с Марией его два раза ловил.

— Керим сердчать будет, — повторил Иса. — Ты и офицера в горы увел, а того офицера Керим обратно просил.

— И пушай. Я вашу лавочку теперь все равно истреблю. Думаешь, не она Гаврилова подослала? Давно убить хочет, ей-богу. Ну, не бывать. Я им еще не то покажу... Серчать будет! Подумаешь! А ты вот при мне пока что останешься. Да, очень просто... До выяснения...

— У меня пропускной охранный лист есть.

— Знаю, что делаю. Останешься. Ну-ка, пускай твой Керим ответ даст, кого посылал, зачем? Я ему еще не один целковый сломаю, собаке.

Иса понял, что дело его ухудшилось и что Исмил будет мстить Асадуллаеву всеми средствами, и, значит, надо бежать в крепость на риск. Но Исмил сам был человек тертый и сразу догадался о мыслях гонца.

— А бежать и не думай, — сказал он, — поймаю — убью, а не поймаю — все равно Керим выгонит за убытки. Поди тишком вина принеси мне чапашку. Не болтай, слышь.

Чувство подвига, владевшее Исой со дня выезда в горы, теперь рассеялось без следа. Он был зол и утомлен до крайности. Предчувствие больших хлопот не оставляло его ни на минуту.

Старшина аула хотел снести Исмила в ближайший дом, но мюрид наотрез отказался и даже удалил от себя нукеров, оставив лишь одного Ису. Он лежал на теплой бурке, укрытый ее широкими полами, и, морщась от боли, сверлившей пробитую грудь, пристально глядел на зеленую луну.

Воздух был свеж, как всегда здесь в апреле, легок и приятен для его легких.

Два или три раза ходил уже Иса за вином для Исмила, но тот все не мог уснуть и кряхтел, и морщился до слез, и все пил из глиняного кувшинчика дешевую водку, которой многие баловались здесь, в Дженгутае.

«Хоть бы помер, — подумал о нем Иса, — я бы спокойно вернулся».

У него не было никакой жалости к мюриду и никакого к нему сочувствия.

Он не любил и не уважал русских, меняющих веру, не восторгался ими. Впрочем, теперь он ничем не восторгался. Многое, что раньше волновало его душу, теперь казалось грубым и диким, и великие геройства его народа стали ему уже менее близки, он подмечал в них смешные, нежизненные стороны и не видел будущего у этого геройства.

«Надо было Шамилю сказать, — раздраженно думал он, сидя возле Исмила, — мы на плоскости о его деле думаем. Это я зря не сказал ему». Хотя почувствовал, что никогда не осмелился бы произнести что-либо подобное, да, по совести, ничего и не имел в голове, кроме недовольства грубостью имамовских набивов да тоски по своему дому.

А Исмил пристально, почти не дыша, глядел на луну. «Выживу, — думал он, — обязательно выживу. В аул, бабе, надо скорей сообщить: ишачьего молока попью — опять буду крепкий».

Луна уютным холмом вставала перед влажными глазами Исмила. Была она теплая и пахла ребятами, жизнью.

Шамиль нашел своевременным лично проинспектировать гергебильское укрепление и сообщил сыну Кази-Магоме, что через два дня они с ним выедут из Ведено. Хаджию было приказано уведомить о том аулы

по дороге в Гергебиль. В программе поездки предполагалось три ночевки, и Шамиль заранее подготовил три речи к народу. Первую он имел в виду произнести в Ботлихе, вторую — в Хунзахе и третью — в Гергебиле.

Но речи, когда он приступил к их продумыванию, не удавались ему, кроме последней. Ее он слышал как бы со стороны. Первые же две не нащупывались, хотя он искал их долго, со всеми подробностями представляя, перед кем и в какой обстановке произнесет их. Он говорил вслух и слушал себя, как бы раздваиваясь и стараясь уловить, убеждает ли голос, и, когда бывал сам растроган, считал поучение правильным.

Всегда старался он дойти до того, чтобы растрогать, напугать или ободрить самого себя. Шамиль твердо был уверен в том, что если сам он растроган, напуган или ободрен, то уж никто другой ни за что не устоит против поучения.

И обе первые речи не убеждали его самого, хотя они и касались вопросов, неоднократно им освещаемых, — они были посвящены строгой жизни и войне за веру. Несвоевременно хотелось ему сказать слово о добывании соли из рек или выделке ядер, и, если бы он поддался искушению, произнес бы их ярко и крепко, но он крепился.

В самый день выезда последовало указание, что речей в пути не будет, ибо имам спешит, торжественные встречи в этих аулах были сокращены, а самый въезд в них отнесен к более поздним часам дня. Сокращение торжеств расстроило Шамиля. Сам он жил просто и экономно, как хозяин большой небогатой семьи, где каждый кусок на учете, но в народе появлялся торжественно, будто возил с собой праздник.

«Народ любит праздники, — говорил он, — так пусть во мне их любит — я праздник бедных, я праздник верных».

И он всегда вел себя так, что народ видел в его торжестве и силе общую силу, общее ее торжество, общую волю и общую славу.

Еще в молодости, при жизни первого имама — Кази-Муллы, когда Шамиль был молодым начальником его канцелярии по гражданским делам, случилось ему беседовать с Кази-Муллой о вере. Были они товарищами детства и не стеснялись друг друга.

Кази-Мулла начал уже в ту пору проповедь шариата и мерил людей мерой верности. Однажды встретил он в горах старика, не желавшего поддерживать его в священной войне против русских и открыто выступавшего с речами против имама.

— Во что ж ты веришь? — спросил его Кази-Мулла.

— Я верю, почтенный, в свою старуху и в своего осла, — смело ответил старик.

— А за что ты в них веришь?

— Верю, что старуха каждый год засеет и уберет наше поле, а осел сvezет урожай домой.

— А во что ты не веришь?

— А не верю я в то, что я сам мог бы засеять и убрать наше поле и на своей спине сvezти урожай домой, и не верю, что ты его мне сделаешь.

Когда старик был отпущен, Кази-Мулла сказал Шамилю:

— Много я видел людей на свете, но такого верующего, как этот, вижу впервые. Хотел бы я, чтобы мне верили так, как он верит своему ослу.

Шамиль тогда рассмеялся. Кази-Мулла гневно остановил его.

— Плохой смех, — сказал он. — Пусть каждый правоверный верит, что ты засеешь и убереешь его поле, а урожай сvezешь домой, — и власти твоей не будет предела. Это лучшая вера, какую я знаю.

Не раз потом вспоминал Шамиль эту фразу Кази-Муллы, и с годами она все больше и больше ему нравилась. Но чем больше нравилась, тем становилось тяжелее. «Или осел стареет, или урожай каждый год больше», — думал про себя Шамиль с иронией, всегда свойственной горцу, а ему присущей с особой силой.

Урожай был, конечно, большой, спору нет.

Ханов он убрал. Народ стал мешать в одно — аул с аулом, род с родом. Выбрал храбрейших и поставил их править местами. Научил лить пушки и добывать соль. Отучил курить и пить и надеялся: отучит красть. Женщины берег. Хотелось ему еще создать единый язык для своих народов — тогда все будет легко: язык один, закон один, вера одна. Хотелось многого. Война мешала. Он хитрил с русскими много раз — то обещался смириться, то просил себе горы, им отдавал плоскости у моря, но ничего не помогало, и в душе он знал, что только чудо может спасти Дагестан и Чечню. Если в мире ничего не случится, а пойдет так, как шло, — трудно будет горам.

Выехал он, как всегда, после первой утренней молитвы. Легкая первая зелень садов была седой от инея. Кони чертили на траве жирный темный след. Мюриды, ехавшие впереди и позади имама, пели: «Ла-илах-илляллах!» — и стреляли из ружей в воздух. А он сидел в седле и, ни на что не глядя, но все по пути замечая, работал. Мысли были разные, возникавшие от картин природы и жизни, но все время самые неотложные. Как скот лучше выкармливать, как вьюки крепить, как девок сватать без дорогого выкупа, как больных лечить, как бороться с наговором и колдовством.

Шах-Аббас ехал вблизи него. В сумке его лежали наготове тряпки, пропитанные чернилами, палочки для писания и маленькие листки бумаги.

Иногда Шамиль оборачивался, приказывал записать: «сухая трава для коней», «мед», «землю приносить в корзинах», «крепость выстроить у моста». Шах-Аббас записывал, не переспрашивая. Чтобы уменьшить разочарование свое от неудавшихся речей, велел Шамиль ехать к Гергебилю сокращенными тропами, стороной от аулов, узнавая о жизни от чабанов и случайных путников.

Речи ему удавались. Готовя их, он воображал себя слушателем. Что хотел бы слышать он от имама, будь он сам жителем Чоха? И он тотчас видел себя жителем Чоха. Весь аул с его жизнью, трудом и нравами вставал перед его глазами. Он видел горы, поля, сады, интересы, споры с соседями, близость русских, урожай и находил то основное, что наиболее должно было сейчас интересовать чохца. О том и произносил слово. Все угадывали себя в его слове. Это были их мысли, их тайные недоумения, их недовольство, наконец, их надежды, их планы. Речи ему всегда удавались.

Потому особенно опечалила его неудача с задуманными двумя речами, и он долго не умел себе объяснить, почему так случилось.

Первый же день пути объяснил ему все. Народ не хотел войны. Народ еще поднимался на его зовы, верный прошлым победам, но народ хотел мира и той простой и ясной жизни, которую он, Шамиль, сам дал народу в простых, всем доступных законах. Законы были, но жить по ним было народу некогда.

Но только война и могла спасти его законы от исчезновения и поругания. Война берегла законы мира, и закончилась она — восторжествовали бы законы войны. Мир не удался бы без войны.

Шамиль понимал трудность общего положения и не видел из него выхода, кроме борьбы, борьбы и борьбы.

Речи и не удались потому только, что не могли быть особо интересны: о войне все знали, и всех она тяготила.

Угрюмый, расстроенный, он сухо задавал людям вопросы, внимательно выслушивал их жалобы и отвечал на них с той краткой и образной категоричностью, какой всегда отличался в своих лучших поучениях. Скоро его развлекло это дело и даже понравилось. «Сказать одну речь десяти человекам вместе — это сказать всего-навсего одну речь, — думал он. — Но сказать ту же речь десяти человекам порознь — сказать полсотни речей». Это ему нравилось. И он останавливался на маленьких хуторах, в хижине пастухов, в крохотных шалашах лесорубов. Беседовал с бродячими торговцами и ремесленниками, молился на одиноких могилах, часто разбросанных среди пустынных скал, и наметил много мест для будущих крепостей. Такова была его манера любоваться природой.

Идрис выехал навстречу имаму верст за пятьдесят от Гергебиля и был немедленно выруган вслух в обидной и резкой форме.

— Я тебя не коней пробовать послал, а Гергебель строить, — сказал ему Шамиль. — Дело идет?

Идрис все знал и все мог рассказать очень толково. Инженер Хаджи-Юсуф уже приступил к постройке укрепления, жители помогали ему не покладая рук. Большую пользу оказывал молодой офицер из горцев, недавно привезенный Исмилом. Он выдумал множество занятных штук, велел рыть волчьи ямы, делать тонкие фальшивые крыши на саклях у крепостной стены и научил провести по желобам воду в верхнюю часть аула.

Имам подобрел. Нет, этот Идрис — крепкий малый, голова есть.

— Говорит, аманатом был от нас отдан. Наш язык ловко знает. Исмил его привез мне.

— Жалко Исмила, — сказал имам.

— Трех лекарей я позвал к Исмилу, имам. Разговор с ними имел хороший.

— Так? — спросил имам, делая рукой жест, будто он бьет нагайкой.

— Эх, эх...

Сын Шамяля, Кази-Магома, глянув на смущенное лицо Идриса, не удержался от смеха. Улыбнулся и сам имам.

— А как ты разговаривал, Идрис? Я тебя знаю, ты чабан, у тебя все слова на конце палки.

— Эх, эх... — твердил Идрис, побагровев и тяжело дыша. — Я им сказал... вот, говорю, чтоб здоров был... Яхши, говорят, будет здоров...

Улыбаясь, Шамиль глядел на Идриса.

— Ты и меня скоро бить начнешь, я тебя знаю. Ты да Байсунгур беноевский руками думаете, голову для папах держите. Верно я говорю?

— Не бил я их, валлах, пугал немножко, — уже совершенно теряясь, ответил Идрис.

...В Гергебель въехал Шамиль в середине дня, в самый разгар работ. Открылось зрелище, всех поразившее. Тысячи людей быстро и ловко возводили стены вокруг аула. Арбы скрипели по узеньким улочкам, ревели ослы, проходили мужчины с мешками песку на плечах, мальчишки с корзинами камней. Кузнецы, поставив в ряд свои походные наковальни, ковали длинные железные гвоздья — для волчьих ям. Старухи и старики поднимали крыши на окраинных, близ стены, саклях и закладывали их редким хворостом и тонким слоем глины.

Согратлинцы вытесывали каменные ядра. Детвора окружала их восторженной толпой.

— Валлах, работают! — с удивлением и удовольствием произнес имам, глядя на картину горячей стройки.

Мюриды дали залп из ружей, запели. Все живое ринулось навстречу имаму. Он сидел на золотистом худом коне, в белой черкеске, в белой

папахе, окутанной кисеей. За ним развевался голубой имамский значок и далее семь или восемь значков наибо, ехавших в его свите.

На коне он казался могучее, плечистее и моложе.

В узких улочках колени его касались людей, прижавшихся к стенам жилищ. Люди припадали к полам его одежды и к стремянам. Матери высоко поднимали перед ним своих детей.

— Взгляни на них! — кричали они.

И он глядел. Взгляд его, ни к кому лично не обращенный, доходил до всех и всех пронизывал своей зеленой страшной силой.

Простым и спокойным движением, не растревожившим ни звука на одежде, обильно убранной оружием, слез он с коня у дверей мечети, молча прошел в нее и сотворил молитву. Народ толпился всюду. Не помещаясь в мечети, люди стояли плечом к плечу на маленькой площади, на крышах ближайших и дальних жилищ. Имам вышел. Выстрелы и крики исчезли. Он должен был говорить.

— Мы с вами братья, — начал он своим не громким, но всех достигающим голосом. — Две собаки дерутся, а увидят волка, бросаются вдвоем на него. Так и мы с вами.

Он был полон сейчас вдохновения. Картины деятельной обороны наполнили его радостью, молодостью, он хотел говорить много, хотя и знал, что этого нельзя.

Он был всегда очень осторожен в высказываниях, а еще больше — в поступках. Не осторожность руководила им — мудрость! Он знал отлично, что легендарен, что о нем сочиняют, даже когда он спит, что каждый взгляд его толкуется и перетолковывается тысячами людей, и всегда действовал очень обдуманно, так, чтобы не помешать легендам о себе и направить их в нужном смысле. Легенды о нем были истинными его поступками. Он лишь не выходил из их рамок. Он следовал им, не торопясь, отбрасывая ненужные. Это накладывало печать настороженной сдержанности на его манеру обращаться с людьми. Он, в сущности, вычеркивал из их головы одни легенды и навек закреплял другие. Он мог ничего более не совершать, так много было за ним свершенного. Он только совершенствовал, улучшал закрепившиеся легенды, и одно это отнимало много труда. Народ создавал его в мыслях своих быстро и ярко, неумолимо дополняя и развивая, и он должен был всегда поспевать за собой, созданным на миру, и тот его собственный образ, который существовал в народе, был истинным хозяином положения. Шамиль-человек подчинялся ему беспрекословно.

— Мы сами себе сторожа, — говорил он тихо, просто. — Самих себя бережем. У нас ханов нет, чтоб о нас думали, за нас воевали. Это там, внизу, на плоскости, у кумыков, есть еще ханы. А у нас тот хан, кто имеет два сына да два ружья. У нас кто храбр и честен, тот и хан. Кто мало о себе думает, тот и старший, а кто превзойдет его в добрых делах, тот еще старше. Так я учу вас, а вы учите других.

Он стоял, невысокий, крепкий, немного печальный, и говорил тихо, от души. И от всей фигуры его, от резкого голоса, от взгляда зеленых глаз, не знавших смеха, исходила простая и ясная правда. Либо нужно было оставить его, либо идти за ним до конца.

Он был прост, как все. Как все — страдал. Убили жену его, взяли в заложники сына, другого ранили, сам он в рубцах и шрамах, и седеющая борода его честно лежит на черкеске. Ему было нельзя не верить.

Давно уже все учение тариката свелось для него к борьбе за новые законы существования, им объявленные. Тарикат был теперь дисциплинарным течением, но главное сказалось в ином — в жизни. Этого не понимали многие его близкие. Они еще судили о человеке на основании свершенных им молитв и постов. Имам же любил только действия, вытекающие из молитв и постов, одни действия. Он любил, чтоб платили за

невесту три рубля, а не сто, чтобы люди не пили вина, не курили, ибо они бедны и плохи здоровьем, он любил, чтобы сильно рождались дети и чтоб не было вдов, чтобы хорошо добывали соль и не воровали бы друг у друга, и в этом был весь тарикат. Другого он не хотел. Арабистов, толкующих, что он ошибается, ненавидел и держал в отдалении, под негласным своим надзором. Народу был нужен простой тарикат. Именно поэтому Шамиль считал его правильным. Ссылки на коран его не переубеждали. В коране было много цитат. Он сам умело цитировал, когда нужно.

— Что такое наиб у нас? — гсворил он сейчас и вдруг вспомнил тот далекий и острый разговор с Кази-Муллой и вздрогнул от желания передать его народу. Мгновение он боролся с искушением — поймут ли? Речь идет об имаме, о высшем лице; и, сжав брови, решил. — Некий старец сказал мне: верю в старуху свою и осла, потому что знаю, что каждый год она засеет и уберет наше поле, а осел свезет урожай домой. Я и наобы мои для вас как старуха эта и как осел. Кому не поверите, тому и я с вами не поверю. Кого возвысите, того и я возвышу вместе с вами. Вот и все. Мир вам!

Ак-Сурхай узнал о приезде имама от аймакинцев, прибывших в Гергебиль с подарками, и примчался к мечети, когда Шамиль заканчивал свое слово. Он хотел видеть имама с глазу на глаз. С трудом протискался мельник на коне сквозь толпу.

— Эй, выпавший из-под хвоста собаки, — кричали ему, — пыль делаешь!

Вдруг толпа резко подалась назад, давя друг друга, и от мечети к дому кадия образовалась узкая тропа в народе.

Идрис со своими мюридами кинулся к лошади имама. Шамиль глазами отстранил их, хорошо вскочил в седло и медленно поехал к дому кадия, кивая головой народу в ответ на крики, выстрелы и молитвенное пение.

За ним провели нескольких русских пленных, потом проехали сын Кази-Магома с секретарем Шах-Аббасом и инженер Хаджи-Юсуф — турок. Идрис, налево и направо стегая нагайкой, надвинулся своим конем на рвущуюся за имамом толпу.

— Сучьи дети! — вполголоса приговаривал он. — Вас что, бить надо? Валлах, что с вами делать? Стену кто класть будет? Я ее один буду класть? Как вы думали?

Он так ловко и часто молотил нагайкой, что выдавил народ с улицы и погнал его к стенам.

— С этим не пропадешь! Этот и поспать не даст! — смеялись битые. Мельник на своем раненом, издали заметном коне очутился теперь на пути Идриса. Не имея сейчас никакого желания встречаться с неугомонным наибом, старик стегнул коня и поскакал к себе в ущелье, где в пустой мельнице сидели у него в кандалах трое русских перебежчиков и в отдельной каморке молодой офицер, сын его жены — Алибек.

После краткого и легкого обеда с малым количеством мяса Шамиль, не отдыхая с дороги, приступил к делам. Обедало с ним человек пятнадцать, в том числе только что приехавший из Аварии наиб Доного-Магома, мрачный человек с раздробленным носом и рассеченной губой, гнусавый и — единственный из всех — толстый, как бочка, да молодой ингушский бек, ставший на сторону Шамиля и приехавший для уяснения вопросов войны у себя дома.

Он из всех выделялся изяществом своего скромного костюма: ноговицы были не кожаные, а бурочные, но красиво сидели на ноге. Черкеска тоже была недорогая, но схвачена у талии с особым искусством и красотой, а папаха сидела на голове, как птица. Ею все любовались.

Имам был доволен гостем — и потому, что тот был молод и красив, и потому главным образом, что тот был ингуш, представитель народа, плохо помогавшего Шамилю. Приезжий был родом из долины Армхи, вблизи Военно-Грузинской дороги, южнее Владикавказа, и это тоже было приятно, потому что место важное и интересное в военном смысле. Шамиль много расспрашивал гостя о его народе, нравах и обычаях и окончательно развеселился, узнав, что народ ингушский с трудом переносит притеснения русских начальников и что горные ингуши встанут по первому зову имама. Третий был гонец из Ахтов — лезгин Мамед-Ивани, сын Ивана, русского казака, старый, опытный и известный джигит, хорошо говорящий на отцовском языке, чем был весьма полезен.

Он привез тревожную весть — Аргут собрал войска в кулак и не двигается к Темир-хан-Шуре. Что, если ударит он в тыл имаму, как не раз делал?

— Будем думать. Завтра скажу,— ответил имам.

Затем он расспросил Доного-Магому об аварских делах и не выразил удивления, узнав, что Хаджи-Мурат еще не собрался со своим отрядом к Гергебилю. Он даже как бы не слышал этого. Наконец дошла очередь до инженера.

Хаджи-Юсуф просил отдать в его распоряжение всех русских пленных и перебежчиков, собранных к Гергебилю.

— Это так, но обмануть тебя могут. Пусть введут некоторых, погляжу я, — сказал имам и, вдруг вспомнив об офицере, которого привез Исмиль, велел ввести и его, хотя содержался он в качестве гостя.

Сейчас же ввели троих русских, еще с ночи доставленных в аул по настоянию Хаджи-Юсуфа и ожидавших своей судьбы на мельнице, под охраной Ак-Сурхая и сына его — Раджаба. Вслед за ними вошел и поодаль стал, почтительно поклонившись, молодой офицер, лицом и фигурой — истинный горец.

— Что бежали? — спросил троих русских имам через Шах-Аббаса, искоса взглянув на Ак-Сурхая, стоявшего у дверей с полуобнаженным кинжалом.

— То дело прошло,— ответил один из русских, с седыми баками и усами,— сами вышли в горы, к твоей милости, да не повезло нам, приняли грубо.

Второй солдат, моложавый, с рябым красным лицом, стал рядом с седым, этим как бы сливая с ним свою собственную судьбу.

Третий — красивый, в рваной, но не поношенной, а свежей солдатской форме, с повязанной головой — стоял отдельно, молчал.

— Как держали вас? — спросил Шамиль. — Лишения имели?

— Известное дело, имели,— сердито отвечал седой.— Да мы, сударь, не в обиде. Конечно, в яме сидеть, сам посуди, не сладко, но особливого угнетения не было. Кормить кормили, бить сильно не бивали. Одежонку вот только с нас разобрали.

— Да насчет веры сильно пристают,— сказал второй солдат.— Что ни вечер, то разговор. Обратите на это внимание, ежели возможно.

Третий русский по-прежнему молчал. Имам несколько раз взглянул на него с любопытством, но продолжал разговаривать с двумя первыми.

— Давно на Кавказ пришли? — спросил он. — Против нас дрались?

— Пришли мы, сударь, напрямиком из Расаи, в твоих местах не так чтобы долго, но биться бились, это уж не соврем,— опять доложил седой, а товарищ его, торопясь, пока имам не задал нового вопроса, прибавил:

— И вить, ваше степенство, как мы шли-то к тебе! Мы навечно шли. Назад не глядим, не расстраиваем себя. Пошли и, значит, пошли.

— А что же о нашей вере думаете?

— Да что! В яме, сударь, не так вразумительно понятно, — с прежней сердечностью и прямоотой сказал седой солдат, заставивший Шамиля слегка улыбнуться. — Веру вашу не хаем, попроче нашей будет.

— Тут думать надо, ваше степенство, — добавил второй.

— А жизнь наша как вам?

— Ничего живете, — раздельно начал было конопатый, но седой солдат строго прервал его:

— Живет народ у вас вольно, надо сказать. За тем, сударь, и мы шли.

— Закон наш как?

— Не обыкли в нем, право. Язык здешний тоже тяжелое дело. Ни мы твоих, ни твои нас. Пальцами только и играем.

— Ну что ж, себе их взять хочешь? — спросил Шамиль Хаджи-Юсуфа. — Что делать будут?

— Сапер — важный человек, — сказал турок. — Надо помочь.

— О господи Иисусе, сызмальства плотничаем, — сказал седой. — Что хочешь произведем.

— Работу сде-е-ла-ем! — подхватил повеселевший второй. — За работу и не думайте. Какая задача будет, такую и произведем. У князей Шереметевых в Останкине, може слыхали, не такой альхитектор был, как ты, — сказал он турку, считая его, очевидно, за управляющего именем иностранца, каких он видел у себя дома, — а и то... Немец был, у-у, чистая собака, образование какое прошел, а и то слова против нашей работы сказать не мог.

Седой опять спокойно прервал его и стал говорить, как старший:

— Мы плотники с роду родов. Таких плотников здесь, брат, ёк. Истинный бог, нету. Дай мне в руки топор — тогда меня видно, кто я такой.

Шах-Аббас, не умолкая, переводил.

Шамиль, полулежа на мягких подушках, разбросанных по ковру, смотрел на русских без всякого выражения на лице.

— И в веру вашу войдем и дома вам, какие надо, построим, — волнуясь и размахивая руками, говорил конопатый солдат.

Он улыбался и разводил руками, будто нанимался к хозяину на базаре. И, говоря, верил, что жизнь удастся, и в душе уже соглашался и веру переменить, и бабу взять, и действительно навек остаться в горах.

Вдруг Шамиль обернулся к третьему, спросил его:

— А ты кто будешь? Что молчишь?

Тот вздрогнул, пал на колени, склонил голову к самому полу и залопотал по-кумыкски:

— Имам Шейх-Шамиль-эффенди, своими ногами пришел к тебе, своими руками хочу жизнь строить. Выслушай мое дело.

— Говори! — позволил Шамиль.

— Сам пришел к тебе, клянусь матерью, пятнадцать человек вел... Спроси их! — кивнул он в сторону первых двух солдат. — Вышли на Ходжал-Махи — вот клянусь совестью, с добром шли, — кто-то след наш взял, Исмила ранил... наших одиннадцать душ пропало тогда... Так что скажешь, Исмилка велел нас в яму бросить, роздал потом как пленных по наибам. А я к тебе, клянусь богом, веру шел менять, джихад воевать, ей-богу. Никакого зла на сердце не имел. И за что такое? За одноё то скажу, что бабу он свою ко мне приревновал. Хоть он и мюрд нынче и мусульманин, а вот — обрати внимание — за старую бабу что со мной сделал, всю жизнь разорвал...

— Ладно. — Шамиль обернулся к инженеру. — Двух этих возьми, а третий свой топор уже показал. Его мы, — он впервые взглянул в лицо мельника, и взгляд его был веселый, острый, — его мы Сурхляу дадим, у него коня нет, сын слабый... А? — И, отведя глаза от потрясенного Ак-Сурхая, спросил седого солдата: — Кунак он ваш, этот болтливый?

— Кой там кунак! Разул нас, раздел, последние гроши поотымал, теплую жизнь обещал дать... Спасибо, живы еще остались.

Шамиль опять улыбнулся, сказал, делая знак увести русских.

— Без Исмила с ними не разберемся, он у нас по русским делам усташ. Возьми болтливое себе, Сурхай.

И уже целиком отдал свое внимание инженеру Хаджи-Юсуфу.

Турок развернул план Гергебиля и стал медленно, очень просто и образно говорить о возможных вариантах осады аула. Он нашел три таких варианта и, доложив сначала преимущества каждого из них, стал затем говорить о недостатках их так, чтобы имам и наибы его сами уяснили себе, что может произойти под стенами Гергебиля.

Глава 6

Дагестанский отряд быстро пошел в горы. Дорога была легка, знакома. Холмы здесь отлоги, мягки, дубовый лесок обильно покрывает их сплошной зеленой тенью. Но горы еще далеки. Крадучись, невзначай, они начинаются за Тас-Жунгутом, у Кизил-Ярского седла. Тут открывается все дагестанское горное море, небо относит прочь и, докуда хватает глаз, ложатся холмы и цепи дальних и тени ближних гор. То оголенные до каменной кости своей, то поросшие травами, горы валяются здесь отовсюду на плечах одна у другой.

В авангарде Дагестанского отряда шла первая рота Апшеронского полка под командой капитана Оленина, та самая, из которой Гаврилов увел в горы пятнадцать солдат.

Оленин с того дня пил не переставая. Маркитантская арба Марьи Андреевны шла непосредственно за его ротой, и подручный Илюшка все время ехал верхом подле Оленина, держа в хурджуинах штоф виноградного первача. Все видели, дело Оленина плохо и, если рота не отличится при штурме, быть ему под судом.

— Теперь будет геройства искать, — посмеивались старые солдаты. — Теперь ползет в самое пекло, выкручиваться будет, сволочь.

Отряд шел быстро и стройно, офицеры были трезвы, сам начальник отряда князь Бебутов двигался вместе с частями. С часу на час ждали приезда наместника.

Батальонам приказано было идти лихо, с песнями.

Первый привал был им разрешен только на Кизил-Яре.

Вечерело. Спокойный, окрашенный ранним закатом воздух был легок, веселящ. Как в тончайшем напитке, в нем разлита была глубокая нежность. Это был штиль в воздушном море, ровная дремота океана, на теплой волне которого качаются чайки и никнет парус.

Так все останавливалось и в небе: медленно скрывались в нем, словно погружаясь в глубины воздуха, и облака, сначала пухлые, густые, а затем истончившиеся до едва видимой дымки, и цвет заката, и птицы.

Все, что двигалось и что жило, все погружалось в небо бесследно, бесшумно.

Как только указаны были места батальонам и солдаты поставили ружья в козлы, вдоль дороги вспыхнули сотни маленьких костров.

Справив несложные нужды свои, солдаты ложились у огня.

Начались вечерние песни, не маршевые, а домашние, сердечные, полные тоски по тихой и счастливой жизни.

Воздух Кизил-Яра всех пьянил одним хмелем — хмелем мира, уюта и тишины.

Голые здешние горы казались сейчас, в вечернем свете, уютными и обжитыми. Дым костров обманывал — чудились рядом села, станицы. Скрип провиантских и патронных фур и запах быков напоминали предъ-

ярмарочную суету на родных дорогах. Очарование мирной жизни неосторожно коснулось всех и растрогало.

— Эх, краса-горы! — шептала и Марья Андреевна, стоя на перевале, за маркитантской палаткой, и глядя на священную сладость этого великого и вдохновенного пейзажа. — Эх, краса-горы! — шептала она, глядя вокруг и время от времени покрикивая своему подручному Илюшке, чтобы обгонял пехоту и занимал место в колонне тотчас за кавалерией. — Да попроси вахмистра саклю нам ладную присмотреть в Ходжал-Махах, слышишь, что ли?

— Слышу,— ответил Илюшка, садясь в седло.— У меня уж все налажено.

— Погоди, сатана! Иди сюда!

Илья свесился к хозяйке с седла.

— Ису ежели увидишь там...

— Н-ну! Иса твой теперь знаешь игде?

— Нечего тебе нукать, слушай, когда говорю... Ежели Ису увидишь, пушай меня ждет, посылка тут у меня одна в горы будет.

— Сделаю! — сказал Илюшка, отъезжая.

А Марья Андреевна осталась на перевале.

Горы навалились на нее со всех сторон, и ветер, разлетающийся издалека, с шумом пронесся, ухая в ложбинах и свистя у гребней гор.

Волны воздуха, то пахнущего сыростью моря, то наполненного смолой далеких лесов, то отдающего каменным жаром, неслись и падали с перевала в долины. Закат иссяк. Ночь поднималась из ущелий.

Это был Дагестан. Тяжелая красота его умиляла Марью Андреевну, но не печалью, как солдат, а радостью.

Гребенская казачка, староверка, горянка в повадках, с детских лет знала ногойские кочевки, чеченские аулы, солдатские биваки.

Горы любила она всей душой, да и все в них любила: и войну, и походы, и веселые песни, и набеги абреков, и риск здешнего существования.

Лет двадцать тому назад, спалив станицу и угнав скот, выгнали чеченцы ее отца и мать голыми в степь. Марью отбили поруганной. Отец был казак серьезный, жизни никак не боялся, в Грозной выдал замуж Марью за маркитанта Саликова. Старуху определил кухаркой к генералу, а сам ушел в пластуны.

Несколько раз встречала его потом Марья — оборванный, дикий стал.

«Я за тебя, дочка, опять семерых стрелил, — говорил ей при встрече. — Бабы ихние рожать не успеют».

Слух об отце шел темный, и кличка ему была «Кара-Иван». Лет пять тому назад его убили чеченцы.

Марья Андреевна, расцветая и хорошея, похоронила скоро и мать, похоронила и маркитанта, перебравшись с чеченской линии на дагестанскую, стала жить вдовой.

Сватались к ней охотно, но она отклоняла. Офицер не возьмет, а за солдата или казака самой не хотелось идти.

Впрочем, был случай, когда апшеронский поручик Максим Максимыч прожил у нее месяц на квартире и слегка стал заговаривать о сердечной жизни. Вечерами, после чая, брали гитару, и Марья Андреевна запевала гребенские песни, а он подпевал нескладным сухим баском.

Но тяжело, обидно чужое счастье людям, и вскоре поручик получил письмо с подробным описанием своей Маши.

Тут и про покойника Петю Саликова было нехорошо сказано, что будто умер он чересчур уж нечаянно, и про драгуна Алешку Радомцева упомянуто было, и капитан Оленин был назван в числе близких ей квартирантов, и, в общем, весь список до денщиков включительно. Не закон-

чив сердечных разговоров, Максим Максимыч вышел в отставку и переехал из крепости на заброшенный хутор — выпаривать соль.

— Эх, жизнь! Эх, Кавказ-Дагестан!.. Эх, любила молодца поутру, провожала молодца ввечеру! — неизвестно что шептала Марья Андреевна, все стоя на ветру и глядя на темное уже небо. Ночь затягивала ее, дурманила.

Скрип телег и солдатский говор проходили мимо нее родным, родным и полным счастьем.

Конь Марьи Андреевны, подняв голову, вдыхал ветер.

Теперь сильнее пахнуло конями, солдатами, хлебом, махоркой.

Трава и камни дышали этим русским запахом войны, и птицы, встревоженные им в гнездах, растерянно метались над колонной, крича, как в бурю.

Двадцать восьмого мая в аул Ходжал-Махи нежданно-негаданно прибыл отряд генерала Аргутинского-Долгорукова. Исмила едва успели вывести на хутора за аулом. На следующий день, во главе Дагестанского отряда, прибыл и сам кавказский наместник, князь Михаил Семенович Воронцов.

Начальство сбилось с ног, встречая и устраивая его.

Марье Андреевне велено было иметь при маркитантском обозе дойную корову специально для князя-наместника, который, страдая желудком, должен был обходиться одной молочной пищей.

Намекнули и о шампанском.

Только Марья Андреевна послала Илюшку за коровой, явился Иса. Вид у него был растерянный.

— Плохо наше дело, Марьям-ханум, — сказал он. — Алешка Гаврилова в яму сажал, говорит, ты подослала убить. Меня аманатом взял — я утек.

Марья Андреевна так и села на пол.

— Кого убить, сумасшедшая твоя голова?..

Иса рассказал, что произошло в ауле дней за пять до прихода русских.

— Господи, воля твоя, сильно ранен? — спросила Марья Андреевна.

— Мало ранен. Через неделю встанет... А иванов всех в яму бросал, Керим теперь ругаться будет — деньги вы с них брали, слово давали...

— Э-э, голубь! Слова нашего с Керимом никто не слышал, а рупь на рупь похожи, как вода на воду. Корхма! Хуже то, что на меня зло имеет. Что он, в больших чинах там? Бабу дали?

— Мюрид известный. А бабу он взял хорошую, молодую, саклю в Кудугле имеет, три коня, сад.

— Вот сволочь, скажи, пожалуйста! А я ему пешкеш — две пары белья — послать хотела.

— Что ему твой пешкеш! Тесть у него богатый, сильный. Алешка все имеет, что хочешь.

— Ему одни бабы на уме... На меня, значит, думает?

— На тебя, на Керима. Меня в залог оставил, теперь мой кровник будет.

— Ай, иди ты! Тебя еще ему не хватало... Где лежал-то он?

— Вон там он лежал, — сказал Иса, показывая на площадь у мечети.

— Пойдем-ка.

Наместник только сделал смотр Самурскому отряду Аргутинского — батальонам Мингрельского, Эриванского и Самурского пехотных полков, двум сотням донцов и одиннадцати сотням конной и пешей туземной милиции — и теперь слушал краткое молебствие вместе с начальниками обоих отрядов и сводными командами от всех батальонов.

У мечети с хлебом-солью стояла делегация ходжалмахинских аксакалов.

Мулла, закрыв глаза, готовился к речи.

Марья Андреевна и Иса пробрались к тому самому месту, где третьего дня на бурке валялся раненый Исмил. Следы его крови еще виднелись на камне:

— Куда рана-то?

— В бок.

— И кто ж это, Иса, а? Ну, кто мог, ты знаешь?

— На него слух был,— сказал он сквозь зубы, кивнув через плечо.

Среди ходжалмахинских аксакалов, весело зубоскаля с ними, стоял Харламбий Тихонов.

Завидя Марью Андреевну, он приветливо улыбнулся ей.

— Твоя святая воля!.. На него слух был? Ох, и мне что-то страшно стало.

— Тебе что! Мне плохо,— грустно ответил Иса.— В горах был я — скажут имаму, что русский лазутчик я. В горах был я — скажут ваши, что имама лазутчик я.

— Скажут, скажут! Заладил, как барабан. Ну, и верно скажут. Ты что, не лазутчик? Хрен тебя знает, кому ты что говоришь, где правду режешь!

— Продавать надо,— сказал Иса.

— Что?

— Как ты, надо делать. Здесь продавать, там продавать, везде хамусом продавать. Совесть не надо иметь.

— Ты поговори у меня! Совестьливый какой! Домой валяй-ка! А хочешь, мне помоги — Кериму скажу, что я тебя задержала.

Иса сжал зубы.

— Ладно.

— Хорош аул Гергебиль-то? — тихо спросила она. — Живут ничего?

— Сильно живут,— сказал Иса.— Дай бог нам с тобой так жить.

Штурм назначен был на следующий день. Ночью приступили к составлению диспозиции. Войскам приказано было отдыхать.

В десять часов вечера в русском соединенном отряде стояла полная тишина, как всегда накануне сражений. Лишь вдалеке, перед самым аулом, глухо били орудия. Эхо разрывов, кувыркаясь на ветру в кривых и узких ущельях, то грозно взвивалось вверх, к тучам, то, стелясь по низинам, рокотало у самой земли.

Захватив штоф анисовой, Марья Андреевна побежала в штаб.

Писаря сидели за приказами. Она вызвала Крутикова.

— С атакой, Егор Егорыч!

— Уже знаешь! — вяло сказал он, на ты, без комплиментов, и взял склянку.— От кого слышала?

— Да что ж я, маленькая какая! Кто назначен?

— Пойдут две колонны,— открыв склянку и нюхая у горлышка, сказал писарь.— В демонстративной шесть рот Дагестанского, крепостные ружья, одно горное орудие, драгуны, пешая и конная милиция. Штурмовую поведет князь Орбелиани, командир Апшеронского. Аргутинский со своим отрядом — в резерве.

— Господи, твоя воля! Что думаешь-то, Егор Егорыч?

— Да тут и думать нечего. Придется этот Гергебиль взять, что же тут думать! Батареи наши уже брешь в стене пробрили.

Из штаба помчалась Марья Андреевна к Окурко, в первую роту.

Фельдфебель сидел с унтерами в палатке. Перед ними стояло четыре барабана с закусками и жбан виноградной водки. Сашка Братов, стоя на коленях перед пятым барабаном, читал письмо, написанное пятой мушкетерской роте Самурского полка, с которой издавна водили крепкую дружбу, но встречались редко.

«Милостивая Государыня Пятая мушкетерская рота, — звучно читал Братов. — У нас все ноне благополучно, чего и вам желаем, а завтра ждем приказа выступать под Шмеля и, может бог даст, встретимся с вами в том деле. А теперь посылаем Вам две четверти круп и покорнейше просим не отказать бочку капусты, как у нас огороды в прошлом году совсем плохо уродились...»

— С атакой, Ефрем Антонович, — сказала, входя, Марья Андреевна. — С атакой вас, господу унтера! — и чинно села на краешек барабана, заменявшего Братову стол.

— Благодарствуем, маты!.. Чем тебя угощать прикажешь?

— За делом я, какие тут угощения... Вы в голове колонны завтра, ну вот и нечего время терять.

— Видала аул?

— Четыреста дворов, говорят.

— Верно, четыреста дворов. Хороший аул, давно не троган. Считали мы, считали, и вот тебе наше слово — за все про все три сотни.

— На одну твою роту триста монет? — шепотом, не веря ушам своим, переспросила Марья Андреевна. — А ежели да не возьмете аула? Как тарарахнут вас, так, гляди-ка, лезерв вылезет и все дело решит.

— Нас-то? Апшеронцев сроду еще никто не тарарахал. Сама знаешь.

— Я потому пришла, что свои мы, одного отряду. А ежели с умом соображать, мне к самурцам надо идти. Ихний черт Аргут хитрит. Стоит себе в лезерве, а потом раз — и в дамки.

— Решай, как тебе лучше, — спокойно ответил Окурко. — Хочешь к самурцам идти — иди, обиды иметь не будем. Только сама знаешь, не впервой, — кто первый вскочил, тот добро и купил.

Унтера слушали молча, не перебивали, и по лицам их поняла Марья Андреевна, что они в завтрашнем дне уверены и не уступят нисколько.

— За что триста монет хотите? — спросила она, вздыхая.

— Не я хочу, рота хочет, — поправил ее фельдфебель и ответил: — Как обычно! Скажем, пять ароб посуды медной, так? Ну, пять ароб ковров, три — одежды, это не менее... Коровы наши, телята ваши, овцы наши, ягнята ваши... Так?

— Резанные ковры не приму, паленые тоже, — вставила Марья Андреевна.

— Прóцентов десять будут, без этого как можно.

— Одежу рваную, горячую не возьму, — сказала Марья Андреевна, имея в виду одежду, снятую с убитых и раненых. — Возьму чистую, сундучную.

— Ну, это ладно.

— Полсотни курей...:

— Где я тебе, Андреевна, буду курей ловить? Сколько попадет под руку, столько дам.

— Овчин прикинь сотню.

— Это можно.

Ударили по рукам. Марья Андреевна тут же дала в задаток сто семьдесят рублей — по рублю на солдата, по пятерке на унтера.

— Тьфу, тьфу, тьфу! — сделала она вид, что поплевала на деньги. Фельдфебель налил чарку водки.

— Выпей, помолясь... Дело верное.

В шесть утра демонстративная колонна полковника Евдокимова двинулась в обход Гергебиля с запада.

В девять взвилась ракета. Артиллерия обоих отрядов начала канонаду.

Штурмовая колонна князя Орбелиани направилась к бреши.

Атака началась. Ударили барабаны, заиграли рожки. Команды охотников бросились вперед, к стенам Гергебиля. Аул был виден лишь краем. Повзводно, скинув ружья на плечи, двинулись апшеронцы, следом за ними — фельдмаршалыцы. Побежали саперы с лестницами, копьями и канатами.

На взгорок, под которым шло движение колонны, выехал, махая тонкой рукой в длинной перчатке, князь Воронцов. Породистое лицо его было взволновано. За ним ехали: начальник Дагестанского отряда князь Бебутов, полный, бравый, с красивыми черно-седыми усами; князь Аргутинский — начальник резерва — «Донгуз-Аргут», по кличке горцев, тучный, оплывший, с маленькими жирными глазками и сонным лицом духанщика; и назначенный командиром штурмовой колонны командир Апшеронского полка князь Орбелиани, известный на родине как поэт, а в Дагестане — как расторопный, предприимчивый администратор. Штурмовая колонна развертывалась под огнем противника.

Впереди, по истари заведенному порядку, шли офицеры. Горцы не спеша пристреливались к наступающим, и уже тут и там падали шедшие во главе апшеронцы. Колонна прибавила шаг и открыла стрельбу на ходу.

Дело приближалось к решительной встрече.

— Разрешите отправиться, ваше сиятельство, — уже несколько раз произнес Орбелиани, прикладывая руку к фуражке, но Воронцов не слышал его. Перед его глазами развертывалась священная поэзия боя. Аул слегка выглядывал из-за прикрывающего его холма. На крышах верхних жилищ виднелись люди. В садах вокруг угадывались конные. У стен же, вблизи, было тихо.

— Разрешите, ваше сиятельство, возглавить колонну! — еще раз и уже настойчиво произнес Орбелиани.

— Нет, дорогой князь, вы здесь, голубчик, гораздо нужнее, — скороговоркой ответил Воронцов, не отнимая от глаз подзорной трубы.

Орбелиани взглянул на своего отрядного начальника — Бебутова, пожал плечами и оглянулся на Аргутинского.

Тот сидел на коне с закрытыми глазами, удобно уложив жирную мягкую шею на стоячий воротник поношенного сюртука и действительно очень напоминая сейчас большую сивую свинью.

Колонна приближалась к стене аула.

Вот упал командир первого батальона апшеронцев Евдокимов-І, покатылся кубарем, пыля знаменем по земле, знаменщик, опустился на колени командир первой роты капитан Оленин.

Сквозь грохот выстрелов пронеслось «ура» — кучки храбрецов достигли стены.

Тотчас приказано было прекратить орудейный огонь. Люди сбегались уже к брешу, подсаживали друг друга руками. Раненый капитан Оленин первый махнул через брешь. За ним, крича и воя, бросился весь батальон. Выстрелы стихли. Дело пошло вручную. Первая рота апшеронцев бежала впереди. Когда упал капитан Оленин, все, вскрикнув, поглядели вперед: фельдфебель Окурко, слава богу, был на своем месте. Рядом с ним, взволнованно и даже как бы радостно, торопливо бежал горнист и ротный запевала Братов, двадцатитрехлетний красавец с седой головой. Окурко придерживал его возле себя, жалел. Сам он бежал каким-то особым унтер-офицерским аллюром, не быстро и не тихо, но очень браво, молодцевато. Трубка дымилась во рту. За ухом, забытый с утра, торчал карандаш, в карманах шаровар хозяйственно звякали ключи от казенных ларей.

У самой брешу под частым огнем горских стрелков фельдфебель вынул изо рта трубку, перекрестился и на удивление просторным голосом крикнул:

— В штыки, ребята! Ура-а!

Пропустив вперед барабанщика и горниста, он стал подсаживать и топтать молодых солдат, подбегающих с широко раскрытыми невидящими глазами и неведь что орущих.

— Сашка! — крикнул он Братову. — Ступай назад до капитана Оленина, санитаров там разыщи...

Но тот не слышал или не хотел идти к командиру. Окурко дал ему по уху и, приложив руку к глазам, оглянулся на пройденное пространство. Капитан Оленин догонял роту. Одна рука его была в крови.

— Тебе говорят!.. Будешь при командире... На плечи вскинь, ежели ослабнет! — крикнул Окурко и вдруг молча упал под ноги какому-то черномазому маленькому рекруту, сбив его с ног.

Братов нагнулся, стал ворошить фельдфебеля, норовя поднять на плечи, и ронял от волнения.

— Куда ты, стервец, а?.. Куда тебе сказано...

— Ефрем Антонович, ты не бойсь, я тебя донесу.

— Не впервой мне, — сказал, бледнея, Окурко.

— Дай отдышаться, я подниму. — И Братов медленно поднял на руки громадное вялое тело фельдфебеля.

— Видать, рана сильная, — досадно чмокнув губами, произнес Окурко. — Весь, брат ты мой, ухожу от себя, тяжелею.

Лицо его быстро выцветало, становилось моложе.

Шатаясь, горнист понес его к лагерю. Навстречу, к стене, бежали кунаки — пятая мушкетерская рота самурцев, выскочившая из резерва. Валялись убитые. Ползли раненые.

Фельдфебель мушкетерской роты, старый кунак, снял на бегу фуражку, перекрестился.

— Ефрема, что ли? В чистую?

— Жив! — ответил Братов. — За капустой седни придем.

— Доживем до вечера — встренемся! — беззаботно ответил тот, не замедляя бега. Рота промчалась, не глядя на раненого знакомого, чтобы не расстраивать себя.

— Ежели что произойдет, весь пожиток тебе, — едва выговорил Окурко. — Гуляй! Понял? На помин души — сотня. Песню споешь на могилке.

— Эх, фельдфебель! — отчаянно крикнул Братов, ускоряя шаг.

— Остальное, сколько есть, пропить сообщачи всей роте. Слышал?

Навстречу им побежал новый батальон. Остановиться и поглядеть, что делалось у стены, было некогда. Санитары стояли саженьях в двадцати.

— Фельдфебеля первой роты!.. Фельдфебеля первой роты! — разнеслось кругом.

Братов махнул санитарам рукой и, задыхаясь, свалился наземь с фельдфебелем.

— Шабаш!

— Чего ты, Ефрем Антоныч? Сейчас носилки.

— Шабаш! Не быть мне боле раненым. Осьмнадцать дырок, Саша, пережил, на девятнадцатой — стоп! Шабаш, кардаш! Три барабана закусок купи, слышишь?

— Слышу.

В это мгновение Бебутов отнял от глаз подозрную трубу.

— Ранили первую роту твою, — с печальной торжественностью сказал он, касаясь плеча Орбелиани. — Какого фельдфебеля потеряла!

Орбелиани, не отвечая, глядел себе под ноги.

За стеной исчезли уже три роты, но, между тем, было там подозрительно тихо. Ни криков «ура», ни выстрелов. Роты врвались сквозь брешь по ту сторону оборонительной стены и исчезали без всяких следов. За апшеронцами кинулись самурцы, фельдмаршалыцы. Тишина проводила их прыжок со стены в аул.

Горцы продолжали вести прежний ружейный огонь. Брешь пожрала уже треть штурмовой колонны, но в самом ауле не заметно было никаких следов рукопашной. Наместник дважды посылал узнать, в чем дело. С докладом медлили. Аргутинский открыл глаза, глянул на гергебильскую стену.

— Волчьи ямы это, ваше сиятельство, — равнодушно произнес он за спиной наместника. — Не надо смотреть, так видно.

— Что? — Воронцов отвел глаза от подзорной трубы. Под глазом от ободка ее стояла красная дуга. Белые с глубокими морщинами руки его дрожали. Он изящно шевелил пальцами, как бы разгоняя замлелость.

— Волчьи ямы, ваше сиятельство, — безучастно повторил Аргутинский, вздыхая, и опять прикрыл глаза.

— Кто мог думать! — сказал Воронцов. Не обращаясь к стоящим за ним строевым начальникам, он приказал двинуть два батальона из резерва.

Бебутов взглянул на Аргутинского, из отряда которого назначались эти два батальона, но старый армянин упорно дремал. Бебутов толкнул Орбелиани. Тот улыбнулся. Назначенный командиром штурмовой колонны часа за три до начала сражения, Орбелиани не успел еще сделать ни одного распоряжения. Всем лично занимался наместник, а Орбелиани стоял рядом, улыбался и знал, что он назначен для того, чтобы было на кого указать в случае неудачи. Потери в рядах апшеронцев его злили. Штурм развивался вяло, опасно. Несколько раз порывался он уйти, выражая желание распорядиться хотя бы о выноске из-под огня многочисленных раненых, но Воронцов неизменно удерживал его при себе.

Бебутов подошел к Воронцову и почтительным шепотом попросил повернуть с посылкой двух батальонов.

— Нет, что уж там! Пусть, пусть идут! Главное—быстрота!—торопливо отвечал главнокомандующий, смотря своими добрыми и жалостливыми глазами на свежие батальоны, бегом занимающие равнину перед гергебильской стеной, густо усеянную солдатскими телами.

Воронцов, человек нервный, видно, уже считал дело проигранным, но Бебутов и Орбелиани, не говоря уже об Аргутинском, делающем вид, что ничто его сейчас не касается, были людьми бывальными и знали отлично, что победы нет раньше срока и что нет хуже, как рано сворачивать операцию, не дошедшую еще до того момента, когда на излете боя одно простое усилие принесит успех вместо, казалось бы, несомненной, давно уже назревшей неудачи.

— Прошу подождать, ваше сиятельство, — вторично обратился Бебутов, когда батальоны залегли на равнине, не дойдя до стены. — Совсем не ясно, куда посылать подкрепление. Обстановка за стеной требует выжидания.

— Оставьте, друг мой, тут одна быстрота способна дать нам успех.

И второй батальон самурцев вместе с четвертым батальоном фельд-маршалцев ринулись к злополучной брещи, доверху теперь заваленной трупами русских.

Не обращаясь к наместнику, Бебутов наспех отдал приказ артиллерии сосредоточить огонь на центре аула.

Что происходило за стеной, ни Воронцов, ни Бебутов не видели. Лишь Аргутинский, самый старый из всех присутствующих генералов, сразу сообразил, в чем дело, когда первая волна штурмующих пропала с криками «ура» за брешью. Раненых не было. Никто не возвращался назад.

Теперь и для Воронцова становилось вполне ясно, что аул вдоль внутренней стороны стен опоясан волчьими ямами и что штурм тогда лишь развернется с должным успехом, когда ямы эти наполнятся доверху. Можно было, впрочем, и допустить, что штурмующая колонна ведет шты-

ковой бой в узких проходах меж саклями, но шумные группы горцев на стенах аула заставляли думать о худшем.

— Что ж там случилось? — спросил Воронцов в жажде найти любое успокоительное известие:

— Рано пустили резерв, — сказал Бебутов.

— Я спрашиваю: что там случилось?

— Капканы, ваше сиятельство, капканы, ложные крыши... Роты провалились, — сказал Бебутов.

Нервно, торопливо опять заиграли рожки у проклятой брешки.

Четырежды раненый капитан Оленин поднимал залегших солдат своих и чужих рот. Остатки пяти батальонов невесело кинулись к стене, расшвыривая ползущих навстречу им раненых, но огонь горцев заставил залечь их у самой стены. Офицеров не было видно, кроме Оленина. Знамена стояли прислоненными к санитарным носилкам далеко позади.

Тут, впервые за все утро, показались за аулом горцы. Возбужденно распевая молитвы, высыпали они нестройной кучей — кинжал в одной, шашка в другой руке — и поползли на залегшие перед Гергебилем роты.

Какой-то молодой в окровавленной и обгоревшей одежде горец несколько раз прокричал по-русски:

— Апшеронцы, довольно!.. Пусть Воронцов поработает! Здорово, Оленин! — и бросился в рукопашную свалку, продолжая окликать и звать Оленина.

Орбелиани вытер глаза платком и, не испрашивая разрешения наместника, вскочил на коня и стал собирать все, что имелось под рукой.

Опять забили барабаны, заиграли рожки. Фуражиры и санитары, саперы и коноводы побежали на выручку штурмовой колонны.

Батальон эриванцев — единственный сохранный на крайний случай — самовольно выскочил за Орбелиани. Это была минута из тех, которые и в Кавказской войне повторялись не часто. Встречный бой развернулся в долине перед аулом. Горцы бросили в дело уже более тысячи пеших.

Дрались вплотную, лицом к лицу. Эриванцы лихо ударили в штыки и, тесня горцев, опять достигли брешки. Горцы кинулись кто куда, в стороны. Издали это было очень смешно.

Батальон поднялся на стену, крикнул «ура», и опять глухая тишина разверзлась под ним.

— Ужасно! — сказал Воронцов. — Кто б мог подумать!

Редкие выстрелы слегка доносились из-за стены. Одиночные герои еще бились в волчьих ямах.

Тогда Аргутинский подъехал к наместнику и, ласково глядя тому в глаза, попросил разрешения выбрать раненых из-под убитых, а также принять меры к защите лагеря.

— Штурм уже кончился, ваша светлость! — жестко сказал он: — Теперь хорошо живыми хоть нам с вами остаться, — и отъехал, качая головой в полном и не совсем вежливом удивлении.

(Окончание следует).



ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА „СЕПТЕМВРИ“

Редакция болгарского литературного журнала «Септември» и редакция журнала «Новый мир» решили обменяться литературными материалами, которыми они располагают. Ниже мы знакомим читателей с образцами болгарской поэзии и прозы последнего времени, присланными нам журналом «Септември», а также помещаем небольшую статью редактора «Септември» тов. Ивана Ружа о деятельности журнала.

Иван Руж

„СЕПТЕМВРИ“ И БОЛГАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Для каждого болгарина слово «септември» — сентябрь — глубоко символично. В сентябре 1923 года в Болгарии вспыхнуло народное антифашистское восстание. С дикой яростью фашистские власти подавили его. «Сентябрь будет маем. Будет!» — писал в эти дни один поэт, и за эти слова он поплатился жизнью. Но они оказались вещими — сентябрь все же стал маем. В сентябре 1944 года наступающие советские войска достигли болгарской границы и народ снова поднялся с оружием в руках, свалил фашистскую диктатуру и установил свою, народную власть. Начался новый период в истории страны, и перед болгарской литературой открылись небывалые горизонты для свободного развития. Свой литературно-художественный и критический журнал, появившийся на свет в 1948 году, болгарские писатели назвали «Септември».

Это первый «толстый» литературный журнал в истории Болгарии. Старания болгарских писателей в конце прошлого и в начале нынешнего века создать большой литературный журнал не увенчались прочным успехом. Мысль Маркса о том, что капиталистическое производство враждебно некоторым отраслям духовного производства, какими являются искусство и поэзия, имела значение и для наших писателей. Литературные журналы капиталистической Болгарии владели жалкое существование — это были тоненькие книжицы в тридцать—сорок страниц, включавшие несколько стихотворений, один рассказ, две-три статейки и рецензии. Объем «Септември» — 192 страницы. В нем печатаются целые поэмы, повести, романы.

Долгое время «Септември», точно одинокий дуб в широком поле, был единственным литературным журналом. Теперь выходят еще два: «Пламяк» («Пламя») — литературно-художественный журнал и «Литературна мисъл» («Литературная мысль») — теоретико-критический журнал.

* | *

Любой журнал — это отпрыск литературы своего народа: в нем раскрываются ее черты. В «Септември» отражены основные направления болгарского литературного развития за последнее десятилетие. На его страницах выступают самые разные писатели. Плечом к плечу с писателями-коммунистами принимают участие в создании новой социалистической литературы и беспартийные либо принадлежавшие в прошлом к

другим партиям писатели. Испытавшие отвращение к яростному глумлению фашизма над народом, воспитанные в традициях русской классической литературы — литературы Пушкина, Гоголя, Некрасова, Толстого, Чехова, Горького, следовавшие примеру лучших болгарских писателей прошлого — Христо Ботева, Ивана Вазова, Алеко Константинова, Елина Пелина, Йордана Йовкова и других, реалисты в самых основах своего творчества, — болгарские писатели почти все без исключения присоединили свои усилия к борьбе народа за социализм.

Однако путь болгарской художественной литературы за последнее десятилетие не был ни прямым и гладким, ни спокойным и безоблачным.

В первые годы после установления народной власти литературное творчество не отставало от больших общественных событий. Литература была воспламенена горением народа. Каждое значительное всенародное дело становилось поводом для создания стихов, очерков, рассказов и даже повестей и романов. Возникла целая литература о больших социалистических стройках. Такая литература похожа на молодое вино. Она бурлит от свежих земных соков, но еще не очищена до высокой художественности. Она не достигла глубины идейного проникновения в общественные процессы и мастерства в изображении характеров, явлений.

К середине десятилетия в нашей литературе ясно обнаружили и другие недостатки, связанные со схематизмом, лакировкой, влиянием культа личности. Недовольство таким положением порождает споры, дискуссии и новые творческие поиски. Нельзя не отметить, что в последнее время перевес получила интимная лирика, иногда занимающая место боевой гражданской поэзии. В отдельных случаях среди литературной молодежи проявляется эпигонство и возвращение к отжившим мотивам и средствам, которые выдаются за нечто новое. Но в то же время заметно и стремление молодых поэтов проникнуть в душу современного человека, чтобы отразить богатство его переживаний во всем их многообразии и сложности.

В противоречивом процессе этого развития был создан ряд значительных произведений. Сборники стихов Л. Стоянова, Ел. Багряны, Ламара, Хр. Радевского, Мл. Исаева, В. Петрова, В. Ханчева, А. Муратова, Н. Стайкова и других не лишены зрелых художественных достижений. И среди литературной молодежи крепнут многообещающие дарования. Но в книгах и старых и молодых поэтов чередуются бесспорно талантливые стихи с неотделанными и слишком поспешными, золото еще не отмыто от песка.

В разные времена поэтический талант народа проявляется по-разному. Иногда он концентрируется всего в нескольких творцах, и каждое их произведение блестяще. Порой же талант рассыпан во многих, да еще неравномерно проявляется в отдельных произведениях. Но если отобрать самое лучшее у всех, то воссоздается поэтический облик народа данного времени. Одна такая книга лучших болгарских стихов, написанных за десятилетие, отвечала бы высоким требованиям большой поэзии.

В прозе прежде всего следует отметить бурный подъем романа. Этот жанр в прошлом был слабо развит. Значительные романы можно пересчитать по пальцам всего лишь одной руки. Теперь только за десять лет болгарская литература обогатилась рядом талантливых романов. Среди них «Обыкновенные люди» Г. Караславова, «Табак» Д. Димова, «Железный светильник» и «Преспанские колокола» Д. Талева, «Красная заря» Г. Белева, «Стальной узел» Н. Маринова, повесть «Вторая рота» П. Вежинова и опубликованные в журнале «Септември» части романов «Детство, юность и война», Л. Стоянова, «Иван Кондаров» Е. Станева, «Ивайло» Ст. Загорчинова и другие. Материалом для этих романов послужило близкое и далекое прошлое народной борьбы за свободу и лучшую жизнь.

На современной теме пробовали свое перо многие способные авторы. Романы «Сухая долина» П. Вежинова, «М. Т. станция» и «Село Ведрово» А. Гуляшки, так же как и повести «Игличево» Кр. Григорова, «Нонкина любовь» Ив. Петрова, рисунок социалистическое строительство в деревне «Возле Марицы» Ем. Коралова и «Мельница Липованских» Ст. Даскалова показывают создание новой промышленности. Жизнь рабочего класса изображена в романе «Семья ткачей» К. Калчева и повести «Шахтеры» Ив. Мартинова. Художественные достоинства этих произведений не одина-

ковы, но в целом их авторы все еще не могут глубоко проникнуть в сложные и разносторонние переживания строителей социализма, в индивидуальную обстановку их бытия и показать в больших художественных обобщениях то духовное переустройство, которое совершается в глубинах человеческих душ, тот процесс напряженного и трудного движения нашего великого времени, устремленного вперед, к социализму и коммунизму.

Болгарская литература дала крупных мастеров короткого рассказа: Ивана Вазова, Елина Пелина, Йордана Йовкова и других. На этом она как бы исчерпала свои силы в этой области, так как в настоящее время короткий рассказ находится в упадке. Может быть, задача преодоления отставания романа требует основного внимания писателей и короткий рассказ остается на заднем плане вопреки усилиям, которые прилагают журнал «Септември» и другие периодические издания к тому, чтобы поощрить его. Медленно развивается и драма. В «Септември» были опубликованы пьесы, среди которых самым большим успехом пользуются «Царская милость» К. Зидарова, «Первый удар» К. Кюляккова, «Счастье» Орл. Василева (все на сюжеты из прошлого). Театры, число которых во много раз увеличилось, испытывают острую потребность в пьесах на современные темы, но то, что писатели до сих пор предлагали, носит следы схематизма и отсутствия глубокого художественного проникновения в жизнь.

Литературная теория и критика только в последнее время робко пытаются избавиться от некоторых своих серьезных слабостей, таких, как вульгарный социализм, упрощенчество, формалистические увлечения и пр. «Септември» публикует статьи об отдельных писателях, статьи об образах представителей рабочего класса в литературе, о периодизации литературы, о социалистическом реализме, о языке писателя; все чаще затрагиваются вопросы художественного мастерства и т. д. Были опубликованы статьи о Горьком, Маяковском, «Чехов в Болгарии», «Н. В. Гоголь в Болгарии», доклады, сделанные на Втором Всесоюзном съезде советских писателей.

Журнал твердо стоит на позициях социалистического реализма и выступает в защиту этих позиций.

В Болгарии переводят много романов и повестей, но мало стихов. Цветам мировой поэзии «Септември» посвящает специальный отдел. Здесь читатели найдут в изобилии сделанных переводов и сонеты Шекспира, и стихотворения Шелли, Байрона, Китса, Гете, Шиллера, Гейне, Гюго, Фирдоуси, Хафиза, Мицкевича, Шевченко, а также стихи современных французских, английских, польских, чешских, югославских, румынских, албанских, бельгийских и других поэтов. Советская поэзия пока представлена стихотворениями поэтов различных национальностей и поколений. Среди них В. Маяковский, Д. Бедный, Н. Тихонов, М. Исаковский, С. Маршак, М. Светлов, А. Сурков, С. Кирсанов, И. Сельвинский, К. Симонов, С. Щипачев, А. Твардовский, А. Жаров, С. Вургун, С. Васильев, А. Прокофьев, П. Воронько, М. Турсун-заде, Е. Долматовский, М. Рагим, С. Михалков, Я. Колас, М. Бажан, А. Исаакян, Г. Эмин, С. Калуткиян и другие.

Вечера переводной поэзии, организованные журналом в Софии, прошли с необычным успехом.

Болгарская литература идет вперед. Она учится у советской литературы. Учитесь она и у мировой прогрессивной литературы и в свою очередь вносит свой вклад в ее сокровищницу. Произведения болгарских писателей, которые все больше переводятся и требуются за границей, особенно в Советском Союзе и странах народной демократии, раскрывают перед читателями других народов героическую историю маленького болгарского народа, который дал миру великого борца против фашизма, борца за счастье и свободу всего трудящегося человечества — Георгия Димитрова.

Елисавета Багряна

ПИСЬМО

(Из цикла «Советские люди»)

Валентине Яковлевне Орликовой, единственной в мире женщине — капитану китобойного судна.

День добрый, Валентина Орликова, милая...
Письмо я все откладывала это.
Нет, не были нужны особые усилия,
Чтоб написать слова
сердечного привета.

Но получалось так, что мне не доставало
То времени, то, может быть, отваги
Все затаенное отдать бумаге,
А, может быть, покоя не хватало.

Два снимка на столе из моего альбома.
Один — Вы на борту. Бинобль, фуражка...
Второй совсем иной: Вы просто мать,
Вы дома.
Прижали к сердцу маленького Сашку.

Я думаю: наверно, он над книгой,
В которой на рисунках море.
Все крепче шторм... Все интересней миг от мига...
И, как у матери, огонь во взоре.

А нынче повстречались мы... заочно.
Как иначе сказать? Вы были на экране.
Я Вас увидела так близко! Точно
Вы были рядом, а не в океане.

Все так же облик Ваш суров и нежен.
Взгляд, устремленный в пасмурные дали,
Уверенность и твердость жестов те же.
Вот цель поймали Вы, вот указали...

Лишь краткий миг, безгласное мгновенье —
А пробудилось все, чем в молодости дышишь,
И сердце вновь зажгли задор и вдохновенье —
Без них и азбуки как надо не напишешь...

Как Вам завидую, хоть Вами и горжусь я:
Мечту осуществить — что в жизни краше?!
Горжусь и думаю с невольной грустью
О юности своей, иной, чем Ваша.

Когда училась и когда росла я,
Могла ли помышлять я о штурвале,
О штормовых морских путях без края?
В мечтах — конечно. Но всерьез — едва ли.

Когда плывете Вы по океану,
 Я мысленно порой взойду на мостик,
 В мечтах порою рядом с Вами встану,
 Незнаемой, невидимую гостьей,

И тоже вдаль гляжу...

На четверть века
 Вы позже родились, чем я. В такой стране,
 Где, воплощаясь в быль, надежды человека
 Становятся прекраснее вдвойне.

*Перевод с болгарского
 Вл. Соколова.*

Ламар

СТАРАЯ ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА

Мукомольня стоит за деревней,
 Вся обросшая мхом и мукой.
 Вот он — дедовский замо́к наш древний
 Под навесом ветвей над рекой.

Здесь недавно еще мукомолы
 До рассвета мололи зерно.
 И под грохот и говор веселый
 В добрых кружках кипело вино.

А теперь, словно в сказке старинной,
 Дремлет мельница, скрыта листво́й.
 В ней души не найдете живой...

Где же люди со старой плотины?
 Там, где стук раздаётся машинный
 Новой мельницы — паровой.

ДЯТЕЛ

На морщинистом клене сухом
 Пестрый дятел упорно хлопочет —
 Знает, старый, кто дерево точит.

А потом, оглядевшись кругом,
 Меж ветвей прошумит он, как пламя,
 И взлетит высоко над ветвями.

Вот таким же упорным трудом
 Всех червей доконать бы и слизней —
 Всё, что губельно дереву жизни!

*Перевел с болгарского
 С. Маршак.*

Людмила Стоянов

СТАМБУЛОВ ПАЛ

(Главы из первой части романа «Детство, юность и война»)

Бабка Мерджанка

Меня будит маленький Владко и тревожно лепечет:

— Милко, тенчики... улетели...

Вскакиваю как ошпаренный.

— Что? Улетели? Кто их выпустил?

— Я... поднял шапку... а они и... улетели...

Мысль, что этот сопляк лезет во все мои дела, ходит за мной, как тень, и вечно надоедает своим «почему», внезапно вызывает во мне вспышку раздражения и злости; я быстро одеваюсь, на моем лице и в глазах тревога... Он еще и «птенчики» сказать не может, «тенчики» говорит!.. Владко понимает, что расплата неизбежна. Ноздри его дрожат, в глазах вспыхивает страх.

— Мама!

Но, сообразив, что мать у бабки Мерджанки, он стремглав летит во двор, оттуда через калитку мчится к ней и бросается прямо ей в подол.

— Милко меня бьет!

Я подхожу к матери и, недоумевая, слушаю ее укоры.

— Ну можно ли так, побил его ни за что ни про что? Смотри, как плачет мой маленький,— говорит она и гладит его по голове.

— Когда я его бил? — кричу я, пораженный этой неслыханной подлостью.

— Да, если бы я не убежал... — оправдывается Владко и прячется в материнский подол, вызывая поглядывая на меня оттуда.

— Это — другое дело, — говорю я. — Зачем же врать, что я тебя бил... Уж я тебя проучу!

Он ревет еще сильнее.

Вмешивается бабка Мерджанка:

— Ты, Владко, не лезь всюду, где тебя не просят. Зачем ты хвостом ходишь за старшим братом? Он большой, у него есть товарищи... А ты то и дело: «Мил-ко-о! Хочу с тобо-о-ой!» Куда это годится?

Я гляжу на нее с благодарностью. Какая она добрая, справедливая!

На худощавом, смуглом, изрезанном морщинами лице ласково смеются те же глаза. Она вынимает из кармана домотканной юбки маленькую круглую коробочку, берет двумя пальцами щепотку табаку и втягивает его в одну и в другую ноздрю. Ее глаза расширяются и блестят, лицо расплывается в доброй улыбке.

— Теперь говори, посмотрим, кто прав, кто виноват...

Я рассказываю все, как было.

Трех маленьких щеглят — они еще и летать как следует не умеют — я нашел вчера вечером возле ограды; они наверняка попались бы на обед какой-нибудь кошке! Я унес их в сени и накрыл новой фуражкой, которую отец привез мне из города. И как только Владко высмотрел это? Ходит за мной по пятам, как шпион. От него ничего не скроешь.

— Брось и ты, Милко, ну, что сердишься? — урезонивает меня бабка Мерджанка. — Раз уж они улетели — в добрый час! Ведь ты же хотел их только спасти?

Ее слова сразу меня успокаивают. Такая уж она, бабка Мерджанка, — умница и добрая, жалостливая. Иначе разве она помогала бы моей матери во всем так охотно и преданно? Между нашим и ее дворами будто и ограды нет — мы почти все время пропадем у нее.

Двор у бабки Мерджанки просторный, возле ограды — большое ореховое дерево, отбрасывающее густую тень. Под ним дымит очаг, над которым на суку подвешен котел.

В глубине двора стоит сбитая из досок мастерская деда Ботю Мерджана. Ополченцем он принимал участие в сражении при Шипке; теперь Ботю инвалид. Поэтому и пенсию получает: пятнадцать левов в месяц — как раз «на табачок»! Поэтому же называют его все «дед Ботю», хотя, в сущности, он далеко не старик. Сколько лет прошло со дня битвы при Шипке? Отец подсчитал: семнадцать. Тогда деду было тридцать — значит, теперь сорок семь.

— Ты, дед Ботю, заткнешь за пояс многих молодых, — посмеивается отец. — Эх, кабы не наша крестьянская бедность, не горемычная доля...

А бабушке Мерджанке нет еще сорока. Она молода сердцем, проворна, приветлива. Бабушкой ее зовут потому, что Ботю все называют дедом.

Дед Ботю Мерджана — колесник, делает ступицы и спицы для колес, исправляет ободья, мастерит воловьих ярма; целый день слышится стук его тесла, и крестьяне день-деньской толкуются у него, подолгу ведут беседу...

Бабка Мерджанка дала Владко старый букварь с картинками животных. Он листает страницы и в восторге кричит:

— Петух! Мышка! Кошка! Аист!

Бабка Мерджанка подмигивает мне и делает легкое движение головой. Я незаметно выскальзываю и ныряю в свой двор.

...Злость на Владко все еще не улеглась во мне, когда я забрел в сад. Тут я вспомнил об одной рано созревшей груше-петровке, которая красовалась на верхушке дерева, — янтарно-желтая, она мне даже привиделась во сне. Я решил, что пришло время ее сорвать, не то ее могут склевать птицы.

На листьях сверкает ночная роса, ее крупные, пронизанные солнцем синие и розовые капли шумно падают мне на голову и рубашку, вспорхнула испуганная птица. Вот и груша... На миг я остановился, пораженный: взобравшийся на высокий сук Владко протягивал руку, чтобы сорвать вкусный желтый плод.

— Ты что делаешь? — грозно крикнул я. — Слезай сейчас же!

Он робко взглянул на меня, через силу улыбнулся и показал на спелую грушу. Да разве он не имел на нее такого же права, как и я?

— Слезай! — повторил я, разозленный, что этот сопляк меня опередил. — Слезай, не то отколочу!

Я стал трясти дерево, чтобы припугнуть его. Он заплакал, не переставая тянуться за грушей. Потом вдруг потерял равновесие и полетел вниз, на миг задержался на нижнем суку, перевернулся и плюхнулся в траву.

По его лицу и рукам, исцарапанным при падении, потекла кровь. С минуты он оставался недвижим, что меня напугало, а потом вдруг заревел так громко и так нарочито, что я не заметил, как очутился на улице.

Страх перед отцом, который, узнав, что произошло, станет меня пробирать, а может, и ремнем отстегает, гнал меня все дальше. Меня мучила совесть, на душе стало тяжело, когда я вспомнил, как маленький Владко шлепнулся на землю, обливаясь кровью. Не случилось ли с ним чего-нибудь похуже? На лбу у меня выступил холодный пот. Я шлепал босыми ногами по мягкой теплой пыли, не сознавая, куда иду. И вдруг оказался перед домом крестного — дяди Марина. Может, Пенчо дома?

Он здесь. Но странно, в доме происходит что-то необычное. Люди входят, боязливо оглядываясь, тревожные, растерянные.

Дюжий крестьянин с небритым мясистым лицом, подпоясанный широким красным кушаком, в черных юфтевых башмаках и закатанных

шароварах, быстро открыл ворота и вошел во двор. На жилете у него под суконной абой¹ блеснула толстая серебряная цепочка.

У крыльца на деревянной скамейке сидел крестный. Он сидел, задумавшись, но в этой задумчивости сквозило беспокойство. Крестьянин пошел к нему и спросил:

— Ну, как, дядя Марин? Это правда?

— Похоже, что правда,— неохотно ответил крестный, выпуская густой дым из орехового чубука.

— Смотри ты, дело какое...— закачал головой и зацокал языком пришедший.— И кто только сделал такое свинство?

— Кто? Известно кто...— Крестный помолчал немного, чтобы выпустить дым, потом добавил со злостью в голосе:— Известно кто: бурбон длинноносый. Сколько трудов стоило Стамбулову помочь ему сесть на трон. И потом пока его признали... А теперь — выкуси... Корми собаку, чтоб она на тебя же и брехала...

Гость нагнул и доверительно зашептал:

— В нижнем конце собираются эти черные души, с ружьями все. Тебе, дядя Марин, не худо было бы где-нибудь пересидеть денек-другой... Уж будь спокоен, первую пулю они тебе готовят...

— Ну, что ж,— криво усмехнулся крестный,— пускай попробуют взять меня. Я ружьишко тоже достал,— он показал на прислоненную к колодцу берданку.

Гость добавил:

— Ждут вестей из города, чтобы занять управу...

Крестный не ответил, только выпустил густой клуб дыма.

Я рассказал Пенчо, что случилось с Владко. Он засмеялся, потом сказал:

— Ну и ну, и все из-за груши...

— Да, из-за груши — такая беда...

— Отец у тебя строгий.

— Ой, мама родная... Не говори... Если что случилось...

— Ерунда,— заключил Пенчо.— Ничего ему не сделалось. Увидишь... Я понял, что здесь тоже свои заботы, и быстро вышел.

Прескользнув, как вор, по безлюдным улицам, я махнул через ограду турецкого кладбища, чтобы напрямик спуститься к Тошко. Я пробирался среди каменных надгробий, торчавших вкривь и вкось на обвалившихся могилах. Все казалось мне бессмысленным, пустым. Я вообразил Владко мертвым и свою мать простершейся над ним... Потом я протиснулся в узкую дверь минарета, взобрался наверх по узенькой кривой лестнице и очутился на балконе башенки.

Передо мной открылась зеленая равнина. В густом орешнике, ивах и тополях прятались дома, молчаливые, прижатые к земле, маленькие, как собачьи конурки. Вот и наш дом с красной крышей. Что происходит там сейчас? На крик маленького Владко прибежала мать, подняла его — бог мой, что ждет меня теперь дома?..

Выстрелы в тишине

Мы ужинаем в сумерках во дворе, чтобы не жечь зря керосин. Это придумала моя мать. Так стали делать и бабка Мерджанка, и семья Тошо, и соседи-турки... «Ведь не хватает денег, ни на что не хватает»,— постоянно жалуется мать.

Что у нас на ужин? Простокваша с крошенным в нее черным хлебом, разведенная водой до синевы. Традиционная еда с давних времен.

¹ Аба — старинная верхняя мужская одежда из грубого домашнего сукна. (Примеч. перев.)

Владко уплетает за обе щеки. Только насытившись, он вспоминает о сегодняшнем происшествии и поглядывает косо на меня. Тут вступает отец.

— Ты где целый день болтался? Посмотри на себя, на кого ты похож? Весь ободрался! Мать вас балует, во всем дает потачку. Вот погодите, я за вас возьмусь!

Владко не дожидается, пока отец закончит фразу, смотрит на свои покрытые ссадинами руки и, предательски поджимая губы, говорит:

— Милко меня толкнул!

— Как это он тебя толкнул? — озадаченно спрашивает отец.

— С дерева! Я взобрался...

— И ты уже начал по деревьям лазить? — говорит удивленный отец и смотрит на меня с укором. — Что это значит? Зачем ты толкнул братишку?

Я бросаю на Владко полный некависти взгляд: он торжествует.

Я еле сдерживаюсь, чтобы не расплакаться. Не знаю, что сказать.

— А я его сталкивал? Зачем он лазит по деревьям, если не может держаться? Он еще у меня попомнит!

— Ну ладно, ладно, это пустяки, — говорит мать, глядя меня по щеке. — Дети же, разве могут они не ссориться..

От ее слов мне еще тяжелее. Почему я не дал ему сорвать грушу, когда в саду их сколько хочешь? Потому что мне так хотелось услышать доброе, ласковое материнское слово, — все только и пекутся об этом сопляке Владко.

Я заплакал. Из рта у меня потекли слюни, и мне стало стыдно. Я перестал плакать и только повторял: «Он еще меня попомнит!» — сорвался с места и побежал к бабке Мерджанке.

С ней всегда было интересно. Она ткала под навесом, но, увидев меня, поняла, что со мной что-то стряслось, и поднялась навстречу.

— Милко, иди сюда, иди, прочтешь мне письмо от Христоско.

Она пошарила за пазухой, потом в кармане юбки и вытащила оттуда почтовую карточку, исписанную мелким почерком Христоско.

При словах «милая мама» бабка Мерджанка прослезилась и сняла очки, чтобы вытереть глаза. Христоско писал, что учение идет хорошо и что сразу же после Петрова дня их распустят и он приедет в село.

— Ой, как я рад! — всплескиваю я руками, потому что Христоско мой лучший товарищ, даже больше чем товарищ.

Сбоку он приписал: «Передай привет соседям и особенно Милко».

Чего же больше желать? Это наполняет меня гордостью. Радуетя и бабка Мерджанка. В этот момент во двор входит мать, а с нею Владко.

Пока мать и бабка Мерджанка разговаривают, я прохожу мимо Владко и изо всей силы щиплю его за шею. Он взвизгивает, а я, пользуясь суматохой, убегаю домой и прячусь в саду.

...Я так любил оставаться один-одинешенек! Лечь на спину в траву и смотреть, как последние солнечные лучи играют на стеблях золотистого дрока. Сквозь ветви проглядывает синее небо, а на нем висят неподвижные белые пушистые облака. Я лежу и мечтаю... Вот я уже большой, вольная птица, как Христоско, могу делать все, что захочу...

Я доволен, что отомстил Владко. Пусть знает, что нужно слушаться старших.

Вокруг меня жужжат запоздавшие пчелы, режут крылом воздух ласточки. Я слышу, как мычит деревенское стадо, возвращаясь с пастбища. Колокольцы вразной поют в вечерней тишине.

Вдруг над притихшим селом прозвучал выстрел — далекий, приглушенный. Немного погода выстрел повторился. Где стреляют?

Такие выстрелы в деревне не редкость. Полевой сторож Рустем ча-

стенъко палит по конокрадам или ночным бродягам, иногда постреливают загулявшие на свадьбе гости, заядлые охотники.

Выстрелы зачастили; сначала далекие, неясные, они становились отчетливее и настойчивее. Они неслись с нижнего конца села и приближались к нам. Вскоре мне почудилось, что стреляют под самыми нашими окнами и пули пролетают над крышей.

Дверь из сеней открылась, и появился отец. Его высокая фигура казалась еще крупнее в наступающих сумерках. Он остановился посреди двора и прислушался.

— Что за пальба...— сказал сам себе и прибавил вполголоса:— Странно, уж не те ли это негодяи...

Стрельба вспыхивала беспорядочно то в одном, то в другом конце села, точно каждый стрелял из своего дома. Я вспомнил берданку крестного и его слова: «Пускай попробуют меня взять». Что он имел в виду?

Отец вышел на улицу. Потом вернулся. Я подбежал к нему.

— А ты откуда взялся? — бросил он резко и ушел в свою комнату.

Наступил вечер, в небе замерцали первые звезды.

Стрельба прекратилась, но долго не смолкал возбужденный говор в соседних дворах, зловеший лай собак.

В ворота постучали. Отец вышел на крыльцо.

— Это кто там? — сердито спросил он.

Вошли несколько человек с ружьями, среди них дядя Йонко, отец Гошки Йонкова, первого озорника в классе.

Отец сказал шутливо:

— Что стряслось, болгаре, и зачем на вас оружие?

Черные, как уголь, глаза Йонко широко раскрылись, сведенные черные брови расправились. Он переложил ружье в левую руку и поздоровался с отцом.

— Ты прости нас, учитель, за беспокойство... Мы ищем Марина Колева. У меня есть приказ арестовать его...

— Вот как? За что?

— Нынче вечером, знаешь, его люди стреляли и ранили двух наших ребят.

— Смотри ты!

— А ты думал как? Не отдадим, говорят, власть... не хотим «задунайской губернии»...

— Еще кто арестован? — спросил отец.

— Попрятались бандиты...

— Ангел Даскалов?

— Нет его.

— Хубен Тодоров?

— Скрылся...

— Марин Колев? А вы дома его искали?

— Дома его нет. Улизнул, старый волк... Потому мы и пришли...

— Это хорошо, но что общего имею я...— смеется мой отец.

— Ведь это его дом? — спрашивает Йонко.— Мы и подумали, не прячется ли он здесь.

— О чем ты говоришь? Ничего подобного нет,— сказал отец.— Можешь проверить.

— Ты прости нас,— говорит дядя Йонко.— Только сам понимаешь, совесть у нас должна быть чиста... Эти головорезы шайкаджии¹ легко с властью не расстаются. В Избеглий двух человек убили, в Конуше тоже.

¹ Шайкаджии (болг.) — буквально бандиты. Прогерманские круги в Болгарии пользовались бандами наемников, терроризировавших сторонников сближения с Россией. (Примеч. пзрев.)

Дядя Йонко обходит весь дом, заглядывает в пустые комнаты, в амбар, в чуланы.

— Пока над нами немецкий князь, учитель, — словно отвечая на какую-то свою мысль, включает дядя Йонко, снова выйдя во двор, — мира для нас не будет. Ведь глаза у него все туда смотрят, на немецкое... Им славянство-то все равно, что навоз для немецкой пашни! Разве Россия потерпит такое дело? Эти две силы, учитель, когда-нибудь столкнутся, попомни мое слово. Не на жизнь, а на смерть!

Русские — наши братья

Это не была обычная новость, и потому она казалась невероятной. Стамбулов¹ пал! Этот «бююк адам» — большой человек! Мне было ясно, что он не упал с лошади или с лестницы, но перестал быть «большим человеком», что теперь он не может приказывать своим жандармам и шайкаджиям избивать мирных людей, а сам — этот желтолицый мерзкий человек с черными, отвислыми, как у татарина, усами и с орденном на синей ленте — подобострастно извиваться вокруг плотного высокого офицера с неболгарским выговором, в золотых очках, с мешочками под глазами и приговаривать за каждым его словом: «Понимаю, ваше высочество!» Передо мной возникло его лицо, каким я его видел на Пловдивской ярмарке. Теперь он уже не может кулаком затыкать рты людям, чтобы они не произносили слова «Россия», заставляя моего отца прятать русские книги, когда приезжает околийский школьный инспектор, иначе тот увидит их и сделает ехидное замечание:

— Ага, значит, вы интересуетесь нигилистической литературой...

Я понимал, что он враг — враг моего отца, враг Спаса Гинева, Ботю Мерджанова, Йонко Петрова, столько хороших людей, которым он лютыми угрозами замкнул сердца, чтобы они не могли даже обменяться дружескими словами.

Мой отец читал русские книги. Русские книги — мудрые, русский язык — звучный, разве он так не говорил? Разве я не заставлял его, когда он, стоя посреди комнаты, читал Христоско Мерджанову стихи Пушкина? Голос его дрожал от волнения:

Как эта лампада бледнеет
 Пред ясным восходом зари,
 Так ложная мудрость мерцает и тлеет
 Пред солнцем бессмертным ума.
 Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Христоско тоже любил русские книги. Мой отец поощрял его. Обращался он и ко мне:

— И когда только я увижу, что и ты взялся за что-нибудь путное?

Но Христоско большой! Придет и мое время!

...Солнце торопливо поднимается с востока и озаряет своим светом тополя, сады, поле. Раннее утро. Веет свежий ветерок, птичий хор оглашает воздух водопадом звуков. Люди выходят на работу в поле, слышатся говор, детский плач, лай собак. Но что-то новое появилось во взглядах, в выражении лиц.

Во дворе у бабки Мерджанки шумно. Что там происходит?

¹ Стамбулов — глава болгарского правительства (1887—1894) при князе — немецком принце Фердинанде Кобургском; представлял круги болгарской буржуазии, ориентировавшиеся на Австро-Венгрию, и жестоко преследовал сторонников России. (Примеч. перев.)

Мастерская деда Ботю Мерджана полна людей. Кричат, жестикулируют. Но это не обычный разговор про телеги да колеса. Слышны возгласы:

- Пусть это будет к добру!
- Новая жизнь, новое счастье!
- На здоровье!
- На многие годы!
- Долой злодея!

Через двор к дому направляются трое. Впереди шагает здоровяк с темным, обожженным солнцем, небритым лицом, черными усами и черными глазами, в заломленной назад высокой овчинной шапке, с букетиком цветов за ухом. В руке он держит флягу. Йонко!

— А это кто? Сваты, что ли...— бормочет бабка Мерджанка, озадаченная появлением неожиданных гостей.

Следом за этими тремя ковыляет дед Ботю, без шапки и с теслом в руке.

Йонко приближается, размахивая флягой, очевидно он уже здорово хлебнул. Он сбивает шапку еще больше назад и радостно кричит:

— Ура, бабка Мерджанка! Кончено! Злодей пал!

Бабка Мерджанка, улыбаясь, смотрит сквозь очки и недоумевает:

— Эй, Йонко, ты что, на свадьбу нас зазывать пришел?

— Пал злодей, пал Стамбулов! — продолжает Йонко и подносит всем по очереди флягу.

— С шайкаджиями покончено! Натя пейте, на много лет жизни!

— Ну, пусть это будет к добру! — говорит бабка Мерджанка. — Если мы с Россией, то нам хорошо...

— Конечно, с Россией! — подхватывает Йонко. — Кто нас освободил? Разве наш дедушка Славейков¹ не сказал:

Русские для нас — как братья,
Наша плоть и наша кровь.

Бабка пригубила и вернула флягу Йонко.

— И ты, учителей сынок! За Россию! На, выпей! — поднес и мне Йонко.

Вино показалось мне кислым, оно отдавало прелой бочкой.

— Выпей и ты, малыш, расти большой!

Я обернулся: Владко! Растет, где не сеешь! Он тоже выпил за Россию...

— Это правда? — все еще не верит бабка Мерджанка.

— А как же! — возмутился Йонко. — А вчерашняя стрельба? Не хотели сдать управу! Собирались там век вековать!

Добрую весть принес из города старый священник Герасим, но староста, еще не знавший обо всем, пригрозил, что арестует его, если он не прекратит бунтовать народ. Теперь староста скрывается, а народ ликует. Сегодня же после обеда будет сходка перед сельской управой.

— За тем мы и пошли по домам, — сказал Йонко, — чтобы вы все шли на сход. На здоровье! На многие лета! — И снова поднял флягу. — А ты, дед Ботю, — вдруг осенило Йонко, когда он подавал ему флягу, — надень ополченский мундир. Пусть народ видит, кто боролся за его свободу. Обязательно надень!

¹ Славейков Петко (1827—1895) — выдающийся болгарский поэт и общественный деятель, боровшийся за независимость Болгарии. Некоторые его стихи стали народными песнями. (Примеч. перев.)

Детский спор

Перед нами простирается длинный летний день, и мы не знаем, как проведем его. Гошо, Йонко, Пенчо Маринов и я стоим, прислонившись спиной к стене мечети и строим планы.

Пока наши отцы враждуют, стреляют друг в друга, оспаривают первенство в чем-то, мы пользуемся суматохой, чтобы всласть набегаться по полям. В садах краснеют на отягченных ветвях обрызганные росой черешни, яблоки-петровки. Но нас больше всего привлекают простор, высокое небо и бескрайний горизонт. Какое удовольствие шлепать босыми ногами по мягкой, как вата, дорожной пыли, а главное — свобода, полная свобода от домашней работы, от ненавистных посылок к лавочнику, за водой, к соседям за горстью соли, за закваской... Как все это надоело! Нам уже знакомы герои Майн-Рида — разве они занимались такими мелкими, никчемными делами?

Харман-баир! Сказано—сделано. Харман-баир—высокий холм к северу от деревни, голый и пустынный, где находятся гумна крестьян побогаче. С него видна вся Фракийская равнина.

Крестный дядя Марин привез в деревню первую молотилку. Все жаждали поскорее увидеть чудо — как машина будет глотать снопы, а с другой стороны выдавать обмолоченное зерно. Вот туда, к молотилке, и повел нас Пенчо.

Мы минуем узкий деревянный мостик, цыганский квартал. Солнце печет немилосердно, от земли поднимается легкое марево.

С Харман-баира открываются неоглядные дали. Высоко под небом распластался, как гигантский змей, Балканский хребет, окутанный туманной дымкой, белеет вершина Юмрукчал.

— Пенчо, что такое шайкаджии? — спрашивает Гошо Йонков.

Пенчо не знает, что это такое, но этот вопрос его задевает. Его курносый нос шмыгает недружелюбно. В самом деле, что такое шайкаджии? У Майн-Рида ничего такого нет. Может быть, это какие-нибудь ночные разбойники, грабители? Почему про моего крестного говорили, что он главарь шайкаджиев? И где они? Почему мы их не знаем?

— Спроси своего отца, — отвечает Пенчо недовольно. — Откуда я знаю?

Гошо не дипломат, он не понимает, что его вопросы могут ему дорого стоить.

— Это правда, что твой отец сбежал?

Пенчо знает: произошло что-то неожиданное и необычное. Но у них в доме постоянно толклись люди, приходили и уходили батраки, торговцы, чиновники. Его отец часто бывал в городе, ездил и в Пловдив и в Софию. Может, и теперь он просто в отъезде? Куда он убежит?

Гошо недоверчиво смотрит на него. Последние два дня он полон подозрений к каждому встречному: не из «шайкаджиев» ли тот? Со своей стороны, Пенчо думает: «Этот из «черных душ».

Может, они набросились бы друг на друга с кулаками, если бы я не дернул их за кулава и не показал на восток.

— Молния!

На совершенно ясном небе, где-то далеко, у самого горизонта, время от времени прорезается зубчатая, как пила, огненная молния и опять исчезает. Она похожа на лестницу, по которой, вероятно, станут взбираться тучи.

Пенчо проглатывает обиду, и мы продолжаем идти вперед. Может быть, он думает о своем отце, который часто при мне попрекал его, что он бездельник, лентяй. «Ты думаешь, тебе все так с неба и свалится? — говорил ему крестный. — Ты как есть пень, так пнем и останешься, и никто за тебя ломаного гроша не даст. Попомни мое слово!»

« Будто я своего отца слушал! До чего же все отцы похожи друг на друга — все одно и то же говорят!

Молотилка стоит под широким дощатым навесом. Возле нее ходит механик-чех, который ужасно смешно говорит, но нам понятно все же, что трогать машину нельзя, потому что «опасно». Он показывает свою левую руку — на ней нет половины пальца...

Поля перед нами сверкают яркой красотой. Желтеющие нивы уходят в бесконечную даль. На юго-западе их замыкает синий пояс Родопов.

Молнии продолжают рассекать небо, и скоро возле них — откуда ни возьмись! — появляются брюхатые тучи и, пока мы разглядываем молотилку, вдруг становится темно.

— Ба! Солнце скрылось! — закричал Пенчо.

И сразу же повеяло холодом, на гумнах взвился вихрь.

Харман-баир потонул в пыли. Издалека донеслись крики.

На мгновение солнце прорвало облака, и свет, как огромное одеяло, разостлался по желтым нивам и зеленым рисовым полям. Потом словно кто-то скинул одеяло, и над полем опять поползли темные тени.

Черная стена на востоке и юге все растет и растет, пока из-за горизонта не выскакивает белая молния. Слышится слабое громыхание, далекое, предупреждающее. И вслед за ним сильная молния раскалывает небо пополам.

Под навес сбегаются люди. Стучат первые дождевые капли. Крупные, плотные, тяжелые, как свинец.

Насколько хватает глаз, громоздятся гигантские тучи, извергая потоки дождя. Вдруг там, вдали, небо просияло, и почудилось, будто дождь смыл копоть и пыль, повисшую над равниной, и она открылась, широкая и привольная, с тополями — пирамидальными и серебристыми, с ивами возле реки и болотин, с обмытыми черепичными крышами деревенских домов и белым минаретом...

Гроза разразилась так неожиданно, что мы растерялись. Дождь шел около часа. Поднялся ветер. С холма потекли мутные потоки желтой воды, они неслись по склону к болотцам и стоячим озеркам, подернутым зеленой тиной.

Столетний серебристый тополь — единственное дерево на Харман-баире — беспомощно, словно немощные руки, простирает ветки навстречу ветру и дождю, кланялся и распрямлялся, отступал и снова грозил, готовый каждый миг бросить призывный клич против невидимого врага.

Гроза медленно уходила. Снова выглянуло солнце, отбрасывая длинные лучистые снопы, которые разбивали тучи, а тучи неслись ему навстречу, словно хотели сразиться с ним. За ними мчался дождь, свистел ветер.

Промокшие люди спешили домой, набросив на себя мешки, кошмы, рогажи.

Когда мы спускались с Харман-баира, Пенчо съехал по липкой грязи вниз по склону и потащил за собой Гошо. Съезжая, он чисто и ловко подставил ему ножку и свалил Гошо в грязь. Потом Пенчо прыгнул вперед и стремглав помчался по склону. Гошо изо всех сил старался подняться, но еще больше увязал в грязи.

Пенчо спустился на дорогу, обернулся и насмешливо свистнул. Это была его месть.

Теперь перед нами уже не было видно ничего, кроме верхушки минарета, а позади нас в очистившемся, ясном небе поднялась высокая разноцветная радуга — она расцвела, словно радостная улыбка. Концы ее упирались, как мне казалось, — один в Балканы, а другой в Родопы.

Сходка

Гроза прошла так быстро, что к вечеру земля снова стала сухой и горячей. Куда девались эти буйные водопады, низвергавшиеся с неба?

Все же гроза прогнала с поля народ, и, когда перед сельской управой забил барабан, со всех сторон замелькали люди, торопившиеся к двум серебристым тополям.

«Ах, да! — мелькнуло у меня в голове. — Стамбулов пал, сказал дядя Йонко. Народ собирается на сходку».

Толпа сгрудилась впереди, и там среди других детей стоял маленький Владко и глазел, разинув рот. Словно ничего и не произошло! Я обшел ребятишек сзади и дернул его за ухо. Он обернулся, но не рассердился, а засмеялся от радости, что увидел меня...

Вынесли стол, перед ним поставили бочку из-под керосина. На бочку встал Спас Гинев, новый староста. Его слушали с напряженным вниманием.

— Стамбулов больше не председатель совета министров. Его высочество князь, — говорил Спас Гинев, — прислушался к голосу народа и принял отставку кабинета Стамбулова. Со вчерашнего дня в Болгарии новое правительство... Новое правительство будет следовать политике примирения и дружбы с Россией. Русский народ пролил кровь двухсот тысяч своих сыновей ради нашего освобождения. А чем мы отплатили ему? Черной неблагодарностью...

Я глотал каждое слово, старался понять смысл сказанного. Я верил в то, что говорил отец Тошо, потому что Тошо был мой товарищ.

— Чем мы ему отплатили? — повторил Спас Гинев. — Повернулись к нему спиной, оскорбляли разными баснями о «задунайской губернии». Кто из нас не знает, какие жертвы понес во имя нас русский народ? А ведь только вчера, как говорится, все это было, и даже совсем молодые ребята еще помнят русских казаков... Только с Россией мы можем идти вперед, а не с врагами славянства. Стамбулов пошел с Турцией, Англией, Австрией — против России!

В толпе послышались голоса:

— Долой Стамбулова! Долой злодея!

— Стамбулов растоптал чувства болгарского народа, — продолжал новый староста, — впряг нас в телегу Бисмарка и Франца-Иосифа, хотел сделать болгар немецкими прихвостнями...

— С Россией! С Россией! Хотим помириться с Россией! — Я узнал голос бабки Мерджанки.

Отец Тошо не умолкал:

— Стамбулов растоптал права народа, превратил Болгарию в полицейское государство. Сохрани боже, чтобы он когда-нибудь вернулся!

Голоса:

— Долой злодея! Долой Стамбулова!

— Да здравствует наша освободительница Россия!

Многолюдное сборище зашумело. Дети кричали, толкались, как на пасхальном гулянье.

Спас Гинев заговорил о новом правительстве. Его слушали уже не так внимательно.

Кто такие новые министры? Это все честные, почтенные люди. Народ уважает их, потому что они трудились и трудятся для его блага. Он перечислил имена людей, о которых никто никогда не слышал, и, может быть, поэтому они казались честными и почтенными. Только заядлые политиканы кричали «ура» при каждом новом имени, толпа же, напротив, слушала равнодушно.

«Новый староста,— говорил потом отец,— очень уж быстро пошел по протоптанной дорожке».

— Мы должны,— продолжал Спас Гинев,— высказать нашу глубокую благодарность его высочеству князю за то, что он прислушался к воле народа и принял отставку кабинета Стамбулова.

— Хорошенькое дело! И его тоже благодарить...

Я обернулся: рядом со мной стоял отец и бормотал тихонько про себя. Я ожидал, что он вот-вот схватит меня за ухо и скажет гневно: «Я вижу, что в политику ты сам нос суешь, а к учению тебя калачом не заманишь. Дома мать плачет, убивается, не утонул ли ты...»

Но нет. Он внимательно слушает. Он не любит немецкого князя. Его лицо выражает недоумение. О чем говорит новый староста?

Спас Гинев кончил, и тогда послышался чей-то голос:

— Учитель, пусть учитель скажет...

Я посмотрел на отца. Он покраснел, потом отрицательно махнул рукой.

— Пусть учитель говорит...— послышалось снова, и слова эти подхватили другие голоса.

Отец шагнул вперед и стал возле стола — ему не нужно было влезать на бочку.

— Говорить пока нечего — дело очень простое. Ушел один, пришел другой. Хорошо, что Стамбулов пал. Стамбулов действовал по-турецки. Но те, которые придут, будут ли лучше? Будут ли они уважать права народа, будут ли они соблюдать конституцию? Если Стамбулов держался на шайкаджиях, то эти, может быть, придумают себе что-нибудь другое?

Таких речей никто не ждал в такой торжественный час!

—...И те и другие будут играть судьбой народа, пока он не станет политически сознательным. Что это значит? Это значит знать свои права и охранять их от разных политических пройдох. Это значит знать, кто друг и кто враг, и не позволять завязать себе глаза и вести, как слепца,— куда? В яму.

Смотри ты, как повернулось, оказывается, дело! Не так-то все просто... Как все связано друг с другом, сложно, запутанно...

—...Я так понимаю жизнь. Правители хотят убедить нас, что школа — это второстепенное дело, важно, дескать, чтобы процветала торговля... Мы не согласны с этим... Мы хотим иметь новые школы, новые шоссе, новые железные дороги. И мы сможем их иметь, если не станем слишком верить всяким депутатским обещаниям... Если сами подумаем о своем положении... Мы сидим на двух стульях. То на немецком, то на русском, но больше на немецком. Это имеет свою причину. А у нас может быть только один интерес — благо нации, дружба с Россией во веки веков.

Люди замерли. Не слышно было ни говора, ни покашливания. Только листья серебристых тополей шелестели в сумерках.

—...Мы — дети России. Россия — наша мать. Русский народ нас освободил. Почему англичане не бросили свои батальоны, чтобы освободить нас от турок? Это сделал только благородный русский народ, потому что в сердце у него сочувствие к слабому, терпящему муки...

Отец замолчал, словно у него застрял комок в горле — он был сильно взволнован. Отошел от стола. Секунда, две, три — полное молчание. Потом кто-то крикнул:

— Браво, учитель! — И добавил соседу: — Умен же!

Послышались еще голоса:

— Большой силы, чем русские, на свете нет!

— Россия — наша мать, правильно сказал!

Толпа сдержанно зашумела, потом кто-то крикнул:

— Деда Ботю Мерджана! Пусть выйдет дед Ботю Мерджана!

Несколько человек вытолкнули вперед деда Ботю, который в своем ополченском мундире встал рядом со Спасом Гиневым. Новый староста поднял руку и сказал:

— Братья крестьяне! Дед Ботю Мерджана — честь и гордость нашей деревни, потому что он дрался на Шипке вместе с русскими братьями. Пусть здравствует он долгие года, ура!

— Ур-а-а-а! — прокатилось над толпой.

Несколько пар рук подхватили деда Ботю и понесли его. Он вырывался, захваченный врасплох, махал руками и кричал почти с ожесточением:

— Бросьте, ребята, что вы делаете? Да разве так можно?

Ступив на землю, он зашагал уже спокойно, прихрамывая на раненую ногу, и сказал:

— Эх, ребятки, я-то знаю... Братская кровь водой не обернется...

Толпа заколыхалась. Словно тяжкий камень упал с души у всех. Пожилые стали рассказывать все, что помнили о казаках, об их могучих конях, о лохматых папахах и длинных пиках. Хорошие они люди! Все улыбаются. И местным туркам слова худого не сказали.

В глазах заблестела радость. Большое событие! Шутка сказать — Россия! Солнце восходит и заходит в ней. Месяцы, годы будешь идти, а не сможешь дойти до ее края.

Дед Ботю продолжал свою речь.

— Так-то! Меня уму-разуму учить не надо! Чего нам, дескать, ждать от России? Эй, послушай, ты, человек божий, да ведь если бы не Россия, стал бы ты министром, владел бы ты имуществом, деньгами? Разве не ходили бы мы и теперь в батраках у турецких пашей и беев?

Заиграла гайда, вихрем закружились люди в буйном хоро.

Разговор с отцом

Отец делает мне знак глазами, который означает: «Пойдем со мной». Совесть моя нечиста, и я иду за ним с тяжелым сердцем, неохотно.

Я избегаю всяких объяснений с отцом, они мучительны и трудны. Мне кажется, что он хочет от меня больше, чем я могу дать. Он прав, что я совсем запустил занятия, что не засиживаюсь дома... но все это как-то само собой выходит, и я не знаю, сможет ли измениться.

Зачем он ставит мне в пример Эдисона и как я могу стать на него похожим?

Может быть, я не понял его? Вот и теперь. Зачем он огорчил людей, когда сказал: «Ушел один, пришел другой» — одним словом, новые не будут ли еще большими мерзавцами, чем были старые? Все так радовались, что Стамбулов пал, что прошло время шайкаджиев, что началась новая жизнь...

Отец идет первый, я шагаю на два позади него.

Он молчит. О чем он думает?

Отец замедляет шаги и идет рядом со мной.

— Ты как думаешь быть дальше? — говорит он, словно невзначай. И снова умолкает. Что я могу ответить? Он продолжает снова:

— Мне просто стыдно, что ты мой сын...

Это были первые молнии — как в сегодняшней грозе, далекие, предупредительные. Мысль, что он стыдится меня, глубоко меня ранит.

— Почему? — восклицаю я обиженно. — Что я сделал?

— Мать уже не сможет починить твои драные штаны...

В его тоне прячется легкая насмешка. Так было: каждый день прибавлялись новые заплатки. В душе я сознаю, что здесь, как раз в этом, он прав.

Не раз он говорил матери: «На этом мальчишке одежда прямо горит. Никак с ним не справишься». «Но что это за одежда? — мысленно возражал я.— Одна пара коротких штанов и одна рубашка. Стоит ли поднимать разговор из-за каких-то тряпок? У Тошо несколько смен одежды. У Пенчо велосипед. А у меня?»

Словно угадав мою мысль, отец продолжал:

— Ты не смотри на Пенчо — его отец богатый, вон сколько земли захватил! С ним ты, что ли, будешь равняться? И он и Тошо поедут учиться в Пловдив. У них легкая жизнь. А у нас?

Он замолчал. «Старая песня,— подумал я.— Слышали ее много раз. Теперь начнет жаловаться, что денег не хватает, что мы должны экономить...» Голос его, обычно твердый, повелительный, сейчас звучит мягче, примирительно, это успокаивает меня.

— Запомни одно слово твоего отца,— быстро добавляет он.— Тебе незачем равняться ни с Кирчо Дамяновым, ни с Пенчо Мариновым. Они из богатых семей, а мы из бедняцкой. Они так богаты, что могут и в Париж отправиться. Наше дело совсем другое. Мы должны полагаться на самих себя, на свои силы и способности. Поэтому я говорю, что тебе надо задуматься над этим. Твое шатанье научит тебя только плохому — хулиганству, нечестности. Ты можешь сделаться и вором и еще бог знает кем!..

Что-то во мне восстает против этих его слов. Я смело отвечаю:

— Это ты только так говоришь!..

— Сейчас мы с тобой говорим, как друзья, но я могу и по-другому с тобой поступить.

Мимо нас пробегает Владко с двумя другими малышами: у него уже есть товарищи.

И это весь разговор? Пустяки.

Хорошо. Можно и подумать. В его словах есть что-то правильное. Он взрослый, читал толстые книги, знает больше меня. Вдруг мое сердце наполняется радостным чувством: вот он какой, мой отец, говорит со мной, как с равным, поверяет мне свои мысли...

Мне вспомнилось, что всякий раз, как я бывал в доме у Пенчо, его мать встречала меня, как встречают бедного родственника. Однажды подарила мне старые штанишки Пенчо, и я их взял, словно это было в порядке вещей. Пенчо показывал мне свои игрушки, разные машины, паровозики, птиц, и я находил вполне естественным то, что у него есть, а у меня нет таких прекрасных игрушек. Даже не завидовал ему.

Мы подходили к дому. Я побежал вперед, полный какого-то особого волнения:

— Постой, посмотри, что мать делает?

Мать в глубокой задумчивости сидела возле очага, жарила фасоль.

Она обернулась и, увидев меня, проговорила, широко раскрыв глаза:

— Ох, сыночек, где же ты пропадаешь? Какие только страхи не приходили мне в голову — громом ли его убило, думала я, или в реке утонул...

*Перевод с болгарского
Т. Рузской.*

Ангел Тодоров

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Целый день у меня эта песня народная в мыслях.
Где я слышал ее? Может, в давние детские дни
Там, где звонкие вербы над синим Дунаем повисли,
Где, запенившись, волны бегут и шумят в их тени?

Или это случилось в студенческой комнате? Чаши
На столе небогатом... В них терпкий зеленый пелин¹.
Всё-то спорим... И вдруг из сердец неуживчивых
наших
Эта песнь возникает — про милый, родимый Пирин.

Память в годы уводит... О горькое горе чужбины!
Над друзьями моими — тень виселицы и петли.
А они всё же пели — суровые эти мужчины,
Эмигранты, борцы... Вдалеке от любимой земли.

Или — около Драва, в землянке, затишье найдется —
Пел старинные вольные песни солдатский народ.
В этих песнях о днях бунтовских, о бывлых
полководцах
Неба нашего синего так и проглядывал свод.

Эту песню народную где ж я услышал? Не там ли,
Где Марица блестит, повстречался я с песнею той?
Где леса возводили, где бревна тесали и камни,
Где широкие плечи расправил завод молодой?..

Всюду, всюду — в горах, на полях, на Марице
широкой,
На крещеньях и свадьбах, когда с поздравленьем
встает
Сельский парень, бокал поднимая высоко-высоко,
Веселясь и грустя, —
всюду, всюду народ наш поет
Эту вечную песню: «Планино, Пирин-планино...»²
И красою сияешь,
И росой сверкаешь,
И встаешь предо мной
ты, родная краина!

*Перевод с болгарского
Вл. Соколова.*

¹ Пелин — настоянное на травах болгарское вино. (Примеч. перев.)

² «Планино, Пирин-планино» (болг.) — «Горы, Пирин-горы». (Примеч. перев.)

Божидар Божилов

БАЙ СТАМЕН

Бай Стамен,
 слышишь —
 кличет первый кочет?

Бай Стамен,
 встань —
 уже почти светло!

Уже о ведра молоко грохочет,
и ветви зябкой свежестью свело.
Ты встанешь,
 выпьешь кофе свой дешевый,
возьмешь свою подруженьку кирку
и двинешься походкою тяжелой,
большой,
 сутулый,
 с флягой на боку.
Как далеко в такое утро видно,
как утренне деревья шелестят!
Ты песню бы запел,
 да несолидно —
куда уж там! —
 тебе под шестьдесят.
Со станции рассветной Горна Баня
в 5.10 ровно поезд отойдет.
По сизым стеклам дождь забарабанит,
и кто-то разговоры заведет.
Полсигареты даст знакомый парень,
и спичка осветит твои глаза,
которые всегда недосыпали...
Бай Стамен,
 подремли хоть с полчаса!
В чертах лица,
 большого,
 чуть рябого,
в морщинах темных —
 память прежних дней.

Ты,
 если вспомнить,
 больше, чем работал,
искал работу —
 это потрудней.
О, эти дни раздумия немого,
шатания на мокрых мостовых!

И вот сейчас,
 хотя уж и немслад,
торопишься ты больше молодых.
Для них шумят поля,
 шумят деревья,
для них —
 дома большие в городах,
и нет у них усталого неверья
и страха перед будущим в глазах.
О, сколько песен ими будет спето!

и слышатся шахтерские оркестры,
и прикрепляют орден к пиджаку.
Жена твоя ворчать уже не хочет —
она горда,

счастливая
тобой...

Но что это —
уж слышен третий кочет!

Бай Стамен,
ты забыл про свой забой?

В гудках и дымах,
в росах,
в стуке ставен,
в свеченьи листьев новый день настал.
Давно готово кофе.

Встань, бай Стамен!

Но ты не встанешь.
Орден опоздал...

Вот ты в гробу.
Ты нынче приедлся.

Старуха плачет,
бедная,
навзрыд.

И, тонкая,
застенчиво и детски
свеча между мозолями горит.
Знакомую дорогой к Бане Горной,
исполненные грусти и любви,
тебя несут торжественно и гордо
шахтеры —

братья младшие твои.

Над тихою задумчивой толпою
мелодия суровая летит.
Склоняются деревья над тобою
и каждое, как знамя, шелестит.
Несут тебя в прозрачный, чистый полдень,
усыпанной осеннею листвою
дорогой той, что будет вечно помнить,
твою кирку и добрый голос твой.

*Перевод с болгарского
Евг. Евтушенко.*

Веселин Ханчев

В ОСЕННИЙ ЧАС

Запомнила ль ты утро это,
пронизанное синевой?
Рассветный час, качанье веток,
летающие над головой,
почти не знающие веса
в осеннем пламени листы.
Мы шли на поздний праздник леса.
Шли золотые, я и ты.

Даль зажигалась и горела,
плыл золотой и красный свет.

И было так, что нет нам дела —
мы ошибались или нет...
Любовь и лес, листва и ветер
и ощущение высоты.
Казалось нам тогда — на свете
Нас только двое: я и ты.

*Перевод с болгарского
Гр. Поженяна.*

ВОСПОМИНАНИЕ

Я помню город: рвы, пустые рамы...
Там, в парке старом, встретил я двоих.
На рухнувшей сосне, у черной ямы,
Они сидели. Я запомнил их.

В глаза друг другу так они смотрели,
Что понимали все уже без слов.
А вместо птиц над ними пули пели,
И было не сыскать живых цветов.

Да, пули, пули стаями жужжали.
Земля стонала, потеряв покой.
Но, смерти чуждые, они молчали.
У них свиданье было. В час такой.

Я думаю о нас, моя родная,
О вечной верности, о тех двоих.
В минуту нашу трудную, не знаю,
Мы сможем ли хоть походить на них.

Но верю я — мне в это верить надо —
И мы с тобой у смерти на виду
Вот так же встретимся и будем рядом,
Как двое те в том памятном году.

*Перевод с болгарского
Вл. Соколова.*

Блага Димитрова

ПЕРЕД ВЕСНОЙ

Обещает весна почерневшему саду
Белый тюль, серебристый наряд.
Бархат — голым холмам, за терпенье в награду.
Неподвижным кустам — аромат.

Обещает весна даль, прямую на диво,
Голубому проему окна.
Старой роще — весеннего ветра порывы,
Пробудившего землю от сна.

Как щедра ты, весна! Но услышать хочу я,
Что ж ты мне обещаешь? Ответь.
Новый путь? Или новую встречу большую?
Песни новые выучишь петь?

А в душе пробуждается то же волнение,
С той же грустью в былое глядишь.
Неужели меня ты, пора обновленья,
Старой скорбью опять одаришь?

*Перевод с болгарского
Вл. Соколова.*

Банчо Банов

КАНАРЕЙКА И КОШКА

— Хозяин, почему меня ты держишь в клетке,
На жердочке, а не в саду на ветке?
За что должна сидеть я взаперти?
Для звонких трелей, для веселых песен
Приют с решетками твоей певунье тесен!
— Тебя, попробуй, только отпусти —
Останутся лишь перышки да ножки!
Я берегу тебя от кровожадной кошки!
— Тогда не лучше ли, так жизнь мою храня,
Ту кошку запереть, а выпустить меня!

*Перевод с болгарского
Сергея Михалкова.*

Лиляна Стефанова

РАЗГОВОР С МОРЕМ

На закате в синеве залива
Корабли усталые видны.
Обвисают паруса лениво.
Крики чаек. Мерный шум волны.

Тонет взгляд в необозримой сини...
Не желанье ласки и тепла,
Нет, меня на этот берег ныне
Яростная жажда привела.

Море плещет и лепечет мило,
Камешки катает, присмирив...
Может быть, твой дух борьба сломила?
Где ж твой пафос грозный, где твой гнев?

Мне б твое услышать сердце надо,
Сердце, позабывшее покой.
Я лицо свое подставить рада
Жестковатой свежести морской.

Я хочу, чтоб волны грохотали,
Чтобы гром грозился с высоты,
Чтоб во мне, как молнии, блистали
Новые желанья и мечты.

Я навеки предпочла покою
 Волн полет, холодный мрак зыбей.
 Ведь в дремоте сонной под рукою
 Пульс стучит все глуше, все слабей.

Пусть те корабли, что ослабели,
 Дремлют, мачты сонные клоня...
 Не хочу, чтоб, словно в колыбели,
 Волны убаюкали меня.

Я б хотела быть всегда в движеньи,
 Высоко свети, моя звезда!
 Лжи, успокоению и лени
 Не попасть мне в сети никогда!

Сонного покоя не хочу я.
 Я пришла. И, как в былые дни,
 Ветер, ветер, по морю кочуя,
 Дремлющее море всколыхни!

Нет, я не хочу пути иного —
 Только через бурю, через вихрь!..
 Как корабль, я в путь всегда готова
 В белом блеске молний грозových!

*Перевод с болгарского
 Евг. Винокурова.*

Орлин Орлинов

БОЛГАРИН

Жал он ниву. Прямо с поля взяли.
 Стер ладонью потные ручьи.
 Был орлом он. Донесли, сказали:
 партизанам хлеб давал в ночи.

Ниву оставлял в сиротской доле
 тот, кто жить без пажити не мог.
 Едким потом напоил он поле,
 спину гнул, не распрямлял он ног.

Понял — расстреляют. Жребий тяжкий.
 Не спросил — куда или когда.
 Сжег сигарку медленной затяжкой.
 — Вот и выпал отдых от труда.
 Солнце опустилось за Балканы.
 Посмотрел — по гребню всей гряды
 плыли облака за облаками,
 словно партизанские ряды.

Залп!
 Не вскрикнул. Молча пал под небом:
 нрав болгарский мужественно прост.
 Он, всю жизнь сгибавшийся над хлебом,
 смерть за волю встретил в полный рост!

*Перевод с болгарского
 Мих. Луконина.*

П. Незнакомов

СЛУЧАЙ С ПЕНЛЕВЕ

Уже с утра стало ясно, что суровая и затяжная зима кончилась. В первый раз, с тех пор как мы приехали сюда, робкое мартовское солнце показалось над темной полосой соснового леса и залило светом просторный, покрытый снегом двор дома отдыха. Было еще холодно, но в воздухе уже чувствовалось еле уловимое дыхание весны. Разорвалась скучная серая пелена, закрывавшая небо; на большое дерево во дворе уселась стая взъерошенных воробьев, и было необыкновенно приятно слушать их нестройное, возбужденное чириканье. В полдень с крыш за капала капель, и по буро-желтой стене дачного домика потекла первая струйка мутной весенней воды.

В такой день грех было сидеть в комнате и жариться у своенравной печки. И вот я примостился на потемневшей от времени деревянной скамейке, стоявшей в защищенном от ветра месте, сбросил полушубок и сидел, мигая отвыкшими от яркого света глазами, с наслаждением вдыхая полной грудью свежий воздух, пахнувший талым снегом, и мне было удивительно хорошо. По выглянувшим из-под снега камням дорожки шествовал толстый дымчатый кот — постоянный обитатель нашего дома отдыха; он остановился на припеке, сладко потянулся, зажмурил один глаз и заговорщически посмотрел на меня, словно желая сказать: «Неплохо, а?» Навалив на плечо одеяла и простыни, из соседнего домика выбежала молоденькая горничная Станка и беспричинно залилась смехом — трудно было узнать в ней сейчас ту ленивую девчонку, что по утрам с кислым лицом топила печки и кое-как подметала комнаты. Из открытой двери кухни вышел повар Иван. Он посмотрел на воробьев, облепивших деревья, и весело крикнул им:

— Э-ге, уже налетели! Посбесились вы все, что ли, с утра?

В ласковом выражении его грубоватого веснушчатого лица, в теплом блеске его чуть раскосых глаз сияла чистая, неподдельная, унаследованная от прадедов радость, какую внушает крестьянину великолепное весеннее пробуждение земли. Но, увидев меня и, должно быть, устыдившись столь откровенного проявления своих чувств, он нагнулся, схватил пригоршню мокрого, липкого снега и запустил снежком в кота.

— Ишь, греется на солнышке, лежебока!..

Испуганный кот метнулся в сторону, вскочил на ограду и сердито зашипел. Иван сел рядом со мной на скамейку.

— Ну вот, кончилась и эта зима, — авторитетным тоном сказал он. — А длинная выдалась — конца-краю не видно было...

Я кивнул. Потом оба мы долго молчали — так приятно было сидеть тут, на солнышке, что не хотелось ни о чем говорить.

Из-за дома донеслась песня. «Ко-о-омандир герой, герой Чапа-а-а-ев...» — выводил высокий, звонкий тенор. Послышался веселый буйный посвист, и песню подхватило множество слегка хриплых, но согласно звучащих голосов. За оградой по уже оттаявшей дороге шагали взвод солдат, направлявшихся в баню. Вел их юный молодеватый сержант с русыми усиками, в лихо сдвинутой на ухо фуражке и в сапогах, начищенных до такого яркого блеска, какого я в жизни не видывал. Он ловко перескакивал через лужи, и хотя на лице его застыло строгое начальственное выражение, было ясно видно, как он доволен и собой, и своими ребятами, и своими тремя нашивками на рукаве. Взвод спустился с горы, но песня слышалась еще долго, и в ней тоже звенела наступающая весна.

— Весело поют, — заметил Иван. — Раньше таких песен не пели...

Он посмотрел вверх, на прозрачное синее небо, задумался, и я, хорошо знавший его, понял, что сейчас он начнет рассказывать какую-нибудь из своих историй, которыми он так забавлял меня по вечерам,

когда мы с ним сиживали у печки, поставив на нее кофейник с подслащенной ракией.

— А ты служил в солдатах? — спросил он вдруг, все еще не отрывая глаз от неба.

— Служил.

— В прежнее время?

— В прежнее.

— Так, значит, ты имеешь мало-мальское понятие и сознание, — сказал Иван, очень любивший употреблять слова, смысл которых был ему не совсем ясен. — Ну погоди, я по этому случаю расскажу тебе, как мы на турецкой границе в сорок первом году лямку тянули. Или тебе некогда, а? Может, опять на машинке стучать собираешься?..

— Нет, сегодня я работать не буду, — сказал я и поудобнее уселся на скамейке. — Рассказывай! Только бы в кастрюлях твоих что-нибудь не подгорело...

— Не беспокойся! — немного обиженно проговорил Иван. Затем помолчал для пущей важности, как все хорошие рассказчики, и начал: — В том году... в сорок первом то есть, заварилась какая-то каша в международной ситуации. Шваб вступил в Грецию, да и турок что-то зашебаршился... Говорили, будто он уже собрал какие-то свои моторизованные силы на границе... дислокация, как выражаются по-военному. Ладно, наши тоже решили не отставать. И вот как-то раз утром слышим мы сигнал — «сбор». Получили, значит, приказ — артиллерийскому ее высочества Евдокии полку в полном составе построиться в каре на плацу. В другие разы мы, повара, бывало, оставались на кухне, производили, как говорится, свои манипуляции... нас ведь тогда и за солдат не считали... А тут является интендантский фельдфебель Стою и еще на пороге орет:

— Айда! А ну-ка, ступайте и вы, мать ваша распутница!.. Сигнала не слышали, что ли? Хотите, чтоб я вас ремнем стеганул?..

Было нас тогда в полку пятеро поваров, все ребята — на подбор. Кого пинком, кого ремнем, повыгнал нас Стою на плац. Построились на левом фланге и дивимся: что же такое стряслось, коли уж и за поваров взялись? Видим: офицеры, хмурые, перед ротами прохаживаются, сабли бренчат, шпоры звенят, и глаза из-под козырьков сверкают, злые-презлые. Унтер-офицеры снуют по рядам и то и дело тычут ребят кулаками в брюхо.

— Подбери живот! Гляди в одну точку! Не шевелись, мать твою!.. — покрикивают.

Ну, думаем, это неспроста. Так оно и вышло. Через сколько-то времени прибыл командир полка, загремела музыка, и мы отмаршировали церемониальным, как полагается. Так и так, рапортуют ему, полк в полном составе налицо и преданнейше ожидает ваших распоряжений. Командир полка стал посреди плаца, раскорячил ноги и давай горло драть:

— Дорогие мои юнаки, наконец наступил решительный час... Ньюйский договор¹, — говорит, — гласит то-то и то-то... Надо нам, — говорит, — вспомнить великие заветы Симеона I...²

Ну и прочие тому подобные фантазии. Мы дивимся, думаем: должно, где-то уже дерутся. Встрянем мы в войну или нет? А командир орет что есть мочи.

— Приказано, — говорит, — самим его величеством царем объединенной Болгарии нашему артиллерийскому ее высочества Евдокии полку выступить елико возможно быстрее в южном направлении и выполнить

¹ Искаженное «Нейский мирный договор» (1919), по которому Болгарии был навязан кабальный мир. (Примеч. перев.)

² Симеон (893—927) — болгарский князь, провозгласивший себя «царем болгар и греков». (Примеч. перев.)

свой долг, если понадобится — до последней капли крови. По этому случаю, — говорит, — ура его величеству и всему царскому дому!

Офицеры рывкнули во все горло, а глазами так и шныряют по рядам — хотят, значит, разнюхать, какое у солдат настроение и мораль. А мораль была, можно сказать, ниже некуда. Почти все наши ребята были запасные — этот кинул дома молодую женку, у того поле не вспахано, не засеяно, у третьего лошадь реквизировали; им только того и не хватало, что выступить в южном направлении и отдать последнюю каплю крови.

Ладно, распустили нас. И тут пошла суматоха. Приводи в порядок орудия, чисти коней — зады им под орех разделявай, — готовь сухой паек на пять дней. Начальство кроет матом, куда ни глянь — кого-нибудь ремнем полосуют. Тогда ведь не было педагогики и психологики: не подлетишь во весь дух, каблуками не шелкнешь — получай оплеуху. У них, брат, это дело было поставлено по-научному...

Ну, погрузились мы наконец в вагоны и двинулись в указанном южном направлении. И не знаю уж, сколько натерпелись другие, а у нас, поваров, прямо души не осталось. Остановимся, скажем, на какой-нибудь станции, глядим — бежит начальник эшелона к последним вагонам, где кухни.

— Эй вы, мерзавцы, — кричит, — что за кашу вы сварили командирю? Бурда какая-то! Не знаете, подлецы, что у него язва в тонких кишках? Он с вас кожу сдерет...

Иди объясняй ему, что продукты никудышные, что фельдфебель Стою и артельщик дома себе повыстроили за счет казенных харчей. Никто тебя не слушает, никто за человека не считает — только и знай, шпыняет каждый.

Наконец дотащились мы до пункта назначения. Выгрузили орудия и снаряжение и заняли указанные позиции, а местность — одни голые холмы, ни клочка тени, где бы душеньку свою прохладить. Нашу батарею придали 12-му пехотному полку. Стали разбивать лагерь. Искали-искали местечко, наконец выбрали сухую ложбину. Нижние чины выкопали себе землянки, для господ офицеров разбили палатки. Мы, штабные, соорудили столовую с кухней, а для командира — барак со всеми удобствами: там и канцелярия, там и квартира. Командир у нас был майор Иван Ранков. Злойед, каких свет не видывал. Может, слышал про него? Не слышал? Да-а, великий мерзавец был, говорю тебе. Лет ему было под сорок... Сухопарый такой, черный, а глазищи зеленые, как у кошки. Вот с тех пор я и недолюбливаю их, кошек-то... Про него напоминают. На правой руке носил он золотой перстень с черепом и костями, и не знаю уж — то ли нервный кризис у него был, то ли он такой уродился развинченный, только он почему зря кровянил нам этим перстнем рожу. Холостой был, гад, и бабы к нему просто липли. Случалось, в Софии к нему и замужние на квартиру бегали. А чего липли, дьявол их знает. Да он и с бабами обращался мерзко, все равно что с собаками. Впрочем, не о том речь... А солдаты боялись его пуще огня. Да и как не бояться: ведь от него, бывало, доброго слова не услышишь — все только мат да мат да еще «марш под арест»! А до ракии охотник был, страсть! Но напивался вдрызг только раз в месяц. Зато как налижется — боже тебя упаси на глаза попасться! Вся батарея тогда на цыпочках ходила — боялись, как бы не подействовать ему на какой-нибудь нервный центр. Даже птица и та на три диаметра к бараку его не подлетала. Но больше всех тряслись мы, штабные. Бывало, вызовет он меня к себе. Я войду, козырну, каблуками шелкну, как полагается по уставу. Гляжу — сидит он на койке в бриджах, на плечах пижама и хлыстом по сапогу похлопывает. А кошачьи его буркалы так и шныряют по тебе — поди, разберись, что ему в голову взбрело.

— Рядовой Ганджулов Иван!

— Я, господин майор.

— Знаю, что ты. Скажи мне, рядовой Ганджулов Иван, что ты собой представляешь, когда ходишь по этой грешной земле?

Я вытянусь, руки по швам и кричу:

— Я есть солдат, господин майор, 4-го артиллерийского ее высочества Евдокии полка. В настоящий момент исполняю должность повара офицерской столовой.

— Неверно,— говорит.— Ты не солдат.

И хлопает хлыстом по сапогу, а сам ухмыляется.

— Солдат, господин майор.

— А я тебе повторяю, что не солдат.

— В таком случае никак не могу знать, кто я такой есть, господин майор.

— Ворона облезлая, вот ты кто.

Горько мне станет. Какая же я ворона?

— Никак нет, господин майор!

— А-а-а,— говорит и привстает с койки,— значит, по-твоему, начальник врет, а?

— Никак нет, господин майор!

— Ну так как же? Ворона ты облезлая или нет?

Вижу, дело принимает плохой оборот, но молчу.

— Отвечай! Или родного языка не знаешь?

Я все молчу.

— Если ты,— говорит,— стыдишься своего языка, так постой два часа на солнышке с полной выкладкой. Пошел вон! Прочь с глаз моих, а не то хлыстом почешу...

И чего только он не вытворял. Ему, бывало, только бы поизмываться да уколоть кого. И за это мы ему придумали прозвище — Комар.

В другой раз взбредет ему в голову воздушную ванну принять. Скинет с себя мундир, останется в одних подштанниках и приказывает:

— Рядовой Ганджулов Иван, бери стремянку и холст! Я,— говорит,— пойду глотать озон. Это полезно для всей органической системы, а особенно перед тем, как к бабе идешь.

Беру в штабе стремянку, на каких маляры красят, да еще холстину, и шагаем мы с ним за сенной сарай. Растянется он между двумя копнами сена и глотает свой озон — это газ такой, — а я взберусь на самую верхушку лестницы и холстом тень на него навожу. И не дай бог задремать тебе, чтобы солнце ему на голову упало.

— Марш под арест! — кричит.— Ах ты, большевик этакий!

Я иду под арест, маленько посижу в покое, рубаху осмотрю — не обовшивел ли, а немного погодя бежит связной Антон, несет приказ на освобождение. Майору, видишь ли, обед готовить некому. А пожарать он любил, и все, знаешь, такие деликатесы требовал, какие один я мастер стряпать.

Была у майора одна слабость. Купил он где-то двух петухов, здоровенных таких, красных, родаланами их называют, заграничной породы. В каждом кило по четыре чистого мяса было, не считая потрохов. Почему он к ним так привязался, мне и до сей поры неизвестно. Должно быть, каждую душу, хоть иная и черным-черна, а тянет ее хоть немножко любить кого-нибудь. Петухов он прозвал одного Пенлеве, другого — Лойжорж¹.

¹ Пенлеве (1863—1933) — французский государственный деятель. Несколько раз занимал министерские посты. Лойжорж — искаженное Ллойд Джордж (1863—1945) — английский государственный деятель. Несколько раз занимал министерские посты. (Примеч. перев.)

— Вот, — говорит, — и к нам пожаловали теперь англо-французские министры, только это не твоего ума дело.

— Точно так, — отвечаю.

И скажу я тебе, он и впрямь души не чаял в этих петухах. Иной раз приду я к нему с закуской, гляжу, лежит он, разувшись, на койке, читает «Воинский устав», а одну руку опустил, и Пенлеве с Лойжоржем клюют у него пшеницу с ладони. Даже сахаром их кормил... само собой — казенным.

Да и они к нему привязались, петухи-то! Как слышат его голос, несутся к нему во всю прыть, крыльями машут, словно бог весть какое счастье им привалило.

А нам с Антоном, связным, эти родаланы поперек горла стали. Вот, скажем, настанет вечер, только мы скрутим себе сигарочку из домашнего табачку да закурим, чтобы маленько душу отвести, как слышим голос Комара:

— Вы куда запропастились, скоты-ы-ы?

Пригасим сигарки и бежим к майору. Видим, петухи у него на коленях примостились и норовят в уши его клюнуть.

— Почему это, — орет, — гугеноты вы этакие, Лойжорж в дурном расположении духа?

— Никак не можем знать, господин майор! — отвечаем.

Связной Антон — он с севера был родом, погиб на фронте, бедняга, — так вот, Антон, бывало, совсем терялся. Гаркнет на него майор, а он уж без языка. Силится что-то выговорить, а что — и мать родная не разберет.

— Как это «не можем знать»? Велено вам неукоснительно выполнять приказ — ухаживать за петухами — или не велено?

— Так точно, господин майор. Нынче с ним целый день ничего плохого не случилось, с Лойжоржем. Разбудил нас, — говорю, — спозаранку, потом, когда потеплело, принялся кур топтать... А если б, — говорю, — он нерасположен был, так неужто пришла бы ему охота по бабам бегать? За обедом кушал хорошо...

— А что кушал?

— Да как обыкновенно, — говорю, — с офицерского стола, господин майор. Шницель панэ, картофель сотэ, а еще крем...

— Гм... Ну слушай: если с ним что-нибудь случится, я тебе голову оторву! А теперь — марш отсюда, петухи раздражаются от вашего замечательного аромата. Скажи доктору, чтобы сию минуту явился!

Вот так и вышло, что мы по милости майора люто возненавидели этих англо-французских министров. И правда, ведь все так выходило, словно у нас всамделишные министры живут. Солдаты по месяцу бани не видели, все позавшивели в землянках, а этих фармазонов мы теплой водой мыли, обтирали их особыми платочками с вензелями; даже кур им подбирали, чтобы, значит, не бегали по всяким да не набрались куриных вшей или куриную слепоту не подцепили. Ну, думаю, терпеть долго так невмоготу. Уж я найду на них управу.

И вот однажды так оно и вышло. Комара с утра не видать было. Ушел поверку каким-то учениям делать. Я на кухне готовлю телячий тас-кебаб¹, а на душе у меня кошки скребут. Накануне получил письмо от жены. Пишет, ребенок захворал, доктора не позовешь — дорого, хозяин бурчит насчет квартирной платы — мы тогда в Софии жили, — да и вообще такая гармония, что в пору только зубами скрипеть. Режу я лук, а сам раздумываю — и ради чьей это радости сохнем мы тут, на этих голых буераках, и все начальство над нами куражится? А в глазах у меня черным-черно. Вот хоть сейчас шапку в охапку и беги без оглядки. И тут на тебе — приперся на кухню Пенлеве и давай прохаживаться взад-впе-

¹ Тушеная телятина. (Примеч. перев.)

ред. Хорохорится, пыжится, словно у него тут отчий дом. А я хоть бы что, стою, лук режу. Так... Ну, в тот день он сам себе яму вырыл. Вижу вспорхнул на полку, свалил на пол кастрюльки, что там стояли, да мало того, косится на меня одним глазом, словно насмехается — гляди, мол: я делаю, чего моя левая нога хочет, а ты жарься там у печки и выполняй свой долг перед царской фамилией!.. Тут, сказать правду, такое меня зло разобрало, хоть он и не виноват был, этот Пенлеве, птица божья...

— Кыш, — кричу, — басурман, вера твоя министерская!.. Убирайся отсюда подобру-поздорову!

Да разве он послушает? Все одно, что стене кричать. Еще кастрюльку свалил.

— А-а-а, так ты вот какой! — говорю и схватил кочергу...

Подкрался к полке до того осторожно, что даже весь скорчился. Дал ему разок то ли по голове, то ли по спине... не знаю, сам не заметил. Он шлепнулся на пол, покряхтел-покряхтел, похлопал крыльями, забился за шкаф и притаился.

— Ха, — кричу, — теперь набрался ума-разума!

И опять принялся за лук, а на петуха и внимания не обращаю. Даже на душе у меня полегчало. Слово самому майору по морде дал.

Тут на кухню заглянул Антон.

— Не найдется ли, — говорит, — братец, пожевать чего-нибудь ахвицерского?

Очень он любил, бедняга, блюда поделикатнее!

— Как не найтись, Антончо, — говорю, — поищи в миске, где жаркое лежит! Вон там, на шкафу! Только, — говорю, — не увлекайся! А то намедни ты три куска уплел, ну, Комар, конечно, и смекнул, что дело не чисто. Смотри, не подведи меня под карцер!

Загорелись у Антона глаза, бросился он к шкафу, сунул пальцы в миску, да как отшатнется!

— Эй, Иван, — кричит, — что это стряслось с Пенлеве?

— Ничего с ним не стряслось, — говорю. — Маленькохватила его эпиплексия.

А сам усмехаюсь.

Антон нагнулся, слышу — мычит что-то непонятное. Потом выпрямился и тычет пальцем за шкаф, а глаза у него сразу ввалились. Да, сказать правду, и меня тоже хватяла меланхолия. Неужто, думаю, стукнул я его сильнее, чем следовало? Подбежал я — и что же вижу? Пенлеве протянул ноги и, как выражаются старые люди, предал дух богу. Да будь это нашенская курица, так она бы уж давно кудахта на плацу, а этим, родаланам, много ли им надо? Квелая порода.

Стоим мы с Антоном над мертвецом и переглядываемся. Ну и дела!

— Ох, — запричитал тут Антон, — теперь не будет нам житья. Пристрелит нас этот полоумный...

Я тоже сначала голову потерял, да потом опомнился.

— Охами да ахами, — говорю, — дела не поправишь. Или подтянись, или выметайся вон! А с Комаром я сам объяснюсь. Об одном прошу: не трепи языком про данную ситуацию. Полный молчок по этому вопросу, ясно?

Антон поохал еще немного и смылся. А я начал действовать. Перво-наперво произвел научный медицинский осмотр Пенлеве. Вижу: серьезных телесных повреждений не замечается. Перья у него пышные — ничего не видать. Потом влил ему в клюв немножко ракии — был у меня, знаешь, в кухне припрятан неприкосновенный запас на случай, если о бабе размечтаюсь. Потом сунул петуха себе под фартук и тишком-тишком побежал на майорову квартиру. Поглядел вокруг — нет никого. Вижу — окошко открыто, кинул я через него в комнату петуха, потом скovyрнул со

стола шестом бутылку с ракией. Бутылка упала на пол, разбилась, и около петуха разлилась большая лужа.

— Вот и ладно! — говорю. — Теперь подождем, увидим, какие будут дальнейшие распоряжения судьбы.

Вернулся я на кухню и стряпаю себе как ни в чем не бывало — мол, «лука не ел, луком не пахнет», как говорится. Только сердце, знаешь ли, бьется часто-часто и вдруг даже как будто к горлу подступило. Значит, не очень-то сладко ему пришлось...

В полдень слышу, зацокали копыта, послышалась команда, потом кто-то орет: «Ты куда поплелся, скотина?» Значит, ученья кончились и майор наш налицо. Я прислушиваюсь, а сам начеку. Прошло полчаса — ничего. И вдруг слышу голос, да не голос, братец ты мой, а рев, ни дать ни взять режут кого-то.

— Рядовой Ганджулов Ива-а-ан! Ты куда запропастился, мать твоя неподобная-а-а?..

«Ну, — думаю, — сейчас разыграется действие. Держись, Иван!»

Побежал к майору. Вижу, стоит он посередине комнаты в полной боевой форме, буркалы свои вылупил, глядит на Пенлеве. Только хлыстом по сапогу хлопает... и, уж не говоря обо всем прочем, у меня от одного этого хлопанья душа в пятки ушла.

— Явился по вашему приказу, господин майор!

Обернулся он, оглядел меня с головы до ног.

— А-а-а, да ты ли это, рядовой Ганджулов Иван Станков? Прилетел, значит... А почему это ты, — говорит, — к непокрытой башке руку прикладываешь?

Схватился я за голову — и правда, забыл фуражку надеть. Плохое начало, думаю.

— Виноват, господин майор!

— Что ты мне поешь «виноват»? — кричит. — Говори сию минуту, что случилось с Пенлеве?

— Никак не могу знать, господин майор.

— От-ве-чай! Кто его убил?

— Никак не могу знать, господин майор. С утра кукарекал на плацу... с Лойжоржем дрался... порцию свою скушал... Потом сбежал куда-то...

— Куда сбежал? Смотри мне в глаза! Мерзавец!

— Слушаю, господин майор. Никак не могу знать, куда он сбежал, господин майор.

— А в карцере сидеть, это ты можешь?

— Так точно, господин майор.

— Кто убил Пенлеве?

Тут я поглядел вниз и будто в первый раз увидел мертвое тело.

— Неужто, — говорю, — он и вправду скончался, господин майор? Уж не от ракии ли?..

— От какой такой ракии?

— Да вот от той, — говорю, — что по полу разлилась. Он ведь, — говорю, — живчик был, может, играючи, и свалил со стола бутылку... И если, — говорю, — выпил вместо воды, то... Эта ракия, господин майор, она, как говорится, «скоросмертница», человека и то может уморить. А петуху много ли надо... ведь он невеличка птица...

— Я, — говорит, — не знаю, велика ли, нет ли... Знаю только, что ждет тебя великий мордобой.

Но все-таки вижу, маленько помягчел он. Поднял с пола петуха, поднес его клюв к носу.

— Верно, — говорит, — ракией воняет. Э-эх, как это я позабыл тут на столе бутылку!..

Стал он тут охать да ахать, а я тихонечко пятаюсь к двери. Ну, думаю, слава богу, дешево отделался, забыл он про меня. Собрался с духом, спрашиваю:

— Прикажете быть свободным, господин майор?

А он словно и не слышит. Шагает взад-вперед; а то остановится перед петухом, протянет руку, чтобы его потрогать, но не тронет, только так... в воздухе пальцами пошевелит. Видать, тяжело ему было. Чего кривить душой, он страсть как любил этого Пенлеве...

Постоял я, поглядел на всю эту картину и опять:

— Прикажете уйти, господин майор?

Тут только он и взглянул на меня.

— А,— завопил,— ты еще здесь? Наслаждаешься, да?

Смотрю, лицо у него перекошилось, страшным стало, безобразным, и такая злоба в глазах горит, что меня в дрожь бросило.

— Марш под арест, скотина! — говорит.— Доложишь фельдфебелю, что я приказал держать тебя под арестом, пока не сгниешь. Самолично,— говорит,— проверю, сгнил ты или нет. Повтори, что я сказал!

— Слушаю, господин майор. Вы изволили сказать, чтоб я доложил фельдфебелю, чтоб он держал меня под арестом, покуда я не сгнию. Вы самолично проверите, сгнил я или нет.

— Так,— говорит.— И благодари, что я тебя не застрелил!

— Покорно благодарю, господин майор!

— Марш!

Вышел я и ударил себя в грудь. Ну, думаю, и это кончилось. Сейчас отдохну под арестом от всей этой иллюминации.

Пошел к фельдфебелю. Так и так, говорю, приказал мне сидеть в карцере, покуда я не сгнию. А фельдфебель смеется:

— За что это он тебя, Ганджулов? Может, пригорелое кушанье ему подал?

— Никак нет, господин фельдфебель. Пенлеве погиб от какой-то тропической смерти, а командир на меня вину валит.

Сперва фельдфебель смеялся, а тут смех у него к губам примерз.

— Ну и ну! — говорит. — Теперь, — говорит, — из-за этого родалана всей батарее неделю житья не будет...

— Никак не могу знать, — говорю.

Так, значит, заперли меня в карцер и даже часового приставили, словно я знаменитый преступник какой. Только не прошло и десяти минут, является Антон — тоже гнить прислали. Стал я его спрашивать.

— Что случилось? Может, ты ему что выболтал?

— А он дрожит весь и слова вымолвить не может. Одно я понял — и его не миновала, так сказать, «зоря с церемонией». Да и за бутылку его отдули. Почему, мол, оставил ее на таком видном месте, что ее петух скovyрнул?..

Спустя час является фельдфебель и, не глядя на меня, говорит хмуро:

— Рядовой Ганджулов, выходи! Тебя майор кличет.

— Зачем, господин фельдфебель? Ведь я же еще не сгнил?

— Не знаю, — говорит. — Зовет тебя. — Зовет тебя. В настроение пришел.

А сам глаза в сторону. Не понравилось мне все это. Зачем, думаю, я ему понадобился? Неужто он раскумекал, какая истинная картина смерти? Если б он бить меня вздумал, велел бы пригнать под стражей, почему же меня выпускают? Иду к майору, думаю да раздумываю, а ноги — ведь это самое чувствительное место — все меня назад тянут. Наконец говорю себе: «Медведь страшен, да я не боюсь» — и вошел. Сперва ничего не мог разглядеть — на дворе солнце только закатывалось, а в комнате уже темно стало, — но немного погода рассмотрел, что и как. Вижу, Пенлеве лежит на столе. Возле него пустая бутылка из-под ракии, а майор сидит

с расстегнутым воротом на койке, обеими руками голову стиснул, словно хочет ее на месте придержать. «Ох,— думаю,— здорово он нарезался! Сейчас от него всяких аллегорий жди...»

Отрапортовал я, что явился, мол, по его приказанию, а он и не шелокнется, бормочет только что-то себе под нос. Минут через пяток опустил руки, вытаращил на меня мутные свои зенки и говорит:

— Рядовой Ганджулов Иван, в этой армии... только ты один меня понимаешь... и потому... беспрекословно выполняй приказ: найди кирку и заступ! Еще до заката солнца, — говорит, — требуется похоронить покойника со всеми надлежащими почестями и салютом. Выполня-а-ай!

Делать нечего — приказ. Взвалил я себе на плечо заступ с киркой и явился к майору для дальнейших распоряжений.

— Ступай,— говорит,— вслед за мной!

Взял он петуха и понес его, как ребенка малого. Я иду за ним, и то меня смех разбирает, то словно кто-то одергивает: «Погоди, Иван, рано еще смеяться!» Зашли за сенной сарай, а там росли какие-то неказистые кустики. Майор походил, походил, выбрал место и зовет меня.

— Копай,— говорит,— тут в размере ноль шестьдесят на ноль пятьдесят!

Начал я копать в указанном размере, а он присел в десяти шагах от меня с петухом на коленях и молчит.

— Готово, господин майор!

— А, — говорит, — значит, пришел час! В таком случае, бери, рядовой Ганджулов Иван, тленные останки и осторожно положи их в могилу! Но ежели в размерах напутал, я тебе уши оторву.

Взял я Пенлеве и сунул его в ямку. А майор поднялся с трудом, закачался и... вот клянусь тебе... стал смирно в трех шагах от могилы, снявши фуражку, и голову опустил. Потом узрел, что я сижу, опершись на заступ, и глазею на него, да как гаркнет:

— Шапку долой, безбожник!

Ладно, думаю, шапку снять можно, не велико дело. Но от всей этой юморески меня такой смех разобрал, что я чуть не прыснул ему в лицо. И хорошо, что сдержался: вижу, он вдруг сунул руку в кобуру и вынул пистолет. Ну, думаю, Иван, ты теперь не зевай изо всех своих природных сил,— ведь он сейчас под действием алкоголя: того и гляди, в тебя пулю пустит. Притаился я у него за спиной, словно меня и нету,— не шевелюсь, не дышу. А дело-то вот в чем было... Захотел он, пьяная башка, оказать петуху воинские почести. Поднял пистолет и трах!.. трах!.. трах!.. трижды выпалил в ясное небо. Потом застегнул кобуру и говорит мне негромко:

— Зарывай, Ганджулов Иван!

Тут мне полегчало.

— Слушаюсь, господин майор!

А он морщится.

— Не ори,— говорит,— монтафон необразованный! Не нарушай торжественной минуты!

Зарыл я как попало могилу, а он невдалеке прохаживается, мрачный.

— Кончил? Предал,— говорит,— тело земле?

— Готово, господин майор! Вечная ему память, нашему Пенлеве!

— Теперь,— говорит,— оставь меня одного! Сосчитаю до трех, и чтоб духу твоего здесь не было!

Я только того и ждал. Прибежал в штаб. Вижу, ребята в панике шепчутся, руками машут, а как увидели меня, окружили, бросились обнимать.

— Ох,— говорят,— жив остался? А мы тут из-за тебя ума решились. Как услышали выстрелы, ну, думаем, прикончил его Комар...

— Какое там прикончил! — смеюсь.

И стал им рассказывать всю историю. Все так и покатались со смеху. И только Антон — его тоже из-под ареста выпустили — стоит хмурый.

— Ты что скис, — кричу ему, — или тебе англо-француза жалко?

— Да нет, его не жалко! — говорит. — Жалко, что столько мяса зря пропадает. Одни ляжки, — говорит, — два кило потянули бы.

Тут меня осенило.

— Слушайте, — говорю, — братцы, пошарьте-ка у себя в карманах!

— А на что, Ванька?

— Давайте, — говорю, — купим в деревне немножко винца. Надо же и нам почтить дорогого покойника, поминки ему справить. Закуску поставлю я. А ты, Антон, беги к артельщику и возьми у него кило рису, да не прелого... вели офицерского выдать. Скажи, майор, мол, требует. У него-де расстройство желудочной системы, вот и приказал приготовить рисовый отвар...

Антон смекнул, что к чему, и расплылся — рот до ушей. Быстренько смотался к артельщику, а мы тут же отослали гонца в деревню за вином; потом я прокрался за сеной сарай, отыскал могилку, вырыл Пенлеве и принес его к себе в кухню. Ошпарил, общипал, разделил на порции и сунул в печь. Делаю свое дело, а самого смех душит, ну, думаю, такой номер всей моей казарменной маяты стоит.

После ужина майор ушел с офицерами в деревню — выпить, конечно. А мы, низшие штабные чины, собрались в кухне; дверь на замок, окошки шинельками завесили — на случай какой-нибудь непредвиденности — и сжевали дорогого покойничка, как говорится, с косточками. Да и хлебнули изрядно — прости господи! Ребята все ко мне приставали:

— Ну-ка, Иван, расскажи еще раз, как вы хоронили министра!

Я рассказываю, все ржут, просто катаются от хохота. Ну, ладно, а вышло, что много смеха-то не к добру.

На другой день было воскресенье. Майор встал поздно, злой с похмелья, спасу нет! Пришел к нему Лойжорж — приласкаться захотел, — так он его ногой пнул. Принес Антон завтрак — майор тарелкой в голову ему запустил. А часов в одиннадцать вышел на поверку лагеря. День выдался погожий, солнышко припекало, веял ветерок... Однако атмосфера вроде как погустела, все ждут, вот-вот буря разыграется, чем-то недобрым запахло... Раньше, бывало, в воскресенье волынщик Стоян играть начнет, ребята в пляс пустятся, а в тот день — ничего. Все притаились, ни звука не слышать.

Пошел майор по батарее, и, слышу, суматоха поднялась. Мне потом рассказали, как было дело. Не понравилась ему, видишь, линия землянок. Два месяца мы тут проторчали, и до нынешнего дня она ему нравилась, а нынче вдруг нет! Понадобилось ее переделать по какому-то германскому образцу. «Разваливай! — приказал. — И копай заново, на пять метров отступя!» Ясное дело, чтоб народ помытарить. Трех ребят перстнем своим по мордасам съездил, даже двух подпоручиков отправил под арест, а фельдфебеля Гроздана, свою же правую руку, обругал «кенгурой». Фельдфебель потом жаловался:

— Как это так, — говорит, — солдата обзывать таким словом: конечно, солдату, оно, и правда, день-деньской скакать приходится. А все-таки, — говорит, — с какой стати, по какому праву? Я, — говорит, — двадцать лет служил его величеству. От рожденья, как себя помню, все в сапогах хожу. Какая же кенгура, — говорит, — шесть нашивок на рукаве имеет... какая, спрашиваю?..

В полдень майор и до кухни добрался. Понюхал, понюхал, попробовал кушанье. поморщился.

— Что за дрянь ты опять приготовил? — говорит.

Я стою смиренно с ложкой в руке.

— Телятину, — говорю, — под соусом бельведер, господин майор. А еще суп, — говорю, — если разрешите доложить.

— Молчать! — говорит. — Молчи, когда со мной разговариваешь.

— Слушаю, господин майор!

Повертелся еще немного и вышел. И только я подумал, что и на этот раз дешево отделался, как опять слышу рев:

— Рядовой Ганджулов, сию минуту сюда! Жи-и-во!

Побежал я за кухню. Стоит он у мусорной кучи и тычет в нее хлыстом. А усы дрожмя-дрожат, словно у кота.

— Это что там такое, рядовой Ганджулов Иван?

Глянул я в указанном направлении и весь похолодел. Вижу, лежат на самом верху мусорной кучи две длиннющие петушьи ноги. Что говорить, каждому ясно — не местной они породы... с та-а-кими вот шипами!.. Вчера вечером, после поминок, я взял да и бросил их туда в затмении ума. Ну и напасть!

— Тебя спрашивают, рядовой Ганджулов, что это там такое?

Проглотил я слюну, щелкнул каблуками.

— Куриные ноги, господин майор. Мы вчера готовили бульон из цыплят с яйцом...

— Куриные, говоришь? Ну, — говорит, — дай-ка их сюда!

Подал я ему ноги, а как подал, только я один знаю. Осмотрел он их со всех сторон, потом как боднет меня взглядом исподлобья.

— А что, — говорит, — рядовой Ганджулов Иван, это, случаем, не покойного ли Пенлеве ноги?

— Никак не могу знать, господин майор!

Он задумался.

— А если не знаешь, — говорит, — будь так добр, принеси, прошу тебя, заступ!

— Господин майор, — принялся я его охмурять, — да какой же это Пенлеве! Ведь мы его вчера похоронили... Грех это...

— Будь так любезен, — говорит, — принеси заступ, пока я тебя не пристрелил! Бегом марш!

Вижу, делать нечего, побежал за заступом. Мчусь, словно у меня подметки горят. Ну, думаю, попал конь в прорубь.

Пошли мы за сеной сарай, отыскали могилку у кустов.

— Разрой ее, — говорит, — сделай одолжение!

Стал я разрывать могилку, только все в сторону подаюсь, как говорится, еле-еле землю ковыряю. А он стоит надо мной и глаз не спускает.

— Не канителься, — покрикивает, — мать твоя... вавилонская!.. Даю тебе три минуты сроку!

Стал я копать побыстрее, но Пенлеве все не показывается. А майор наклонился над ямкой, зло усмехнулся и говорит:

— Копай, копай! Весь век тут будешь копать, пока не найдешь петуха.

Копнул я еще раз-другой, а потом собрался с духом — пускай, думаю, будь что будет!

— Нету его нигде, — говорю, — нашего Пенлеве, господин майор.

— А-а, — кричит, — вот как! Интересно! Что же он воскрес, что ли?

— Никак не могу знать, господин майор. Нету его, и все.

— А может, — говорит, — ангел господен слетел с небес и унес его в райские селения, а? Только вряд ли, — говорит. — Насколько я знаю священное писание, воскресают одни лишь души, а тело остается в могиле. Ну, что ты скажешь по этому вопросу?

— Никак не могу ничего сказать, господин майор. Образование наше слабое...

Тут он взорвался. Схватил меня за ворот, встряхнул да как гаркнет:

— Слушай, ты, скотина, признавайся, кто сожрал Пенлеве? Косточки целой в тебе не оставлю,— говорит.— На фарш тебя изрублю. Отвечай, кто?

— Никак не могу знать, господин майор. Может, лисица какая?..

— Я тебе покажу лисицу... Кто?

И — раз меня хлыстом по лицу.

— Никто его не сожрал, господин майор.

— Кто?!!

И как пошел молотить меня по чем попало. Пустил кровь и, должно, еще пуще остервенился. Только тут и я уперся. Умру, думаю, а назло ничего тебе не скажу. Но уж побои эти я запомню. Погоди, придет день, сведем счеты.

Бил он меня, уж и не помню сколько времени, но вдруг перестал — видать, уморился.

— Беги,— кричит,— собирай своих большевиков из штаба! Чтобы построились перед баракком в виде буквы «П» и ждали меня.—Этого петуха,— говорит,— я из ваших задов вытяну.

Собрал я штабных ребят, рассказал им по дороге, как обстоит дело.

— Побои,— говорю,— стерпеть можно, а вот если найдется среди нас иуда и что-нибудь ляпнет, пусть потом не прогневается!

Построились мы по букве «П» перед баракком и стали ждать. Глянул я на ребят и успокоился. У всех губы сжаты, а в глазах ненависть горит — кажется, кожу с него сдери, он и не пикнет. Но вот выходит майор с хлыстом в руке.

— Добро пожаловать, голодранцы! — говорит. — Сейчас поговорим с вами по душам. Кру-у-угом!

Мы повернулись кругом.

— На дистанцию в пять шагов разомкнись! — кричит.

Мы разомкнулись на дистанцию в пять шагов.

— Кто сейчас,— говорит,— хоть бровью пошевелит, вмиг на тот свет отправится. Понятно?

Ни звука, словно все сговорились молчать.

— Понятно ли, спрашиваю?

Опять молчание.

— Ага,— говорит,— тут, значит, и крамольными идеями завопяло... Так, так, так... Ну, сейчас мы во всем разберемся нашими испытанными методами... Я,— говорит,— давно подозревал, что кто-то здесь воду мутит...:

И остановился у крайнего в ряду. Митко его звали, он телефонистом служил, бойкий был такой солдатик, все книжки читал... Теперь он большой человек. В армии служит, до полковника, что ли, дослужился... Бывает, встретимся с ним на улице, а он все смеется. «Помнишь,— говорит,— Иван, нашего Пенлеве?» Так... Остановился, значит, майор позади него.

— Слушай, парень,— говорит,— если ты все еще патриот своего отечества, скажи добром, кто съел Пенлеве?

— Не могу знать, господин майор.

Майор его р-раз хлыстом по голове. А парень-то этот, Митко, даже позеленел. Видать, еще битым не был.

— И сейчас не знаешь, крамольник ты этакий!

— И сейчас не могу знать, господин майор.

Тот его еще раз хлыстом по голове.

— А книжки читать, это ты можешь, не так ли? Ты думаешь, мне фельдфебель не докладывал? И я,— говорит,— до тебя доберусь. Я до самого дна вычищу всякую заразу...

Потом подошел к следующему и его разрисовал. И так всех подряд. Бьет он нас, а мы молчим. И вот ведь интересное дело: когда майор ко-

лотил меня тетатетом¹ у сенного сарая, больно мне было, тяжко мне было, едва сдержался, чтобы не охнуть со стыда; а тут, в коллективном состоянии, принял такую порцию боя, а ничего не почувствовал, больше того: духом даже воспрянул. Это я и в других случаях замечал. Видно, есть тут какой-то философический смысл, верно? Да, вот какое дело.

Так... Но сколько майор нас ни бил, а так ничего и не выпытал. Тут он совсем взбесился и выхватил свой парабелл.

— Я вас всех изничтожу,— кричит,— уморю, как мух, мать вашу...

А мы словно воды в рот набрали. Попробуй, изничтожь кого из нас, думаем себе, от тебя самого только мокрое место останется. Найдем на тебя управу, когда ночью будешь посты обходить.

Грозился, ругался майор, а стрелять не посмел. Должно быть, наших спин испугался — ведь ни одна не согнулась.

Потом приказал всех нас в карцер.

— Пусть,— говорит,— сидят на хлебе и на воде, пока у них брюхо к хребту не прилипнет!

А Митко — не знаю, что на него нашло, в другие разы он, бывало, и слова не вымолвит — вдруг стал во фронт и крикнул.

— Господин майор,— говорит,— разрешите доложить. Такого наказания,— говорит,— в уставе нет. Это незаконно.

Что тут с майором стало, до чего разъярился!

— Ты,— орет,— безгласная букашка, смеешь учить меня законам! В казармах,— говорит,— вот он закон...— И раз его хлыстом.— А если,— говорит,— ты недоволен, жалуйся командиру полка! Он любит самолично сдирать кожу с таких вот законников. Ну, а теперь — марш в карцер!

Пихнули нас в карцер. Едва уместились там — ведь семеро нас было.

Сначала помалкивали, каждый устроивался как мог — усесться бы да ноги вытянуть. А Митко сказал:

— Ну как, хорошо мы держались, ребята?

И засмеялся, довольный,— в тяжелые моменты его всегда смех одолевал.

— Надо,— говорит,— понимать, что один солдат — это ноль. А как будем держаться заодно, можем стать такой силищей, что и майор и кто повыше уберутся ко всем чертям. Так,— говорит,— умные люди сказывали...

И стал он нам разъяснять все в этом роде, но только обиняком. Слушаю я его, а сам думаю: «Слышал я эти сказки от учителя, еще когда в деревне жил. Нас всех за коммунизм избили, братец, а ты обиняками разговариваешь, почву нащупываешь. Ничего, берегайся, ведь твое дело нелегкое... царизм-то свалить. Ну а потом, когда узнаешь нас полуще, сам поймешь, что почва уже готова, осталось только семя в нее бросить. Такие вот, как майор, ее и вспахали».

И что ты думаешь: спустя два дня — мы еще сидели в карцере — Гитлер взял и напал на Россию. Тут-то, говорю тебе, и у нас всё зачалось... С того Пенлеве оно и пошло...

Иван умолк, погладил подбородок и задумался, словно прошлое снова проходило у него перед глазами.

— А в нынешнее время,— сказал он, глядя на меня с улыбкой,— солдатики поют весело.

— А что случилось с майором? — спросил я.

Лицо у повара вдруг сделалось строгим.

¹ Искаженное tête à tête (франц.) — с глазу на глаз.

— Получил, чего искал,— ответил он коротко и как-то неохотно.— Не миновало его... Ну, сейчас, брат, я тебя покину. Мы тут с тобой языки чешем, а меня работа ждет. Я ведь не такой лодырь, как ты.

Он встал и пошел на кухню. Немного погодя я услышал, как он там весело напевает:

Девчоночка чертовочка,
Девчоночка черто-о-о-вочка...

Воробьи все так же возбужденно чирикали на дереве. Кот грелся на солнышке, переваливаясь с боку на бок. Отдыхающие собирались в столовую обедать. Я сидел на скамейке, припоминая подробности смешного и тяжелого рассказа про Пенлеве, и улыбался. И день казался мне все более солнечным, а весеннее пробуждение земли напоминало о той могучей народной силе, про которую так просто и хорошо говорил телефонист Митко примолкшим избитым солдатам в карцере.

Перевод с болгарского
М. Клягиной-Кондратьевой.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЕДИНЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ С НАРОДОМ

(Письмо из Праги)

1956 год — год дискуссий и полемик, — так говорили в традиционных новогодних анкетах, проведенных чехословацкими газетами, многие работники культуры. Может быть, это — несколько поверхностное определение, но, в общем, оно правильно отражает оживление, наступившее в чехословацкой культурной жизни после XX съезда КПСС. Если вспомнить, с какими трудностями удалось редакции «Литерарних новин» в конце 1955 года развернуть предсъездовскую дискуссию, то пробуждение интереса писателей и работников искусства к жгучим проблемам нашего времени, столь характерное для 1956 года, кажется особенно разительным.

Свидетельством этого интереса был и второй съезд чехословацких писателей, происходивший в апреле минувшего года. Он прошел оживленно, даже бурно, и вызвал многочисленные столкновения различных точек зрения на страницах литературной печати. И это была не узкопрофессиональная полемика. Наоборот, в этой полемике подымались основополагающие вопросы: какова роль писателя и художника в социалистическом обществе, в чем их задачи? Сразу же было отвергнуто упрощенческое понимание роли писателя как простого иллюстратора давно известных истин. Сами писатели с полным сознанием ответственности заявили, что они должны не бездумно восхвалять новую жизнь, а быть активными участниками борьбы за нее. Во всем сказанном на втором съезде и после него ощущается повышенное чувство ответственности литераторов за дальнейшее развитие нашего общества, за построение социализма.

Наряду с этим выступления некоторых писателей вызывали опасения, как бы за честным стремлением нести большую ответственность за все происходящее не скрывалось в отдельных случаях желание смаковать трудности или под этим флагом клеветать на наш строй. Особенно усилились эти опасения, когда возник спор вокруг определения роли писателя как «совести народа». Это абстрактное понятие могло создать впечатление, что писателю хочет стать не участником борьбы за новую жизнь, а неким противовесом партийному руководству экономической и культурной жизнью страны.

Такова была обстановка в конце октября прошлого года, когда начался пленум центрального комитета Союза чехословацких писателей, который должен был заняться вопросами, возникшими в ходе дискуссии на втором съезде. В это самое время пришла первые сведения о событиях в Венгрии. Одно известие обгоняло другое, одно часто противоречило другому. Положение было чрезвычайно сложным и неясным. Возникали самые разные догадки и предположения. Но одно было бесспорно: социализму в Венгрии угрожает опасность, контрреволюция развернула широкую атаку против мира. Резкие критические высказывания некоторых наших писателей внушили нашим зарубежным врагам надежду на то, что писатели Чехословакии «находятся в оппозиции к правительству» и потому выразят свои симпатии венгерской контрреволюции или хотя бы молчаливое согласие с ней. Но эти надежды наших врагов только еще раз показали, как плохо знают они жизнь Чехословацкой Народной Республики. В этот момент ЦК Союза писателей принял резолюцию, в которой выразил возмущение попытками контрреволюции подорвать основы народно-демократического строя:

«Мы верим, что в жизни народов, строящих социализм, нет проблем, которые, как это показал XX съезд КПСС, нельзя было бы решить путем откровенной критики и самокритики. Но это, разумеется, возможно только при живой, крепкой связи всего

народа с Коммунистической партией и ее Центральным Комитетом. Всякое нарушение этой связи пагубно не только для решения важнейших жизненных вопросов, но в первую очередь для того, что создано ценой огромных жертв и самоотверженного труда народа. С тем большим возмущением видим мы, что враги социализма, злоупотребив благородным стремлением венгерского народа и его Партии трудящихся к дальнейшей демократизации общественной жизни и исправлению совершенных ошибок, развязали в Будапеште кровавую борьбу против правительства».

Это решительное заявление не оставляло сомнений в том, что писатели поняли все значение происходящих событий и, увлеченные своими творческими спорами, не перестали видеть классового врага по ту сторону рубежа. Чехословацкие писатели не растерялись перед лицом венгерских событий. Наоборот, эти события стали пробным камнем их патриотизма, ответственности и сознательности, побудили всех честных писателей теснее объединиться с народом. События развивались, и каждый день приносил все новые и новые известия. По поводу происходившего в Венгрии высказалось много писателей, каждый соответственно своему темпераменту, но в главном все были единодушны: что линия фронта в этой борьбе проходит между социализмом и империализмом, и все остальные споры имеют второстепенное значение.

Подчеркивая необходимость тесного единства писателя и народа, орган Союза писателей Чехословакии «Литерарни новины» писал: «В последнее время мы неоднократно сталкивались в нашей печати с опасениями, нет ли у наших писателей колебаний именно в самых важных вопросах, не уклоняются ли они от правильного пути. Есть вещи, к которым нужно относиться с величайшей серьезностью. Критика, принципиальная критика всегда нужна, и чем больше ее, тем лучше. Но было бы неправильно, оценивая точку зрения наших писателей, при каждом их критическом высказывании подозревать их в злом умысле... Десятки заявлений на страницах наших газет и журналов доказали, что при всем внутреннем брожении и некотором напряжении после съезда наши писатели сумели подчинить свои частные конфликты другой, решающей для защиты социализма проблеме и отдавали себе отчет в ответственности на главном фронте борьбы — между социалистическим и антисоциалистическим миром».

Да, наш народ понял опасность, угрожавшую миру во всем мире. Ни один честный чехословацкий патриот никогда не забудет того дня, когда по радио сообщили, что в Венгрии создано новое, Революционное рабоче-крестьянское правительство и по его просьбе советские войска пришли помочь ему в подавлении контрреволюции. Люди толпились около уличных репродукторов, радостно пожимали друг другу руки. Вся Прага с облегчением вздохнула после напряженных дней. Люди жаждали выразить свою радость. Праздничная демонстрация в канун Великой Октябрьской социалистической революции, пожалуй, никогда не была такой стихийно-массовой, такой воодушевленной. Староместская площадь в Праге не вмещала мощных потоков людей, стекавшихся со всех концов города. То тут, то там люди скандировали слова благодарности Советскому Союзу за его твердую принципиальную позицию, занятую им в столь сложной международной обстановке.

То же чувство охватило всю страну. И всюду серьезность момента поняли не только коммунисты, но все патриоты. Вот, может быть, незначительный, но характерный случай, рассказанный мне моим отцом, живущим в маленькой горной деревушке около города Моста. Там же живет семидесятилетний горняк-пенсиянер Бедржих Мужик. Когда-то он самоотверженно участвовал в социал-демократическом рабочем движении, но события последних лет прошли как-то мимо него. Он не понял их, прекратил всякую общественную деятельность, и все знали, что его симпатии отнюдь не на стороне Коммунистической партии. Но на этот раз он присоединился к демонстрации и горячо объяснял своим товарищам: «Я пережил две мировые войны, у меня дети, внуки и правнуки. Я не хочу, чтобы они пережили новую войну, и потому сейчас демонстрирую за мир».

Участие советских войск в борьбе против белого террора в Венгрии было воспринято народом Чехословакии как проявление пролетарской солидарности, как акт борьбы за сохранение мира, и чехословацкие писатели были единодушны в этой оценке со всем народом. «Литерарни новины» в передовой статье писали: «Можно ли, осо-

бенно в нашей стране, знающей, что такое фашистский гнет, сомневаться, что в последние дни перед созданием нового правительства Яноша Кадара Венгрия стояла перед опасностью установления фашистской диктатуры? Для нас совершенно ясно, что это означало бы для венгерского народа, для нас, для всего социалистического мира. Можно ли было в момент, когда зверски убивали десятки и сотни венгерских коммунистов, рабочих и просто честных патриотов, отвлеченно рассуждать о том, следует ли помочь венгерским товарищам? Помощь была оказана тогда Советской Армией по велению сердца и разума, она была делом пролетарской чести и ответственности. И если бы это стало необходимым, мы все пошли бы, как двадцать лет назад пошли чешские добровольцы в интернациональные бригады в Испании, на помощь туда, где подняли голову фашизм и контрреволюция, где истекают кровью и гибнут в неравной борьбе наши товарищи».

В дни, полные драматических событий, когда решалась судьба социализма не только в Венгрии, когда весь народ объединился вокруг Коммунистической партии, мало формальных заявлений о единении писателей с народом. Нужно было, как писали «Литерарни новины», создать единство, «вытекающее не только из доброй воли и лозунгов, но из упорных размышлений, из борьбы взглядов, из чувства ответственности перед народом». Бесспорно, такое единство писателей и народа создано в Чехословакии, и теперь необходимо его укреплять и защищать.

Прошлогодние литературные дискуссии и споры были выражением демократизации всей нашей жизни и усиления заинтересованности писателей в судьбах нашей страны. Но самым ценным итогом прошлого года является, несомненно, не формальное, а истинное, глубокое единство писателя и народа. И есть основания надеяться, что в ближайшее время оно проявится в художественном творчестве. А это, в конечном счете, является решающим для искусства.

МИЛАН ЮНГМАН.

Прага. Январь 1957 г.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

ВЕРА ДРИДЗО

★

НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА

В июне 1919 года старая большевичка Зинаида Павловна Кржижановская рекомендовала меня на работу во Внешкольный отдел Наркомпроса. Мне тогда было семнадцать лет, я нигде еще не работала, недавно кончила школу и, сразу перетрусив, все спрашивала Зинаиду Павловну:

— Ведь я ничего не умею, что же я буду делать?

— Ничего, ничего, начнете работать, а там посмотрим, на что вы пригодитесь, — отвечала она.

Внешкольным отделом тогда заведовала Надежда Константиновна Ульянова. Да, я не ошиблась — Ульянова. В те времена ее девичья фамилия — Крупская, под которой она так широко известна не только в нашей стране, но и за рубежом, была, года так до 1923-го, только ее партийным и литературным именем.

Зинаида Павловна привела меня к Надежде Константиновне. Поздоровавшись со мной и увидав мое смущение, Надежда Константиновна начала говорить о делах с Зинаидой Павловной, которая была ее заместителем по отделу и старым другом еще по работе в Петербурге, в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса». И лишь спустя некоторое время, когда я освоилась, она просто и ласково обратилась ко мне, спросила, где я училась, сказала, что хорошо знает моего отца, вспомнила, как он приезжал к ним за границу после побега из Сибири, рассказывал о своей работе в 1905 году в Казани и оказался тем самым рабочим Алексеем, который был известен ей и Владимиру Ильичу по письмам и корреспонденциям.

Меня направили в библиотечный подотдел и на первых порах поручили описывать библиотеки в старых барских особняках, которые были национализированы.

Надежда Константиновна вскоре уехала на агитпароходе «Красная звезда». Волга и Кама были только что освобождены от белых, пароход шел по их следам, на каждой остановке собирались многотысячные митинги. Надежде Константиновне приходилось ежедневно, а то и два-три раза в день выступать перед рабочими, крестьянами, красноармейцами. Она возвратилась в Москву, полная живых впечатлений, новых планов.

После приезда Надежды Константиновны меня перевели на работу секретарем президиума Внешкольного отдела, одновременно я выполняла поручения Надежды Константиновны. С этого времени и до февраля 1939 года, до смерти Надежды Константиновны, я была ее личным секретарем.

«ДУША НАРКОМПРОСА»

Внешкольный отдел ведал всей культурной и политико-просветительной работой среди взрослого населения. Знание рабочей среды, запросов масс, громадный опыт партийной деятельности под руководством В. И. Ленина помогли Надежде Константиновне сразу же наметить правильные пути. Она говорила, что всегда увлекалась агитацией и пропагандой.

Надежда Константиновна работала не только в области внешкольного образования. Начав учительствовать с юношеских лет, она всю жизнь углубленно занималась раз-

работкой с марксистских позиций вопросов педагогики, определением задач рабочего класса в деле народного образования.

В годы второй эмиграции Надежда Константиновна изучала работы русских и иностранных педагогов, знакомилась с постановкой школьного обучения в Швейцарии и во Франции. Итогом большой научной и практической работы явилась написанная ею в 1915 году книга «Народное образование и демократия», названная так из-за цензурных условий (она должна была называться «Народное образование и рабочий класс»). Этот первый марксистский труд по вопросам педагогики высоко ценил В. И. Ленин. Считая необходимым издание книги в России, он писал А. М. Горькому: «Многоуважаемый Алексей Максимович!

Посылаю Вам заказной бандеролью брошюру моей жены: «Народное образование и демократия».

Автор занимается педагогикой давно, более 20 лет. И в брошюре собраны как личные наблюдения, так и матерьялы о новой школе Европы и Америки. Из оглавления Вы увидите, что дан также, в первой половине, очерк истории демократических взглядов. Это тоже очень важно, ибо обычно взгляды великих демократов прошлого излагают неверно или с неверной точки зрения... Изменения в школе новейшей, империалистской эпохи очерчены по материалам последних лет и дают очень интересное освещение для демократии в России...»

Работа Надежды Константиновны «Народное образование и демократия» была издана только после революции, в 1917 году. Книга эта и до сих пор является одним из важнейших трудов по педагогике.

Создание новой трудовой школы, работа с учительством, организация дошкольного воспитания, детских домов, борьба с детской беспризорностью — все эти проблемы постоянно волновали Надежду Константиновну. Много сил и внимания она уделяла работе среди женщин, была одним из организаторов Союза молодежи и пионерского движения.

Вся моя жизнь, говорила Н. К. Крупская, связана с партией, с тем делом, которому она служит, и педагогика тоже всегда была подчинена интересам партии. Иначе я этого себе не представляю.

И недаром еще на первом съезде по народному образованию Надежду Константиновну называли «душой Наркомпроса». А. В. Луначарский так характеризует ее роль в деле народного образования в первые годы Советской власти:

«...Это были дни колоссального по своей широте творческого размаха, возможного только благодаря подготовленности и твердости педагогической мысли вдохновительницы Наркомпроса Н. К. Крупской».

Надежда Константиновна всегда работала с увлечением, а страстная принципиальность, партийный подход к любому вопросу увлекали и всех работавших с нею. Ее не только уважали как руководителя, глубоко знающего то дело, которым она занималась, как старейшего члена партии, но и просто любили как старшего друга и товарища.

Авторитет ее был безграничен. Достаточно было сказать: «Надежда Константиновна просила это сделать», и уж каждый старался выполнить поручение как можно лучше. Администрирование, навязывание своего мнения было чуждо Надежде Константиновне. Отношения к подчиненным отличались каким-то особенным, только ей свойственным, вниманием и тактичностью, умением с первых же слов понять, что представляет собой тот или иной человек.

Мне вспоминается, как однажды к Надежде Константиновне пришел один из сотрудников Внешкольного отдела, недавно начавший работать, с жалобой на то, что у него нет стола. Изложил он все это в несколько повышенном тоне.

Надежда Константиновна подняла на него свои милые серовато-зеленоватые глаза (она всегда говорила, что цвет глаз и волос у нее «петербургский») и сказала:

— Знаете что, возьмите мой, я как-нибудь устроюсь.

Страшно смущенный товарищ выбежал из кабинета, а присутствовавшая при разговоре З. П. Кржижановская возмутилась:

— На-а-а, — говорила она на самых басовых нотах, — Надежда! Да разве так можно! Ведь ты же заведующая.

Когда Надежда Константиновна рассказала об этом эпизоде Владимиру Ильичу, он весело рассмеялся и потом частенько подтрунивал над ее административными способностями.

Внешкольный отдел помещался в особняке какой-то богатой купчихи в Штатном (теперь Кропоткинском) переулке. Дом был построен в стиле «модерн», со всякими вычурностями. В нем был громадный двусветный холл, где разместилась канцелярия, все комнаты в первом этаже были роскошно отделаны. В кабинете Надежды Константиновны книжные шкафы были наверху, вокруг них балкон, на который вела витая лесенка, очень мне нравившаяся. В спальне купчихи, отделанной лимонным деревом и сиреневым шелком, разместился библиотечный отдел, а в гардеробной — библиографический.

Все сотрудники особенно не любили холл. Он был огромный, а так как по субботам мы сами мыли полы и убирали комнаты, то охотников мытья холла не находилось, и делали мы это по очереди. Надежда Константиновна, несмотря на слабое здоровье и категорический запрет врачей, всегда стремилась принять участие в уборке, но мы каждый раз дружно что-нибудь сочиняли — то уборка отложена на завтра, то нет мыла, то нет тряпок. На другой день, увидев, что все вымыто, Надежда Константиновна огорчалась и называла нас «бессовестными обманщиками». Но случалось, не помогали и наши хитрости, и она занималась уборкой вместе со всеми.

В то время в отделе бывало очень много народу, и постоянно, как говорила Надежда Константиновна, стояла «толчея непротолченная». Приезжали фронтовики, приходили работницы, рабочие, крестьяне, много молодежи, не говоря уже об учителях и работниках народного образования. Всем нужен совет, указания, нужны книги, буквари, бумага, карандаши. Всего этого не хватало.

Тяга к знанию была огромная, широко развертывалась работа по ликвидации неграмотности. Совнарком специальным декретом за подписью В. И. Ленина учредил при Наркомпросе Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации неграмотности. Эта комиссия работала под непосредственным руководством Надежды Константиновны.

Из посетителей того времени мне запомнились некоторые колоритные фигуры. Как-то зимой приехал с фронта за книгами и букварями молодой матрос — высокий, широкоплечий парень в матроске и бескозырке, пулеметные ленты наперекрест, бомбы у пояса. Холода тогда стояли жуткие, и мы достали ему ордер на пальто. На другой день он пришел очень сконфуженный, а мы покатались со смеху. На нем было прекрасное дамское каракулевое манто с закругленными по тогдашней моде полами, туго затянутое кожаным ремнем. Пулеметные ленты и бомбы дополняли картину. Матрос смотрел на нас умоляющими глазами: «Товарищи, помогите мне, дайте что-нибудь другое!» Но помочь ему мы ничем не могли.

Помню пожилого крестьянина, который приезжал по поручению общества за учебниками и пособиями для школы. Долго сидел он у Надежды Константиновны, рассказывая о том, что происходит в деревне, и все говорил, что ему нужны «ненаглядные вещи» — это он так называл наглядные пособия.

Как-то во Внешкольный отдел пожаловал английский корреспондент. Он побеседовал с Надеждой Константиновной, осмотрел особняк, а через некоторое время Владимир Ильич прочел в одной из английских газет статью под заглавием «First lady» — «Первая леди» (так называют в Англии жену премьер-министра). Корреспондент не пожалел красок, он описал, приврав с три короба, и очень простое, из дешевого материала, платье Надежды Константиновны, и ее ботинки с ушками, и просто зачесанные волосы. Был обрисован и барский особняк. Говорилось и обо мне: корреспондент сообщал, что секретарь Надежды Константиновны — молодая румяная девушка, плохо одетая, очевидно недавно приехавшая из деревни.

Владимир Ильич и Надежда Константиновна от души смеялись над всеми этими измышлениями, и Владимир Ильич часто потом подшучивал над Надеждой Константиновной, называя ее «First lady».

Времена тогда стояли тяжелые. В Москве было плохо с электричеством, не хватало топлива, с перебоями работал городской транспорт. Ходили только трамваи, причем цена за трамвайный билет достигала одно время восьми миллионов рублей.

В большинстве случаев приходилось идти пешком. Поэтому Надежда Константиновна, когда уезжала с работы, старалась захватить с собой тех сотрудников, кому трудно было добираться до дому, и усаживала в автомашину столько народу, сколько могло поместиться. Сначала она развозила всех по квартирам и только потом уж ехала к себе.

«УЧИТЬСЯ ЖИТЬ С ИЛЬИЧЕМ БЕЗ ИЛЬИЧА»

Тяжело переживала Надежда Константиновна смерть Владимира Ильича. Но не замкнулась в себе, не ушла в свое горе. Она нашла в себе силы и выступила на траурном заседании Второго Всесоюзного съезда Советов. Простая и проникновенная речь Надежды Константиновны потрясла всех. Она закончила речь призывом к коммунистам высоко поднять дорогое для Ленина знамя коммунизма, призывом к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к трудящимся всего мира сомкнуться дружными рядами, стать под знамя Ленина, под знамя коммунизма.

На следующий день после похорон Владимира Ильича Надежда Константиновна пишет полное скорби и величайшего мужества письмо близкому ей человеку — Ине Арманд (дочери Инессы Арманд, работавшей тогда вне Москвы):

«28.I.1924 г. Милая, родная моя Иночка! Схоронили мы Владимира Ильича вчера. Хворал он недолго в последний раз. Еще в воскресенье мы с ним занимались, читала я ему о партконференции и о съезде советов. Доктора совсем не ожидали смерти и еще не верили, когда началась уж агония... Сейчас гроб еще не заделали и можно будет поглядеть на Ильича еще. Лицо у него спокойное, спокойное. Стоял он в Доме союзов, было там все очень хорошо и торжественно и необычно. День и ночь шел мимо народ, смотрел на Ильича и плакал...

На улице был страшный мороз, но никто не обращал внимания, улицы были залиты народом и веяло духанием революции. Точно 17-й год. Думаю, что смерть Ильича сплотит партию и подымет работу. Хоронила Ильича единая партия и плакали одинаково все. Работать надо теперь...

Я взялась составлять из его сочинений популярную брошюру, — сборник самого важного и существенного, что он сказал, — и взялась уже за работу. Кажется мне, что сборник у меня выйдет. Потом буду помогать разбирать материалы в Институте Ленина, писать о пережитом. Сейчас больше всего хочется думать о Владимире Ильиче, об его работе, читать его.

Но надо будет и другую работу делать...»

В течение ближайшего месяца после смерти Ленина Надежда Константиновна почти ежедневно выступала на фабриках, заводах, в учреждениях с докладами о жизни и работе Владимира Ильича. Она говорила, что ее тянет к рабочим, что ей больше всего по сердцу бывать на фабриках: «Может и потому еще тянет туда, что рабочие постоянно говорят о Владимире Ильиче, и говорят очень уж хорошо. Работницы очень уж хорошо говорят. Ну, а потому, что я была связана с В. И., и меня стараются всячески приласкать — и заплачешь, так поймут... Правы были работницы, которые писали мне как-то в связи со смертью В. И.: «Не убивайся, посмотри, как хорошо всходят брошенные им семена». Это правда... Я все об этом думаю».

Сознание того, что ее работа важна и нужна, придало силы Надежде Константиновне. Она завалила себя работой. Только работа помогала ей жить.

Как-то, лет через пять, ей прислал письмо С. П. Жёлтышев, колхозник из Белокатайского района Башкирии. В 1917 году он был пулеметчиком в Смольном и охранял Владимира Ильича. Он вспоминал Октябрьские дни, Владимира Ильича. Надежда Константиновна ответила ему, завязалась переписка. В одном из писем к С. П. Жёлтышеву она писала: «Работаю с утра до вечера, только тем и держусь, а то после смерти Владимира Ильича трудно было бы выдержать».

Вскоре после XIII съезда партии, состоявшегося в мае 1924 года, на котором Надежда Константиновна выступила с докладом о культурной работе в деревне, она начала работать над воспоминаниями о Владимире Ильиче. «Пришлось много учиться, усилению перечитывать Ленина, учиться связывать в тесный узел прошлое с настоящим, учиться жить с Ильичем без Ильича», — писала она.

Ее воспоминания были так захватывающе интересны, что я, прочитав только что написанные две-три страницы, бежала к ней в комнату за продолжением. Мне казалось, что Надежда Константиновна скупо пишет, хотелось побольше подробностей. Эти замечания иногда даже сердили ее, но бывало, что она и припомнит еще что-нибудь, и уж, конечно, интересное.

Воспоминания Надежды Константиновны печатались в «Правде», «Большевике», выходили отдельными изданиями, были переведены на языки народов СССР, издавались за границей.

Алексей Максимович Горький писал ей из Сорренто:

«Дорогая Надежда Константиновна —

сейчас кончил читать Ваши воспоминания о Владимире Ильиче, — такая простая, милая и грустная книга. Захотелось отсюда, издали пожать Вам руку и — уж, право, не знаю — сказать Вам спасибо, что ли, за эту книгу? Вообще — сказать что-то, поделиться волнением, которое вызвали Ваши воспоминания...»

Далее Горький рассказывает о своих встречах с Владимиром Ильичем и заканчивает письмо словами:

«Вот так всегда он был на удивительно прямой линии к правде, всегда все предвидел, предчувствовал. Впрочем — что ж я Вам говорю это, Вам, которая всю жизнь шла рядом с ним и знаете его лучше, чем я и все вообще люди.»

По-видимому, не все знают, что Надежда Константиновна была и первым биографом Владимира Ильича. Краткая биография Ленина, написанная Надеждой Константиновной, впервые опубликована без подписи под названием «Страничка из истории Российской социал-демократической рабочей партии» в газете «Солдатская Правда» от 26(13) мая 1917 года. Владимир Ильич проредактировал эту биографию, внес в нее исправления и добавления.

Помимо биографии и воспоминаний, Надеждой Константиновной написано много работ, освещающих те или иные стороны жизни и деятельности Владимира Ильича, либо отдельные черты его характера, события, участником которых он был.

НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Вспоминаются ленинские дни 1936 года. В небольшой комнате дома по Малому Черкасскому переулку собралось человек сорок сотрудников газеты «Комсомольская правда». Молодежь, как всегда, интересовалась вопросами любви и дружбы и просила Надежду Константиновну рассказать, как встретились и подружились они с Владимиром Ильичем.

В первый раз Надежда Константиновна увидела Владимира Ильича на собрании питерских марксистов в 1894 году. Было это на масленице. Все собрались у Р. Э. Классона, якобы «на блины». До этого она слышала, что приехал, мол, с Волги очень образованный марксист, чрезвычайно серьезный, беллетристики никогда не читал и прочая и прочая. Потом познакомились они поближе, вместе работали, делились всеми мыслями. Владимир Ильич заходил к ней после занятий кружка, который вел с рабочими. Надежда Константиновна тогда учительствовала в вечерней воскресной школе для взрослых, многие ее ученики посещали кружок Владимира Ильича.

Когда Владимир Ильич заболел воспалением легких, Надежда Константиновна часто навещала его, рассказывала о том, как идет работа. Общие интересы и общее дело сблизили их, дружба постепенно перешла в любовь.

После ареста В. И. Ленина Надежда Константиновна писала ему через его родных, ходивших к нему на свидания. Она сообщала о работе организации, просила совета. В записках на волю Владимир Ильич спрашивал: «Есть ли в библиотеке книга о «Миноге» («Минога» — партийная кличка Надежды Константиновны) — так он узнавал, не арестована ли она.

Из тюремного коридора, которым заключенных водили на прогулку, Владимиру Ильичу был виден кусочек тротуара на Шпалерной улице. Он написал шифрованную записку Надежде Константиновне с просьбой прийти на это место в определенный час (она помнила, что это должно было быть в 2 часа 15 минут дня). Надежда Констан-

тиновна звала с собою свою приятельницу Аполлинарию Якубову, но та только посмеялась: «Нет, уж ты иди одна. Ведь он тебя хочет видеть, а вовсе не меня». Три дня подряд ходила Надежда Константиновна на Шпалерную улицу и проставала там часа по полтора. Владимир Ильич рассказывал потом, как он был очень огорчен, что ему так и не удалось увидеть ее хоть издали.

Вскоре была арестована и Надежда Константиновна. Получилось так, что, когда Владимира Ильича выпустили из тюрьмы, Надежда Константиновна еще сидела в «предварилке» (дом предварительного заключения), и им так и не пришлось тогда увидеться. По выходе из тюрьмы Владимир Ильич прислал Надежде Константиновне, через ее мать написанное «химией» письмо. В нем он говорил о своей любви к ней.

Надежду Константиновну освободили из-под ареста на поруки уже после отъезда Владимира Ильича в ссылку. Она жила в Петербурге в ожидании решения по своему делу, продолжала активную работу в «Союзе борьбы», давала уроки.

И вот, уже из Шушенского, куда он был выслан, Владимир Ильич написал Надежде Константиновне опять «химией» подробное письмо, в котором звал ее к себе, просил стать его женой. Надежда Константиновна рассказывала, что она ответила: «Ну что ж, женой так женой». Она говорила, что Владимир Ильич долго еще потом поминал ей этот ответ. (Часто спрашивала я Надежду Константиновну, почему она ответила именно так человеку, которого глубоко любила, и это большое чувство пронесла через всю жизнь. Для нее все уже давно было решено. И только смущением, застенчивостью и какой-то врожденной боязнью громких, напыщенных фраз можно объяснить такой ее ответ на письмо Владимира Ильича.)

Примерно через год последовало решение по делу Надежды Константиновны — трехлетняя ссылка в Уфу. Надежда Константиновна стала просить, чтобы ей разрешили отбывать ссылку в Сибири, в Минусинском уезде, в селе Шушенском. Жандармы смеялись и говорили:

— В первый раз слышим, чтобы человек сам просился в Сибирь.

Пришлось Надежде Константиновне сказать, что она невеста В. И. Ульянова. Ей было разрешено ехать в Шушенское.

В далекий путь Надежда Константиновна отправилась со своей матерью, Елизаветой Васильевной. Добирались и поездом, и пароходом, и на лошадях. Путешествие заняло три недели. И почти всю дорогу Надежда Константиновна держала в руках лампу с зеленым стеклянным абажуром, которую везла в подарок Владимиру Ильичу для его занятий.

Вскоре после приезда в Шушенское пришел грозный приказ от исправника: либо немедленно обвенчаться, либо Надежде Константиновне уезжать в Уфу. Пришлось венчаться, или, как говорила Надежда Константиновна, «пришлось проделать эту комедию». Товарищ по ссылке сделал медные обручальные кольца. Они долго хранились у Надежды Константиновны, а затем были ею переданы в музей В. И. Ленина.

С тех пор Владимир Ильич и Надежда Константиновна не расставались. Ссылка, эмиграция, революция 1905 года, снова эмиграция, первая мировая война, Октябрь 1917 года, гражданская война, первые годы Советской власти — все было пережито вместе...

Надежда Константиновна рассказывала все это тихим голосом, так сердечно и задушевно, что все слушавшие ее сидели, не шевелясь, взволнованные, задумчивые.

Много раз говорила мне Надежда Константиновна о том, как она и Владимир Ильич смотрели на семейную жизнь, что думали о соотношении личного и общественного. Она очень хорошо выразила это в выступлении на VI съезде комсомола:

— Надо уметь сливать свою жизнь с общественной жизнью. Это не аскетизм. Напротив того, личная жизнь обогащается благодаря такому слиянию, благодаря тому, что общее дело всех трудящихся становится личным делом. Она не становится беднее, она дает такие яркие и глубокие переживания, которых никогда не давала мешанская семейная жизнь. Вот уметь слить свою жизнь с работой на пользу коммунизма... с борьбой трудящихся за строительство коммунизма — это одна из задач, которая перед нами стоит...

Как будто о себе и Владимире Ильиче говорила молодежи Надежда Константиновна. И действительно вся их личная жизнь была неразрывно связана с тем делом, которому они посвятили все свои помыслы, весь свой ум, все свои силы,— с борьбой за победу коммунизма. «Никогда не было у Ильича ни семейной, ни кружковой замкнутости, столь характерной для старых времен,— писала впоследствии Н. К. Крупская.— Он никогда не отделял личное от общественного. Это у него сливалось в одно целое. Никогда не мог бы он полюбить женщину, с которой бы он расходился во взглядах, которая не была бы товарищем по работе...»

Надежда Константиновна рассказывала, что, когда они стали жить вместе, у них был уговор никогда ни о чем друг друга не расспрашивать, без величайшего доверия они не мыслили себе совместной жизни. И еще об одном договорились они: никогда не скрывать, если они изменятся друг к другу, а прямо сказать об этом.

Однажды Надежде Константиновне прислали на просмотр пьесу из жизни Владимира Ильича. Там было написано, что, когда к нему в ссылку приехала Надежда Константиновна, она стала его помощницей и они начали вместе переводить Веббов. Надежда Константиновна возмутилась и все говорила мне:

— Подумайте только, на что это похоже? Ведь мы молодые тогда были, только что поженились, крепко любили друг друга, первое время для нас ничего не существовало. А он — «всё Веббов переводили».

Сохранился отзыв Надежды Константиновны на одну из работ о Владимире Ильиче, где она пишет, говоря о жизни в ссылке: «Мы, ведь, молодожены были,— и скрашивало это ссылку. То, что я не пишу об этом в воспоминаниях, вовсе не значит, что не было в нашей жизни ни поэзии, ни молодой страсти».

Надежда Константиновна часто получала для просмотра произведения писателей и драматургов, где рассказывалось о Владимире Ильиче. Больше всего не нравился ей их нравоучительный тон. Владимира Ильича в большинстве случаев изображали поучающим, с указующим перстом. Она замечательно написала об этом в своей статье «О пьесах, посвященных Октябрю»: «...Ленина надо показывать в разговоре с рабочими не как какую-то «классную барышню», как презрительно любил выражаться Ильич, не как «наставника», а как человека, которому хочется убедить того, с кем он говорит. ...Ленин убеждает, растолковывает, что и как надо делать... Ленин — товарищ... Чуткое, внимательное отношение к людям должно быть присуще каждому коммунисту...»

Все это можно сказать и о самой Надежде Константиновне. Величайшая чуткость и отзывчивость, внимательное и, я даже сказала бы больше, ласковое отношение к людям никогда не влияли на принципиальное отношение к тому или иному вопросу. Невозможно себе представить, чтобы Надежда Константиновна решила какой-нибудь вопрос не в интересах дела, а под влиянием личной неприязни или симпатии к человеку. Интересы партии, интересы работы были для нее решающими.

В годы эмиграции на Надежде Константиновне лежала вся работа по связи, по переписке с нелегальными большевистскими организациями, с отдельными партийными товарищами. Владимир Ильич необычайно дорожил каждым известием из России. Все эти письма расшифровывала Надежда Константиновна. Поговорив с Владимиром Ильичем, она немедленно отвечала на каждое письмо — сообщала решения партии, указания и советы Ленина о том, как вести работу, что нужно сделать в первую очередь. Каждое письмо нужно было зашифровать, снять с него копию. Только благодаря тому, что она успевала снимать копии со всех писем, отправляемых в Россию, сохранился драгоценнейший партийный архив того времени. Отправкой людей и литературы тоже занималась Надежда Константиновна.

Старые партийные работники всегда с особой теплотой вспоминали ее письма. Как-то, дня за три до смерти Надежды Константиновны, когда она еще совсем не чувствовала себя больной, к ней приехали несколько старинных друзей, чтобы отпраздновать ее семидесятилетие. «Старики», как называли себя присутствовавшие, разговорились о далеком прошлом, о своей работе в подполье. Николай Леонидович Мещеряков рассказывал о том, как приятно было получить в ссылке письмо за

подписью Кати, Любы или Тани, которое после расшифровки оказывалось восточной от Надежды Константиновны, как эти письма подбадривали, вливали энергию, и уже не чувствовались одиночество и заброшенность, ощущалась крепкая связь с партией.

В 1905—1907 годах Владимир Ильич и Надежда Константиновна приехали в Россию. Надежда Константиновна была тогда секретарем ЦК партии, и по условиям конспирации им с Владимиром Ильичем приходилось жить нелегально и врозь.

Вспоминая о том времени, Надежда Константиновна рассказала мне об одном комическом случае. Товарищ, который выписывал ей паспорт для нелегального житья в Петербурге, не стал долго думать и сделал ее... дочерью Евгения Онегина — выписал паспорт на имя Прасковьи Евгеньевны Онегиной. Так Надежда Константиновна и жила с этим паспортом, не вызывая никаких подозрений. Только Елизавета Васильевна никак не могла примириться с тем, что ее Надя стала вдруг Прасковьей. Приходя к ней, она громко называла ее по имени, а когда Надежда Константиновна говорила: «Мама, да ведь я Прасковья» — каждый раз возмущалась: «Чтобы я родную дочь Надю да вдруг Прасковьей стала называть? Да ни за что!»

НЕОБЫЧАЙНАЯ СКРОМНОСТЬ

Нелегка была жизнь Надежды Константиновны. Тюрьма, ссылка, тяжкие годы эмиграции, бешеная травля Владимира Ильича в 1917 году, когда ему приходилось скрываться, постоянный страх за него, повседневная напряженная кропотливая работа. Только непоколебимая уверенность в правильности выбранного ею пути, величайшее мужество, которое было самой яркой чертой характера этой необычайно скромной, милой и удивительно деликатной женщины, помогли ей с ясным взором и поразительной выдержкой пройти весь свой долгий жизненный путь.

Надежда Константиновна рассказывала, как она привыкла экономить каждую копейку, всегда заботилась о том, чтобы купить что нужно подешевле, так как Владимиру Ильичу и ей иногда приходилось жить на партийные деньги. Они старались прибегать к этому как можно реже, а уж когда жили на эти деньги, расходовали их лишь на то, без чего нельзя было прожить.

Вспоминая о своей жизни с Владимиром Ильичем в 1909 году, в Париже, Надежда Константиновна пишет: «Чтобы получить книжки из коммунальной библиотеки, надо было поручительство домохозяйина, а он — ввиду нашей убогой обстановки — не решился за нас поручиться».

Партийные товарищи, бывавшие у них за границей, всегда подчеркивали необычайную скромность, с которой жили Владимир Ильич и Надежда Константиновна. И хотя часто были плохо устроены, плохо питались, хворали, никогда не хотели взять ни одной лишней копейки из партийных денег. Уговорить их сделать это не было никакой возможности.

И после Октября жизнь Владимира Ильича и Надежды Константиновны, их привычки отличались все той же необычайной скромностью.

Одевалась Надежда Константиновна не только просто, но даже как-то незаметно: темно-синее, черное или коричневое платье, чаще такой же окраски сарафан-безрукавка с темной кофточкой. Летом та же безрукавка, но только серого цвета, со светлой кофточкой. Ботинки или закрытые туфли на низком каблуке. Седые волосы гладенько зачесаны назад.

Надежда Константиновна настолько мало обращала внимания на вещи, что почти не замечала их. Уговорить ее сделать новое платье можно было только по какому-либо торжественному случаю — перед партийным съездом или конференцией. Тогда она соглашалась, что идти в старой одежде, пожалуй, неудобно.

Помню, однажды разговор зашел о том, что Надежде Константиновне совершенно необходима осенняя шляпа. Обычно все, что нужно ей, покупала Мария Ильинична или я. На этот раз Надежда Константиновна решила сама поехать в Мосторг. Молоденькая продавщица, увидев Надежду Константиновну, заволновалась и никак не могла подыскать что-либо подходящее. Надежда Константиновна успокаивала ее:

— Ничего, дитя мое, не волнуйтесь, сейчас найдется что-нибудь... Только ведь я старуха, и мне нужна шляпа «грибком».

Девушка совсем растерялась. Вокруг нас начал уже собираться народ — Надежду Константиновну узнали. Наконец прибежала старшая продавщица, и соединенными усилиями шляпа была выбрана.

Вообще Надежда Константиновна была очень жизнерадостным человеком, любила пошутить, посмеяться, с ней всегда было интересно, весело. Обычно за обедом Надежда Константиновна в лицах рассказывала Марии Ильиничне, что было сегодня в Наркомпросе, кто и за что на нее напал, кто как выступал на заседании коллегии или на каком-нибудь совещании. Надежда Константиновна всегда так удачно и комично это изображала, что мы от души хохотали, и Мария Ильинична сквозь слезы говорила:

— Ну будет тебе сочинять-то, Надя! Ты меня совсем уморила.

Обычно, когда Надежда Константиновна расстраивалась чем-нибудь на работе, она, придя домой, садилась штопать чулки или шить что-нибудь. Это действовало на нее успокоительно и через каких-либо полчаса Надежда Константиновна уже чувствовала себя, как всегда.

Любила она и попеть, или, вернее, подтянуть, чаще всего на прогулках. Начинали петь, как только выезжали из города, мы с Марией Ильиничной поем, Надежда Константиновна подпевает. Бывало, переберем все революционные песни, какие знаем, к кону принимаемся за молодежные и вот въезжаем в Горки уже с пионерской:

Здравствуй, милая картошка, тошка, тошка, тошка,
Пионеров идеал, ал, ал...

Как-то в Горках пошли мы с Надеждой Константиновной гулять, вышли за ограду парка, идем вдоль забора, взявшись за руки, и во весь голос распоем «Молодую гвардию». Вдруг из-за поворота выезжает телега Парнишка, правивший лошадей, увидав, какая «молодежь» поет «Молодую гвардию», так и повалился от хохота на телегу и потом еще долго оглядывался на нас.

Когда Надежда Константиновна бывала в хорошем настроении и ей хотелось меня посмешить, она пыталась изобразить, какие «жесткие» романы были популярными во времена ее молодости. Надежда Константиновна пела: «Под серебряной луной, на златом песочке, долго девы молодой я искал следочки...» Или: «Глядя на луч пурпурного заката...» И мы смеялись до упаду.

ДОМА И НА ОТДЫХЕ

Надежда Константиновна и Мария Ильинична продолжали жить вместе, в той же квартире. Мария Ильинична, как и раньше, вела хозяйство, заботилась о Надежде Константиновне. Тяжело им было без Владимира Ильича, но они крепились и все свое время отдавали работе.

Мария Ильинична была самой младшей в семье Ульяновых, моложе Владимира Ильича на восемь лет. С детства она любила его больше всех родных, а когда выросла и начала революционную работу, то привязанность ее укрепилась еще более. Владимир Ильич относился к сестре тоже с большой любовью и нежностью.

Двадцатилетней девушкой Мария Ильинична вступила в партию. Образованный марксист, преданнейший член партии, человек большого ума и горячего чувства, она вела серьезную партийную работу в Петербурге, Москве, Самаре, Саратове, Вологде, неоднократно подвергалась арестам и ссылкам. После Февральской революции и до 1929 года Мария Ильинична работала секретарем редакции газеты «Правда», руководила рабкорским движением, выращивая и поддерживая рабочих и крестьянских корреспондентов. Она была членом Центральной контрольной комиссии, в последние годы работала в Комиссии советского контроля.

Много интересного рассказала Мария Ильинична в своих воспоминаниях о Владимире Ильиче Ленине. Она написала книгу о своем отце — Илье Николаевиче Улья-

нове, нарисовала его обаятельный образ, показав, под каким влиянием рос и формировался Владимир Ильич. Она собрала и подготовила для публикации письма В. И. Ленина к родным, представляющие большую ценность.

Дни отдыха Надежда Константиновна часто проводила в Архангельском, расположенном в Подмоскowie, по Калужскому шоссе. Там бывали также Клара Цеткин, Глеб Максимилианович и Зинаида Павловна Кржижановские, Вера Рудольфовна Менжинская, Михаил Степанович Ольминский, Александр Митрофанович Стопани и другие старые друзья. Большой теннисный парк, совсем близко лес, небольшая речка — все это позволяло хорошо отдохнуть от напряженного труда.

Надежда Константиновна любила собирать грибы, но так как была близорукой, то мы ходили в лес вместе, к удивлению заядлых грибников, предпочитавших бродить по лесу в одиночку, чтобы держать в тайне свои заповедные грибные места. Часто все ходили гулять по дороге, ведущей к Калужскому шоссе. Дорога эта называлась у отдыхающих «Невский проспект».

Архангельское нравилось Надежде Константиновне и потому, что там всегда можно было походить с товарищами и поговорить обо всем, что ее волновало. Не терпела она только «пустопорожних» разговоров, как она выражалась. И все знали, что, стоит лишь заговорить о каких-нибудь пустяках, обывательщине, Надежда Константиновна тотчас же поднимется с места и, сказав: «я пошла», уйдет к себе в комнату. «Нет, нет, об этом я не буду рассказывать, — заметит кто-нибудь, — а то Надежда Константиновна сейчас скажет: «я пошла»...

В каждый свой приезд в Архангельское Надежда Константиновна обязательно заходила к Кларе Цеткин и подолгу беседовала с ней.

Надежда Константиновна рассказывала мне, что впервые она увидела Клару Цеткин во время первой эмиграции, в Мюнхене, когда та выступала на большом рабочем собрании. Надежда Константиновна и до этого много слышала о Кларе Цеткин, читала ее статьи. В первой нелегальной брошюре «Женщина — работница», написанной Надеждой Константиновной еще в ссылке под псевдонимом «Саблина» и изданной нелегально «Искрой», сказалось, по ее словам, цеткинское влияние. Потом они встретились и познакомились в 1915 году в Берне, где Клара Цеткин организовала Международную социалистическую женскую конференцию против империалистической войны.

Как-то Надежда Константиновна поехала в Ленинград, взяв меня с собой. Обратю в Москву мы уезжали в одном поезде с Кларой Цеткин. Запомнилась сцена на вокзале. Перрон весь заполнен ленинградскими работницами. Много знамен, цветов.

Горячая речь Клары на немецком языке кажется понятной и без перевода, она говорит о значении женского движения не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Потом выступила Надежда Константиновна. В наступившей тишине ее негромкий, такой характерный голос слышен всем. Она рассказывает о пламенной революционерке, руководительнице международного женского революционного движения, одном из основателей компартии Германии — Кларе Цеткин, о том, за что так любят Клару советские женщины. Далее Надежда Константиновна говорит о роли женщины — активного строителя коммунизма, женщины-матери, воспитательницы подрастающего поколения. С взволнованной приподнятостью выступают работницы.

Поезд вот-вот тронется. Клара Цеткин и Надежда Константиновна стоят на площадке вагона. Провожаящие машут платками, цветами. Надежда Константиновна улыбается, на глазах у нее слезы. Клара тоже плачет. Она прижимает руки к груди и все время повторяет: «Дорогая товарища! Милая товарища!»

Когда летом 1932 года Центральный Комитет Германской коммунистической партии известил Цеткин о том, что ей, как старейшему по возрасту депутату, предстоит открыть рейхстаг, и спрашивал, сможет ли она приехать, Клара, несмотря на болезнь и преклонный возраст (тогда ей исполнилось семьдесят пять лет), сразу ответила согласием.

Она хорошо знала, с какими трудностями и опасностью сопряжена эта поездка. Вся фашистская и полуфашистская печать начала бешеную травлю Клары. Но ничто не могло остановить мужественную революционерку. Забыв и об опасности и о своей неспособности, она стала собираться в путь.

Помню, как все провожали ее из Архангельского. Маленькая, хрупкая Клара, поддерживаемая под руки своим сыном Максимом Осиповичем и доктором, казалась такой беспомощной и слабой. Но это было только первое впечатление. Идя к машине, она как-то собралась, выпрямилась, и даже голос у нее стал другой. Доктор говорит шоферу:

— Только поезжайте помедленнее.

Клара живо оборачивается:

— Нет, нет, я люблю быструю езду...

Появление Клары на трибуне рейхстага бурно приветствует коммунистическая фракция, трижды раздается «Рот фронт!». Фашисты не посмели произнести ни слова. В полном молчании выслушали они и речь Клары, в которой она призвала к созданию единого рабочего фронта для борьбы против фашизма.

Последний год своей жизни Клара Цеткин, уже очень больная, провела в Архангельском. Она настолько ослабела, что не могла даже выходить к общему столу. И все же не переставала работать, диктовала статьи, брошюру о женском движении. Эту брошюру она передала Надежде Константиновне во время их последнего свидания в майские дни 1933 года, незадолго до смерти. Брошюра называлась «Что завещал Ленин женщинам всего мира» и кончалась призывом идти по пути Ленина.

Надежда Константиновна часто вспоминала свой последний разговор с Klarой в эти дни. Они говорили о росте колхозного строительства, о подъеме работы среди женщин, о том, как меняется лицо нашей страны. Клара мечтала, что поедет в самые далекие места Союза, в Среднюю Азию, к колхозницам. Она хорошо знала Кавказ, объездила его весь в 1924 году и об этой своей поездке написала книгу «На освобожденном Кавказе». Теперь ей очень хотелось посмотреть, как живут колхозницы в Средней Азии.

Но не сбылись мечты Клары. Летом 1933 года ее не стало.

Надежда Константиновна много работала дома. Обстановка в ее комнате была самая простая. Письменный стол, несколько стульев, диван, кровать, покрытая старым красновато-коричневым пледом Владимира Ильича, шкафы для одежды, для книг. На окне спускающаяся полотняная штора. Повсюду — на столе и даже на стульях — много книг, газет, папок с бумагами. На диванной полочке — третье издание Сочинений В. И. Ленина, которым она постоянно пользовалась.

У Надежды Константиновны был небольшой альбом с фотографиями Владимира Ильича, которые ей больше всего нравились. Альбом этот сделала по ее просьбе Варя Арманд, дочь Инессы Арманд, художница. Надежда Константиновна сама, по обычной своей привычке, вырезывала из газеты или журнала фигуру либо только голову Владимира Ильича. Варя наклеивала их на небольшие листки плотной темно-серой бумаги, потом листки сшила. Этот альбомчик Надежда Константиновна очень любила, и он всегда лежал у нее в столе.

На маленьком шкафчике стояли фотографии Владимира Ильича, Надежды Константиновны в молодости с матерью Елизаветой Васильевной Крупской и фотография Инессы Арманд — близкого друга Надежды Константиновны и Владимира Ильича.

Инесса Арманд была одним из крупных деятелей большевистской партии. Человек целеустремленный, волевой, страстный, Инесса, вступив в 1904 году в партию, все силы своего ума и сердца отдала делу победы рабочего класса. Она активный участник революционных событий в 1905—1907 годах и в Октябрьской революции; в 1917 году — член Московского губкома партии.

Царское правительство неоднократно преследовало Инессу, ей пришлось и отбывать тюремное заключение и быть в ссылке. Будучи в эмиграции, Арманд по заданиям В. И. Ленина вела большую партийную работу, принимала участие в ряде международных конференций, отстаивая позиции большевиков. В годы эмиграции она познакомилась и подружилась с Надеждой Константиновной.

Инесса — автор ряда работ, посвященных женскому движению. Ей принадлежит идея организации делегатских собраний, сыгравших такую громадную роль в первые годы Советской власти. Она умерла в 1920 году, проработав после победы Октябрьской революции лишь три года.

Надежда Константиновна очень любила и ценила Инессу. Написанная ею биография Арманда заканчивается так: «Хотелось бы, чтобы образ Инессы Арманда жил в сердцах всех, кому дорого освобождение трудящихся, в сердцах партийных товарищей, в сердцах рабочих и крестьянок».

Владимир Ильич и Надежда Константиновна хорошо знали не только Инессу, но и ее детей. У Инессы было пятеро детей, которых она горячо любила. После ее смерти Надежда Константиновна сердечно о них заботилась. Особенно дружила она с Иной и Варей. Обе они коммунистки, преданно работающие. Надежда Константиновна очень любила их, они были по-настоящему близкими ей людьми.

«ДЕЛ — ВЫШЕ ГОЛОВЫ»

Несмотря на большое сердце, Надежда Константиновна работала очень много. Вставала она рано, буквально чуть свет, и принималась за работу. Этот порядок не нарушался даже в отпуске.

Обычно я приходила к ней домой к девяти часам утра, и она отдавала мне уже готовую статью, отзыв на программы, письма, замечания на материалы, переданные ей накануне,— за утренние часы она успевала очень многое сделать. Все это было тщательно продумано, написано столь характерным для Надежды Константиновны мелким, четким почерком. Потом уезжала в Наркомпрос, а вечером либо выступление, либо заседание, либо спешная работа дома. Она говорила, шутя, что теперь всем, и ей тоже, приходится каждый день «учить дома уроки». И надо сказать, учила она эти «уроки» очень основательно.

Надежда Константиновна рассказывала, что она всегда была очень застенчива, или, как она выражалась, «дико застенчива». Когда ей пришлось, будучи учительницей в вечерней воскресной школе за Невской заставой, прочитать какую-то лекцию, она страшно волновалась, но лекцию прочла спокойно, а потом ушла в темный класс и разрыдалась. До революции говорила она мне, я совсем не умела выступать, а когда приехала в 1917 году в Россию и пришлось отстаивать линию партии,— тут уж я и забыла, что не умею выступать.

Но где бы Надежда Константиновна ни выступала, она никогда не ораторствовала, никогда не обращала внимания на форму доклада. На трибуне у нее с аудиторией всегда был разговор по душам. Это зависело не от количества присутствовавших — могло быть и пятьдесят и тысяча человек,— но каждый как-то чувствовал, что это именно с ним она беседует так душевно.

Надежда Константиновна настойчиво добивалась, чтобы говорили и писали ясным, доходчивым языком. Это раньше, говорила она, старались излагать все запутанно, туманно, создавали специальную терминологию, употребляли много иностранных слов, чтобы затруднить массам доступ к знаниям, отгородиться от масс. Теперь нам этот «жреческий язык», как она выражалась, не нужен. Сама же удивительно умела каждый сложный вопрос разъяснить очень простыми, понятными всем словами.

Все работавшие с Надеждой Константиновной знают, как она ценила коллективное мнение. Она никогда не работала в одиночку, всегда советовалась со своими работниками. Прежде чем решить какой-нибудь вопрос, всесторонне его продумывала, проверяла себя, выступала со своими предложениями на собраниях рабочих, на учительских конференциях, совещаниях библиотекарей, внимательно вслушивалась в то, о чем говорят товарищи.

Надежда Константиновна всегда вела громадную партийную работу, часто выступала на рабочих собраниях.

В одном из своих выступлений в 1932 году она так высказывалась о коллективной работе:

— Мы работаем коллективно не в том смысле, что все собираемся на собрания, а в том смысле, что мысль одного оплодотворяет мысль другого. Если человек сидит в одиночку в кабинете, он даст гораздо меньше продукции, чем если он будет проверять себя, говоря об этих вопросах, проверяя эти вопросы вместе с другими,

Надежда Константиновна придавала большое значение системе в труде и его учету. Она требовала от работников, чтобы они тщательно учитывали свою работу. В этом отношении Надежда Константиновна сама подавала пример. Ежедневно она записывала очень тщательно все, что было сделано за день: кто у нее был, какая статья написана, какие материалы просмотрены, где выступала. Потом подводились итоги — за неделю, за месяц, за год. Она говорила, что учет работы очень помогает ей организовать как следует свой рабочий день, помогает сразу заметить, чего не хватает, что недоделано.

У меня сохранились записи в тетрадке учета, которые вела Надежда Константиновна. Привожу итоговые данные за январь 1939 года: статей — 20, выступлений — 16, заседаний — 12, писем — 240. А вот подсчет за весь 1938 год: статей — 112, выступлений — 172, заседаний — 120, писем — 2 500.

В работе Надежда Константиновна была требовательна. Больше всего не любила людей равнодушных, легко со всем соглашающихся, не считающих нужным отстаивать свое мнение. Она ценила живых, инициативных людей, дравшихся за то дело, которым они занимались.

Надежда Константиновна хорошо знала жизнь, всегда была в гуще событий, постоянно встречалась с работниками, приезжавшими с мест, с учителями, политпросветчиками, рабочими, работницами, колхозниками, молодежью, пионерами.

Помню, как-то пришли к ней на прием ребята из одного украинского детского дома. Они вошли во главе с директором — торжественные, притихшие. Директор вызывает одного мальчика, и тот рапортует: отличников — столько-то процентов, успеваемости — такой-то процент, сборов — столько-то; потом рапортует другой, третий. Все ребята сидят тихо, никто даже не улыбнется. Надежда Константиновна послушала, послушала и говорит:

— Ну, а теперь расскажите мне, как вы живете, что делаете, во что любите играть?

Ребята смущенно переглядываются.

— Неужели вы не любите играть? — продолжает Надежда Константиновна. — А вот я, когда была маленькой, очень любила играть в пятнашки.

— Это в ловитки? — оживленно спросил один из мальчиков.

И все хором закричали:

— Любим, любим!

Дети стали наперебой рассказывать о том, как они играют, как учатся, чем интересуются. Рапорты и проценты были забыты, началась дружеская беседа. Надежда Константиновна расспрашивала детей, что им понравилось в Москве, и одна маленькая девчурка ответила: «А мне больше всего понравился слон». Каждый спешил рассказать о чем-то своем. Быстро пролетел час. Дети ушли веселые, улыбающиеся.

Как-то в Наркомпросе было совещание десятиклассников, на котором присутствовала Надежда Константиновна. Ребята обсуждали волновавший их вопрос: кем быть, что делать после окончания школы. Выступил один парнишка и говорит:

— Я слышал, что ученые скоро найдут способ продления человеческой жизни до трехсот лет. Я хотел бы жить до трехсот лет и все триста лет учиться: кончу один вуз — пойду в другой, кончу второй — пойду в третий.

Надежда Константиновна потом долго беседовала со школьниками, растолковала им, для чего они учатся, что учение — не самоцель.

На другом собрании старшеклассники говорили о выборе профессий. Одни хотели быть инженерами, другие — военными, летчиками, учеными. Много еще специальностей было перечислено, но никто не хотел быть учителем, просвещенцем. Когда Надежда Константиновна спросила, почему же никто не хочет быть учителем, несколько ребят ответили: «Что вы! Ведь мы хотим строить социализм». Пришлось Надежде Константиновне рассказать им о почетной роли учителей, о том, что они принимают непосредственное участие в строительстве новой жизни, воспитывая в коммунистическом духе подрастающее поколение.

Переписка Надежды Константиновны была очень обширна. В 1937—1938 годах она получала до 400—450 писем в день. Любопытны адреса на некоторых конвертах:

«Москва. Женорганизатору СССР Крупской», или: «Москва. Суд РСФСР. Председателю личных дел Крупской», или: «Москва. Бабушке Крупской», или совсем лаконично: «Москва. Крупской».

Надежда Константиновна с исключительной внимательностью отвечала на письма. Писала она обычно от руки и умела в немногих душевных словах подбодрить человека, указать ему правильное решение того вопроса, с которым он к ней обращался. Она очень дорожила письмами, и если случалось, что в какой-нибудь день я не передавала ей почты, то бывала страшно недовольна и спрашивала меня, что же случилось.

С присущей ей прямоотой и принципиальностью отвечала Надежда Константиновна людям, стремившимся избежать трудностей. В 1932 году к ней обратились две учительницы из Сокольского района, Северного края. Они хотели уехать из деревни, мотивируя это желанием получить высшее образование. Надежда Константиновна ответила им так:

«...Получила ваше письмо и передала его в школьный сектор с просьбой ответить».

От себя скажу следующее. Сейчас нужны громадные усилия, чтобы сделать нашу страну культурной. Благодаря низкому уровню культурности мы делаем массу ошибок. Мы проводим сейчас всеобуч. Не хватает педагогических сил. Это страшно мешает. Тот, кто уходит сейчас с педагогического фронта, дезертир с фронта строительства. По-моему, тот, кто сейчас думает о том, как ему получше устроиться, выйти в люди, и ради этого бросает необходимое дело, очень мало принесет пользы стране, даже если получит высшее образование.

Может, я пишу резко очень, но таково мое мнение.

Формально, может, вы и правы, вам ответит школьный сектор, а по существу дела неправы.

Н. Крупская».

В конце 1938 года одна учительница-комсомолка написала И. В. Сталину письмо о том, что она, имея высшее образование, не может жить и работать в деревне. Из секретариата Сталина письмо было отправлено наркому просвещения, оттуда — в Школьное управление, начальник которого переслал это письмо Надежде Константиновне с просьбой ответить учительнице, так как Школьное управление «затрудняется в ответе». Надежда Константиновна ответила немедленно. Ее ответ помог не только той девушке, которой он был адресован. Он помог многим и многим работникам просвещения, поехавшим на работу в деревню, лучше понять свою задачу. Вот выдержки из письма Надежды Константиновны:

«Вы комсомолка. Вы пишете, что Вы дочь социалистической Родины, любите ее... Если это так, то Вы не можете не понимать, что те достижения, которыми Вы так восхищаетесь, не с неба упали, что они завоеваны длительной, упорной борьбой. Вы... читали, надо думать, книжку Ленина «Что делать?», где говорится о том, что делать партийцу, как он должен быть готов к геройской борьбе и в то же время нести упорную повседневную работу, которая необходима для победы дела социализма...

Вы учительница, принадлежите к числу сельской интеллигенции, которая, засучив рукава, работает в деревне, понимая, что надо работать над поднятием культурного уровня села... Я думаю, причина Вашей небольшевистской фразы «не могу жить в деревне после того, как получила высшее образование», кроется в том, что Вы не ведете общественной работы, стоите в стороне от жизни села, не стремитесь поднять советскую общественность на борьбу за культуру.

Возьмите себя в руки, разверните пошире общественную работу...»

Надежда Константиновна написала также в общественные организации района о настроениях этой учительницы, просила обратить на нее внимание, помочь ей изжить нездоровые настроения, помочь наладить работу в школе.

«Дел — выше головы», — часто повторяла Надежда Константиновна. Она очень уставала, работала через силу. В письме к одному из товарищей Надежда Константиновна говорит: «...Я человек что называется «казенный», совершенно не располагаю своим временем. Дома бываю редко, и когда бываю — много спешной работы. Конечно, старухе пора бы жить немного иначе, но что поделаешь...»

Но «жить немного иначе» Надежда Константиновна не могла и не хотела. Даже находясь в отпуске, она с трудом отрывается от работы, тоскует, рвется в Москву,

Так, в непрестанных трудах и заботах, проходила жизнь Надежды Константиновны.

«...Вот и живем, мало спим, мало разговариваем вне рамок работы, спорим, ругаемся, мучаемся, растем, мечтаем, строим социализм», — пишет она в одном из писем.

«Ленинская хозяйка» — так любовно называли Надежду Константиновну крестьяне, приходившие к ней по делам.

Жизнь и работа Надежды Константиновны — «ленинской хозяйки», крупного деятеля нашей партии и государства, страстного пропагандиста ленинских идей — неотделима от жизни Ленина, неотделима от жизни партии,



ЛЕВ ЛЮБИМОВ

★

НА ЧУЖБИНЕ

Это было в 1949 году. Я приехал из Москвы в Ленинград и, взволнованный, утомленный переживаниями, охватившими меня в этом городе, зашел к вечеру в Русский музей. Там с новой силой нахлынула на меня волна воспоминаний...

В одном из залов нижнего этажа я остановился в изумлении: передо мной во всю стену висела репинская картина «Государственный Совет». Какая неожиданность! Я не знал, что это полотно в Русском музее и никогда не видел его в оригинале, хоть и изучил подробно в далекие времена. Свежесть, блеск репинских красок по-новому оживили для меня знакомую композицию. Несколько минут я смотрел на нее издали, затем подошел поближе, пристально глядясь в лица сановников Николая II. Мне всегда казалось, что репинское искусство достигло наибольшей силы и остроты именно в этих портретах, отражающих целое мировоззрение ушедшей эпохи. В этот день я был так возбужден, что мне и впрямь почудилось, будто в зале — живой Победоносцев с его мертвым взглядом и тонкими сухими губами, а надменный Витте непроницаемо усмехнулся, встретившись со мной глазами...

Я сел против картины и долго смотрел на нее, настолько занятый своими мыслями, что не заметил, как рядом со мной уселись еще двое посетителей. Их оживленный разговор вскоре прервал мое раздумье.

— Да нет же, — говорил один, — красная лента — это Станислава, А вот синяя — какая?

— Голубая, — отвечал другой, — это, вероятно, андреевская, раз в ней сам Николай. А синяя — не знаю. Может быть, Владимир?

Я оглянулся. Это были летчики: подполковник и капитан. Ленточки ордена Ленина и двух орденов Красного Знамени красовались на груди подполковника, орденов Отечественной войны и Александра Невского — на груди капитана.

Подчиняясь настроению, которое владело мной, я, неожиданно для самого себя, вмешался в разговор:

— Голубая лента — это действительно андреевская. А синяя — Белый Орел. Красная же, одноцветная, не Станислава, а гораздо выше — это лента тогдашнего ордена Александра Невского. Им награждались не боевые офицеры, а престарелые сановники.

Офицеры посмотрели на меня с интересом. Задали несколько вопросов: о мундирах, о том, какой пост занимал такой-то сановник или генерал. Расспрашивали обо всем этом, как о далекой странице истории или курьезах, выставленных в кунсткамере. Оба были, видно, удивлены моей осведомленностью.

— Откуда вы все это так хорошо знаете? — спросил наконец капитан.

Я рад был поговорить на тему, тесно связанную с моими переживаниями.

— Видите, там слева, у колонны, над стариками в лентах — молодой еще человек в раззолоченном мундире. Нашли? Это мой отец.

— Ваш отец!..

Я продолжал, не дожидаясь дальнейших вопросов:

— Он был тогда камергером и помощником статс-секретаря Государственного Совета. Но дело не в этом. Репин выделил его здесь, среди чинов Государственной канцелярии, то есть канцелярии Государственного Совета, в благодарность за сотрудничество. Мой отец был прикомандирован к нему в качестве консультанта. Репин

подробно осведомлялся о нраве, привычках каждого сановника, чтобы дать в портрете наиболее подходящую позу, особенно характерный жест. Отец всегда сопровождал его в Государственном Совете. Репин очень часто приходил на заседания, присматривая ко всему, обдумывая каждую деталь.

Мои собеседники слушали внимательно и серьезно.

— Когда все это было? — спросил подполковник.

— В самом начале столетия.

— А впоследствии что делал ваш отец?

— Он занимал довольно крупные должности: губернаторские и выше. Когда рухнул царский режим, отец был сенатором, гофмейстером, то есть вторым чином двора, и ожидал назначения в Государственный Совет.

— Он жив еще?

— Мой отец скончался в Париже... Я сам прожил там почти четверть века. На Родине я всего лишь год. Ровно тридцать лет тому назад выехал за границу из Петрограда, и вот сегодня первый день, как я снова в этом городе.

Оба офицера смотрели теперь на меня с тем же любопытством, как перед этим—на репинского Плеве или Победоносцева. Очевидно, и я казался им курьезом, которому место в кунсткамере.

Один из них спросил:

— Кем вы сейчас работаете?

— Занимаюсь литературным трудом.

— И как вы себя чувствуете на Родине после такого длительного отсутствия?

Я ответил словами, которые несколько раз повторял про себя в этот день:

— Как осколок старого мира, который нашел себе место в новом.

Мы вышли вместе и долго еще беседовали в этот вечер. Прощаясь, подполковник сказал мне:

— Вы должны рассказать советским читателям о вашей жизни и о том, как вы вошли в наш, советский мир.

— Думаю это сделать, — отвечал я.

Мне кажется, что срок теперь настал. В этих записках я расскажу о том, как я вырос, как выехал из России, как я жил на чужбине и что там видел, как после длительных сомнений во мне произошел перелом и я стал советским гражданином, как за мое участие в парижской русской газете «Советский патриот» я был выслан из Франции и как, наконец, я вновь обрел Родину.

Часть первая

Глава I

С Е М Ь Я

Прежде всего расскажу о своей семье.

Дед мой, Николай Алексеевич Любимов, занимал видное положение в Москве шестидесятых и семидесятых годов. В течение двадцати восьми лет он был профессором физики в Московском университете и опубликовал ряд научных трудов. Но политика и публицистика увлекали его не меньше, чем наука. Он помогал Каткову в редактировании «Русского вестника» и «Московских ведомостей». Победоносцев и граф Делянов считали его своим единомышленником, и многие его выступления вызывали осуждение прогрессивных кругов. В последние годы царствования Александра II им была опубликована серия очерков под общим заглавием «Против течения», в которых он доказывал «грозное сходство» этой поры с эпохой, предшествовавшей разгрому монархии во Франции, и настаивал на том, что революция фактически уже началась в России. По оценке автора одного из его некрологов, он «владел пером свободно и хорошо, писать умел красиво, образно и ядовито». Принимал участие в комиссии, ревизовавшей университеты, составил записку, обратившую на себя внимание царя, и, увы, считается одним из главных создателей ретроградного университетского устава 1884 года.

Как ближайший сотрудник Каткова в его издательской деятельности, дед мой находился в сношениях с виднейшими литераторами своего времени. Часто встречался с Гончаровым, Островским, Григоровичем, Мельниковым-Печерским, Майковым, Фетом, Плещеевым, Полонским, Апухтиным, Вс. Крестовским, Случевским (составившим обстоятельную его биографию), а переписка его с Достоевским имеет большое значение для изучения творчества великого писателя, политические взгляды которого во многом совпадали с его собственными.

Лев Толстой отзывался о моем деде неодобрительно. Вступив в переговоры о печатании первых десяти листов «Войны и мира», он писал жене (27 ноября 1864 года):

«Потом пришел Любимов... Он заведует Русским Вестником. Надо было слышать, как он в продолжении, я думаю, 2-х часов торговался со мной из-за 50 рублей за лист и при этом, с пеной у рта, по профессорски смеялся. Я остался тверд и жду нынче ответа. — Им очень хочется, и вероятно согласятся на 300...»

Так и случилось.

Напротив, Достоевский, бывший у деда по аналогичному делу, остался им, по видимому, доволен, так как сообщал жене (25 мая 1880 года):

«Денег у Каткова не спрашивал, но сказал Любимову, что может быть летом понадобится. Тогда Любимов ответил, что по первому востребованию вышлет куда я прикажу».

Когда Катков не захотел помещать в «Русском Вестнике» восьмую часть «Анны Карениной», Толстой писал жене (28 или 29 мая 1877 года):

«Злобу всю свою я излил на Любимова, которого встретил в вагоне, подъезжая к Москве. Но не слишком горячился. Помнил: «дух терпения и любви».

Как явствует из писем Достоевского, между ним и моим дедом также возникали разногласия, в частности относительно некоторых страниц «Преступления и наказания», в которых редакция усматривала «книгилизм», но до «изливания злобы» дело не доходило, разногласия были не столь велики.

Приехав в Москву, чтобы сдать в печать «Братьев Карамазовых», Достоевский писал жене (9 ноября 1878 года):

«Затем отправился... к Любимову. Того не застал, но встретила жена его, почти совсем еще моложавая дама (хотя есть взрослая уже дочь)... Пришел затем Любимов, удивительно любезный. Говорили о романе. Катков непременно хотел сам читать... Любимов обещал мне, по просьбе моей, ускорить чтение. «Я буду приставать к нему», сказал он. — После того пристал ко мне, чтоб я остался обедать «чем бог послал». Я согласился. И вот не знаю, так ли они всегда обедают, или был у них праздничный день (обедали кроме меня еще две дамы гости и один профессор Архипов). Закуска, вина, пять блюд, из которых живая разварная стерлядь по-московски. Если это каждый день у них, то должно быть хорошо им жить. Обед был очень оживленный».

О моем деде высказывалось много отрицательных суждений в связи с его реакционными взглядами и деятельностью как публициста, влиятельного профессора, а затем и одного из высших чинов министерства народного просвещения (он умер тайным советником и членом Совета министерства). Но в воспоминаниях современников можно найти и другие отзывы. Например, выдающийся русский физик Н. А. Умов, считавший себя учеником моего деда, положительно оценивал его научную и педагогическую деятельность, говорил об эффектных и грандиозных опытах, которые дед производил перед студенческой аудиторией. К. Случевский пишет по поводу публичного курса физики, прочитанного дедом в 1860 году, что как раз на этих лекциях впервые в России применено было электрическое освещение. Оно «было в то время такою новостью, что когда в день лекции, предметом которой было именно электрическое освещение, Н. А. осветил вечером... двор университета и прилегающую местность, на улице перед университетом образовалось катание экипажей и целое гуляние». Уже в наше, советское, время профессор Н. А. Капцов отметил, что «Н. А. Любимов привлек к работе в Университете и обучил знаменитого механика-демонстратора И. Ф. Усагина»:

«И. Ф. Усагин... девятнадцатилетним юношей служил в бакалейной лавке своего отца в Москве. Читая тайком разные книги, он увлекся сперва физикой Павлова, а потом и Любимова и соорудил своими руками в подвале под помещением лавки электрическую машину, гальванические элементы и тому подобные физические приборы. После

столкновения с отчимом, вызванного этими занятиями, Усагин решился написать письмо Н. А. Любимову. Любимов принял горячее участие в Усагине, вызвал его к себе на свидание и затем, «надевши ордена», самлично отправился в лавку отчима. Последний не смог ему отказать и отпустил от себя юношу. Любимов определил Усагина учеником в университетскую мастерскую и стал оплачивать из личных средств его содержание. Усагин должен был ежедневно являться к Любимову, который в продолжение шести месяцев обучал его арифметике, геометрии, алгебре и грамматике. Через год И. Ф. Усагин стал помощником Любимова на лекциях...»

Я не знал деда. Но взгляды его, вкусы и симпатии стали традиционно-непререкаемыми в нашей семье и наложили определенную печать и на меня как раз в те юношеские годы, когда формируется сознание человека.

Мой отец составил замечательную коллекцию, названную им «Собрание автографов и портретов государственных и общественных деятелей». В основу коллекции лег богатейший архив моего деда, а отец пополнял ее из собственного, тоже очень богатого архива, а также документами, приобретенными путем обмена. Покидая родину, отец сдал собрание на хранение в Академию наук. Оно было затем национализировано, и многие из входивших в него ценнейших рукописей опубликованы в различных советских изданиях.

Помню письма Гоголя, Льва Толстого, Тургенева, Гончарова, тридцать пять писем Достоевского, множество его черновиков, письма, большие рукописи Островского и Мельникова-Печерского, Тютчева и Майкова, письма, записки Менделеева и Мечникова, Чайковского и Репина... Но все это составляло лишь половину коллекции; другая состояла из писем и записок представителей государственной власти, с которыми находились в сношениях мой дед и мой отец. Особый отдел был посвящен иностранным писателям и государственным деятелям. В целом же собрание отражало прежде всего развитие русской культуры и историю императорской власти во второй половине XIX века.

Впрочем, в том, что касается русской культуры, в собрании имелись весьма внушительные пробелы. Не были в нем представлены, например, ни Герцен, ни Чернышевский, да и вообще никто из революционных демократов. Это объясняется очень просто: деду они не писали, а отцу были совершенно чужды, так как жили и творили вне того мира, в котором он вырос и которым замыкалось его представление о России.

Помню, как в ранней юности я по целым часам рассматривал собрание отца: пять огромных томов в роскошных кожаных переплетах с рукописями и портретами, наклеенными на картоне с золоченым кантом.

Вот, например, раздел Островского. Редкие фотографии знаменитого драматурга начиная с детских лет, его визитная карточка, карикатуры на него, программы первых представлений его пьес, письма его и в завершение оригинальная рукопись «Снегурочки». А вот другой Островский, родной брат драматурга, тоже добрый знакомый моего деда. Кто он? Мало кому это известно теперь, но отец чтит его как важнейшего сановника, влиятельнейшего министра государственных имуществ, при котором начал службу. Опять оригинальные фотографии: Островский в штатском и Островский в полном параде, визитная карточка Островского со всеми его званиями и должностями, письма Островского и в завершение (градация та же, что и для брата) — черновик докладной записки, поданной министром царю.

Отец распределял материал по мере его накопления, не придерживаясь какой-либо системы. Вот Лев Толстой в Ясной Поляне и письма его в редакцию «Русского вестника». А вот в кавалергардской каске «жандарм Европы» Николай I с грозным взглядом и туго перетянутым животом и указы, под которыми его подпись с огромным, необыкновенно сложным и всегда точь-в-точь одинаковым росчерком. Помню, как занимал меня этот росчерк в детские годы, вызывая восхищенное изумление.

Но больше всего занимали меня тогда листы плотной красивой бумаги (их было штук двадцать), покрытые несколько примитивными рисунками, исполненными синим и красным карандашом: лошадки, вальтрапы, ментики, кивера и опять лошадки, то скачущие, то на покое. Раздел, включающий эти рисунки, открывался большим портретом их автора — последнего русского царя. Отец мой был некогда секретарем комитета помощи голодающим, в котором председательствовал наследник, будущий

Николай II. Пока шло заседание, председатель, от которого члены комитета сидели на почтительном расстоянии, что-то сосредоточенно чертил. Отец собирал затем плоды этих трудов, и таким образом коллекция его обогатилась игривой вереницей красносиних коней.

С годами, однако, меня стало привлекать в собрании другое. Мне нравилось, что каждый раздел как бы воскрешал образ человека, которому был посвящен, атмосферу, его окружавшую, передавал аромат эпохи.

Верхи русской культуры (с изъятием явных «крамольников», которых власть никак не могла бы себе присвоить) чередовались с верхами чиновной России. Образ Победоносцева с таким же мертвым взглядом, как на репинской картине, вставал рядом с образами Гоголя или Чайковского. И чем внимательнее я просматривал собрание отца, тем неразрывнее переплетались в моем юношеском сознании русская культура и императорская власть.

Составляя свои альбомы, отец как бы следовал предначертаниям монархов. Русская литература нужна была власти для украшения: славой ее власть хотела увенчать скипетр царей. Эти альбомы хранились у отца в шкафу с дубовыми створками. А над шкафом висела большая репродукция репинского «Государственного Совета», чья пышная торжественность завершала облик России, выношенный дедом и отцом.

Как и дед, отец мой, Дмитрий Николаевич Любимов, отличался умением писать образно, красиво и посему славился впоследствии в Государственной канцелярии как мастер ясного изложения самых запутанных прений и законопроектов. В столетие Государственного Совета ему не только было поручено консультировать Репина, но и составить официальную историю этого учреждения. Камергерский мундир был ему наградой.

Когда он представлялся Николаю II, тот (очевидно, забыв пушкинский совет: «Не должен царский голос на воздухе теряться по пустому...») сказал, пощипывая бородку:

— Поздравляю вас, вы, как Пушкин, получили придворное звание за литературные труды!..

Отец обладал и даром рассказчика, хорошо известным в мире высшей петербургской бюрократии. Его как рассказчика высоко ценил Куприн. В «Гранатовом браслете» он пишет:

«За обедом всех потешал князь Василий Львович. У него была необыкновенная и очень своеобразная способность рассказывать. Он брал в основу рассказа истинный эпизод, где главным действующим лицом является кто-нибудь из присутствующих или общих знакомых, но так сгущал краски и при этом говорил с таким серьезным лицом и таким деловым тоном, что слушатели надрывались от смеха».

Александр Иванович Куприн был с нами в свойстве. Канва «Гранатового браслета» почерпнута им из нашей семейной хроники. Прототипами для некоторых действующих лиц послужили члены моей семьи, в частности для князя Василия Львовича Шеина — мой отец. Куприн был с ним в приятельских отношениях и очень ценил его как собеседника.

О «Гранатовом браслете» я расскажу ниже. Пока же отмечу, что Шеин и физически (стриженная светловолосая голова) и по своему характеру (мягкость, за которую его упрекает шурин) очень похож на отца.

Впрочем, о моем отце Куприн вспоминал не раз. Вскоре после своего возвращения на Родину, он опубликовал в «Огоньке» (№ 34, 1937 г.) рассказ «Тень Наполеона» с таким примечанием: «В этом рассказе, который написан со слов подлинного и ныне еще проживающего в эмиграции бывшего губернатора Л., почти все списано с натуры за исключением некоторых незначительных подробностей». Речь идет о моем отце. Рассказ написан в первом лице. Вот небольшая выдержка:

«Был я в 1906 году назначен начальником одной из западных губерний.

Нужно сказать, что в ту пору новоиспеченные губернаторы, отправляясь к месту своего служения, не брали с собой ничего, кроме легкого багажа... Все равно через два-три дня тебя или переведут, или отзовут с причислением к министерству, или прикажут тебе написать прошение об отставке по болезни. Ну, конечно, учитывалась

и возможность быть разорванным бомбой террористов... Но бомбы мы уже давно привыкли учитывать как бытовое явление.

Представьте себе — я ухитрился просидеть на губернаторском кресле с 1906 по 1913 год. Теперь, издали, гляжу на это явление, как на непостижимое чудо, длившееся целых семь лет

Властью я был облечен почти безграничной. Я — сатрап, я — диктатор, я — конквистадор, я — гроза правосудия... И все-таки не было дня, чтобы я, схватившись за волосы, не готов был кричать о том, что мое положение хуже губернаторского. И только потому не кричал, что сам был губернатором.

Под моим неусыпным надзором и отеческим попечением находились национальности: великорусская, польская, литовская и еврейская; вероисповедания: православное, католическое, лютеранское, униатское и староверческое. Теоретически я должен был обладать полнейшей осведомленностью в отраслях — военных, медицинских, церковных, коммерческих, ветеринарных, сельскохозяйственных, не считая лесоводства, коннозаводства, пожарного искусства и еще тысячи других вещей.

А оттуда, сверху, из Петербурга с каждой почтой шли предписания, проекты, административные изобретения, маниловские химеры, ноздревские планы. И весь этот чиновничий бред направлялся под мою строжайшую ответственность.

Как у меня все проходило благополучно, — не постигаю сам. За семь лет не было ни погромов, ни карательной экспедиции, ни покушений. Воистину божий промысел!

Я здесь был ни при чем. Я только старался быть терпеливым. От природы же я — человек хладнокровный, с хорошим здоровьем, не лишенный чувства юмора».

Все у Куприна верно по существу, за исключением мелочи: отец был в Вильне губернатором не семь, а шесть лет.

Самый рассказ состоит из трех отдельных эпизодов, объединенных в одно целое Куприным. Главный сводится к следующему.

В губернии, через которые проходила в 1812 году армия Наполеона, было послано предписание разыскать к торжествам по случаю столетия Отечественной войны стариков, помнящих нашествие французов. О них предполагалось доложить царю для награждения особыми медалями. Но где их взять? Ведь таким старцам надлежало бы иметь по крайней мере сто лет с небольшим. Отец поручил это дело особо расторопному исправнику. Тот (передаю по Куприну), как боевой конь:

— Ваше превосходительство, для вас хоть из-под земли вырою. Не извольте беспокоиться. Самых замечательных стариков доставлю. Они у меня не только Наполеона, а самого Петра Великого вспомнят!

Вот он и разыскал старика, выдавшего, дескать, Наполеона.

— Как видал? — отвечал слабым голосом старик, когда официальные лица стали его расспрашивать. — А тут вот, тут видел, где гумно. Значит, Наполеон стоял, а мимо него все войска шли. Ужасно как много войсков!

Все были в восторге. Но дело испортил кем-то заданный вопрос: какой из себя был император Наполеон?

Старик оживился, даже выпрямился.

— Какой он был-то? Ростом вот с эту березу, а в плечах сажень с лишним, а борода по самые колени, и страх какая густая, а в руках у него был топор огромнейший. Как он этим топором махнет, так, братцы, у десяти человек головы с плеч долой! Вот он какой был! Одно слово — ампирагырь!

Я почти дословно, с небольшими лишь сокращениями, процитировал Куприна.

Что правда в этом рассказе, а что вымысел — не берусь судить. Отец ведь, по свидетельству Куприна, часто сгушал краски. Таков был его юмор. Но юмор этот, ирония его, часто направленная против порядков, в поддержании которых он сам участвовал, дышали лишь в условиях того мира, где дед мой завоевал прочное положение и куда отец вступил уже твердой ногой. Вне этого мира, который подлинно стал для него родной стихией, где знал он чуть ли не каждого и чуть ли не каждый знал его самого, сама жизнь как бы теряла для него всякий смысл.

Да, губернаторство его действительно обошлось без явных насилий. Он, как мог, скрашивал руссификаторскую политику Столыпина и на всех постах проявил максимум возможной в его положении гуманности. Верховная власть пользовалась им, когда

считала выгодным проявить терпимость. Впоследствии симпатии, которые он заслужил, сыграли решающую роль при его допросе в ЧК.

Но в своих убеждениях отец был последователен и тверд. Он считал, что «свой», монархический мир надо защищать упорно, до конца, иначе — «погибло все».

Помню, как раз в Вильне он вернулся домой возмущенный, расстроенный и рассказал нам, что только что уволил урядника, который ударил крестьянина по лицу.

— Какой подлец! — говорил отец. — Как он смеет бить беззащитного человека! Как смеет компрометировать власть!

И он же часто повторял мне слова, сказанные ему министром внутренних дел Дурново:

«Революцию надо бить не стесняясь, прямо по голове. Горе нам, если мы промахнемся!»

Отца ужасали жестокость, издевательства над человеческой личностью каждый раз, когда он был их прямым свидетелем. Но он очень уважал Дурново, при котором был начальником канцелярии, и считал, что Дурново «спас Россию» в первую революцию.

Героиня «Гранатового браслета» княгиня Вера Шеина — дочь боевого офицера, татарского князя Мирза-Булат-Тугановского, «древний род которого восходил до самого Тамерлана».

Героиня действительных событий, вдохновивших А. И. Куприна, — моя мать, Людмила Ивановна Любимова, дочь Ивана Яковлевича Туган-Барановского (точнее — Туган-Мирза-Барановского, хоть он и дети его опускали в своей фамилии «Мирзу»), род которого, по преданию, восходит до самого Чингиз-хана.

Туган-Барановские — литовские татары. В далекие времена почти все они были военными и служили польским королям, а еще раньше некоторые из них командовали татарской конницей литовских великих князей. В России Туган-Барановские не были князьями, хоть герб их и увенчан княжеской короной, но не с крестом, а с полумесяцем.

Отец моей матери служил в гусарах, сражался на Кавказе, но рано вышел в отставку и так и прожил до смерти отставным гвардии штабс-ротмистром, сначала очень богатым помещиком, а затем лишь со средним достатком, так как большую часть состояния проиграл в карты. Помню его высоким, очень представительным стариком, образованным и светским, сохранившим навыки гусарства былых времен. Жена его, моя бабка, урожденная Монвиж-Моптвид, тоже происходила из старинного рода, ведущего свое начало от великого князя литовского Гедимина; но род ее захудал в России; представители его были тоже в большинстве военными, не занимавшими, однако, на русской службе видных должностей.

Профессор М. И. Туган-Барановский — самый выдающийся из моих родственников с материнской стороны — мой родной дядя, брат моей матери. Как указано в «Большой Советской Энциклопедии», он «один из видных представителей т. н. легального марксизма, в дальнейшем... открыто выступавший с защитой капитализма»; «среди русских буржуазных экономистов конца 19 и начала 20 вв. выделялся большой эрудицией в области истории народного хозяйства России». Он был министром финансов украинской центральной рады, а под самый конец жизни (он умер в 1919 году) посвятил себя исключительно педагогической и научной деятельности в Киевском университете и в Украинской Академии наук. Добавлю, что он был дружен со старшим братом Ленина — Александром Ульяновым. Ленин неоднократно упоминает его труды, давая им часто положительную оценку. Однако Ленин писал, что Булгаков, Струве и Туган-Барановский «старались быть марксистами в 1899 г. Теперь все они благополучно превратились из «критиков Маркса» в дюжинных буржуазных экономистов».

М. И. Туган-Барановский никак не фигурирует в «Гранатовом браслете». Но именно свойство его с Куприным (оба были женаты на сестрах, дочерях Карла Юльевича Давыдова — известного музыканта, директора С.-Петербургской консерватории, которого Чайковский называл «царем всех виолончелистов») сблизило писателя с семьей моей матери, где он и нашел канву для одного из своих самых замечательных произведений.

В период между первым и вторым своим замужеством моя мать стала получать письма, автор которых, не называя себя и подчеркивая, что разница в социальном положении не позволит ему рассчитывать на взаимность, изъяснялся в любви к ней. Письма эти долго сохранялись в моей семье, и я в юности читал их. Анонимный влюбленный писал, между прочим, что фамилия его «странная» — как потом выяснилось — Желтый (в рассказе — Желтков), что он служит на телеграфе (у Куприна князь Шейн в шутку решает, что так писать может только какой-нибудь телеграфист), в одном письме он сообщал, что под видом полотера проник в квартиру моей матери, и описывал обстановку (у Куприна Шейн опять-таки в шутку рассказывает, как Желтков, «переодевшись трубочистом и вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини Веры»). Тон посланий был то выпренный, то ворчливый. Он то сердился на мою мать, то благодарил ее, хоть она никак не реагировала на его изъяснения.

Вначале эти письма всех забавляли, но потом (они приходили чуть ли не каждый день в течение двух-трех лет) моя мать даже перестала их читать, и лишь моя бабка долго смеялась, открывая по утрам очередное послание влюбленного телеграфиста.

И вот произошла развязка: анонимный корреспондент прислал моей матери гранатовый браслет. Мой дядя, не будущий профессор, а другой — Николай Иванович (у Куприна Николай Николаевич), и отец, тогда бывший женихом моей матери, отправились к Желтому. Все это происходило не в черноморском городе, как у Куприна, а в Петербурге. Но Желтый, как и Желтков, жил действительно на шестом этаже. «Заплеванная лестница, — пишет Куприн, — пахла мышами, кошками, керосином и стиркой», — все это соответствует слышанному мною от отца. Желтый ютился в убогой мансарде. Его застали за составлением очередного послания. Как и купринский Шейн, отец больше молчал во время объяснения, глядя «с недоумением и жадным, серьезным любопытством в лицо этого странного человека». Отец рассказывал мне, что он почувствовал в Желтом какую-то тайну, пламя подлинной беззаветной страсти. Дядя же, опять-таки как купринский Николай, горячился, был без нужды резким. Желтый принял браслет и угрюмо обещал не писать больше моей матери. Этим все и кончилось. Во всяком случае, о дальнейшей судьбе его нам ничего не известно¹.

Может быть, читателю будет интересно знать, что представляли собой прототипы купринских персонажей.

Об отце я уже сказал. С княгиней Верой Шейной мою мать роднит только то, что обе были красивы, да разве еще «покатость плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах». Шейна — скорее замкнутая в себе женщина: такой образ, очевидно, казался Куприну более подходящим для объекта беззаветной страсти, не нуждающейся ни в каком поощрении. Моя же мать, несмотря на свои большие годы, до сих пор необычайно деятельна, жизнерадостна, подвижна. В годы первой мировой войны она отправилась на фронт в качестве сестры милосердия, организовала и возглавила санитарный поезд и два отряда Красного Креста, работала в окопах во время боев и была награждена (очень редкий случай для женщины) георгиевскими медалями всех четырех степеней. Именно матери я обязан в первую очередь бодростью духа в трудные минуты и тем, что сохранил в эмигрантской трясине душевные силы для самого важного шага в моей жизни.

В отличие от моей матери, сестра ее, Елена Ивановна Нитте, во многом точно представлена Куприным. Тетка в самом деле была замужем за очень богатым человеком, который нигде не служил, в самом деле собирала всякую старину, в самом деле перешла в католичество. Как и купринская Анна Николаевна Фриессе, она унаследовала больше, чем сестра, монгольскую кровь отца, и лицо ее тоже отличалось «до-

¹В 1910 году А. И. Куприн писал известному публицисту Ф. Д. Батишкову по поводу «Гранатового браслета»: «Это — помнишь? — печальная история маленького телеграфного чиновника П. П. Жолтикова, который был так безнадежно, трогательно и самоотверженно влюблен в жену Любимова (Д. Н. — теперь губернатор в Вильно)...» Тут неточность в отношении фамилии телеграфного чиновника. Эта выдержка опубликована в примечаниях к «Гранатовому браслету» в сборнике избранных произведений А. И. Куприна (Сочинения. ГИХЛ. М. 1954).

Любопытно отметить, что советский художник Н. Шеберстов, иллюстрировавший «Гранатовый браслет» (А. И. Куприн. «Рассказы». ГИХЛ. М. 1953), точно следуя описанию автора, изобразил Шейна и Николая чрезвычайно похожими на моего отца и дядю.

вольно заметными скулами» и «узенькими глазами, которые она к тому же по близорукости шурила».

В лице Анны Фриессе Куприн создает любопытный образ, состоящий из контрастов: кокетство и «глубокая, искренняя набожность», очень декольтированные вечерние туалеты, а под ними... власяница. Тут налицо поэтизация действительных черт Елены Ивановны.

Жизнь и смерть моей тетки очень характерны, в них отразились многие свойства того социального круга, к которому она принадлежала.

Овдовев, она вышла вторично замуж за петербургского сановника из остзейцев фон Тимрота, статс-секретаря Государственного Совета (Репин тоже изобразил его на своей картине) и впоследствии сенатора. Три украинских имения приносили ей сорок тысяч годового дохода, оклад и доходы мужа составляли, кроме того, более двадцати тысяч рублей. В дополнение к этим имениям она купила еще одно — небольшое, но с громадным домом-дворцом, в Курляндии, на берегу озера, где и жила летом, когда не уезжала за границу. Этот дом, как и огромная петербургская квартира на Фурштатдтской, буквально ломился от старинной мебели, картин, редкого фарфора, хрусталя. Но в расстановке вещей, в общем убранстве покоев не чувствовалось личного вкуса, души, они напоминали антикварный магазин. Всю жизнь моя тетка металась от религии к религии, от культа к культу: перешла в католичество, затем снова в православие, занималась спиритизмом, одно время была толстовкой. Хоть и афишировала сугубо христианские убеждения — проявляла по отношению к лицам, от нее зависящим, придирчивую, порой чисто ханскую властность. Назидательно говорила, что надо заботиться о народе, просвещать его. Но выражались у нее эти поползновения лишь так. В Петербурге, как и в деревне, она собирала каждое утро в гостиной свою челядь — лакеев, горничных, поварят, кучеров, конюхов, судомоек (в деревне — иногда гостил у нее — вместе с домочадцами в гостиную набивалось человек пятьдесят) — всем велела садиться и... прочитывала главу из Евангелия. Прислуга смотрела на это как на очередную повинность, в общем менее утомительную, чем прочие, а гувернеры-иностранцы втихомолку посмеивались над Еленой Ивановной. Драма моей тетки в конце концов заключалась в том, что она ничего не научилась любить по-настоящему: ни Евангелие, ни старинные вещи, ни народ. В ее душе была страшная пустота. В мире, где она жила, эту пустоту нечем было заполнить, и в общем тетка моя была глубоко несчастна. Так же примерно жила она и в эмиграции, во Франции. Дочь ее вышла там замуж за очень состоятельного человека; тетка ни в чем не нуждалась и квартиру свою в Ницце, на самом берегу моря, вновь обставила, как антикварный магазин. Овдовев вторично, она переехала к дочери. И вот, оттого что ничто не интересовало ее в жизни (а после смерти мужа уже и не было никого, кто подчинялся бы ее властности), она в семидесятилетнем возрасте покончила с собой, приняв большую дозу спотворного, которое, как выяснилось впоследствии, она долгое время покупала в разных аптеках.

Дядя мой, Николай Иванович, прототип Николая Николаевича, брата княгини Веры, тоже верно обрисован Куприным в том, что касается его заносчивости, резкости и отсутствия такта.

Николая Ивановича, в молодости очень красивого, я помню тучным, подчеркнuto осанистым, очень представительным человеком. Способный, даже одаренный, он также находился во власти тяготившей его душевной пустоты, которую, однако, как-то ухитрялся заполнить тщеславием.

Николай Иванович был не товарищем прокурора, как у Куприна, а служил в те годы все в той же Государственной канцелярии. Важность этого учреждения, с традициями, восходящими к Сперанскому, где все дышало помпезностью старого режима и где ему, молодому человеку, представлялась возможность ежедневно общаться с самыми высшими сановниками империи, пришлась по душе моему дяде. Чувствовал он себя там как рыба в воде и, несомненно, преуспел бы в Маринском дворце (где заседал Государственный Совет), не случись одного, совершенно неожиданного и крайне неприятного для него происшествия.

Старший брат его, Михаил, будущий ученый-экономист, в то время был близок к

революционерам. Это, однако, не отражалось на отношениях между братьями: поглощенные своими интересами, они проявляли друг к другу полную терпимость.

Однажды Николай Иванович дал переписать какие-то бумаги Государственной канцелярии бедному студенту, рекомендованному братом. Студент принялся за работу, как вдруг к нему нагрянула полиция. Изумление полицейских, вероятно, не знало границ. Бумаги Государственного Совета у человека, преследуемого за революционную деятельность!

Государственным секретарем был тогда пресловутый Плеве, который с такими делами не шутил. Он вызвал моего дядю и заявил ему:

— Преступления вы не совершили, и потому вам взыскания не будет. Рад вам сказать это.

Он сделал жест рукой и продолжал бесстрастно внушительным голосом:

— Но!.. Но Государственная канцелярия, которой я имею честь управлять, есть учреждение, столь близко стоящее к престолу, что чины ее, подобно жене цезаря, не должны навлекать на себя даже тень подозрения. Предлагаю вам сделать соответствующий вывод из моих слов.

В тот же день Николай Иванович был отчислен от Государственной канцелярии «по собственному желанию». Это был для него большой удар, сильно повлиявший в дальнейшем на его характер. Пришлось перейти на службу в куда менее «блестящее» ведомство: министерство путей сообщения. Там он и достиг генеральского чина, возглавив в качестве директора (хоть и вовсе не был инженером путей сообщения) канцелярию министра. На этом посту он стал подлинной грозой для своих многочисленных подчиненных и даже для начальников дорог, с которыми обращался точь-в-точь как с каким-нибудь Желтым. Мне рассказывали, что за его спиной часто повторяли пушкинские стихи о Езерском, который был схвачен при Калке:

А там раздавлен, как комар,
Задами тяжкими татар.

Накануне революции Николай Иванович заседал в Сенате. Активной роли он не играл, и это очень его тяготило. Ханское его властолюбие не находило выхода, и он старался отыгратья иллюзиями, лстящими его тщеславию.

Помню, как он не раз заезжал к нам невзначай в своем гофмейстерском, сплошь спереди расшитом мундире, в ленте, покрытый орденами, как чешуей (он был до них большой охотник и набрал множество, особенно иностранных).

— В чем дело, почему такой парад? — недоумевали все.

— Не успел переодеться, я прямо из Царского, — тихо, но так, чтобы все, его слышали, объявлял дядя.

Если были посторонние, родителям моим всегда становилось неловко. «Из Царского» — это значило из Царского Села, то есть от царя. Родители знали, что это вздор. Но время было такое, когда царь по совету Распутина или Протопопова то и дело перемещал своих сановников, так что кое-кто и впрямь мог поверить, что дядя неожиданно «вошел в силу».

После Октября Николай Иванович занялся самой сумбурной контрреволюционной деятельностью, напустил на себя вид конспиратора, намекал, что руководит важными «центрами», и хвалился своим участием в каких-то попытках освобождения Николая II. При этом рисковал всем во имя тщеславия. В дни, когда контрреволюция строила все расчеты на немцев, он забывал иной раз всякую конспирацию и, останавливая знакомых на Невском, хлопал себя по карманам пиджака:

— Вот здесь у меня письмо от генерала Гофмана, а тут от принца Рупрехта баварского...

Единомышленники Николая Ивановича шарахались в испуге от таких слов, которые он произносил чуть ли не во весь голос. А Николай Иванович шел, сияющий, дальше, в надежде на новую встречу.

Иным он задавал с глубокомысленным видом вопрос:

— Никак не могу решить... Когда войдут немцы и мне придется ехать на совещание с их главнокомандующим, надевать мне мои немецкие ордена или не надевать? Ведь мы все-таки в войне!..

После разгрома белого движения Николай Иванович обосновался в Варшаве. С годами тщеславие его несколько завяло. К тому же надо было подумать и о куске хлеба. Вспомнив, что его предки служили польским королям, дядя решил послужить Пилсудскому, стал польским гражданином (хоть так и не научился польскому языку) и даже, отрекшись от православия, в котором всегда видел оплот русской государственности, тоже перешел в католичество. Все это очень помогло ему устроить свои материальные дела. Польское государство выплачивало пенсию своим гражданам, бывшим прежде на русской, австрийской или немецкой службе. Как бывший сенатор Николай Иванович обрел право на пенсию чуть ли не высшего разряда и, таким образом, хоть и эмигрант, получал примерно столько же, как до революции сенатор в отставке.

Глава 2

ВОСПИТАНИЕ

В Петербурге моего отца расценивали как популярного губернатора, даже немного слишком популярного (не от либерализма ли?), а мать — как эффектную губернаторшу, умеющую объединить на своих приемах «всю губернию». С тем, что принято было называть «виленским обществом», у родителей были прекрасные отношения.

Особенность Вильны для назначаемых туда губернаторов заключалась в том, что это был один из самых значительных центров польской аристократии в пределах Российской империи. Отношения между ней и высшими представителями русской власти были весьма характерны. Русской власти польская аристократия импонировала своим богатством, пышностью, родством со знатнейшими семьями Европы. Русская власть ухаживала за ней, понимая к тому же, что это единственный класс польского общества, на который можно рассчитывать. Со своей стороны, польская аристократия кокетничала с русской властью (только с высшей, с мелкими чиновниками она гнушалась общаться), потому что эта власть охраняла «порядок», поддерживала ее социальное превосходство, а кроме того, расточала своим приспешникам многие блага. Польские магнаты были, в частности, очень падки на придворные звания. Когда, еще до назначения моего отца в Вильну, там состоялось открытие памятника мрачной памяти графу Муравьеву, Муравьеву-вешателю (при этом вешателю поляков), многие представители польской аристократии явились на это торжество: одни потому, что уже имели придворное звание и, значит, включились в русскую чиновную иерархию; другие — в надежде заслужить расшитый мундир и шляпу с плюмажем.

В результате такого взаимного кокетства установился даже довольно точно соблюдаемый этикет. На официальном приеме мой отец разговаривал с мужчинами из этого круга по-русски, но как только беседа принимала частный характер, он переходил на французский язык; с дамами же говорил только по-французски. Польша из интеллигенции, как правило, не рискнула бы появиться в театре в обществе русского офицера или чиновника. Но когда мои родители приезжали в роскошное имение графов Тышкевичей, от въезда в парк до крыльца выкладывался ковер, и даже в дождь хозяева встречали губернаторскую чету на нижней ступени наружной лестницы. Кроме риска и постоянных забот, о которых говорил отец Куприну, губернаторство в Вильне имело, как видно, и свои занимательные стороны.

В Вильне я провел раннее детство. Помню ясно громадный губернаторский дом с его бесчисленными покоями. Помню особенно бальную залу, площадью этак в двести квадратных метров. Когда не было гостей и отец был в хорошем расположении духа, он нас с братом катал в этой зале по паркету. Мы сидели на его халате, а он бежал, таща нас за собой, вдоль возвышавшихся во весь рост портретов трех Александров и двух Николаев. Помню пасхальный стол, за который в течение дня садились сотни людей. Помню, как мои гувернантки — француженка и немка — выбегали смотреть на отца, когда он выезжал на торжественный молебен, и ахали в восхищении от его мундира и белых панталон с золоченым лампасом. Помню, как в день его именин встречались у нас архиепископы православный и католический (это была чуть ли не единственная их встреча в году), враги, соперники по самому роду своих обязанностей,

как они молча целовали друг друга в плечо, молча отвешивали друг другу поклон и затем расходились на почтительное расстояние.

У ворот нашего дома постоянно дежурил городской, и я его вначале очень побаивался — такой он был уса́тый и грозный на вид. Зная это, моя мать вызывала его, когда была мной недовольна, и говорила:

— Если этот мальчик будет опять непослушным, вы его отведете в участок.

Городовой тарасил глаза и отвечал в нерешительности, очевидно не зная, как себя держать в подобных случаях:

— Слу-ушаюсь, ваше превосходительство!

Но такие меры устрашения скоро перестали на меня действовать. Я понял, что городской меня в участок никогда не отведет. Прозрел я в этом отношении благодаря одной простодушной женщине, пани Шмулевой, — согласно польскому обычаю, ее звали не по фамилии, а по имени мужа, — обездоленной виленской еврейке, приглашавшей к нам иногда для мелкой домашней работы.

Как-то увидев меня на коленях матери, пани Шмулева воскликнула с неподдельным изумлением в голо́се, совсем как в старом анекдоте:

— Такой маленький и уже сын губернатора!..

Да, очень рано осознал я социальное превосходство своего положения.

В том же возрасте как сын губернатора я причинил отцу неприятность как губернатору, которая чуть не испортила вконец его отношений с прямым начальником Столыпиным, председателем Совета министров и министром внутренних дел. Решающую роль сыграло в этом следующее обстоятельство: по тогдашней моде меня одевали девочкой, а я не мог дожидаться дня, когда мне наконец разрешат натянуть на себя брюки.

Виленский православный архиепископ Никандр был, как говорится, «на ножках» с моими родителями. Отца он обвинял в «излишней мягкости» к евреям и недостаточной заботе об утверждении православия, а мать — в том, что она в каком-то польском обществе разговаривала по-польски... Это был тупой и злобный черносотенец. Он подробно писал обо всем этом в Синод, а обер-прокурор Синода в свою очередь жаловался министру внутренних дел. Столыпин сердито указывал отцу, что в такой инверческой губернии, как Виленская, губернатору не подобает ссориться с главой православной иерархии. После длительных трений было заключено перемирие, и Никандр приехал к родителям с визитом.

Меня тщательно обучили, как надо подходить под архиерейское благословение, сложив руки ладонями кверху, как надо величать архипастыря, вообще как вести себя с ним.

Свидание происходило в большом кабинете отца. Вскоре меня туда вызвали. Как сейчас, помню всю картину. Мать, отец и Никандр сидели на диване. На всех лицах была улыбка — видно, беседа протекала вполне мирно. Я подошел к седобородому человеку в черной рясе, принял по всем правилам благословение, и он, очевидно довольный моим смиренным видом, погладил меня по голове и сказал ласково:

— Хороший мальчик, хороший. Но вот объясни ты мне, почему ты такой большой, а еще в юбке?

Не помня себя, я сердито взглянул на него и проговорил сквозь слезы:

— А ты-то сам тоже в юбке!

На лицах моих родителей выразилось смущение. Никандр посмотрел на меня сурово. Меня тотчас же увели.

Бранили меня долго, даже выпороли. Как мне говорили впоследствии, архиепископ, очевидно совершенно лишенный юмора человек, упрекнул родителей за мою дерзость, добавив, что все мне очень знаменательно и прискорбно. Вскоре, к неудовольствию Столыпина, он снова стал доносить на моих родителей в Синод, причем, как стало известно отцу, к прежним своим обвинениям присовокуплял еще новое: они, мол, воспитывают своих детей в духе свободомыслия и неуважения к высшим представителям православной церкви...

Я часто слышал за утренним кофе разговоры родителей о сложности местной обстановки. Кого, например, пригласить завтракать вместе с губернским предводителем (важным поляком и вдобавок обер-егермейстером, то есть первым чином двора)?

Такого-то генерала лучше не звать (он дурно говорит по-французски), но как сделать так, чтобы он не обиделся? Какую любезность оказать местному богачу, банкиру Бунимовичу? На бал его пригласить нельзя, он сам это понимает: еврей «немыслим» на балу у губернатора. Ну, а на небольшой обед с двумя-тремя важными губернскими чиновниками? Удобно это или неудобно? Как внушить директору гимназии, что он перебарщивает, систематически проваливая «инородцев»? Он ведь связан с Союзом русского народа и, если наступить ему на ногу, непременно пошлет донос... Что ответить вдовствующей императрице, когда она вновь будет спрашивать о часовне?

Все это были деликатнейшие проблемы, в разрешении которых и сказывалось губернаторское искусство. Последняя (касающаяся часовни) требует особого объяснения.

В начале столетия, при другом еще губернаторе, поезд, в котором Мария Федоровна «изволила следовать» к границе, вынужден был остановиться в пути из-за какой-то неисправности. Дело было летом. Марии Федоровне захотелось подышать свежим воздухом, она вышла из вагона, погуляла немного по лужайке и даже сорвала несколько цветков. Какие-то местные батюшки да исправники крайне обрадовались этому незначительному событию: громогласно объявили, что, раз царица осчастливила своей августейшей поступью эту лужайку, на ней нужно срочно воздвигнуть часовню. Немедленно приступили к сбору средств и оповестили о своем почине высшее петербургское начальство. Мария Федоровна была чрезвычайно тронута таким проявлением «народной любви». Но беда в том, что наложением новой подати на население все и ограничилось. Батюшки и исправники были довольны, а о часовне как-то все совершенно забыли. И вот каждый раз, когда Мария Федоровна должна была проезжать через губернию, отец приходил прямо в отчаяние. Любезно, но и настойчиво, мать царя неизменно осведомлялась у него по-французски (русскому языку она так и не научилась):

— А как моя часовня, господин губернатор?..

Десятки тысяч людей жили в Вильне в ужасающей нужде. Но что в рамках существовавших установлений можно было сделать, кроме помощи одному-другому? А потому, предоставляя моей матери заниматься благотворительностью, отец предпочитал видеть в этой нужде нечто закономерное, неизбежное. «Так ведь всегда было и будет!»

Впрочем, в одном вопросе, касавшемся благоустройства самого города, моя мать старалась добиться от отца коренного улучшения. Дело шло о замене допотопной виленской конки трамваем. Городские гласные одобрили смету, но отец отказался ее утвердить.

Как-то раз я услышал объяснение по этому поводу между родителями.

— Почему ты упорствуешь? — спрашивала моя мать. — За границей и в меньших городах — трамвай..

— А потому, — отвечал отец, — что боюсь вводить моих подчиненных в соблазн! Когда соберут деньги, кто-нибудь непременно их свистнет. Будет то же, что с часовой государыни.

Так Вильна и осталась при отце без трамвая.

Мне было тринадцать лет, когда меня отдали в Александровский лицей.

В этих очерках я не излагаю всей своей жизни, выбирая лишь то, что, на мой взгляд, наиболее интересно и характерно. Скажу только, что к этому времени я уже несколько раз побывал за границей, проучился два года в петербургской школе, где все преподавание велось по-немецки, много занимался с гувернантками и гувернерами и в результате владел французским, как русским, хорошо говорил по-немецки и прилично по-английски.

Младший класс лицея соответствовал четвертому классу гимназии. Мы, поступающие, имели о лицее представление как об учебном заведении с особыми традициями.

В чем же заключались эти традиции? И прежде всего что представлял собой самый лицей?

Императорский Александровский лицей помещался в Петербурге на Каменноостровском (ныне Кировском) проспекте, на углу нынешней улицы Скороходова, в большом здании с садом, воздвигнутом в конце XVIII столетия. Туда он был переведен в 1843 году из Царского Села.

Лицей давал среднее и высшее юридическое образование (с филологическим уклоном). Плата в этом закрытом учебном заведении была очень высокой: тысяча рублей в год, но сюда входили питание и полное обмундирование воспитанника. Особое внимание уделялось иностранным языкам. В помощь учителям в каждом классе дежурили поочередно воспитатели — француз, англичанин и немец. Разговаривать по-русски с ними не полагалось.

В лицей принимались только сыновья потомственных дворян. Формально привилегии лицея сводились к тому, что его бывшие воспитанники при зачислении на службу выгадывали один чин. Но по существу лицейские преимущества были очень велики: в лицее приобретались важные связи на всю жизнь, лицеистам открывались двери таких замкнутых учреждений, как канцелярии министерства иностранных дел, государственная, совета министров и кредитная, а оттуда в свою очередь открывался доступ к самым высоким постам.

Бутылочного цвета мундир, красные обшлага, серебряное шитье на воротнике, а в старших классах — золотое, треуголка, серая николаевская шинель до пят (с пелеринкой и бобровым воротником), да еще шпага в выпускной год! На фоне петербургских дворцов мы казались самим себе видением пушкинской поры. Романтическая дымка не мешала нам, впрочем, принимать, как должное, знаки почтения от соотечественников, которым не полагалось подавать руку, — капельдинеры, извозчики и швейцары неизменно величали каждого лицеиста «сиятельством»...

Традиции лицея были очень своеобразны: многие из них восходили к пушкинским годам, хотя в николаевское время и были извращены военной муштрой.

Жаловаться начальству на товарища не полагалось ни при каких обстоятельствах. Инциденты между товарищами разрешались курсовым собранием. В лицее курсами назывались выпуски, но курс уже в самом лицее образовывался, как коллектив. Второгодник оставался членом того курса, на который был принят при поступлении в лицей, и являлся старшим воспитанником по отношению к своим новым одноклассникам. Лицеист, совершивший поступок, несовместимый с лицейскими понятиями о чести, мог быть исключен с курса. Он имел право оставаться в лицее, но товарищи с ним не разговаривали.

Все воспитанники первого класса, самого старшего, были «генералами». Младшие товарищи, равно как и дядьки (прислуживающие), величали их «превосходительством». При этом не просто генералами, а генералами от чего-нибудь, подобно тогдашним генералам от инфантерии, кавалерии или артиллерии. Генералу от сада подчинялись садовники, генерал от кухни следил за питанием, генерал от танцев исполнял обязанности дежурного воспитателя на уроках танцев и т. д. Генеральские должности были выборными. Выше всех стоял генерал от фронта: он был хранителем лицейских традиций и имел право налагать кары за их нарушение. Вот пример:

Лицейское начальство разрешало курить только воспитанникам «университетских» классов. Согласно же негласному внутреннему распорядку, курить мог каждый, но, если при этом встречался старший воспитанник, надо было предварительно испросить его разрешение.

Предположим, я закурил в саду, прячась за деревом от начальства. За соседним деревом тоже стоит с папиросой лицеист, старше меня на один курс. Я его не заметил. Он подзывает меня.

— Доложите генералу от фронта, что вы закурили, не испросив разрешения старшего воспитанника.

Являюсь к генералу от фронта, становлюсь «смирно» и сообщаю о своей провинности.

— Я вас записываю, — объявляет он. — Останетесь в субботу на час.

Наступает суббота. Все, кроме записанных, уходят. Курсовой воспитатель (я не значусь в его списке наказанных:) осведомляется, почему я замешкался. Отвечаю:

— Запись генерала от фронта.

Он не спрашивает за что — это его не касается.

Согласно тем же правилам, установленным «генералами», лицеистам запрещалось сидеть в театре ближе седьмого ряда. Появление лицеиста в первых рядах считалось щегольством сомнительного вкуса. Лицеистам строго-настрого запрещалось ездить на лихачах. Лихачи — это для купчиков, то есть для людей совсем дурного вкуса.

Говоря о лицейских традициях, стоит вспомнить традиции другого, тоже привилегированного заведения — Училища правоведения, где военная муштра была сильнее внедрена при Николае I.

Это училище было основано после лицея. Правоведы старались подражать лицеистам, но, с точки зрения лицеистов, не всегда преуспевали в этом.

Старший правовед останавливал младшего и спрашивал его, например:

— Сколько шагов между вами и мной?

Младший мерил глазами расстояние и отвечал.

— А между мной и вами? — опять вопрошал старший.

Обязательный ответ гласил:

«Шаг старшего воспитанника несоизмерим с шагом младшего воспитанника».

В стенах лицея подобная «издевка» не практиковалась.

Хотя в обоих учебных заведениях условия приема были одинаковы, лицеисты стояли несколько выше по имущественному состоянию и родству. Между тем правоведам запрещалось пользоваться трамваем, а лицеистам разрешалось. В данном случае внутренний правоведский распорядок выражал опасение: «Как бы люди из другого мира не подумали, что мы недостаточно богаты», а лицейский — спокойную уверенность: «Мы знаем, кто мы, и нам безразлично, что о нас подумают люди из другого мира».

Перешеголяв правоведов, юнкера Николаевского кавалерийского училища должны были нанимать извозчика, как только выходили на улицу. А если молодому человеку хотелось пройти пешком, извозчик ехал с ним рядом. При виде такого юнкера, который, браво звеня шпорами, прогуливался по Невскому в шаг с... извозчицей клячей, мы говорили себе: «Вот недотянутый джентльмен».

В самом деле, кто были люди, которых мы считали из «другого мира»? Все, кроме нас, ибо в той или иной степени каждый из нас рос, как «сын губернатора». Лицей укреплял сознание, что мы прирожденные хозяева страны. Кто «мы»? Люди «дворянской культуры», то есть единственно «подлинной», которая выражает «все возможности России».

Пушкинское солнце осветило когда-то лицей, и лучи его еще доходили до нас. Поэтому дух лицея не был сугубо чиновничьим, казенным. Лицеисты даже мнили себя вольнодумцами, так как в силу исключительности своего социального положения решали себе отпускать шпильки по адресу самых высоких персон. Но опять-таки это «вольнодумство» дышало только в том кругу, где цвела «дворянская культура».

Лицей, вероятно, единственное учебное заведение, которому величайший национальный поэт посвятил несколько своих самых вдохновенных стихов. Чуть ли не каждый лицеист знал наизусть все пушкинское «19 октября», и мы гордились тем, что день лицейского праздника известен в России каждому образованному человеку. В лицее был богатейший пушкинский музей: им тоже гордились, но о пушкинских товарищах декабристах предпочитали не вспоминать. Кроме Пушкина, в лицее учился Салтыков-Щедрин. В лицее учился Я. К. Грот и многие еще лица, заслужившие почтенную известность в словесности и науках. Лицеистом был Петрашевский. Но из лицея вышли и такие столпы монархии, как князь Горчаков, граф Рейтер, граф Дмитрий Толстой. Со времени Горчакова чуть ли не все российские министры иностранных дел были лицеистами. Как в коллекции отца, верхи русской культуры неразрывно переплетались в «лицейском мире» с императорской властью.

Под нами, где-то очень далеко, глубоко, был народ. Мы находили в нем много симпатичных черт. Мы любили его пляски, его пение, и мы гордились его героизмом. Но нам не приходило в голову, что жить за его счет противоестественно и преступно.

В нашем сознании народ существовал для того, чтобы мы могли культивировать наш образ жизни, наш «хороший вкус», которым в юности кичились, пожалуй, больше всего.

Между народом и нами существовала еще прослойка, состоявшая из людей, у которых, по нашим понятиям, такого вкуса не было. В прослойку, демократическую по происхождению и по духу, входили люди, которых мы (как и они сами себя) называли интеллигентами. Наши отцы презирали этот термин и никогда не применяли его к себе. Ведь не было же его в пушкинские времена! Не было, когда никто еще не соперничал с дворянством... Откуда взялись эти люди? Как смеют претендовать на самостоятельное существование? Если культура — их цель, то почему они не стараются включиться в нашу, дворянскую, хотя бы на подчиненном положении? Да, на подчиненном: пока не отшлифуются по-настоящему.

Наши отцы ненавидели этих людей, которые врываются в их замкнутый мир, заявляя о каких-то правах и не признавая их превосходства. Мы следовали за отцами, не задумываясь над смыслом разгоравшихся противоречий, и старались подметить в этой новой, «противоестественной» прослойке такие черточки, которые питали бы наше высокомерие.

Прощаясь с коллегой, какой-нибудь молодой учитель, недавно приехавший из провинции, скажет, например: «Пока!» Это был для нас «конченный человек» («Что за словечко!», «Какой ужас!»). Нас уже не могли интересовать ни его идеалы, ни лишения, которые он, вероятно, преодолел, чтобы получить образование.

«Извиняюсь», «знакомьтесь», «мадам» — были для нас такими же жупелами.

Мы говорили про кого-нибудь:

— Это типичный интеллигент, он не бреется каждый день, ест с ножа и дамам не целует руки...

Или:

— Это не настоящая дама, это интеллигентка, она называет свою фамилию, когда ей представляют мужчин.

Весь смысл человеческого существования мы готовы были свести к точному знанию выработавшихся в «нашем мире» понятий и правил. Некоторые из них были как будто разумны, удачны. Но беда в том, что чуть ли не всю общественную жизнь мы рассматривали только под их углом. Толкуя, например, о сессии Государственной думы, старшие наши товарищи отмечали чаще всего только то, что один из лидеров «с левым уклоном» явился на открытие в смокинге: значит, спутал дневное собрание с обедом. На наш взгляд, дальше идти было некуда.

Где-то наравне с нами по отношению к народу стояла буржуазия, недавно родившееся сословие промышленников, фабрикантов, купцов-богачей. Отцы наши болезненно переживали их напор, торжествующее соперничество и лишь с боем уступали свои позиции. Но сыновья новых магнатов в лицей не попадали, и мы попросту не знали этого сословия. В лицее твердо поддерживался принцип, что только царская служба — благородное дело. Мы знали, что даже не происхождением, а близостью к престолу определялось до сих пор место каждого из нас в социальной иерархии. «В России, — объявлял Павел I, — аристократ тот, с кем я говорю и пока говорю». Купцов и фабрикантов царь не приглашал в свой дворец, а потому они не интересовали нас.

Итак, только мы. Правила, навыки, которыми мы так кичились, приобретали в нашем сознании самодовлеющее значение, которое в конце концов затемняло все остальное. Толстовская княжна Марья с первого взгляда узнает в Николае Ростове человека одинакового с ней круга. В уличной толпе, театре, поезде, чуть ли не на пляже каждый из нас должен был научиться распознавать себе подобных. Но, в отличие от княжны Марьи, он часто ничего не видел, кроме них. И эти люди составляли «наш мир».

Так лицей дорабатывал то, что нам уже давала семья.

Лицей формировал чиновников, выгодно отличавшихся отсутствием низкопоклонства, потому что уже в начале службы они часто считали себя выше своих начальников. Бывшие лицеисты, которых я помню, точно знали, что «приличный человек» должен быть одинаково далек от «недотянутого джентльмена» и пушкинского «перекрахмаленного нахала», часто по-своему были недурно образованы, изучив римское право и иностранные языки, но имели самое смутное представление о своем народе, о его нуждах, о том, что значит подлинный прогресс, что значит Россия и какие силы двигают историей.

Лицей был в течение ста лет преддверием русской государственности. Но по мере того, как разлагалось правящее сословие, он все больше поставлял этой государственности таких молодых людей, у которых, подобно дипломатам, описанным Толстым в «Войне и мире», «были свои, не имеющие ничего общего с войной и политикой, интересы высшего света, отношений к некоторым женщинам и канцелярской стороны службы» — и этими интересами замыкалось все их мировоззрение. А когда такие молодые люди становились пожилыми людьми, когда они достигали высших постов и в их руках сосредоточивалась государственная власть, они чаще всего проявляли себя Карениными. «Всю жизнь свою, — говорит Толстой о Каренине, — Алексей Александрович прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с отражениями жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самой жизнью, он отстранялся от нее. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, спокойно прошедший над пропастью по мосту и вдруг увидавший, что этот мост разобран и что там пучина».

Для толстовского Каренина этой пучиной была измена жены, для сановников Николая II — революция.

Глава 3

НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

Еще до лицей у меня произошла встреча, оставившая воспоминание на всю жизнь.

Уходя от приятеля, я спутал двери и вместо передней оказался в гостиной. Там сидели хозяин дома — важный генерал, его жена, еще интересная дама, и странный чернобородый человек, на которого я тотчас обратил внимание. Странность его заключалась в том, что это был мужик, самый подлинный по внешнему виду, но мужик праздничный, разукрашенный, в шелковой голубой рубашке, синих шароварах и лакированных сапогах. Как попал он в гостиную?

С детской чуткостью я сразу угадал, что хозяева смущены моим появлением. Но было уже поздно. Я поздоровался, и они, очень почтительно обращаясь к странному человеку, представили меня ему, назвав при этом должность, которую занимал тогда мой отец. Тон их примерно был тот же, что у моих родителей, когда они разговаривали с вилениским архиепископом. Да и бородач в шароварах сказал мне совсем как тот: «Хороший мальчик, хороший» — и покровительственно хлопнул по плечу.

Я поспешил ретироваться, а когда спросил у моего товарища, так и не вошедшего в гостиную, кто это, он ответил:

— Распутин.

Об этой встрече вспоминал я особенно часто летом 1916 года по дороге из Петрограда на фронт. В офицерских вагонах, в станционных буфетах имя Распутина буквально гремело. Его бранили на все лады, обвиняли в том, что он продает немцам Россию. Совершенно не стесняясь, офицеры называли одновременно императрицу. Дома и в лицее я тогда еще таких разговоров не слышал, и они рождали во мне смущение, а вместе с тем какое-то веселое чувство, как часто бывает в юности перед грозой или необычными и волнующими событиями. Больше же всего дразнил мое любопытство сенсационный характер таких разговоров: мне шел только пятнадцатый год.

Почему же, спросит, вероятно, читатель, ехал я в таком возрасте на фронт? Тайком, что ли, от родителей? Как юный доброволец, рвущийся в бой?

Нет, геройства с моей стороны не было, не было и побега, и эту поездку организовала сама моя мать.

Как я уже отмечал, старый режим имел для привилегированных лиц занимательные стороны. В самом деле, возможности их были поразительны.

На Западном фронте наступило затишье. Санитарный отряд, возглавлявшийся моей матерью, был отведен в тыл на продолжительный отдых. Воздушные налеты были в ту войну редким явлением. Вот моя мать и решила, что месяца два в отряде будут для меня приятными каникулами и в то же время полезной школой. А чтобы я не забывал английского языка, меня отправили туда вместе с гувернером-англичанином.

Доехали мы благополучно до последней станции, где-то на барановичском направлении. Но там произошла путаница. Высланный из отряда автомобиль запоздал. По

шоссе то и дело проходили машины, и мы решили не дожидаться. Однако для нас обоих места ни в одной не нашлось, так что гувернер и воспитанник оказались разьединенными. На каком-то повороте машины разминулись: та, где сидел гувернер, умчалась в сторону. В результате я приехал в отряд через час, а гувернер пропал на целые сутки.

На другой день мою мать вызвали по телефону из штаба какой-то далекой дивизии.

— Хотите услышать бесподобную историю? — сказал знакомый генерал. — Представьте себе, ко мне доставили чуть ли не с передовой линии какого-то англичанина в нашей санитарной форме, который обращался к идущим в окопы солдатам с одним и тем же вопросом: «Где миссис Лубимов?» По-русски — ни слова! Да и по-английски мало что может объяснить. Говорит, что его удостоверение осталось у вашего сына. Ехал в отряд, а в какой — не знает, вообще ничего не знает и своим начальством признает только «миссис Лубимов». В полной растерянности, изнеможен. Я его накормила и уже выслал к вам с провожатым.

Фронтной мой опыт невелик.

Погоны у меня были особые: с серебряным галуном, как у «чиновников без чина» (была такая категория). Но, несмотря на скромность моего официального положения, санитары вытягивались, когда я к ним обращался: я был для них прежде всего сыном попечительницы.

И все же этот опыт приоткрыл мне на миг какую-то завесу.

Рядом с нами отдыхала кавалерийская часть. Проходя через ее расположение, я слышал громкий, обрывающийся голос и увидел офицера, распекающего солдата. Офицер был шуленький, совсем молодой, он очень горячился и размахивал руками. Рослый, усатый и уже пожилой солдат стоял перед ним навтыжку. Глаза его были опущены, губы вздрагивали, но он ничего не отвечал.

— Я тебе покажу — прохаживаться с папиросой в зубах! Да еще честь не отдавать офицеру! Скажешь: не видел!.. А на что у тебя глаза, дурак?

Язык у офицера немного заплетался, и я понял, что он выпил.

— Небось не пикнешь сейчас! Испугался? Знаю я тебя! — продолжал офицер, все более возбуждаясь.

Вдруг он как-то дико вздернул рукой и ударил солдата.

Тот не шелохнулся, только лицо его стало, как полотно.

Это ли с новой силой взорвало офицера или, ударив раз, захотелось ударить еще?

И снова звук пощечины.

— Получил?

Сунув руки в карманы, офицер отошел нетвердой походкой. Солдат продолжал стоять неподвижно.

Сцена эта страшно меня поразила. Вспомнил возмущение отца: «Подлец, бьет беззащитного человека!»

Я спрашивал затем у многих офицеров, часты ли подобные случаи. Ответы были уклончивы. Никто этого не одобрял, но большинство и не возмущалось, предпочитая переводить разговор на другую тему. Только один старый полковник сказал мне прямо:

— Это срам. Но ничего против этого не поделаешь. Без буйства не обойтись, пока господ офицеров не будут наказывать за такие дела. Всякие ведь бывают люди... Вот и хочется кой-кому покуражиться над безответным мужиком.

Мне хотелось утешиться мыслью, что на это способны только армейские «недотянутые джентльмены». Недаром же сочинили стишок про мариупольских гусар:

В морду бьют на всем скаку
В Мариупольском полку.

Но компромиссного объяснения не получилось. Я узнал, что солдат бьют по лицу и в самых первых полках гвардии.

— Да, бывает, хоть и реже, чем в армейских частях... — с неудовольствием отвечал на мои вопросы гвардейский ротмистр — Вот война пройдет, может, и с этим пончим, — добавил он и тоже заговорил о другом.

«Наш мир» казался мне избранным, достойнейшим, и потому я ухватился за эту смутную надежду. Она ведь позволяла и мне не задумываться над подлинными основами нашего строя.

Сестры жили в избах или в палатках, куда выписанные на фронт камеристки приносили «тебы» для обливаний и ведра с горячей и холодной водой. В отряде было весело. Незадолго до этого всему составу пришлось работать на передовых позициях под сильным огнем. Отряд понес потери, и теперь все радовались передышке. Моя мать считала, что в палатке удобнее, и поселила меня с собой. Но вскоре я простудился, и меня перевели на ночь в лучшую, «фрейлинскую» избу — обе сестры, ее занимавшие, были фрейлинами двора. Доктора признали воспаление легких. Так и окончилась моя «боевая эпопея».

Меня отвезли в Минск. Незадачливого губернатора отправили в Петроград, а вместо него выписали оттуда мою старую няню.

В Минске я пролежал около месяца в лучшей тогда гостинице «Европа». Моя мать наезжала в город (где был штаб фронта), останавливалась в соседней комнате и часто приводила ко мне лиц, ее навещавших.

Помню, раз ввела она двух очень важных особ: бывшего министра земледелия Кривошеина, с горя возглавившего после отставки краснокрестные организации Западного фронта, и генерала, командовавшего одной из армий этого фронта.

Кривошеин часто бывал у нас в Петербурге; о нем родители говорили как о видном политическом деятеле, честолюбивом и одаренном, которому симпатизирует Дума, так как он покинул свой пост из-за разногласий с царем. Оба вошли, продолжая начатый разговор.

— Не унывайте, Александр Васильевич, — басил командарм, пропуская вперед Кривошеина. — Ваше время скоро придет!

— Не думаю... Я ведь не из фаворитов Григория Ефимовича, — отвечал тот с деланной улыбкой.

— Но так дальше продолжаться не может, — возражал генерал, — С этим прохвостом будет скоро покончено.

— Дай-то бог, дай-то бог! Пора!

Затем оба сделали вид, что интересуются моим здоровьем, и заговорили с моей матерью о другом.

Этот Григорий Ефимович, которого старый боевой генерал называл прохвостом, с чем, очевидно, соглашался его собеседник, царский статс-секретарь, был Распутин, фаворит царя и царицы. Опять сенсационный характер таких речей (и в таких устах!) поразил меня. Кажется, именно после этого разговора у меня проявился острый интерес к политике.

Вскоре по возвращении в Петроград я вновь услышал о Распутине уже по поводу, непосредственно касающемуся моего отца.

После Вильны отец занимал ряд довольно значительных постов: был директором департамента государственных имуществ, затем товарищем главноуправляющего высоким учреждением, именуемым «Собственной его величества канцелярией по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых» (эта должность по рангу соответствовала товарищу министра и давала право на личный доклад царю). В начале войны, когда царское правительство решило ухаживать за поляками, он отправился в Варшаву в качестве помощника генерал-губернатора по гражданской части, а позднее вступил в полное управление всеми польскими губерниями, но это уже не имело особого значения, так как там были немцы... Фактически отец оказался не у дел, считал, что это несправедливо, и приписывал заминку в своей карьере враждебному отношению все того же Распутина и «распутинцев».

В это время приехал к нему совершенно неожиданно некий архимандрит от имени петроградского митрополита, пресловутого Питирима. Архимандрит заявил, что Питирим очень хотел бы видеть отца на посту обер-прокурора Синода, то есть министра по делам православной церкви. Если он даст согласие, то митрополит будет настаивать на его назначении перед лицом, от которого это фактически зависит. Ответ желательно получить немедленно, так как лицо это «будет завтра же у владыки».

Предложение Питирима сулило назначение на один из самых высоких постов в государстве. Но отец отвечал уклончиво. Его удивили как самая форма предложения, так и неожиданная благосклонность к нему митрополита. Отец был близок к Кривошеину и прочим опальным сановникам, порицавшим «распутинскую политику». Между тем Питирим считался одним из главных ее проводников. Не было ли тут какого-то сложного маневра с его стороны?

Отец заявил архимандриту, что даст ответ лишь на официальное предложение.

Такового предложения не последовало. Очевидно, лицо, которое ждал Питирим, высказалось против кандидатуры отца. Кто же был этот таинственный человек, от которого зависели министерские назначения? Вскоре знакомый отца, занимавший в Синоде значительное положение, рассказал ему, что как раз в указанный день Питирим принял у себя Распутина...

Теперь в нашем доме только и говорили об этих делах. Я стал зачитываться газетами. «Как интересно! Как поразительно!» — думалось мне. Не я один, многие мои сверстники из того же круга развились раньше времени (хоть и односторонне), наслушавшись вокруг себя тревожных речей с постоянными присказками и возгласами: «Куда мы идем?!» «Это неслыханно!» «Так продолжаться не может!..»

Словно дело шло об авантюрном романе, мы жадно следили за развитием событий, но сущность их совершенно ускользала от нас.

С осени 1916 года весь лицей охватила лихорадка. Но прежде чем говорить об этом, расскажу об одном событии, происшедшем в его жизни.

Над директором лицея стоял попечитель, обязательно бывший лицеист. На место умершего Ермолова был назначен на эту должность граф Коковцов.

Ермолова я хорошо помню. Это был очень важный сановник, много лет занимавший министерский пост. В бюрократическом мире его прозвали «навозным жуком», и как я мог убедиться, не без некоторого основания. Лицейская семья оказалась не без уroda: в самом деле, трудно было представить себе более неряшливого, нечистоплотного человека!

Вскоре после моего поступления в лицей Ермолов неожиданно явился в наш класс. Маленький, неуклюжий и в то же время удивительно пронырливый на вид, он больше всего напоминал гоголевского Землянику. Приехал в засаленном вицмундире, даже звезда его казалась в пятнах. Пока шел урок, непрестанно ковырял в носу, ушах и зубах. Я потом слышал, что он обычно вел себя так даже во дворце.

После урока нас выстроили. Ермолов обошел фронт, все мы представлялись ему. И вот тут-то этот непривлекательной внешности человек удивил весь класс своими... познаниями. Нас было около тридцати человек: он знал, кто отец каждого! При этом каждому умел сказать «подходящее».

Меня, например, спросил, понравился ли родителям варшавский дворец, служивший им резиденцией. Чарыкову, сыну бывшего посла в Турции, похвалил красоты Босфора. Молодому графу Уварову объявил, что он похож на своего предка, министра Николая I. Всем было приятно. Служебный успех «навозного жука», очевидно, объяснялся и его даром дипломатического обхождения. Вместе с тем этот дурно одетый и мало представительный человек умел в разговоре резко откидывать голову назад, сразу напоминая собеседнику, что перед ним статс-секретарь царя.

Назначенный на его место граф Коковцов считался еще сановнее. Он был в прошлом не только расторопным министром финансов, но и премьер-министром.

Коковцова я часто встречал впоследствии в Париже, где он стал директором банка, не раз беседовал с ним. Это был в некотором отношении типичнейший Каренин: всю жизнь проработав в сферах служебных, он видел не самую жизнь, а только ее отражения. Но в том, что касается способности разбираться в них, он, вероятно, не имел себе равных. Коковцов представляется мне законченным олицетворением канцелярской машины. Он изучил досконально все ее винтики и упивался своей осведомленностью, считая ее выражением подлинного государственного ума. Но в первую очередь упивался он самим собой. Я не припомню более самовлюбленного человека. В бюрократическом мире Коковцов славился словообилием, речь его текла, как ручеек, причем решительно все вопросы политики, управления умел он сводить к собственной персоне.

По случаю первого приезда нового попечителя все классы были выстроены в актовом зале, по обе стороны портрета Александра I, «кочующего деспота» и «плешивого щеголя», которому Пушкин все же готов был простить многое за две памятные удачи: «он взял Париж, он основал лицей».

Хоть Коковцов был ростом еще меньше Ермолова, он всегда производил впечатление своей важностью — такая уж у него выработалась осанка. Холеный, медлительный в движениях, напыщенный. Говорил он нам чуть ли не полтора часа. Мы стояли навтыжку. В середине речи что-то дрогнуло в строю — это подхватили лицеиста, с которым сделалось дурно. Через полчаса опять: вынесли второго. А Коковцов все говорил, причем темой его давно уже был не лицей, а он сам и его неусыпная деятельность.

Ермоловыми и Коковцовыми заканчивается предпоследняя страница самодержавия. Они выражали затхлое мировоззрение, отживший, выхолощенный строй, но они питали в себя рутину власти и старались охранить свой бюрократический престиж.

Последняя страница самодержавия — это царство проходимцев, не уважающих ни собственной власти, ни самих себя, царство безответственных авантюристов, политических шутов, просто жуликов, царство, как говорили тогда, темных сил.

Осень — зима 1916 года.

Как только мы в отпуске, то есть не в лицее, летим на Невский, в кинематограф (тогда не говорили «кино»). Какие фильмы! «Поэма страсти» или «Под знаком скорпиона», «Тайнственная рука», «Вампиры» и еще заманчивее — «Отдай мне эту ночь».

Лихорадочно покупаем «Вечернее время» или специальный выпуск «Биржевки». Их чтение столь же захватывающе, как самый потрясающий фильм с убийствами или разведением.

Милоков публично обвинил царицу в измене! Пуришкевич, сам правый Пуришкевич, громит распутинцев с думской трибуны!

Мы в курсе самых скандальных интриг, распутинских сатурналий. Как и дома, в лицее уже не говорят ни о чем другом! Сейчас нас больше всего занимает Штюрмер, распутинский ставленник, на которого рассчитывают в Германии.

Под напором Думы царь скрепя сердце увольняет Штюрмера. Еще до своего премьерства этот старый хитрец, проныра, подхалим (так его теперь все величают) как-то заезжал к отцу по служебным делам. Отец острил, что вся его каверзная персона притаилась в бороде, удивительно длинной и напомаженной, словно вылепленной из глины. Он давно знает Штюрмера, всегда считал интриганом и теперь радуется его падению.

Чтобы позолотить фавориту горькую пилюлю отставки, царь жалует ему на спину обер-камергерский бриллиантовый ключ! Мятлев, великосветский памфлетист, чьи стихи ходят по петербургским гостиным, спешит отточить новую шпильку по адресу высшей власти. Весь лицей, от старших классов до самого младшего, знает его стишок, мигом облетевший великокняжеские дворцы, все гвардейские офицерские собрания, все важнейшие канцелярии, редакции всех газет и кулуары Государственной думы. Да извинит меня читатель, что привожу эти четыре строки с неудобопроизносимой концовкой, — они уж очень характерны для предфевральской поры:

Не обижайся, мир сановный,
Что ключ алмазный на холопе!
Нельзя ж особе столь чиновной
Другим предметом дать по

И все мы заучили другой мятлевский стишок, пожалуй самый знаменитый:

Аннушка гадает,
Гришка прорицает..
Про то попка ведает,
Про то попка знает.

Так высмеивал Мятлев триумвират, возглавляющий «темные силы». Всему лицуе известен его состав.

Грязный, развратный, безграмотный проходимец Григорий Распутин, который держит в своей власти царицу, а через нее — царя. Они поклоняются его «магнетической

силе», слепо верят, что этот продажный авантюрист выражает преданность престолу «простого народа», а главное, помнят его предостережение: «Когда меня не будет, и вам будет конец».

Анна Вырубова, ближайшая подруга царицы и самая иступленная распутинская почитательница, с которой царица предается болезненному, истерическому мистицизму.

Министр внутренних дел Протопопов («про то попка» — в мятлевских стихах), душевнобольной, с первыми симптомами прогрессивного паралича, которого «наш друг» — так царь и царица называют Распутина — объявил самым надежным из царских слуг.

А под ними и вокруг них целый клубок «темных сил», разной масти и дородности.

Это митрополит петроградский и ладожский Питирим. Мы знаем, что он связал себя окончательно с Распутиным и соперничает с ним в разврате, публично оскорбляя свой сан. У того гарем из великосветских кликуш, а этот крестом и посохом гонит «женскую лукавую любовь», но зато в алтаре и в опочивальне окружает себя молдаenkими смазливими служками. Это Мардарий, тоже духовное лицо, про которого толком никто ничего не знает, но которому приписывают оккультную власть. Это банкир «Митька» Рубинштейн, которого все считают мошенником, но перед которым заискивают и министры. Это Манасевич-Мануйлов — жулик, уголовник и штюрмеровский секретарь. Это князь Андронников, который числится при Синоде, никакой важной должности не занимает, но все может и всем приказывает. И еще многие другие. Среди них и сознательные изменники, германские агенты, и такие, которые выросли в прогнившем государственном аппарате, как грибы на навозе.

Отец рассказывает про Андронникова:

— Мне сообщили, в чем секрет его влияния. Он подкупает курьеров! Да, простых курьеров «Правительственного вестника». По дороге в типографию они заходят к нему материал, предназначенный для печати. Андронникова интересуют только награды, назначения. Тотчас же звонит, кому выпала удача: «Рад вам сказать, что мои старания увенчались успехом. Государь уже подписал указ. Завтра прочтете в «Правительственном вестнике». Поздравляю!» Вот и все! В результате у этого проходимца каждый день в передней толпа.

Как мальчишки-лицейсты, как и все, отец захвачен внешней стороной нахлынувших событий. Когда у него сидит какой-нибудь добрый знакомый, из кабинета то и дело доносится:

— Это точно: он будет назначен. — Но ведь это отъявленный негодяй! — Потому и пошел в гору. — А почему того уволили? — Распутин велел. — Но ведь это неслышанно! — Не то еще будет! Если только...

В одну из суббот отец ведет меня не в театр, как обычно, а на лекцию. Темы не помню, не в этом дело. Лекцию читает Мардарий!

— Пойдем, — говорит отец, — будет сенсация!

В зале толпа. Элегантные дамы, генералы. Отец представляет меня модной писательнице Тэффи, чьи сатирические очерки созвучны общему настроению. Она тоже как на премьеру: «Мардарий, Мардарий!..»

Вот и он сам. Недурен собой, в франтоватой рясе. Говорит вкрадчиво и витиевато.

Все слушают, затаив дыхание. Самая обыкновенная лекция. И все же не зря пришли...

Вдруг на лице монаха улыбка, насмешливая, почти явно нахальная.

Мардарий пускает прозрачный намек на «темные силы», при этом с таким видом, будто и он возмущен их властью, как все!

«Ага, получили?» — говорит его взгляд.

К отцу приходит мой дядя Туган-Барановский, знаменитый Михаил Иванович. Он либерал, он дружит с кадетами, он объявляет себя врагом самодержавия. Но сейчас отец и он нашли общий язык.

— Это черт знает что!

— Ужас!

— И позор.

— Да и позор.

Отец говорит в заключение:

— Он потерял голову. Он ничего не понимает.

Дядя улыбается в бороду. Видимо, ему нравится пикантность этого разговора. «Он» — это царь.

В «Воине и мире» на обеде у старого князя Болконского все бранили правительство, но каждый останавливался или бывал останавливаем «на той границе, где суждение могло относиться к лицу государя императора».

Начиная с осени 1916 года эта заповедная грань решительно перейдена.

Царя бранят среди нас открыто:

— Как был в молодости средним офицериком, так и остался! — Воли нет никакой! — Эх, кабы Александр III воскрес! — Или Николай Павлович!

В один голос говорят, что он неумен, фальшив, нерешителен, необразован. Бранят не меньше, чем среди «презренной» интеллигенции. Но там называют просто «Николаем», а у нас он по-прежнему «государь». Вот, в общем, вся разница. Зато царицу величают «гессенской мухой», а то и просто «Алисой», по ее основному имени.

...Парадный молебен в лицейской церкви. Стройные шеренги. Мундиры с орлеными пуговицами. Директор в ленте — перед алтарем. Стоим неподвижно.

«Многая лета» царствующему дому. Гремит на весь храм голос дьякона. Сначала царю, затем:

— Супру-уге его-о, благочести-ивейшей госуда-арыне императри-ице Алекса-андре Фео-одоровне-е...

Ясно вижу, как некоторые лицеисты из старших классов чуть-чуть отворачивают голову для символического плевка.

Нас, мальчишек, дразнит сенсация. Сенсация взвинчивает настроение и взрослых. Но у них, кроме того, другое. Я понял это по следующему случаю.

К нам зашел мой дядя, Николай Иванович, сенатор не у дел. На этот раз он не надел парадного мундира и обошелся без фанфаронства. В отличие от брата Михаила говорил с отцом без игривой улыбки, как всегдашний единомышленник. Передал ему какие-то новые вести о Распутине и о «тревожных симптомах», рисующих настроение «низов». Затем театральным жестом указал на стену, где висел портрет Николая II, и произнес мрачно:

— Он губит нас всех!

Я понял, что в душе его страх. Теперь же, когда вспоминаю об этой поре, я распознаю страх в словах и поступках решительно всех, кто возглавлял тогда цензурную Россию.

На фронте потоками льется кровь. Армию послали сражаться почти без оружия. Разве за это не придется расплачиваться? Страна устала. Разруха во всем. Во главе государства безумцы, изменники, вырожденки или прохвосты. Министры и главнокомандующие назначаются по указке безграмотного мошенника.

Сам царь в страхе и из страха ищет спасения в Распутине. Люди из «германской партии» хотят заключить сепаратный мир. Они тоже в страхе. Пускай же Россия будет под немецким сапогом: все лучше, чем торжествующий гнев народа! Прочие заявляют: до конца с союзниками! После войны союзники спасут от народа! За это можно им дать концессии, уголь, нефть — все, что угодно.

В страхе Штюрмеры и Протопоповы. Но в том же страхе Милюковы и Керенские. Первые говорят, что только твердая власть может спасти от народа. А те им возражают: вы уже не власть, вы прогнили вконец; только Дума, только ответственное министерство способны остановить гнев народа.

Не как спасти Россию, а как спасти свой социальный строй, спасти себя! От кого? От народа. Значит, от России.

— Куда они нас ведут?! — восклицают старшие и в лице и дома.

«Они» — это «темные силы», «нас» — это значит наш социальный слой. О России говорят тоже, но лишь во вторую очередь. Если погибнет этот строй, то и ей конец! Так само собой разумеется, раз мы, только мы, ее сердце и голова!

За обедом отец рассказывает очередную сенсацию.

Княгиня Васильчикова, урожденная княжна Мещерская (это самая высшая знать), отправила по почте письмо императрице (уже дерзость), заклиная ее прогнать Распу-

нищешанская вседозволенность «для избранных», жажда острых, неизведанных еще ощущений и при этом... полная уверенность в безнаказанности.

Убивая Распутина, Юсупов, вероятно, мечтал стать кумиром всей России. Это не вышло. Но себе он обеспечил безбедную старость. Впрочем, тут ему повезло.

В первые годы эмиграции у Юсуповых было достаточно денег: какая-то часть состояния оказалась у них за границей. Но привычка к роскоши скоро подорвала эту базу. Пришлось работать. Юсуповы открыли в Париже ателье мод. Опыта не было, и дело прогорело. Тогда князь Феликс взялся за перо. О чем же писать? Конечно, о главном событии в своей жизни. Книга доставила ему некоторые хлопоты. Дочь Распутина тоже бежала во Францию. И вот, после выхода в свет юсуповских воспоминаний, она возбудила против него дело во французском суде, требуя возмещения «убытков» за убийство отца! Основание было такое: виновность Юсупова не приходится доказывать, раз он сам печатно в ней признается! Французский суд долго возился с этой дикой жалобой и в конце концов отпустил ни с чем распутинскую дочь, рассудив, что дело было давно, в другой стране и уже подлежит лишь суду истории. Но, кроме хлопот, книга доставила Юсупову и солидный доход. Особым успехом пользовались строки, где изящный и изнеженный автор рассказывал, как, обрадовавшись, что наконец прикончил удивительно живучего мужика, он пришел в неистовство и бросился топтать мертвое тело. Однако доходы от книги быстро улетучились. Вот тут-то Юсупову и выпала удача.

Голливуд выпустил фильм об убийстве Распутина. Это была очередная американская клюква «из русской жизни», причем клюква с порнографией. Личность Распутина и его окружение давали для этого достаточный материал. Но, забыв, что Юсуповы — живые люди, Голливуд изобразил главной распутинской фавориткой княгиню Ирину, придав ей образ разнузданнейшей Мессалины. Это было нелепо, так как жена Юсупова всегда считалась крайне скромной женщиной, жила в уединении и почтительно обожала мужа.

Не знаю, что испытали Юсуповы, смотря этот фильм. Но действовать стали немедленно. Было возбуждено дело об «опорочении доброго имени матери семейства». Опять собрался суд. На этот раз в возмещении «убытков» не было отказано. Причем особенно высоко был оценен в долларах «моральный ущерб», так как фильм успел появиться на сотнях экранов.

С тех пор Юсуповы уже не нуждались в деньгах.

В февральские дни моих родителей не было в Петрограде. Мать находилась на фронте, отец — в Москве, по служебным делам.

Я ходил по улицам среди толп, метавшихся взад и вперед. То там, то здесь раздавалась стрельба. Раз на Невском я не только слышал выстрелы, но и странный свист мимо ушей и понял, что это пули, когда все вокруг бросились в подворотни.

Поздно вечером, в воскресенье, 26 февраля, я снова пошел на Невский вместе с моим двоюродным братом, правоведом. Народу было гораздо меньше. Толпа отхлынула после бурного дня. Посреди площади, у памятника Александру III, стоял, как обычно, городской. Он предупредительно откозырял нам и, с готовностью отвечая на наши вопросы, объявил, что беспорядкам конец: с утра вводится осадное положение.

Было совсем темно, чуть порошило. Пошли обратно к Литейному. Из какого-то ресторана слышалась музыка и заглушенное пение. Распознав «Боже, царя храни», мой двоюродный брат приложил руку к треуголке. Я сделал то же. По Невскому двигались всадники. То была конница, спешно вызванная в столицу для подавления восстания. Под звуки гимна они проходили высокими тенями в морозной мгле.

Глава 4 ПОСЛЕ ФЕВРАЛЯ

Мы занимали в то время особняк на углу Фурштатской (ныне улица Петра Лаврова) и Литейного, против нынешнего магазина «Гастроном». Из окон моей комнаты виднелся проспект в сторону моста.

Утром 27 февраля я был разбужен бурными криками с улицы. Но хотелось спать, и я не поднялся с кровати, радуясь, что из-за событий не надо торопиться в лицей.

С возбужденными лицами, даже не постучавшись, в комнату вбежали горничные, повар и еще кто-то из прислуги. Разом прильнули к окнам. Шум все усиливался.

— Что случилось?

— Вставайте, вставайте, Лев Дмитриевич, — сказала старая горничная моей матери. — Уж вы нас извините, что так ворвались к вам. Сами поймете...

Мне уступили место у окна. То, что творилось на улице, было еще более необычно, чем накануне.

По Литейному шли войска. А на тротуаре стояли люди всякого звания и что-то кричали, женщины махали платками. В первую секунду меня больше всего поразили белые платки над толпой.

— Сдаются, что ли, войскам? — проговорил я в недоумении.

Старая горничная как-то странно посмотрела на меня. Остальные даже не оглянулись.

В следующее мгновение я уже заметил, что солдаты идут нестройно, сами что-то кричат и машут толпе.

Не раз слышал рассказы отца о первой революции: московское восстание, волнения во многих городах были подавлены войсками.

— Пока войска верны правительству, нет опасности, — говорил отец.

«Неужели конец?» — пронеслось в голове.

...Вечером, в шапке и штатском пальто, я пошел смотреть на пожар Окружного суда. Огромное здание пылало, и никто его не тушил. Горели дела политических и уголовных. С треском рушились лестницы и потолки. Зажженный народом огонь пожирал без остатка, без разбору старый строй, весь уклад его, все его законы. На улице стояла толпа, веселая, торжествующая.

На другое утро к нам наведася дядя Михаил Иванович. Кадетские его чувства выразались широкой улыбкой и большим красным бантом на груди. Намерения его были наилучшие: он хотел успокоить племянников, оставшихся в городе без родителей. Но меня это не тронуло. Я был оскорблен, что дядя является с красным бантом в дом моего отца.

— Будет провозглашена республика, — сказал он с довольным видом.

Я взглянул на его грузную, барственную фигуру, от которой веяло таким покоем, таким старозаветным усадебным бытом, и, ясно помню, удивился его улыбке: «Чему он радуется? Или это напускное?»

Штатское пальто скрывало лицейский воротник. Мне нечего было бояться.

В эти февральские дни я впервые увидел народ. Все, что я видел на улице, — красные флаги, солдаты и матросы с винтовками на крыльях автомашины, лица с горящими глазами, юноши, которые так презирали старую власть, что не страшились ее пулеметов, — все это было торжеством народа. Да, народа, а не дяди Михаила Ивановича! Торжество солдатской толпы, всех этих курносых деревенских парней, которых привыкли хлестать по щекам армейские и гвардейские офицеры, а не нового думского военачальника, элегантного полковника Энгельгардта, дамского угодника и доброго нашего знакомого, с бородкой точь-в-точь, как у отрекшегося царя!

Против восставшего народа бессмысленно было бороться. У него была сила, в нем горел настоящий огонь. И у него была крепкая, очевидно давно и незаметно для нас налаженная, организация. А энгельгардты и дяди михаилы ивановичи были точь-в-точь такие же, как мы сами, хоть и навесили на себя красные банты. Раз измельчали ученики Дурново, раз промахнулись они, занеся над народом руку, то не этим благодуществующим хитрецам обмануть его ныне грошовыми поблажками!

Народ торжествовал. И это торжество представлялось мне не только решительным, но и ужасным. Оно знаменовало крушение «нашего мира».

Все это, конечно, ощущал я гораздо более смутно, чем описываю сейчас. Но ощущал несомненно. Именно эта пора наложила особенно четкий отпечаток на мою сознательную жизнь. Несмотря на короткие вспышки протеста, безнадежность борьбы против революции крепко внедрилась в мое сознание. И одновременно внедрилось на многие годы другое: любованье прошлым, упорное стремление уберечь «наш мир» хотя бы в самом себе, противопоставить его до конца новому, торжествующему миру.

Занятия в лицее возобновились. Новая власть о нас как будто забыла. Директор генерал Шильдер сам отстранился от дел. Усы его и звон шпор слишком уж отдавали старым режимом. Гвардейского генерала заменил штатский инспектор. Но наш курсовой воспитатель хочет сам занять это место, о котором прежде не смел и мечтать. До революции он появлялся у нас только в форменном сюртуке, что вовсе не было обязательным. Про царя говорил не иначе, как «его величество». Теперь он в визитке. Теперь он преследует своими сарказмами тех педагогов, которые донашивают старорежимный мундир. «Пора вам бросить романовскую ливрею», — объявляет он им, не стесняясь нашего присутствия, и дряблые его щеки трясутся от возбуждения.

Мы заключаем, что такой тактикой старый хамелеон рассчитывает завладеть директорским кабинетом. Изводим его в полной мере.

Когда он отворачивается, кто-нибудь из нас украдкой подбегает к роялю, и на весь зал раздаются первые ноты «Боже, царя храни». Тот топаёт ногами, кричит:

— Прекратите! Это ужасно! Вы компрометируете меня!

Экзамены. Мы переводимся в следующий класс. Что будет после — никто не знает.

Лицейские традиции не отменены. Перед выпуском «генералы» прощаются с младшими товарищами. Обходят класс за классом. Полностью соблюдается вековой церемониал. Стоим навтыжку друг против друга. Один из «генералов» выходит из строя и произносит речь. Еще никогда такая речь не раздавалась в стенах лицея. Он говорит резко и кратко:

— Лицея больше нет. Все толки о превращении лицея в какую-то пушкинскую гимназию — оскорбительный для нас вздор. Пусть приспособляются другие. Мы предпочитаем не быть. Сейчас мы прощаемся не только с вами, младшие товарищи. Все мы вместе прощаемся с лицеем.

Наш курсовой председатель выступает вперед. Он приготовил обычное прощальное приветствие. Но речь старшего так его взволновала, что он не может выговорить ни слова.

Дальше все идет по ритуалу. «Генералы» вручают нам прощальные серебряные жетоны, каждый из нас удостоивается традиционной чести: старший товарищ, от которого он получает жетон, переходит с ним на ты. Затем мы окружаем наших «генералов» и качаем их, подбрасывая как можно выше. Громовое «ура» несется им вслед, когда они покидают класс.

Лето 1917 года. Позади революция, сокрушившая царский строй, впереди другая, которой все страшатся. Но как ни в чем не бывало мы отправляемся за границу, забирая с собой гувернантку и горничную. Едем недалеко (ведь война), в Норвегию, на морские купания.

Да, хорошо проехать на месяц-другой за границу!

Ханкебад. Элегантный пляж. Роскошная гостиница. Вышколенная прислуга. Чистота и порядок. Никто не лущит семечек. Нет красных флагов. Нет криков, нет демонстраций. Вообще никаких политических событий. Как замечательно!

Утренний завтрак. У нас гость, тоже отдыхающий от петроградских тревог. Это Мамонтов, старый сослуживец и приятель отца, еще совсем недавно главноуправляющий «Собственной его величества канцелярией по принятию прошений». Обходим стол с десятками норвежских закусок. Мамонтов в отличном настроении, шутит по-курортному. Широко улыбаясь, низко кланяется отцу:

— Теперь я никто — человек без чина и звания, можешь меня презирать!

— Но все мы в том же положении, — возражает отец.

— Совсем нет! Тебе повезло! Ведь Сенат-то не упразднен! А вот я: управлял канцелярией его величества — нет больше величества, был егермейстером — нет больше придворных, был членом Государственного Совета — нет больше Государственного Совета. Кто бы мог подумать, что важнее всего попасть в Сенат!..

Хочет. Отцу тоже весело.

— Да, кстати, — продолжает Мамонтов, — я вчера получил из Петербурга письмо со стихами, кажется, Мятлева. Он, ты знаешь, в полном раскаянии: как мог бранить

Александрю Федоровну! Да и в самом деле, «темные силы» — это ведь пустячок в сравнении с совдепами. Так вот слушай же, что теперь про Керенского сочинено, не то им, не то Пуришкевичем:

Правит с бритою рожей
Россией растерянной
Не помасанник божий,
А присяжный поверенный.

— Не правда ли, хорошо? Но скажи, ведь так продолжаться не может?

— Не может, — решительно подтверждает отец.

Обратный путь. Пока едем через Финляндию, всюду только и разговоров, что о корниловском выступлении. В наше купе заходит едущий в том же поезде старый знакомый родителей, польский адвокат Ледницкий, известный общественный деятель, кадет.

— Ну что ж, ваше превосходительство, — в шутку говорит он отцу. — Скоро сноза будем под вашим начальством. И слава богу!

Но, когда приезжаем в Петроград, корниловский мятеж уже ликвидирован. Дядя Михаил Иванович, любящий исторические сравнения, говорил про Корнилова: это русский Кавеньяк. Теперь, вероятно, он назидательно объявляет: Корнилов оказался неудачливым Кавеньяком.

На вокзале нас встречает другой дядя — Николай Иванович. Он нервничает:

— Корнилов свел все наши усилия насмарку. Это уже второй человек...

Спрашиваю:

— А кто первый?

— Государь, — отвечает дядя шепотом. — Ни тот, ни другой ничего не понимают в политике. Вот теперь и жди победы большевиков. Впрочем, еще посмотрим!

Не только дядя, но и отец понижает голос, когда осуждает Николая II. Почему так? Ведь нет больше царизма. Вот именно поэтому. Теперь о царе не принято говорить непочтительно в нашем кругу.

Корнилов споткнулся. «Керенщина» выдохлась. Готовились к решительной схватке. Петроград был насыщен слухами: о Савинкове, о каких-то офицерских союзах, о тайных сговорах между царскими генералами и правыми эсерами, о текинцах...

Ведь корниловцы доходили почти до столицы! О грозных всадниках «дикой дивизии» складывались легенды.

— Совершенно не разбираются в обстановке. — Это и хорошо! — Прямо заявили делегатам совдепа: «Что такое старый рэжим, новый рэжим? Мы просто рэжим». — Их и пустим снова против большевиков!

Большевики еще не были у власти, а уже организовалось белое движение. Однако будущие корниловские и денкинские офицеры были на первых порах не очень уверены в себе. Как подчинить снова солдат? Как покончить с «проклятой демократией» в армии? Впрочем, раз довелось мне услышать вполне самоуверенную речь.

К нам зашел уланский офицер, известный главным образом как бальный распорядитель и лихой танцор. Рассказывает в возбуждении:

— Знаете, мне все это безобразие в конце концов надоело! Решил навести порядок. Выхожу на Невский. Останавливаю первого солдата: «Ты что мне чести не отдашь, болван?» Он сразу во фронт. «Виноват, ваше высокоблагородье, большевики попутали!» — «То-то», — говорю я. А кругом уже десяток солдат стоит навтыжку. Спешат показать свое благонравие. Вот видите, обошлось даже без рукоприкладства. С этим народом надо говорить решительно!

Всем неловко. Глаза уланского офицера налиты кровью, смотрит пристально в одну точку. Когда он уходит, звоним его близким. Те тоже обеспокоены. Подтверждают, что с ним в последнее время происходит неладное.

Неделю спустя он уже был в сумасшедшем доме.

В Петрограде становилось тревожно. Меня с братом отправили к тетке, в Курскую губернию.

Имение сестры моего отца, под Белгородом, было небольшое, всего в несколько сот десятин. Главный доход давала «меловушка» — кустарный меловой завод, основанный моим дядей, графом Доррером, потомком французских эмигрантов. Это тот самый Доррер, член Государственной думы и курский губернский предводитель дворянства, которого В. И. Ленин упомянул в одной из своих статей среди наиболее черносотенных помещиков. Дядю не помню. У тетки детей не было, в Дорогобуженке меня считали будущим хозяином, и я там познал с юных лет все преимущества помещичьей жизни.

Вот я приезжаю на «меловушку». Плутоватый приказчик подобострастно суетится, помогая мне слезть с лошади. Вызывает хорошенькую дочку и предлагает пройтись с ней по сосновой роще, пока он приготовит закуску. Старый мир в агонии, а он все видит во мне графского племянника; ему хорошо живется при тетке, которая ничего не понимает в делах; ему хочется верить, что он еще много лет будет эксплуатировать власть белгородских парней, нанимающихся на завод. Приказчик был дельцом мелко-травчатым, предприятие он не расширял и выдавал тетке шесть-семь тысяч в год, деля с ней, очевидно, доходы пополам.

Осень была хмурая. Соседей осталось мало, так как во многих деревнях уже было беспокойно. Но я не скучал. В эти дни, когда рушился весь старый уклад, я нашел для себя времяпрепровождение покойное и занимательное, доставившее мне много приятных минут.

Как-то взобравшись на чердак старинной дорогобуженской усадьбы, я увидел ветхие ящики, покрытые густым слоем пыли. Раскрыл один: кипы бумаг, жестоко изъеденных крысами. В глаза бросилась большая восковая печать с орлом; над ней какие-то хитрые завитушки, выше — дыра. Вгляделся и узнал! Да это тот самый росчерк, который так занимал меня в коллекции отца. А вот и другой лист, до которого еще не добрались зубастые звери. На нем полностью: «Николай». Какая находка!

Это был архив господ Дорогобуженовых, когда-то владевших имением, давно забытый на чердаке. С тех пор я каждый день поднимался туда, разбирая вороха бумаг, дыша пылью и плесенью, а затем торжественно приносил в свою комнату самое ценное. Вот будет рад отец! Как обогатится его коллекция!

В самом деле, тут были автографы царей, приказы, подписанные фельдмаршалами, письма разных важных особ и купчие крепости, особые, совсем диковинные, каких я еще никогда не видал.

Гвардии поручик Дорогобуженов продает дворовую девку Анфису, здоровую, такого-то роста, умеющую вышивать крестом. А месяц спустя тот же гвардии поручик покупает у соседа дворовую девку Пелагею, тоже здоровую, не меньше ростом, а что умеет — не сказано. В общем, он только и делал, что покупал или продавал девок. А три четверти века спустя я, его наследник, дивился, зачем ему понадобился подобный «товарооборот».

Читал с таким интересом, так погрузился во всю эту «толстобрюхую старину», что порой даже не успевал просматривать газеты. Они приходили с большим опозданием, и никак нельзя было разобрать, все ли уже «покатилось к черту» в столице или еще только катится.

Как-то, наглотавшись сверх меры архивной пыли, решил проехаться на «меловушку». Опять низко кланяющийся приказчик, опять хорошенькая дочь, которая, кстати, тоже вышивает крестом и густо краснеет от удовольствия, когда я привожу ей «самые наилучшие» духи, какие можно разыскать во всем Белгороде. В голову приходит: а может, она правнучка той самой Анфисы или Пелагеи?

Возвращаясь обратно, нагнал телегу с двумя пожилыми мужичками из нашей деревни. Увидя меня, они сняли шапки.

— А что, барин, — спросил один, — правда, будто в Питере большевики власть забрали?

— Не знаю. Кто сказал?

— В городе телеграмма получена.

Так я узнал об Октябрьской революции.

Как вдова губернского предводителя дворянства тетка, моя занимала в уезде значительное положение. Ее любили, она была хлебосодьна на старинный лад, многим

помогала, даже содержала кое-кого и позволяла себя обкрадывать. Дом ее был вечно полон приживалов и приживалок. В происходящих событиях она ничего не понимала, а так как пока что они на ней непосредственно не отражались, жила, как прежде, решительно ничего не меняя в своих привычках и даже не допуская, что их придется менять. К памяти мужа, сугубого консерватора, относилась с благоговением и во всех спорах ссылалась на его авторитет.

Тетка моя отличалась известной оригинальностью. Русская речь ее была прекрасной, старомосковской. Но она почему-то считала, что лучше говорит по-английски... А когда сердилась, у нее всегда появлялся английский акцент. Хотя она в молодости встречала известнейших русских писателей, из русской литературы любила почему-то только Алексея Константиновича Толстого, а на ночь всегда читала английские романы, где, не в пример нашим, а особенно французским, все оканчивается счастливым браком. Чуждачеств у нее было немало. С гувернанткой-французенкой она упорно говорила по-русски, зато озадачивала викарного архиерея французскими фразами, причем каждый раз поправлялась так:

— Ах, простите, владыко! Ведь я же дура из дур! Опять забыла, что вы не понимаете...

Такое суждение о своем уме она вообще высказывала довольно часто, а слово «дура» произносила как-то мягко, на иностранный лад. Раз произошел небольшой конфуз. Простодушная монашка, пришедшая за «даванием», почтительно заметила ей в ответ:

— Ну что же, ваше сиятельство, не горюйте, господь не всякого наделил умом!

Ходила моя тетка по саду и по своим апартаментам с целой сворой черных стриженных пуделей, престарелых и нечистоплотных, которых кормила на убой и не позволяла никому обижать.

В первых числах ноября тетке доложили, что с ней желает говорить делегация от крестьян. Она поразилась: какие делегаты, в чем дело? Оказалось, что относительно декрета о земле. Опять изумление: что за декрет? Ей объяснили, что есть такой декрет, только что изданный новой властью, который лишает помещиков их владений. Тетка пожалала плечами. Но все же велела ввести делегатов в людскую и направилась туда в сопровождении домохозяев и пуделей. Я тоже последовал за ней, несколько обеспокоенный оборотом, который могут принять подобные переговоры.

Делегатов было человек десять. Главным своим обидчиком крестьяне считали приказчика, а потому, очевидно, решили принудить тетку к капитуляции мирным путем.

Старший делегат начал с того, что вот, мол, вышел такой декрет, и, значит, надо сообща все обсудить, чтобы все вышло по-хорошему.

Тетка опять пожалала плечами.

— И слушать больше не хочу! — перебила она его с сильным английским акцентом. — Вот так вздор какой! Был бы граф жив, научил бы вас уму-разуму. Да, не постеснялся бы Декрет? Землю отнять? Не любил покойник такие шутки. Прощайте, друзья мои, и больше мне этим не докучайте. Я добра, добра, а когда надо, и строгость покажу. Так и запомните.

И ушла со всей своей свитой.

Я задержался на минуту из любопытства.

Делегаты переглядывались.

— Бог с ней совсем, — сказал наконец главный. — Блаженная! А земля-то теперь все равно наша!..

Мы скоро уехали обратно в Петроград. Тетку я больше не видал. Слышал, что месяц спустя соседи чуть ли не силой увезли ее из насыженных мест. Умерла она в Крыму, при Врангеле, до самого конца уверяя всех, что ничего, в сущности, не произошло, что все это лишь какая-то путаница, которая непременно распутается, как еще в Думе предсказывал покойный граф.

(Продолжение следует)



ИЗ ПИСАТЕЛЬСКОГО АРХИВА

АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ

★

СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ

Высказывания о литературе и искусстве

(Из записных книжек)

Материалы литературного наследия А. А. Фадеева помогают яснее увидеть творческий облик этого выдающегося писателя-коммуниста, сочетавшего в себе талант художника и ум широко мыслящего деятеля нашей социалистической культуры.

Фадеев никогда не был сторонним наблюдателем литературного процесса; он считал необходимым, обязательным для себя энергично вмешиваться в жизнь литературы и, идя буквально «по живым следам», обобщать поиски новой эстетики, горячо бороться за то, что он считал правильным, отвечающим интересам народа.

У всех на памяти взволнованные и страстные статьи и речи А. Фадеева по самым острым и актуальным вопросам советской литературы и литературной политики. Перу Фадеева-теоретика принадлежит немало значительных работ по теории социалистического реализма.

В ряду этого рода материалов особое место занимают записные книжки писателя (их насчитывается более пятидесяти) и сотни его писем по вопросам литературы и искусства.

Мы публикуем некоторые высказывания А. Фадеева о литературе и искусстве, извлеченные из его записных книжек и систематизированные автором в виде «Субъективных заметок». История их такова.

В 1947 году по просьбе творческой секции московских писателей-прозаиков А. А. Фадеев выступил с докладом «О своей работе», в котором он впервые процитировал некоторые из своих записей о русских писателях-классиках. Вызвавший большой интерес писательской общественности, доклад этот, к сожалению, не был опубликован из-за того, что был плохо застенографирован.

Идея создания «Субъективных заметок» родилась у писателя в 1954—1955 годах, во время работы над подготовкой к изданию сборника избранных статей, речей и заметок о литературе и искусстве под названием «За тридцать лет».

Отказавшись от восстановления доклада «О своей работе», А. Фадеев в одном из писем к редактору-составителю этого сборника писал: «Не горюйте о стенограмме «О своей работе». Ее «теоретическая» часть изложена в других статьях. Факты о написании «Молодой гвардии» изложены в двух выступлениях перед читателями. А то, что там есть о русской классике,— незавершенное цитирование моей записной книжки,— это я все выберу из своих записных книжек, и мы это дадим под названием «Субъективные заметки» (о русской классике),— как завершающее к разделу о языке, о своей работе и пр.»

Замысел этот был реализован значительно полнее: в «Субъективные заметки» А. Фадеев включил много других своих высказываний о творчестве ряда западноевропейских писателей, живописцев и композиторов, а также о многих творческих проблемах советской литературы и искусства. Фадеев хотел продолжить эти «Заметки», включая в них свои записки о киноискусстве и, в первую очередь, о творчестве тех деятелей советской кинематографии, с которыми он был связан многими годами совместной творческой работы и личной дружбы (С. М. Эйзенштейн, В. И. Пудовкин, А. П. Довженко, С. А. Герасимов, Э. И. Шуб и другие). Однако этот замысел остался невыполненным.

«Субъективные заметки» — последняя работа А. А. Фадеева. Над подготовкой этих «Заметок» он работал до последнего дня своей жизни.

Высказывания А. А. Фадеева, острые, часто спорные, но всегда очень страстные и заинтересованные, свидетельствуют о большом диапазоне эстетических взглядов и интересов писателя и прежде всего о его огромной любви к литературе и искусству, о постоянном его стремлении всеми силами способствовать возвышению родной советской культуры.

Он пишет взволнованные строки о многообразии форм внутри социалистического реализма, убедительно доказывая, что этот метод призван не сузить, не обеднить, а, наоборот, расширить и обогатить возможности литературы.

Мы публикуем заметки из записных книжек писателя за 1935—1955 годы.

Все заметки разделов «Русская литература», «Западная литература» и «О живописи» публикуются, по воле автора, не в хронологическом порядке, а по их тематической связанности. В разделе «На разные темы» записи приводятся в хронологическом порядке (по времени их написания).

* * *

Подготовка материалов к печати, вступление и примечания — редактора-составителя сборника избранных статей и речей А. Фадеева «За тридцать лет» С. Н. Преображенского.

Русская литература

О БЕЛИНСКОМ

„Литературные мечтания“

Демократизм и патриотизм Белинского пробивается здесь, как лава, бурно, сквозь кору неверного философского воззрения.

Литература, как выражение «общества» и как выражение народа — Белинский за последнюю. И пламенный гимн «двигателю человечества» поэту — апостолу истины и знания, бескорыстному труженику, избалованному порока и невежества, который ест хлеб, «смоченный слезами», и терпит «гонение злых». И полное сарказма обличение «сильного земли», поэта, согнувшего рамена «под грузом незаслуженных почестей и титул»: «гни твой хребет, ползи змеюю между тиграми, бросайся тигром между овцами, губи, угнетай, пей кровь и слезы, чело обремени лавровыми венцами...»

Белинский поднял Новикова и унизил Сумарокова, признал народность басен Крылова и избаловал ненародность басен Дмитриева.

Вполне современно звучат его слова:

«...Мы и в литературе высоко чтим табель о рангах и боимся говорить вслух правду о высоких персонах. Говоря о знаменитом писателе, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами; сказать о нем резкую правду у нас святотатство».

Очень интересно, что в примере с Ломоносовым — Белинский признает и такую поэзию (и не лишает ее печати гения), где ум господствует над чувством. «Это происходило от системы, а отнюдь не от недостатка поэтического гения».

«...Ум Державина был ум русский, положительный, чуждый мистицизма и таинственности...» В сатирах и посланиях Державина «видна практическая философия ума русского; посему главное отличительное их свойство есть народность, народность, состоящая не в подборе мужицких слов или насильственной подделке под лад песен и сказок, но в сгибе ума русского, в русском образе взгляда на вещи».

Белинский неистово ратует против подражательности — настолько, что преувеличивает.

Белинский — во всяком случае, этого периода — не понимал, почему на национальной почве России конца XVIII и начала XIX века возникли явления, казалось, повторяющие французский классицизм (а с Жуковского — английский и немецкий романтизм), и, находясь в плену неверных взглядов на историю, а тем более, не понимая общих законов в развитии наций, не в силах был раскрыть русскую национальную печать на всем, что казалось ему только подражательным.

Многое в его наивных и юношески претенциозных рассуждениях в этом раннем труде — даже раздражает.

Но по обезьянничанию у заграницы он уже тогда нанес сокрушительные удары. Эта тоска по великой самобытной русской литературе, окрашивая собой ранний труд Белинского, облагораживает самый труд и делает его живым и сейчас, несмотря на то, что в этом труде Белинский не прав в большинстве своих оценок, вернее, в их мотивации. Пожалуй, прав он только в отношении Державина, Крылова, Грибоедова, Пушкина. А в отношении Фонвизина — наполовину. При всей высокой оценке Ломоносо-

ва, Белинский был слишком узко (то есть только гуманитарно) образован, чтобы полностью оценить гений Ломоносова — ученого, предвосхитившего столько открытий, за которые пожали лавры другие. Но при неверной мотивации все довольно верно представлено по своим местам.

„О русской повести и повестях г. Гоголя“

Вдохновение как «энергия души» и вдохновение, «усиленное волею, желанием, целию, расчетом, как будто приемом опию». «Плоды этого (т. е. последнего. — А. Ф.) вдохновения иногда блестящи на вид, но их блеск есть блеск фольги...» Это верно и... неверно. Верно, потому что есть и то и другое вдохновение, неверно, потому что очень часто подлинная сила поэзии там и тогда, где и когда слиты и то и другое.

Вообще в этой работе Белинский-реалист все время заявляет о себе под идеалистическим покровом вроде — «главный отличительный признак творчества состоит в таинственном ясновидении, в поэтическом сомнабуле». Это почти не мешает ему дать блестящий реалистический анализ повестей Гоголя; идеалистический налет отбрасывается почти сам собой, особенно для нашего современного глаза и уха. «...в том-то и состоит задача реальной поэзии, чтобы извлекать поэзию жизни из прозы жизни...» — здесь Белинский близок к нашему пониманию реализма.

„Герой нашего времени“

Уточняет во введении свой взгляд на литературу до Гоголя, уточняет мотивацию, односторонне развитую в «Литературных мечтаниях», почти приближаясь к истине.

Подымает Кольцова и справедливо ставит на место Бенедиктова, как талант «внешний..., ослепляющий глаза внешнею стороною искусства...»

Кольцов, находящийся «в магическом круге народной непосредственности», высказывает «глубокие вопросы в форме народной поэзии». В силу этих особенностей «он непереволим ни на какой язык и понятен только у себя дома, только своим соотечественникам».

Многое, сказанное Белинским о Кольцове, применимо к нашему Исаковскому, исключительно народному таланту, также все еще недооцененному. Но справедливость требует сказать, что Исаковский и по мысли и по форме выше Кольцова.

В рассуждении о «слове-мысли» и «слове — звуке пустом» — правильная мысль в идеалистической оболочке.

Гениальность Белинского в том, что там, где он самостоятелен, он большей частью прав; а то, где он не самостоятелен, отлетает, как шелуха.

Замечательно, что Белинский вскрывает общественное содержание образа Печорина через то, в чем этот образ более всего раскрывает себя в романе, — через отношения любовные.

«Для любви нужно разумное содержание, как масло для поддержки огня...»

«Сильная потребность любви часто принимается за самую любовь, если предстанет предмет, на который она может устремиться; препятствия превращают ее в страсть, а удовлетворение уничтожает».

«Рефлексия», где человек распадается надвое, «из которых один живет, а другой наблюдает за ним и судит о нем. Тут нет полноты ни в каком чувстве, ни в какой мысли, ни в каком действии». Казалось бы, вот осуждение рефлексии! Но тут же — оправдание рефлексии, ибо при одном чувстве «человек есть раб собственных ощущений», а «достоинство бессмертного духа человеческого... в его разумности, а последний, высший акт разумности есть мысль. В мысли независимость и свобода человека от собственных страстей и темных ощущений... Но переход из непосредственности в разумное сознание необходимо совершается через рефлексию...»

«Фауст», «Гамлет» — апофеоз рефлексии. Таков же и Печорин. «Это переходное состояние духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового еще нет (подчеркнуто мной. — А. Ф.) и в котором человек есть только возможность чего-то действительного в будущем и совершенный призрак в настоящем». Это гениаль-

но! (Как и блестящий анализ Печорина и сравнение его с Онегиным в конце статьи). Это гениально, если Белинский сам сознавал социально-исторический смысл того, о чем он догадался, то есть то, что декабризм уже разбит, а революционно-демократическое движение еще не развилось. В этом общественный смысл Печорина.

Заключение же Белинского о том, что Печорин может получить «искупление» через женщину, подобно тому, как Татьяна воскресила Онегина «из смертного усыпления для прекрасной жизни, но не для того, чтобы дать ему счастье, а для того, чтобы наказать его за неверие в таинство любви и жизни и в достоинство женщины...» — это заключение раскрывает какую-то трогательно-прекрасную сторону души самого Белинского.

„Субъективное и объективное в поэзии“

Очень существенна в статье о стихотворениях Лермонтова критика Белинским Гете (которого он обычно ставит так высоко), критика за недостатки субъективного элемента. «Это и было причиной, почему менее гетевской художественная, но более человечественная гуманная поэзия Шиллера нашла себе больше отзвучия в человечестве, чем поэзия Гете». Здесь Белинский паки и паки опрокидывает не раз прокламируемое им идеалистическое представление о бескорыстии эстетического чувства, показывая, что он на стороне поэзии, сознательно преобразующей мир.

Заметки «О Белинском» взяты из записных книжек А. Фадеева за 5 и 9 мая 1948 года, в которых писатель излагает и комментирует некоторые статьи В. Г. Белинского.

О ПУШКИНЕ

„Евгений Онегин“

Пушкин правильно понимал романтизм, вопреки распространенному представлению о романтизме. Стихи Ленского перед дуэлью Пушкин так комментирует: «Так он писал темно и вяло, что романтизмом мы зовем, хоть романтизм тут и мало не вижу я...» (Подчеркнуто мной. — А. Ф.)

Пушкин хорошо чувствовал движение, развитие общества. Горький писал: «Онегин, как тип, только что слагался в 20-х годах, но поэт тотчас же усмотрел эту психику, изучил ее, понял и написал первый русский реалистический роман, роман, который помимо неуязвимой его красоты имеет для нас цену исторического документа, более точно и правдиво рисующего эпоху, чем до сего дня воспроизводят десятки толстых книг».

В этом поистине самом реалистическом романе Пушкина так ясно звучит должное, желаемое, мечтаемое. В моральной области — это, прежде всего, образ Татьяны, в которой воплощены лучшие черты самого Пушкина, его неосуществленная жизненная мечта, и в то же время собирательный образ русской женщины. В живой жизни можно было видеть рассеянные черты такой Татьяны, — образ Татьяны, обобщенный, собранный из этих разрозненных черт в единый идеализированный образ русской девушки и женщины, есть величайшая победа реализма, который без мечты, без должного, то есть без романтики, не есть реализм. Пушкин сам говорит: «А та, с которой образован Татьяны милый идеал...» Немножко раньше он говорит о Татьяне «мой верный идеал».

Вместе с тем, Нечкина в своей интересной статье в «Литгазете» («Народ и искусство»)¹ сильно преувеличивает демократические элементы в творчестве Пушкина. Онегин, Ленский, Татьяна — это исключение в дворянском обществе, из этой исключительной среды вышли декабристы. Но как эти исключительные люди все же далеки от народа! В «Онегине» очень подчеркнута дворянская почва, на которой они произросли. Белинский хорошо это понимал, когда говорил, что Пушкин нападает в дворянстве на все, что противоречит гуманности, но принцип класса для него вечная истина.

„Проза Пушкина“

Она обаятельна своей простотой, краткостью, выразительностью мысли. Она умна. Но в ней нет господствующей мысли. Это особенно видно, когда познакомишься с отрывками неоконченных вещей, — слишком разбросанный интерес, «без царя в голове», при исключительной наблюдательности, искусстве деталей и блеске отдельных замечаний.

По характеру своему он боится заострять противоречия, предпочитает сглаженные и даже счастливые концы; в «Выстреле» стреляет в картину; дочь станционного смотрителя приезжает на могилу отца, богатая, с детьми; Лиза в «Пиковой даме» выходит замуж за состоятельного человека; Дубровский не совершает мести и сам спасается за границу; в «Барышне-крестьянке» они женятся, потому что их отцы-помещики примирились, и т. п.

Тем не менее он — истинный родоначальник русской прозы.

«Шинель» немислима без «Станционного смотрителя». В нем зародыши всего, что развилось в русской прозе XIX века. В «Гробовщике», «Станционном смотрителе», «Пиковой даме» — Гоголь и Достоевский, а «История села Горюхина» — это Щедрин. И это Достоевский — по языку. Тургенев, Чехов — от Пушкина. Лесков его побочный сын. Указывают на связь прозы Л. Толстого с лермонтовской. Но манера изображения светского общества у Лермонтова и Толстого — от Пушкина, особенно от его неоконченных светских вещей, — Пушкин уже видел в этом обществе все то, что было как ненавистно Лермонтову и Толстому, Пушкин наметил почти все, что разрабатывали в прозе после него, в силу гениальности своей. Возможно, он слишком рано умер для прозаика. Мироззрение его атеистическое, приемлющее жизнь, было все же слишком барским и поэтому не вполне бесстрашным, — мысль В. Кирпотина, что он был в начале пути на крестьянские позиции — бездоказательна. Тем не менее, боясь Пугачева, Пушкин был достаточно бесстрашен, чтобы показать его человеком незаурядным и обаятельным. Он первый подсмотрел в народных низах цельные, деятельные характеры, — правда, главным образом, «разбойные» (Пугачев, мужики в «Дубровском», Кирджали).

Заметки «О Пушкине» взяты из записных книжек А. Фадеева за 3 марта 1953 года («Евгений Онегин») и 21 апреля 1944 года («Проза Пушкина»).

¹ Автор дает ошибочное название статьи М. Нечкиной. Статья называлась «Народ и культура» («Литературная газета» № 141 от 22 ноября 1952 года).

О ТУРГЕНЕВЕ

„Три портрета“. „Три встречи“.

Тургенев — писатель, недооцененный современной критикой и литературоведением и значительной частью писателей наших. По характеру своей прозы он непосредственный продолжатель Пушкина. В частности, два эти ранние его рассказа — пушкинские, даже и в том смысле, что они также «без царя в голове». Впрочем, это свойство только самых ранних рассказов Тургенева.

Тургенев в прозе эмоциональней Пушкина, потому что менее объективен, больше вкладывает самого себя. Без Тургенева немислимы Бунин и Алексей Толстой (наш). Выражение Льва Николаевича после прочтения «Записок охотника» — «Прочел и понял, что таланту у меня положительно нету» — надо понимать вовсе не как кокетство, а буквально. Рассказами «Касьян с Красивой мечи» и «Живые мощи» Тургенев предвосхитил всю народно-крестьянскую тему Л. Толстого. «Муму» — рассказ во всех отношениях более высокий, чем «Поликушка».

Язык народа (то есть тот, на котором говорят мужики) в произведениях Тургенева не имеет себе равных во всей русской литературе, включая, разумеется, и современную, — Тургенев продолжает и развивает здесь линию Пушкина. У Гоголя этот народный язык, т. е. язык его героев из народа, по-украински стилизован. Толстой слишком стремился воспроизвести говор народа и грешил «тае-тае». У всех остальных, даже у Чехова (при всем том должном, что необходимо отдать особенно Чехову, но и Лескову и Бунину), язык крестьян или грешит «натуралистами» или слишком «интеллигент-

тен». У Тургенева язык народа — язык чисто русский, отборный, природно-мудрый (без горьковского подчас «мудрствования»), естественный, меткий, выражающий естественно, без претенциозности и без прикрас, все самые сложные понятия. Даже в «Трех встречах» Лукьяныч говорит на зависть выразительно. Судьба Лукьяныча неповторима и опять-таки превосходит многие и многие позднейшие образы.

Изумительна мысль Тургенева в рассказе «Хорь и Калиныч» о свойствах русского человека. Тургенев рассказывает крестьянам о загранице.

Калиныч: «А! Ах, господи, твоя воля!» Калиныч восхищен всем. А Хорь: «это у нас не шло бы, а вот это хорошо — это порядок». Из этого разговора Тургенев вынес «убеждение, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях... Что хорошо — то ему и нравится, что разумно — того ему и подай...»

Чрезмерное преклонение Тургенева перед женственностью, его женские и, главным образом, девичьи образы раздражали Толстого, как реалиста более плотского и строгого. Но в этой Тургеневской идеализации есть свое обаяние, необычайная прелесть, своя правда. И я бы сказал, в наше время, такой способ изображения юности, женской красоты — это то, чего недостает нашей литературе, которая чрезмерно натуралистична, приземлена. Нашей молодежи нужно такое «идеальное» изображение именно этой стороны жизни, ибо она стремится к ней, — наша молодежь в этом смысле сама будет идеальной еще на глазах нашего поколения, эти черты в ней надо развивать. Нашим учителям в школах надо больше, как можно больше рекомендовать молодым людям читать Тургенева. Пушкин и Тургенев — это родоначальники нашей прозы. Все самое прекрасное, что присуще развитию русской прозы, все это в зачатке есть у Пушкина и у Тургенева. При всей гениальности Гоголя он, Гоголь, слишком «особенный». А его линия, которая получила развитие в Достоевском, тоже имеет своим истоком Пушкина, — это кажется парадоксальным, ибо никто так не противопоставил друг другу, как Пушкин и Достоевский. Это два разных жизненных начала, если учесть каждого в основе, но Пушкин вместил в себе всё, Достоевский тоже из него, через Гоголя и — непосредственно. А Тургенев — прямой наследник Пушкина (менее десятка лет разделяет конец деятельности Пушкина и начало — Тургенева) — он в самой основной и самой прекрасной линии развития русской прозы. Природа у него русская до конца, она кротка и таинственна в своей поэтичности, она точна до осязаемости и лирически одухотворена. Прекрасный писатель! Как жалко, что нельзя все это высказать ему лично! Его и при жизни всегда ставили после... Дружинина.

Заметки «О Тургеневе» взяты из записных книжек А. Фадеева за 30 мая и 28 июня 1944 года.

О ДОСТОЕВСКОМ

„Преступление и наказание“

В одной из редакций «Честного вора» Достоевский словно предвдвывает замысел «Преступления и наказания».

«А как у порочного человека воля не может быть мужественной, да и обсуждение то не всегда здоровое, так он и совершит это постыдное дело, и мысль его нечистая тотчас делом становится. А как совершит, да коли, несмотря на свою порочную жизнь, все еще не забудет в себе всего человека, коли осталось в нем сердца хоть на сколько-нибудь, так оно сейчас нить примется, кровью обливаться начнет, раскаяние как змея его грызет, и умрет человек не от постыдного дела, а с тоски, потому что все свое самое лучшее, что берег помимо всего, во имя чего человеком еще звался, за ничто загубил».

В «Эпilogue» романа говорится о сияющей в глазах Раскольникова и Соши заре «обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь». Исключительно плодотворно сопоставить «Воскресение» Толстого с «Преступлением и наказанием» Достоевского. Насколько критика Толстого более сознательна, потрясает самые основы помещичье-буржуазного бюрократического государства, разоблачает всех носителей насилия над трудящимися сверху донизу. Соня Мармеладова — бледная немочь перед Катюшей

Масловой. Но есть в «Преступлении и наказании» гениальные страницы. Роман точно вылит, так он строен. При ограниченном числе действующих лиц, кажется, что в нем тысячи и тысячи судеб несчастных людей, — весь старый Петербург виден под этим неожиданным ракурсом.

Идеи столкнуты лбами, диалектика развития идей необыкновенная. Много нагнетено «ужасов», до неестественности, — сцена, где сошедшая с ума Катерина Ивановна вывела детей на улицу, бьет в сковородки и заставляет детей плясать — фальшива, неестественна, затянута. Критика социализма шестидесятников поразительно мелка и пошла для такого большого художника.

Но — силен, бес!

Заметка «О Достоевском» взята из записной книжки А. Фадеева за 8 августа 1952 года

О ЧЕРНЫШЕВСКОМ

„Что делать?“

«...Мы не считаем сочинения Гоголя безусловно удовлетворяющими всем современным потребностям русской публики, даже в «Мертвых душах» мы находим стороны слабые, или, по крайней мере, недостаточно развитые...» По мнению Чернышевского, от новых писателей нужно ждать «более полного и удовлетворительного развития идей, которые Гоголь обнимал только с одной стороны, не сознавая вполне их сцепления, их причин и следствий» («Очерки гоголевского периода»); эта точка зрения Чернышевского вполне отвечает его мировоззрению, в частности, его эстетическим воззрениям. Он видел главную заслугу Гоголя в том, что «он первый дал русской литературе решительное стремление к содержанию, и притом стремление в столь плодотворном направлении, как критическое». Но еще в работе «Эстетическое отношение искусства к действительности» Чернышевский утверждал: «произведения искусства имеют и другое значение — объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни». Однако, — добавим мы, — объяснение и приговор не полны, если нет лиц положительных, носителей идеала, порожденных самой жизнью. Отсюда — положительные герои «Что делать?»: «Каждый из них — человек стважный, не колеблющийся, не отступающий, умеющий взяться за дело, и если возьмется, то уже крепко хватющийся за него, так что оно не выскользнет из рук...»

«Я держу пари, — писал Чернышевский, — что Кирсанов, Лопухов казались большинству публики героями, лицами высшей натуры, пожалуй, даже лицами идеализированными, пожалуй, даже лицами невозможными в действительности по слишком высокому благородству. Нет, друзья мои... не они стоят слишком высоко, а вы стоите слишком низко».

В Рахметове, Кирсанове, Лопухове, Вере Павловне — Чернышевский воплотил лучшие черты свои и друзей своих, переступив через случайное, мелочное, поверхностное. Они — люди своего времени и в то же время — воплощение их мечты о будущем.

В романе великая и благородная мысль Чернышевского более является героем, чем сама жизнь, но это не лишает роман художественного очарования. Это характерно и для художественных произведений Герцена, что было раскрыто Белинским через сопоставление романа «Кто виноват?» с «Обыкновенной историей» Гончарова.

Формы реализма столь многообразны, что их нельзя объять никакой догмой.

Самое «удивительное», что по языку своему Чернышевский в «Что делать?» ближе всего к злейшему противнику своему — к Достоевскому Манера выражаться и у того и у другого, можно сказать, разночинская. Эта манера уже была у «петербургского» Гоголя, отдельные же признаки ее мы можем найти еще у Пушкина. Но никто не развил эту разночинскую манеру в такой степени, как именно Достоевский и Чернышевский, эти антиподы, выросшие из одного корня, но пошедшие противоположными путями.

Заметка «О Чернышевском» взята из записной книжки А. Фадеева за 28 августа 1952 года. Со слов «В Рахметове, Кирсанове...» и до конца дописано в апреле 1956 года.

ОБ ЭРТЕЛЕ

„Гарденины“

Прекрасная книга. Почти вся пореформенная Россия дана в разрезе. Какой язык! У нас не считают классиком, а так — писателем третьего, а может быть, четвертого ряда, — Мамин-Сибиряк считается повыше. И мало кто у нас знает Эртеля. А между тем такой книги, как «Гарденины», у Мамин-Сибиряка нет. Да что, — такой книги нет, например, у Золя. А сей уж куда как превознесен!

Заметка «Об Эртеле» взята из записной книжки А. Фадеева за 8 сентября 1952 года. Полное название романа А. И. Эртеля — «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» (1889).

О ЛЕСКОВЕ

„Запечатленный ангел“. „Человек на часах“. „Очарованный странник“

Лесков полезен для писателей. Современный литературный язык изрядно попорчен. И чтобы очистить себя от мусора и вспомнить родные корни, все многообразие старого народного говора, иногда полезно почитать Лескова, так же, как словарь Даля или романы Мельникова-Печерского.

А без этого стимула читать Лескова скучно. Мысли его примитивны и анекдотичны. Юмор его мелок. И язык его в целом непримлем, ибо — стилизован. Те из современников-писателей, кто его рабски принял, далеко не ушли — это школа мало плодотворная. Замыслина уже и вовсе читать нельзя. У нас есть писатели, идущие от Достоевского и имеющие вторую ипостась — лесковского стилизаторства. Сплав Достоевского и Лескова — трудно придумать что-нибудь другое, более губительное. Эти классики, если в них не разобраться, действительно могут заставить ходить на четвереньках и вывернуть шерстью наружу даже подлинно талантливого человека.

И все-таки Лескова можно и должно читать для профилактики.

Заметка «О Лескове» взята из записной книжки А. Фадеева за 9 сентября 1946 года.

О ЧЕХОВЕ

„Невеста“. „Степь“. „Скучная история“. „Дуэль“. „Мужики“

Чехов несомненно один из самых чудесных писателей на земле. Но очень трудно прочесть много чеховской прозы подряд: все-таки, если его читать много подряд, делается скучновато. Почему? Он умен на редкость, хочет счастья людям, во всех его рассказах есть «второй план». Чехов необыкновенно чист, прозрачен, прост. Нельзя сказать, чтобы он был только аналитичен, он несомненно эмоционален; в большинстве рассказов нет ничего лишнего, юмор его обаятелен, рассказы его занимательны даже с точки зрения их сюжетного построения, если взять сюжет, так сказать, отвлеченно. Но много читать его подряд скучно. Потому что люди его однообразны и неинтересны. Их трудно любить. Все то великое, что всегда было в народе — и особенно в период творчества Чехова, что нашло свое отражение в миллионах незаурядных людей из простого народа и в титанических фигурах русских революционеров, русских ученых, гигантах литературы, живописи и театра, — все это решительно прошло мимо Чехова-писателя... Ни одного выдающегося мужика, или рабочего, или интеллигента! Стоит задуматься над тем, что в это время Толстой написал «Хаджи-Мурата», «Воскресение», «Отец Сергий» и все свои неповторимые народные рассказы-притчи. Что вскоре пришел Горький со своими народными низами, полными мощной крови.

Сила Толстого перед Чеховым не только в том, что Толстой вообще гигант и поэтому глубже чувствовал народную жизнь. Сила Толстого еще в том, что он — самый беспощадный русский реалист — глубоко героичен. По своему духовному объему, моральной силе герои Толстого — действительно герои — Андрей Болконский, его отец, Пьер Безухов, Наташа Ростова, Анна Каренина, отец Сергий, Катюша Маслова, Хаджи-Мурат. Да, Толстой — писатель героический. Вряд ли Горький с чисто профессиональной точки зрения писатель более крупный, чем Чехов. Но Горький — писатель героический и тоже мощнее Чехова.

Действительность Чехова скучна, потому что он не понимал, что «действительность в искусстве надо выращивать, как грушу Монтрейля», что подлинная мощь ре-

лизм — там, где идет борьба между геройством и подлостью, добром и злом и где оба начала воплощены в борющихся людях, выражены через борьбу людей.

Только в драме — особенно в «Дяде Ване» и в «Трех сестрах» Чехов отчасти понял это, и для меня — пусть это звучит парадоксально — Чехов-драматург неизмеримо выше Чехова-прозаика. Драмы Чехова я не могу читать, а особенно видеть на сцене без слез, проза же его, при всем восхищении перед мыслью, перед необычайной правдой и простотой изображения — часто оставляет меня холодным. Пожалуй, самая прекрасная, поэтическая, эмоциональная вещь — «Степь». Но как это ни странно для Чехова, она неоправданно растянута и поэтому местами тоже скучновата. Очень эмоциональны в самом глубоком смысле слова чистые, правдивые и с большим социальным подтекстом такие рассказы, как «Дом с мезонином», «Дама с собачкой». Но как все же мелки все эти люди! Все рассказы Чехова о мужиках для меня просто неинтересны — потому что я с детства видел, знал и помню до сих пор, что мужики характерней, умнее, благородней, поэтичней и одновременно страшнее, т. е. они более мощны и в человечности и в звериности, чем сумел их изобразить Чехов; они гораздо разнообразней, чем он сумел их разглядеть, а в жизни и судьбе их много подлинно героического, что так чудно видели и Некрасов, и Тургенев, и Толстой, не говоря уже о Гоголе. Нужно же было барину Тургеневу «открыть», что мужик — это человек, и человек преинтереснейший, чтобы сорок лет спустя разночинец Чехов «открыл», что мужик — серый, убогий, или зверь и урод. Действительность Чехова — только одна из сторон русской действительности его времени, данная в невероятном застое. Можно читать том за томом, и создается впечатление, что все время читаешь одно и то же. А драмы Чехова сильнее потому, что в них (даже в «Вишневом саду») есть переключки с будущим — неопределенная, мечтательная, но все же глубоко жизненная. Все три сестры необыкновенно романтичны и прекрасны, несмотря на их беспомощность. И наши передовые интеллигентные молодые люди, со всей их житейской практичностью и энергией в формирующемся прекрасном эмоциональном и глубоко человеческом богатстве своей души — находят отзвук тех лучших струн, что звучат в «Трех сестрах». Я вижу это по современному молодому зрительному залу на спектакле «Три сестры» в Художественном театре. Вообще это спектакль (как и пьеса) — глубоко патриотичный, исключительной моральной силы воздействия на души людей в смысле их очищения. Для воспитания новых поколений он имеет большое значение.

Проза Чехова неповторима, по ней учились, учатся и будут учиться поколения. И все-таки я вижу, что интеллигенция, растущая у нас из рабочих и крестьян, не только все дальше и дальше уходит от интеллигенции, изображенной Чеховым-прозаиком, она просто растет по-своему, мимо, очень далеко от всего склада, образа жизни и мышления чеховской интеллигенции, а это значит, что в ее изображении Чехов не достиг высоты общечеловечности. Почему, в самом деле, современные дети рабочих и мужиков могут найти в себе больше общности с Андреем Болконским, Пьером Безуховым, Наташей Ростовою, чем с чеховскими разночицами? Интеллигенция Чехова нашим передовым образованным молодым людям не может не казаться несколько непонятной, ничемной, скучной. В этом смысле князь Андрей, Пьер, Наташа — более понятны и близки.

Надо же было барину Тургеневу «открыть» разночинца Базарова, в котором наша молодежь находит родственные себе черты, чтобы тридцать лет спустя разночинец Чехов показал своих разночинцев, с которыми у нашей молодежи нет никакого родства. Конечно, известная часть нашей молодежи еще только д о р а с т а е т до некоторых сторон душевного склада тех лучших представителей интеллигенции, которых сумел увидеть и показать Чехов в своих драмах. Однако в жизни в то время были еще более интересные интеллигенты, чем в его драмах.

Достаточно сказать, что во времена Чехова разночинец Базаров уже не был одиноким, а мощно двигал вперед русскую и мировую науку в борьбе с рутинерами и мракобесами — двигал ее в лице Менделеева, Сеченова, Мечникова, Ковалевского, Тимирязева и их многочисленных учеников и последователей.

Мечников, например, — современник Чехова. И вот каким видел Мечникова его сподвижник Ру в день семидесятилетия ученого:

«До сих пор я так и вижу вас на будапештском конгрессе 1894 года, когда вы спорите с вашими противниками: лицо горит, глаза сверкают, волосы спутались. Вы были похожи на какого-то демона науки, ваши слова, ваши неопровержимые доказательства вызывали рукоплескания аудитории».

Да, Мечников был весь в борьбе и вовсе не походил на чеховского Дымова!

Он всегда ставил перед собой большие трудные вопросы — о смысле и цели жизни, об основе нравственности, о смерти, — решая их с научных позиций, с подлинной смелостью и страстью новатора.

В драмах своих Чехов менее бытовистичен, локален и более общечеловечен, чем в прозе. Но в жизни были еще более интересные люди, чем в его драмах. То, что Чехов-прозаик, за исключением нескольких действительно скучных фигур, вроде Дымова в «Попрыгунье» или Кириллова во «Врагах», не показал, или почти не показал ни одного яркого, преданного своему делу, любящего народ, отдающего ему все свои силы души — красивого, сильного характером народного учителя, фельдшера, агронома, врача, каких я не мало знаю по своему детству, что он не показал ни одного незаурядного мужика с подлинно министерской головой и настоящим размахом, ни одного мужика большой оригинальности и индивидуальности, каких я даже в одном своем селе, закрыв глаза, могу назвать десятки, причем они, в силу своей шекспировской внешности и души, стоят в моей памяти так рельефно, как если бы они были вырезаны из меди или отлиты из бронзы, — то, что Чехов не видал этого, это колоссальное поражение его как художника.

Не увидеть в русской действительности ни одного смелого, умного, думающего и ищущего рабочего мастерового человека, ни одного мужика с характером, ни одного идейного, яркого, умного, сильного народного интеллигента — это значит все-таки остаться до конца дней своей жизни в стороне от главного русла борьбы и развития. Как я могу с интересом читать и любить скучного Дымова, когда я знаю, что моя мать, рядовая фельдшерица, не раз жертвовавшая собой ради спасения жизни других, была человеком шекспировского характера, апостолом правды и одновременно деспотом вроде Марфы Посадницы! К ней за сотни верст ездили мужики советоваться не только о медицинских, а и о своих жизненных и общественных делах; даже староверы, которые не признавали медицину и не лечились у матери, ездили к ней советоваться, когда она уже работала в городе, для чего им нужно было проехать 120 верст на лошадах и 200 верст поездом. Не могу я с интересом читать про чеховских интеллигентов, если я знаю такого врача, как чистопольский Авдеев Дмитрий Дмитриевич, который в невыносимых условиях, лет 40 проработал среди чистопольских крестьян-татар, большой, красивый, сильный человек, который так же далек по незаурядной биографии своей, по могучей индивидуальности своей от чеховских «героев», как король Лир от Чебутыкина; если я знаю такого врача, как отец доктора Писарева, который (отец), поступив на участок в селе Ярославской губернии фельдшером, еще в условиях старого строя, путем самообразования, сдал экстерном на врача, стал врачом, проработал на одном участке 55 лет, вылечил целые поколения крестьян и крестьянок и еще в юности своей уговорил мужиков посадить возле своего села, на землях, считавшихся неудобными, лес-сад, который превратился также на закате его жизни в гигантский парк — гордость ярославских колхозников. Надо сказать, что вся жизнь этого «Астрова» была отдана народу. Не увидеть этого в России — это невероятное поражение Чехова, как художника. В народе были рядовые Мичурины, Менделеевы, Репины, Ермоловы, Чайковские, а главное, уже росли рядовые Ленины и они, эти маленькие люди, были очень ярки, как и их высшие прообразы, — они совсем не походили на Дымова и на Кириллова, но Чехов не видел этого.

В ряду великой русской литературы — Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Некрасов, Толстой, Достоевский, Чехов, Горький — это обстоятельство заставляет считать Чехова все же наименьшим. Но, конечно, наименьшим именно в этом великом ряду.

Заметки «О Чехове» взяты из записных книжек А. Фадеева за 24 мая и 8 июня 1944 года.

ратурой эклектизма». По существу, он стремился к синтезу не только в смысле философских обобщений, а и к синтезу художественных средств. Вначале фантастика, сатанизм, байронизм, меланхолия и ирония и вообще «философские» и «символические» персонажи играли в его творчестве доминирующую роль («Шагреневая кожа», которая тесно связана с 1-й частью «Фауста»). Потом он переходит к «сценам нравов», т. е. собственно к «Человеческой комедии», т. е. к реализму в современном смысле. Сам он так формулирует его: «Люди всеобъемлющие, двуликие умы принимают все, и лиризм и действие, драму и оду, полагая, что совершенство требует целостного видения вещей. Эта школа, которую можно назвать литературным эклектизмом, требует изображения мира, каков он есть: образы и идеи, идея в образе или образ в идее, движение и мечта».

Очень плодотворная для развития нашей современной литературы мысль о том, что реализм Бальзака вбирал в себя «романтические» и «классические» моменты. Эту эстетику Бальзака Рейзов излагает так: «Искусство должно вмещать в себя грацию Рафаэля и средневековое уродство, расиновский стих вместе со стихом «Ориенталий» и гротеск наряду с Венерой».

Общим для «романтического» движения в противовес «классицизму», общим и до и после распада его на собственно романтиков и реалистов в нашем понимании — было то, что уродливое и безобразное считалось достойным пера художника наряду с красивым. Впоследствии Золя с его «натуралистической» школой, а особенно эпигоны Золя, сделали своим объектом только уродливое и безобразное. Бальзак не доходил до этого, он был выше на голову. Но он подверг уничтожающей критике «классицистическое» изображение красоты, даже древнегреческое, ибо оно тоже могло иметь «только одну форму» во множестве копий: «Илиада», греческие статуи и храмы. А искусство в нашем понимании включает идеал наряду с фантазией... Можно поместить самую идеальную статую среди десяти тысяч статуй Миланского собора, расиновские строки в «Ориенталии», какую-нибудь английскую Венеру в «Клариссу» и в «Хиосской резне» восхитительную женскую фигуру у лошадиного хвоста». Реалисту Бальзаку нравился «Собор Парижской богородицы» и китайский гротеск.

Эта синтетичность Бальзаковского реализма, которая по его мировоззрению и условиям социальным не могла быть столь совершенна в идейно-художественном отношении, как могли бы достигнуть мы, но все еще, — увы, — «не достигли», — эта синтетичность возвышает его над реалистами — его современниками — на голову. По сравнению с ним не только Золя, а и Флобер слишком приземлены и ползучи. При всех красотах стиля, Флобер настолько «объективен», лишен стремления к добру, к «идеалу», что его, в известном смысле, можно считать родоначальником формалистической литературы — особенно после «Саламбо».

Исключительная самонадеянность невежества, впрочем вполне простительная в юности, помешала мне в ранних статьях, группирующихся вокруг статьи «Долой Шиллера» —

- а) понять всю плодотворность «романтизма» в старом «синтетическом» и в нашем — социалистическом реализме;
- б) выделить в этом смысле Бальзака, Стендаля среди таких, как Флобер, Золя.

Но я могу гордиться тем, что раньше всех «догадался», насколько старые обозначения школ и течений не соответствуют их действительному месту (в смысле художественного метода), и понял, что, например, и Свифт и Толстой, оба по-своему реалистичны. А Дерман посчитал, что я тем самым все «нивелирую»; наоборот, — я тем самым «догадался» об исключительном разнообразии художественных средств выражения в пределах реализма, а тем более — социалистического реализма.

(Примечание: Следует в этом смысле очень и очень продумать вторичное возвращение Бальзака, уже вполне реалиста, к Вальтеру Скотту и Куперу в то время, когда французская литература давно уже охладела к этим своим бывшим учителям).

Синтетичность реализма Бальзака сказывается на форме его произведений. Роль лирической эмоциональной окраски в понятии формы и стиля. Разнообразие языковых средств.

Реизов: «Бальзак постоянно упрекает своих современников в том, что фразы их недостаточно живы, гибки, недостаточно послушны идее, что одинаковым языком они пишут произведения, совершенно различные по содержанию».

Слияние, вернее, синтез реализма и романтизма подымают реализм на более высокую ступень. Что это значит? Правда жизни, обогащенная мечтой, т. е. будущим, в условиях нашей жизни, которая развивается к совершенству, к добру,— это ли не величайшая степень реализма? Вот в чем формула социалистического реализма. Счастливицы! Никогда и никому в истории не было дано таких героев, которые уже в настоящем столь воплощают черты будущего, как наши. Мы еще в очень малой степени отразили это в нашем искусстве, ибо не умеем смотреть и слишком копаемся в «мусоре».

Однако, противопоставление нашего реализма, как «героического» — прошлому реализму, как «критическому», неточно, не совсем правильно, включает в себя только зерно верной мысли. Неправильно здесь то, что в отношении к прошлому наш реализм еще более последователен в критике, что я уже отмечал однажды. Ибо мы с еще более высоких позиций просматриваем старое, да и в нашей жизни много еще «мусора» и вообще плохого.

Но еще более неправильна мысль, будто старый реализм ничего не утверждал, не возвышал, не героизировал. Какой вздор! Русская классика стоит на этом — Пушкин, Толстой, Тургенев, Горький (даже Гоголь в «Тарасе»). А Диккенс, Стивенсон? А Марк Твен в «Томе» и в «Геке» и в «Жизни на Миссисипи»? А Ромэн Роллан, а Ибсен, а Гамсун, а Вальтер Скотт, а «Тиль Уленшпигель»?

Сейчас важнее обратить внимание наших писателей на эту сторону старого реализма, потому что она наиболее плодотворна для нас. В нашей литературе мало любви к современному человеку, как носителю будущего, как провозвестнику добра в жизни людей. А без этого нельзя правдиво показать и все дурное в человеке и в жизни.

Сознание того, что в настоящем заключено будущее, было присуще Бальзаку.

В рецензии на роман Поля Лакруа «Les deux Fous» Бальзак говорит: «Недостаточно показать, что настоящее лучше прошедшего; нужно дать читателю почувствовать, что вслед за настоящим придет будущее, и что это будущее совершеннее той эпохи, в которую мы живем». И в «Человеческой комедии» Бальзак историчен в самом глубоком смысле. Видно течение жизни — по его героям, как носителям прошедшего, настоящего (в самых различных оттенках) и будущего — так, как это будущее мог видеть и представлять себе Бальзак.

(Примечание. Буржуа говорят, что социализм лишает человека индивидуальности. Но это же — и насколько с большим правом — говорили о капитализме даже в период его расцвета!

В статье на эту тему можно привести слова Шарля де Ванденесса, одного из героев «Тридцатилетней женщины» (см. Реизов, стр. 140).

Многообразие и движение жизни так привлекало Бальзака, как художника, что это побеждало в нем, в его творчестве, легитимиста. Как это часто бывает у художников и ученых, мировоззрение его было глубже и шире его политических взглядов.

У Гете основная тема трагедии — борьба героя с Судьбой. У Бальзака: «Один против Необходимости, Необходимости, превращенной в квартирохозяина, квартирную плату, прачку и т. д.».

Бьяншон, доктор: «Деньги — религия нового мира». Бальзак хорошо понимал это. В то же время деньги не всегда цель для героев Бальзака, они скорее «необходимость». Героев Бальзака влечет мания, идея, благородная или безумная, честолюбие, страсть, творческий пыл. «Выгода может объяснить только низменные поступки» («Мысли Наполеона»).

Бытовой колорит, данный щедро, но не сам по себе, а слит с высокой драмой, с трагедией шекспировской глубины. В этом сила Бальзака. Правда — это «страшное слияние пошлого и возвышенного, патетического и гротескного; словом, это жизнь такая, какова она есть...» (Феликс Давен).

Подлинная современность не только в инерции социального порядка, не только в косности нравов и страстей и наживе, она — в борьбе идеалов, в упорной работе мысли, в победе над низкими инстинктами, она в людях, пишущих книги, делающих

открытия, умирающих на баррикадах. Так современность интересует Бальзака во имя скрытого в ней будущего.

Несомненно, Бальзак в большей степени идет от Данте и Микельанджело. И он сам неоднократно ссылается на это. «Человеческая комедия подобна башне Вавилонской» и т. д. (см. рассуждения Золя, Рейзов, стр. 3).

Бальзак эволюционировал от либерализма к легитимизму. Он не был легитимистом в точном «карлистском» смысле, так как мечтал о новой аристократии, вырастающей из аристократии родовой, капиталистической и аристократии «духа», «таланта». Он признавал роль государства и особенно церкви и особенно католической, как системы подавления порочных, индивидуалистических наклонностей, инстинктов человека.

Непонимание Бальзаком декларации прав человека с ее возвеличением личности человека, как глубоко прогрессивного, гуманистического явления, в противопоставлении кастовости, сословности, привилегиям абсолютизма. Он понимал декларацию прав, как начало, как источник того разнузданного индивидуализма, конкуренции, борьбы всех против всех, которое, в сущности, легло в основу наполеоновского гражданского кодекса и стало основой «безнравственной» культурной жизни общества при Бальзаке.

На деле же католическая церковь видела в «легитимисте» Бальзаке существо аморальное, «чудовище» и внесла его книги в разряд безнравственных и запрещенных. Ибо в понимании католицизма Бальзаком нет ничего религиозного. По Бальзаку, в католицизме — столько же добра и зла, как и во всякой другой религии. Но поскольку католицизм господствует во Франции, значит, надо подчиниться ему, как правилам игры в карты или в шашки. Это наряду с Бальзаком проповедует в «Человеческой комедии» «гений зла» — каторжник Жак Колен.

Стремление отдельного человека к счастью, свобода его разума и даже страстей в разумном государстве лежало в основе просветительской философии. Бальзак же видел в этом начало эгоистическое и разрушительное. Впрочем, это же и у Руссо. («Мыслящий человек — извращенное животное»).

По Бальзаку, чем меньше мысли и больше веры, тем человек «моральнее», устойчивее и нравственно и физически. Из высказываний физиолога и мистика Физидора, героя Бальзака: «Жизнь — это огонь, который нужно прикрывать золой. Мыслить — значит добавлять пламени к огню... «Мысль... — это настоящий ангел-губитель человечества...». «Карл Моор (в «Разбойниках» Шиллера) — самое отвратительное создание, самое глубокое злодейство, которое когда-либо изобразил на сцене драматург» (предисловие к «Шагреневой коже»). Почему? Потому что он при помощи нескольких идей убивает старика!

Страсть — это излишество, зло. Добродетель — лишена страсти. Камюза, предающий правосудие, страстен. Добродетельный Попино лишен всяких страстей. «Героизм, который опирается на страсти, несколько не возвышает человека» И вот в чем проблема для Бальзака (по Рензову): «Страсть — это все человечество. Без страсти религия, история, роман, искусство оказались бы ненужны...» «Но страсть — это излишество, это — зло», а поэтому — «спасительное противопоставление добра и зла в «Человеческой комедии» составляет предмет моих беспрепятственных забот». Бальзак сопровождает изображение страстей «великим поучением». Такова его «философия», «воззрение». Но в то же время Бальзак видит: «Человек без страсти, совершенный праведник, — чудовище, полуангел, еще не имеющий крыльев... Праведник на земле — это скучный Грандиссон, для которого даже уличная Венера оказалась бы бесподой».

Это — не религиозный католицизм, а такое отношение к религии, какое выражено в «Теории власти» Бональда и в «Гении христианства» Шатобриана. Т. е. без страсти нет жизни, и чем сильнее страсть, тем больше поборающая ее добродетель. Религия, подавляющая страсти, предполагает их наличие. Отсюда неприятие Бальзаком протестантского, пуританского изображения страсти, особенно к женщине, у Вальтера Скотта. У Бальзака г-жа де Морсоф («Лилия в долине») побеждает страсть смертью, издав последний «крик плоти».

Обратить внимание на роль господствующей страсти у Бальзака. Более прямолинейно в более ранних романах («Гобсек», «Горно», «Грандэ» и т. п.) и психологически усложненно в дальнейшем («Кузина Бетта» и особенно «Беатриче», «Провинциальная муза», «Депутат от Арси»).

Католики, конечно, не могли признать Бальзака «своим». Ибо, в конечном счете, в изображении Бальзака величие самой страсти выше победы «духа» над нею. Так Бальзак-реалист торжествует над Бальзаком-католиком. «Великие страсти редки, как шедевры. За исключением такой любви, существуют лишь сделки, переходящие возбуждения, достойные презрения, как все ничтожное» («Феррагюс»). Это гениально!

По Бальзаку, мысль — явление материальное, и это одновременно и делает его материалистом и в силу вульгарного понимания сближает с мистиками, «ясновидцами», «вызывателями духов» и прочими кретинами оккультных «наук». Последнее — это у Бальзака-художника наносное. По существу, он обеими ногами стоит на почве материалистического сознания.

Подводя итоги мировоззрению Бальзака, как художника, можно видеть, что по существу его пленяет революционная материалистическая философия XVIII века, и в то же время он боится ее и, как католик-идеалист, весьма неубедительно в своих «поучениях» старается приспособить к легитимистско-католической реакции.

Бальзак стоит на той точке зрения, что, поняв закономерность событий, можно управлять ими. «Высший человек вступает в союз с событиями и обстоятельствами, чтобы руководить ими», — говорит Вотрен (каторжник Колен).

Слабые личности, бездарные правительства, рассеянные индивидуальные воли вновь превращают мир в хаос. Отсюда необходимость сильной политической власти. Отсюда преклонение Бальзака перед Наполеоном.

Тетка Вотрена говорит «со страшной гордостью»: «Вот уж сорок лет, как мы замечаем судьбу».

Вотрен — «Наполеон каторги».

«Вскрыв жестокое беззаконие буржуазных законов, он (Бальзак) видит исход не в уничтожении буржуазного общества, а в монархическом произволе, стоящем выше закона» (Реизов). Умный, добрый монарх — вот что нужно. Трагический реализм! Необходимость «порядка», подавляющего естественные потребности человека. Общественное «спокойствие», покупаемое ценой отказа от личного счастья. Так Бальзак показывает противоречие, неразрешимое в пределах буржуазного общества, противоречие между государственным строем и личностью.

Материалистическая основа мировоззрения Бальзака, идущая от революционной философии XVIII века, разывает внешние покровы благонамеренного католически-легитимистского морализирования и обуславливает философскую глубину изображений Бальзака.

В сущности, реализм Бальзака не так «стихиен», как это принято было считать.

Бальзак говорит: «...Это мы создаем настоящую действительность. Она подобна вот этой чудесной груше Монтрейля, которую с бесконечным трудом выращивают в течение ста лет. Та действительность, о которой говорите вы, подобна горькому плоду лесной груши, который ни на что не годен. Настоящую действительность, действительность в искусстве, нужно выращивать, как грушу Монтрейля».

Писатель в случайном находит закономерное и «овладевает» событиями, как государственный муж, политический деятель.

Книга — по Бальзаку — более влиятельна, чем сражение. «Руссо больше совершил, больше повлиял на французские нравы, чем Наполеон. Сражение под Аустерлицем — случайность, торжество одного мгновения, события доказали это, между тем, как «Павел и Виргиния», например, ежедневно одерживают победу Франции над Европой».

Либертон рассматривает сюжетную интригу Бальзака с той же точки зрения, что Честертон — интригу Диккенса. Реизов показывает, что интрига Бальзака лежит в основании современного общества, и это, конечно, верно. Следовало бы под этим углом зрения исследовать и сюжетную интригу Диккенса.

Вообще говоря, сближение Диккенса и Бальзака, как это ни парадоксально на первый взгляд, — очень плодотворно. И Жорж Санд и Виктор Гюго и, наконец, Энгельс отмечают в реализме Бальзака способность видеть и показывать передовое, человеческое, «доброе» там, где его в то время можно было найти. Бальзак выше Диккенса лишь в том, что он не впадал в идеализацию и сентиментальность. Но в «Холодном доме», в «Давиде Копперфильде» несомненно много «бальзаковского».

Бальзак — о развязке драмы в «форме катастрофы». В природе эти бурные отношения не заканчиваются, как в книгах, смертью или искусно построенными катастрофами; они кончаются менее поэтично: отвращением, гибелью лучшей части души, «пошлостью привычки». Отсюда пошел Флобер.

Бальзак говорит: «Наша юная литература пользуется методом картин, в которых сосредоточены все жанры, комедия и драма, описания, характеры, диалог, охваченные сверхающими узлами увлекательной интриги».

Эта мысль Бальзака очень плодотворна для нас — в смысле необходимости большей художественной свободы в романе: роман позволяет сказать в с.е. И в то же время нельзя забывать о занимательности.

В целом можно сказать, что книга Б. Г. Рензова — прекрасная умная работа, совершенно недооцененная и не замеченная, опирающаяся на подлинное знание вопроса. Ее популярность мешает суховатый, книжный, избыливающий «терминами», иностранными словами и кавычками, скучный язык, так характерный для многих литературоведов, особенно «ленинградской» школы. Однако это не может отнять (для серьезного читателя) глубокого познавательного значения этой книги.

Заметки о Бальзаке взяты из записных книжек А. Фадеева за 20—22—23—24—31 июля, 1—2—15—25—27—28 августа 1945 года.

Заметки представляют собой изложение и комментарий к книге Б. Г. Рензова «Творчество Бальзака». (Гослитиздат. Л. 1939).

О СТЕНДАЛЕ

Характерно, что «романтизм» в представлении Стендаля тоже не означал какой-то литературной школы или течения. Для него «романтизм» — то общее направление литературы, противопоставившее себя «классицизму», — направление, характерным признаком которого является: 1) современность, 2) верное изображение страстей (то есть конфликты характеров). В «Жизни Россини» он утверждает: «...Искусство живет только страстями... Нужно почувствовать пожирающий огонь страстей, чтобы преуспевать в области искусства». Все творчество Стендаля показывает, что его интересовали далеко не только страсти в области любви, а страсти общественные, — мало того, все любовные конфликты у Стендаля это тоже конфликты социальные. В работе «Расин и Шекспир»: «Романтизм — это искусство давать народам такие литературные произведения, которые при современном состоянии их обычаев и верований могут доставить им наибольшее наслаждение. Классицизм, наоборот, предлагает им литературу, которая доставляла наибольшее наслаждение их прадедам».

Этот призыв Стендаля к современности был одновременно ударом по реакционному романтизму, который уходил в прошлое, идеализировал прошлое.

Бальзак о Стендале: «Я пишу фреску, а вы создали итальянские статуи». Но, в сущности, обоих объединяло то, что так прекрасно выражено Дидро: «Человек есть единственный пункт, от которого все должно исходить и к которому все должно возвращаться, если мы желаем понравиться, заинтересовать, растрогать, даже при изложении самых сухих размышлений и самых мелких подробностей».

В этом сила обоих, но Бальзака более интересовали «обстоятельства», формирующие человека, а Стендаля — собственно «диалектика души».

Противоречивость и одновременно цельность образов Стендаля объясняется тем, что взращен он был в героическую эпоху, а творить ему пришлось в эпоху торжества денег. Фабриций, Жюльен Сорель, Люсьен Левен — при всем том, что они люди рефлектирующие, — преисполнены живых чувств и страстей, несут в себе подлинно-героическое начало.

Именно этими своими сторонами творчество Стендаля так нравилось Л. Толстому.

Заметка «О Стендале» взята из записной книжки А. Фадеева за 31 марта 1955 года. Со слов «В этом сила обоих...» и до конца дописано в мае 1956 года.

О ФЛОБЕРЕ

В отличие от Бальзака и Стендаля — реализм Флобера ползучий, бескрылый — при всем мастерстве Флобера в области лепки характера, остроте зрения, позволяющей ему выхватывать из обилия жизненных деталей иногда самое неожиданное, при непревзойденном мастерстве в области стиля.

Флобер не только не понимал реализма Бальзака, он его не признавал. В «Сентиментальном воспитании» он скрытно полемизирует с Бальзаком, характеризуя Делорье, знавшего «свет» «сквозь лихорадку своих вожелений»... «Он верил в существование куртизанок, которые дают советы дипломатам, в выгодные браки, заключенные с помощью интриг, в гениальность каторжников, в случайность, покорную сильной руке». Это выпад против лучших романов Бальзака и, в особенности, против образа Жака Колёна (Вотрена) — каторжника, одного из гениальных образов Бальзака, разоблачающих капитализм через его изнанку, через его страшное дно. Флобера смутило, что так о го каторжника вряд ли можно было бы встретить среди «живых» каторжников. Но «выдумка» Бальзака раскрывает подлинное лицо капитализма, разоблачает капитализм больше и глубже, чем все произведения Флобера. Жак Колен больше «жизнь», чем все «Сентиментальное воспитание» с «Мадам Бовари» в придачу. (Подлинный реализм включает в себя «романтизм»). Бальзак увидел в республиканцах положительные моральные качества, где их действительно тогда только и можно было найти. Флобер же обогал утопических социалистов, проявив в оценке социалистических учений обывательское невежество, и относился всю жизнь к простому народу, как к «быдлу». И это реализм?!

Но у Флобера можно и должно учиться многому и прежде всего его бескорыстному, самоотверженному, предельно чистому, преисполненному чувства долга отношению к своему искусству, к художественному труду. Его частные открытия неповторимы. Прекрашен образ госпожи Арну. А господин Арну точно вылеплен — так он ошутим весь и физически и по внутреннему его облику. И только Флобер мог сказать такое: «Глубокие чувства похожи на порядочных женщин; они страшатся, как бы их не обнаружили, и проходят через жизнь с опущенными глазами». Это замечательно и тем, что сказано в связи с единственно глубоким чувством Фредерика — его чувством к г-же Арну. Так г-жа Арну с ее нравственным обликом охарактеризована через глубокое чувство и сама является как бы физическим, живым воплощением этого чувства — столь же единственным или, во всяком случае, редким в окружающем пошлом обществе, как редки в этом обществе глубокие чувства. И все же, куда как далеко г-же Арну, скажем, до пушкинской Татьяны!

Флоберу невозможно простить изображение восстания 1848 года в Париже. Написанное пером злобствующего обывателя, изображение это лживо и гнусно.

Вывод: Реализм подлинный подразумевает изображение наиболее существенных сторон жизни, умение их увидеть. Этому способствует наиболее передовое для данного исторического времени мировоззрение. Противоречие между так называемыми «взглядами» и объективным художественным методом не есть противоречие между мировоззрением и художественным методом (это — бессмыслица), а есть противоречие в самом мировоззрении, сказывающемся на верности художественного изображения (как, например, у Бальзака и у Толстого, что вскрыто — у первого — Энгельсом и — у второго — Лениным). Реализм без долженствования не может быть подлинным, как это и «случилось» с Флобером; подлинный реализм обязательно включает желаемое, должное, мечтаемое, т. е. романтизм. Противоречие между реалистическим и романтическим методами полностью снято социалистическим реализмом.

Замечка «О Флобере» взята из записной книжки А. Фадеева за 22 декабря 1952 года.

О ЗОЛЯ

„Жаба“ Золя

Мужественная статья, пример нам.

«Статья глупая, статья ядовитая, статья сумасшедшая» — вот образцы современной ему критики.

Золя: «Только подвергаясь атакам и может расти писатель. На самых больших злое всего и нападают, а прекратятся эти атаки — значит писатель начал сдавать». Замечательный конец статьи: и как критики эти не боятся суда истории?!

Мопассан прекрасно разобрал стихи юного Золя: «По большей части, они заключают в себе пространные философские рассуждения: в них говорится о таких грандиозных вещах, которые обычно облачаются в стихотворную форму только потому, что для прозы они недостаточно ясны». Очень хорошо!

Это справедливо для огромного большинства современной поэзии, даже раннего Маяковского, не говоря уже о Багрицком, Луговском, Сельвинском. Тем не менее, поэзия — действительно наиболее удобная форма для выражения грандиозных идей, когда их нужно дать синтетически, как в симфонии.

Все ли ясно в шестой симфонии Чайковского? Но это подлинная правда и реальность.

Мопассан забывает, что поэзия близка к музыке. К тому же все развитие литературы после Мопассана показало, что можно писать туманно и ложно-значительно — прозой.

По словам Мопассана, Золя так определял «натурализм»: «Природа, увиденная сквозь темперамент художника».

«Романтизм — реалистичен». Это — мнение Барбюса, и оно глубоко верно, поскольку речь идет о литературном движении первой половины XIX века.

Барбюс верно говорит о стиле Золя, «в котором чувствуется не столько искание стиля, сколько воодушевление».

Все же непонятно предпочтение, оказываемое Барбюсом — Золя перед Стендалем (см. его книгу «Золя»).

Книга хороша, но Барбюс совершает две крупные ошибки:

когда понятие интернационализма противопоставляет патриотизму «вообще» (у него интернационализм безнационален, что невозможно);

когда забывает, что многие стороны семьи и брака, носящие буржуазный характер при капитализме, приобретают совершенно иное значение в социалистическом обществе, т. к. спадает маска лицемерия и все наполняется благородным содержанием.

Заметки «О Золя» взяты из записных книжек А. Фадеева за 23 мая 1940 года, 14 июня и 14 июля 1944 года.

Статья Э. Золя «Жаба» была опубликована на русском языке в журнале «Интернациональная литература» № 3—4 за 1940 год.

Статья Ги де Мопассана «Эмиль Золя» опубликована там же.

О МОПАССАНЕ

„Избранные новеллы“

Прекрасный правдивый писатель. Несомненно там, где он видел добро в людях, он его показывал. Это можно видеть по многим его новеллам. Это есть и в «Жизни» в образе Жанны. Но он, как и Флобер, не верил в то, что добро может восторжествовать, не видя той силы в народе, которая может осуществить добро в жизни. Отсюда многие его новеллы, как и роман «Милый друг», в самом глубоком смысле слова, безнравственны. Они безнравственны не прямым изображением грубых сторон жизни — в этом сила Мопассана, — они безнравственны своим неверием в возможность торжества добра.

Эстетизируется вся низость общества, читатель силою авторского таланта погружен в ароматное болото и не в силах вылезти из него. И все же в произведениях Мопассана, больше чем в произведениях Флобера, чувствуется стоящий за всем этим страдающий человек прекрасной души.

Такие вещи, как «Пышка», «Мисс Гарриет», «Возвращение», «Мадемуазель Перль», очищают душу.

Заметка «О Мопассане» взята из записной книжки А. Фадеева за 1 февраля 1946 года в связи с чтением книги Ги де Мопассана, «Избранные новеллы» (Гослитиздат. 1945).

ЧЕСТЕРТОН О ДИККЕНСЕ

(Изложение и комментарии)

Умно и верно, что на творчестве Диккенса — ответ идей французской революции и чартистского движения. Величие Диккенса — величие этого поколения. Вера в величие и достоинство человека. Умно и верно, что, если литература есть «преувеличение» (обобщение), то почему принято считать «естественным» преувеличение (обобщение) в литературе всего злого, критического, скептического, иронического и осуждать в Диккенсе преувеличение (обобщение) всего доброго и оптимистического.

Замечательна мысль о том, что жизнерадостность и оптимизм Диккенса имеют народные корни. Глупо думать, что жизнь, полная лишений, порождает пессимизм. «Пессимисты — аристократы». Народ, несущий бремя лишений и страданий, — оптимистичен и жизнерадостен.

«Мы... считаем, что все должно быть в меру, «хорошего понемножку», и эта наша робость является своего рода кощунством, способным смести в один миг все идеалы человечества. Великие богородицы былых времен не боялись быть обреченными на вечные мучения, нас же страшит даже радость, если она вечна».

«В отличие от современных романистов, выдвигающих на первый план алхимию своих экспериментов и расплывчатые характеры своих героев, Диккенс продолжал иные литературные традиции. Он был призван создавать полубогов, как это во все времена делали люди из народа. Он был призван, повторяю, усилить мощь жизни. Прославленный им идеал, это, в сущности, задушевная беседа двух друзей за бутылкой вина всю ночь напролет. Но эти люди связаны дружбой вечной и неразрывной, их ночная беседа длится бесконечно, и они пьют вино из неисчерпаемого сосуда».

Наши современные романы, — говорит Честертон, — в большинстве случаев, изображают людей из интеллигентных слоев общества и рисуют их такими, какими они являются на самом деле, тогда как народное творчество создает образы непомерной величины, описывает героев-полубогов. Создание подобного рода титанических фигур, очевидно, задача и слишком ответственная и непосильная для представителей интеллигенции. Оно требует такого же мастерства, как ремесло каменщика или хлебопаша. «Эти гиганты созданы скромными тружениками земли, которые не имели права избирать своих королей, но которым это ничуть не помешало избрать себе богов».

«Живопись, выдержанная в блеклых и серых тонах или в полутонах, об отсутствии которых вы так сокрушаетесь в произведениях Диккенса, рисует не жизнь, а создавшееся в нашем уме представление о ней. Настоящая же живопись, борьба героизма и подлости, отражает истинную жизнь, жизнь действительно пережитую».

«Когда сюжетом современного романа служит наивный клерк, который не в состоянии решить, на какой девушке ему остановить свой выбор, или какое вероучение спасет его душу, мы тем не менее награждаем этого жалкого кретина именем «героя», хотя более громкого названия не удалось бы придумать даже для Ахиллеса!»

«Диккенс был не романист, а скорее творец мифов...» Его герои точно «взяты из мешка рождественского деда». Они «долговечны и живут в радостном сознании своего совершенства».

Герои Диккенса не развиваются в зависимости от обстоятельств, они существуют на протяжении всего романа такими, какими он их «вынул из мешка». Его разветвленный, увлекательный сюжет потому и необходим ему, чтобы дать калейдоскоп лиц и характеров без их развития.

«Диккенс служит блестящим примером того, что может получиться, если гениальный писатель общается с широкой публикой литературными вкусами».

Дальше прекрасно о служении народу, о неразрывных нитях, связавших Диккенса с народом.

«Уметь вникать во все, что угодно, — единственное средство увидеть истинную сущность вещей. И таким людям вещи как будто приветливо кивают головой».

Честертон опрокидывает эстетскую точку зрения о якобы вульгарных вкусах, вульгарном понимании «толпы». «У Платона и у Данте был общий со всеми людьми разум; только потому их духовная жизнь и получила всеобщее признание».

Честертон обходит всю критическую сторону реализма Диккенса и с присущим ему блеском и остроумием подымает все жизнерадостное и героическое в творчестве Диккенса.

А между тем, если изъять у Диккенса всю критику английского капитализма, нельзя правильно понять и характер гуманизма Диккенса.

Диккенс Честертон — односторонний Диккенс, и это — не случайно.

Заметки «Честертон о Диккенсе» взяты из записных книжек А. Фадеева за 10—11—12 и 14 июня 1944 года. Заметки представляют собой изложение и комментарии к книге Г. Честертон «Диккенс» (Издательство «Прибой». Л. 1929).

О ХАЛЛДОРЕ ЛАКСНЕССЕ

„Самостоятельные люди“

«Понять борьбу между двумя противоположными силами души — это еще не источник, из которого рождается песня. Источник прекраснейшей песни — это сочувствие» (подчеркнуто мной. — А. Ф.). Как это верно! Без любви к человеку не увидишь, не поймешь, не передашь конфликта!

Перед отъездом Йоуна, младшего сына Бьяртура, в Америку отец с сыном светлой ночью идут к болоту, где осталась овца, — она должна вот-вот окотиться.

«...Болтливый кулик следовал за Бьяртом, рассказывая ему длинную чудесную сагу. А как послушаешь, то начинает казаться, что для такой длинной саги маловато содержания: все «хи-хи-хи» — и так без конца лет на тысячу.

Но когда-нибудь на дальней стороне вспомнится тебе эта сага, и ты вдруг откроешь, что она красивая, пленительнее многих других, может быть даже самая красивая на свете. И ты надеешься, что услышишь ее еще раз после смерти; что тебе будет разрешено скитаться ночью на болотах в канун вознесенья, после твоей смерти, и еще раз послушать эту полную чудес сагу, — именно эту и никакую другую».

Лакснесс — один из самых сильных художников современности. Только необыкновенная любовь к своему народу могла породить столь поэтичную и глубоко человеческую книгу.

Бьяртур в его борении с жестокой судьбой — действительно «герой саги». Это подлинно «героическая сага» об исландском бедном мужике. Ауста Соуллия — образ, преисполненный поэзии возвышенной и правдивой. Да, поистине источником этой прекраснейшей песни было сочувствие к судьбе народа своего, так угнетенного и униженного и такого сильного душой.

Заметки «О Халлдоре Лакснесе» взяты из записных книжек А. Фадеева за 4—7 марта 1955 года в связи с чтением книги Халлдора Лакснеса «Самостоятельные люди» (Гослитиздат. М. 1954).

О КЛАССИКАХ СЛОВАЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Создатель современного словацкого литературного языка — Штур¹.

Его ближайший друг и сподвижник — Янко Краль². Штур, преследуемый мажарской властью в Словакии, жил в селе у брата, недалеко от Турчанского св. Мартина³, где и умер в пятидесятых годах прошлого века. Краль присутствовал при его смерти. Можно себе представить, какая непомерная тяжесть лежала на сердце у Краля, когда он стоял у изголовья умирающего друга и учителя в эту мрачную пору после поражения революции 1848 года, — один из немногих интеллигентов словацкого народа — без опоры в народе, без будущего! Но он принадлежал именно к тем деятелям этого народа, которые верили в будущее. Правда, жил он неприкаянно, даже многие из его произведений до нас не дошли.

Гвездослав⁴ вывел словацкую литературу за рамки национальной ограниченности, проделав для словацкой литературы примерно то же самое, что Врхлицкий⁵ для чешской. Гвездослав был, однако, более национален, а Врхлицкий более космополитичен. Гвездослав перевел многое из вещей Пушкина и Лермонтова.

Ваянский — сын Гурбана⁶ — поэт старой генерации. «Ваянский» — это его псевдоним. Поэт и прозаик ярко выраженной руссофильской ориентации. Исключительно современно звучит его стихотворение «Англии». Очень плодovit.

Иван Краско⁷ — прекрасный поэт. Очень популярен и сейчас, но мало написал. Есенский⁸ — продолжатель классических славянских традиций.

Сейчас на некоторых представителях «младшего» поколения словацкой литературы — печать дурных западных влияний.

Полезно в назидание напомнить им о их классической традиции с ее ярко выраженными —

- а) крестьянской народностью,
- б) национально-освободительными идеями,
- в) симпатиями к русской культуре.

Очень любопытно, что Штур в своем «упрощении», т. е. по сути дела — раскрепощении языка, приближении его к народному говору, взял за основу язык центральной Словакии, подобно тому как Пушкин — язык московский.

Самобытный славный народ. Чудные неповторимые вышивки, кружева, народная керамика, национальные одежды. Словаки — ремесленники, замечательные «умельцы» из какого-нибудь Тренчина⁹ разъезжались во все концы России и Западной Европы и Америки с ремесленными ящичками через плечо. Какой чудесный сюжет для поэмы или романа!

Заметка «О классиках словацкой литературы» взята из записной книжки А. Фадеева за 2 ноября 1946 года.

¹ Людовит Штур (1815—1856) — словацкий поэт, ученый, публицист и политический деятель, создатель современного литературного словацкого языка.

² Янко Краль (1822—1876) — выдающийся словацкий поэт. Ученик Л. Штура.

³ Турчанский святой Мартин — до первой мировой войны центр словацкой культуры и политической жизни.

⁴ Павел Гвездослав (настоящая фамилия Орсэг, 1849—1921) — выдающийся словацкий поэт, отразивший в своем творчестве «не только красоту словацкой земли, но и освободительную борьбу и передовые идеалы словацкого народа и его братские чувства к чешскому народу» (К. Готвальд).

⁵ Ярослав Врхлицкий (настоящее имя и фамилия Эмиль Фрида, 1853—1912) — один из самых крупных чешских поэтов: лирик, драматург, переводчик, создатель эпоей. Вождь целого направления в чешской поэзии.

⁶ Светозар Гурбан Ваянский (1847—1916) — поэт, прозаик, публицист. Отец Светозара Гурбана Ваянского, Иосиф Милослав Гурбан (1817—1888), писатель, журналист, «будитель», — борец за национальное словацкое возрождение и национальную свободу словаков.

⁷ Иван Краско (настоящее имя и фамилия Ян Ботто, родился в 1876 году). Сын знаменитого поэта XIX века Яна Ботто (1823—1881). Иван Краско оказал сильное влияние на словацких поэтов XX века.

⁸ Янко Есенский (1874—1945) — поэт и прозаик, переводчик Пушкина.

⁹ Тренчин — старинный словацкий город в Братиславской области.

К истории литератур народов Востока

Взять историю литературы народов Востока в свете нашей материалистической теории борьбы эстетических взглядов — «искусства для жизни» против «искусства для искусства». Этот признак очень поможет вскрыть борьбу двух культур (по Ленину) в культуре народов Востока в прошлом, ибо такие гиганты, как Фирдоуси, Низами, Навои, в сущности, конечно, шире их феодальной природы и притом — реалисты, несмотря на их условную форму.

Сказанное применимо и к великой литературе Китая и Индии.

Величие классиков азербайджанской литературы периода формирования народа, как нации, состоит в сознании нас, русских, — то есть тех русских, которые были предшественниками всечеловеческого освобождения, — как главной ведущей силы и их свободы. И даже сейчас мы в этом смысле еще недостаточно оцениваем таких светочей, как Фатали-хан кубинский, Бакиханов, Мирза Фатали Ахундов, Зардаби, Молла Насреддин, духовно связанных с прогрессивными силами России. Чтобы понять это, им нужно было через многое переступить в самих себе и особенно в окружающей нацио-

нальной среде, которая не могла не воспринимать Россию прежде всего через угнетательский царизм.

Заметка «К истории литератур народов Востока» взята из записной книжки А. Фадеева за 22 сентября 1947 года и 9 ноября 1948 года. Со слов «духовно связанных с прогрессивными силами России...» и до конца дописано в мае 1956 года.

О живописи

ХУДОЖНИКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Пиомбо¹ (или Пьомбо?). «Саломея». В отличие от многих позднейших Саломей — изломанных, претенциозно-декадентских (жестоких, развратных и в то же время утонченно-загадочных, что есть ложь), Саломея Пиомбо — здоровая, толстая, тупая, животная красивая баба. Нервов у нее нет, одна гупая животность, и ей так же ничего не стоит преподнести на блюде отрубленную голову, как ничего не стоило ее немецко-фашистским подругам в годы войны носить сумочки, отделанные кожей советских военнопленных, и пользоваться мылом, вытопленным из их трупов.

Тициан. «Христос и Магдалина». Жест Христа так невинен и стыдлив перед павшей на колени Магдалиной! Если вспомнить, что он — мужчина, а она — женщина, все должно было бы быть наоборот! Но впечатление таково, что Христос немножко даже испугался этого бывшего перед ним и протягивающего к нему руку «порока». Художник не может погрешить перед жизнью и точно говорит: «Вот какова на самом деле была первая встреча Иисуса с Магдалиной, если это действительно имело место и если Иисус был во человеческой плоти, а духом таков, как о нем говорят».

Тинторетто. «Млечный путь» (или Происхождение Млечного пути, или Начало Млечного пути). Какая фантазия! Какое торжество жизненного начала!

Пьеро делла Франческа. Рождение Иисуса. Это сочетание деревенских девушек, поющих, играющих на лютнях, славящих рождение Христа, и сидящего в стороне Иосифа, положившего босую ногу на другую, сцепившего руки и даже не глядящего на новорожденного. Чувствуется, что у него крайне неловкое положение!

Неловкость его положения понимали и другие художники итальянского Возрождения. Например, в картине Боттичелли того же названия подчеркнуто — старый Иосиф, босой, согбенный, даже почесывает плешь, а ангелы на переднем плане картины просто сплетничают по этому поводу.

Корреджо. «Мадонна с младенцем и ангелом». Лукавая, маленькая, пухлая, нежная, курносенькая девчонка. Два малыша тоже курносеньких. Изумительное тело.

Луис де Моралес². «Мадонна с младенцем» и «Скорбящая мадонна». То же лицо, но какая перемена! А руки! Это пронзает.

Эль-Греко (Доменико Теотокопули). Мастер света исключительный. Свет беспокойный, мерцающий, придающий зыбкость формам, при авторском сознательном аскетически-византийском нарушении пропорций, стремлении к удлинённости форм. Все это обеспечило ему любовь тех направлений живописи, которые склонны к формализму или просто не умеют владеть формой и композицией. Но такое представление только способно оскорбить многогранного гениального Эль-Греко.

Исключительное впечатление от Св. Франциска Греко. Эти изумительные тонкие чуткие руки слепого.

«Иаков» Рибера кажется написанным нашим гениальным современником.

Должен сознаться, что в известном смысле испанцы мне даже больше импонируют, чем итальянцы, своим более «современным» реализмом: Веласкес (портрет Оливареса), Рибера, Сурбаран (Св. Лаврентий последнего, с этой приземистой фигурой, мощными кистями рук, широким простонародным беззубым лицом, с непричесанными волосами, лицом грубоватым и полным вдохновения, — фигура реальная и даже юмористическая); наконец, Мурильо (эрмитажный «Мальчик с собакой»).

Что же касается нидерландской школы, то как-то трудно плениться рубенсовской телесностью, — может быть, из-за ее мифической оболочки и барочности, с ее отсутствием строгости.

Насколько, однако, «Персей и Андромеда» Рубенса выше, чем Менса У второго все «правильно», академично и холодно.

У Рубенса — чувственно, наивно, народно. Если снять мифологические одежды — чудные парубок и дивчина, а Пегас из конного двора ломового извозу, могуч, добр и тоже очень наивен.

* Барочный Ван-Дейк больше говорит сердцу при всем его аристократизме — главным образом, благодаря изумительной характеристике людей.

Ближе всех — Рембрандт. Удивительна судьба его — с этим непризнанием и нищетой.

Картина «Возвращение блудного сына» в молодости мною недооценивалась. Надо стать взрослым, нет, — пожилым человеком и отцом и много раз видеть эту картину, чтобы оценить все ее величие и мастерство. Старик справа — совершенно русский мужик, или монах, или пастух.

Вообще Рембрандт вкладывает в библейские мотивы необыкновенную силу реальности, все так значительно и в то же время «житейски» оправдано. Например, «Самсон угрожает своему тестю»: тоже будто сегодня написано (если бы только умели так писать сегодня!).

«Изгнание торгующих из храма». Хорошо, что всего пять фигур. В лицах изгоняемых нарочито подчеркнуты низменные страсти, — Рембрандт не боялся и этого.

Нехорош (по мысли) прославленный портрет ученого. Лицо лишено ума, характера. Изумительно выписаны старицкие, не знавшие физического труда мелко-морщинистые руки, но это руки все же не ученого.

«Святое семейство». Мадонна — совершенно милая мешанская крошка. Среди этого благополучия так и врзается в память наивно-напряженное и удивленное лицо ангелочка.

Голова старого и голова молодого еврея. Обе очень хороши. Молодой — похож на русского народного инока, — что-то репинское (гаршинское) в лице. Но сделаны темновато оба, — это так характерно для Рембрандта, мне это непонятно и не импонирует. В «Святом семействе» Иосиф почти не виден и почти плоскостной.

Портрет брата. Лицо солдатское. Есть даже что-то от Максима Горького.

Портрет старушки 1654 г. Шедевр реализма. В лице старушки больше мысли, чувства, пережитого страдания, опыта, чем в лице так называемого ученого. Лицо очень демократичное, руки трудовые. Несмотря на подчеркнутую старость, где-то в складке губ, в глазах, едва-едва, но в то же время определенно показана былая женственность и сила характера. Как и везде у Рембрандта, простая и прекрасная композиция.

«Даная» — хорошо то, что она обыкновенная женщина, не очень хороша собой. Все светлее, чем обычно.

Неповторимая фактура материала — туфли, занавеси, подушка, скатерть на столе, покрывало, а главное тело.

«Портрет Бартъе Мартенс». Шедевр портретной живописи и шедевр реализма. Худощавая старушка с удивительными глазками, носом и губами. Выражение хитрости, ума и еще многого, не передаваемого словом. Как всегда у Рембрандта, изумительные руки.

Заметки «Художники Возрождения» взяты из записных книжек А. Фадеева за 13 февраля 1937 года, 16 ноября 1938 года, 29 сентября, 1 октября 1944 года и 12 декабря 1952 года. Записи сделаны после посещения Национальной галереи в Лондоне, Музея изобразительных искусств в Москве и Государственного Эрмитажа в Ленинграде.

¹ Себастьяно дель Пьомбо (1485—1547) — итальянский живописец.

² Луис де Моралес (1518—1586) — испанский живописец.

О ИМПРЕССИОНИСТАХ

Эрмитаж следовало бы кончать до импрессионистов, а импрессионистов (и позднейших) показывать в специальном музее, где они и были когда-то.

Дега, Сезанн, Монэ, при всей их исключительной талантливости, уже не «тянут» рядом с такими силачами. И притом на силачах лежит свет истории, а этих все еще воспринимаешь, как «своих». Споры вокруг них — это споры все же современные.

В книге «Мастера искусства об искусстве»¹ напечатана прекрасная беседа Клода Моне с Ф. Фельсом: «Тогда не говорили «Я не понимаю», но «Это идиотизм, это подлость» — это стимулировало нас, давало мужество, заставляло нас работать». Очень хорошо!

Лучшие высказывания — Ренуара (скромность, достоинство, жизнелюбие, труд): «Наиболее искусная рука всегда бывает лишь служанкой мысли» (письмо к Моттецу).

Та же мысль в высказываниях Эжена Будена²: «Нужно, чтобы краска, рисунок, форма содействовали выражению идеи» (из записной книжки).

Скучны и претенциозно-формалистические рассуждения Сезанна; позерство под видом неудовлетворенности. Сам не сознает. Не случайно к картинам его такой испытываешь всегда холодок. Рассудочность — вот грех!

Насколько больше подлинного чувства у Ван Гога: «И в фигурах и в пейзажах я хотел бы выразить не сентиментальную грусть, а серьезную горечь жизни» (из письма к брату).

Да, это то самое, чего хотели бы и все — и не только живописцы, — но часто и получается сентиментально. Нет мощи! Нужна подлинная и а р о д н о с т ь.

Однако еще хуже, когда есть только внешнее. Прекрасное высказывание Золя о «Цветочной набережной» Фирмена Жерара:

«...что составляет колоссальный успех картины это отделка каждой детали, отделка, доведенная до невозможности... И что же! Говорю хладнокровно. Это произведение просто дурной поступок, потому что извращает вкус публики. Оно заставляет ее принимать за искусство то, что есть не что иное, как ловкость и терпение.

Это сухая, черствая, мертвая живопись, рисующая живую природу так, как живописец неодоушевленных предметов рисует золотые украшения. Все в ней ярко и мелко: жалкий рисунок, резкие краски, мелочность ансамбля. «Когда все есть, нет ничего», — говаривал наш великий Коро, и он был прав...»³

Примечательна, однако, и критика Золя, направленная на его друзей импрессионистов. И особенно — их подражателей и продолжателей.

Золя — художник социальный — требовал, чтобы был человек и чтобы была мысль.

Заметки «О импрессионистах» взяты из записной книжки А. Фадеева за 4—9 января 1935 года, 23 марта 1940 года, 1 октября 1944 года. Записи сделаны вскоре после посещения Государственного Эрмитажа в Ленинграде.

¹ «Мастера искусства об искусстве», т. III. Изогиз. М. 1934.

² Эжен Буден (1824—1898) — французский живописец.

³ Цитируется по статье А. Тихомирова «Золя и импрессионисты» (журнал «Искусство» № 5 за 1939 год).

ХУДОЖНИКИ РУМЫНИИ

Теодор Аман (1831—1891). Прекрасный художник, разносторонний, силен и в картине и в портрете. «Хоровод», «Гудор Владимиреску», «Правитель Молдавии Штефан чел Маре и его верный Пуриче», «Автопортрет». Изумительно хороша «Цыганка». Этим классиком своим народ Румынии вправе гордиться.

На многих художниках XIX века сильно отразилось влияние французского импрессионизма и, к сожалению, той его стороной, где цвет приобрел самоудовлетворяющее значение и человек потерялся. Это тем более печально, что среди художников Румынии этого направления сильны и народные мотивы; Ион Андрееску (1850—1882) — «Ярмарка»; Николай Григореску (1839—1907) — «Возвращение с работы», «Прачки».

Как это было и у нас в 20-х годах, в период АХХР, на современных художниках Румынии, идущих к реализму, вернее на многих из них, все еще пагубно сказывается — еще не преодолены — буржуазные влияния последних десятилетий развития живописи в странах Западной Европы с утратой формы, неумением рисовать, незнанием анатомии, законов перспективы, цвета, композиции. Содержание новое, а форма нередко обедняет, искажает это новое, иногда просто уродует.

На этом фоне выделяется своей талантливостью, мастерством Изер — «За пражей», «Писатель Гела Галактион».

XIX век выдвинул подлинного мастера скульптурного портрета Иона Джорджеску (1856—1898). «Актер Паскали».

Хорош также портрет работы Дмитрия Пачуря (1873—1932) — «Художник Степан Лукьян». (Немножко под Родэна, но Родэна еще реалиста, — необыкновенно выразительно даны лицо и руки Лукьяна). Можно отметить еще Оскара Шпете (1875—1944). «Бюст писателя Караджале».

Заметка «Художники Румынии» взята из записной книжки А. Фадеева за 20 декабря 1952 года.

РУССКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ XVIII ВЕКА

Надо думать, что внешний и внутренний облик Петра I лучше всего передают живописный портрет И. Никитина и скульптурный портрет К. Б. Растрелли (отца известного архитектора). Только Никитин больше передает «интимного», «домашнего», «простого» Петра (не умаляя несколько значительности его), а Растрелли — государственного деятеля, военного вождя и пр. Этим художникам можно доверять, как людям, придерживавшимся реалистического направления, близко знавшим Петра и хорошо — можно сказать, практически — изучившим его внешность.

В музее художественных миниатюр (Виктории и Альберта) в Лондоне я обратил внимание на миниатюру, кажется, французскую, начала 18-го века: на переднем плане Петр, он положил руку на голову чудесно выписанного арапчонка (Ганнибала?). На заднем плане, надо полагать, Полтавская бивва, — во всяком случае видно, как на конях палат и рубят бородатые мужики. Этот — должно быть, заочный портрет Петра, написанный, однако, его современником — французом, отдавшим Петру почти-тельную дань и назвавшим его Великим, — этот портрет уступает двум вышеназванным, хотя и прекрасно сделан в цвете. Петр здесь приукрашен, манерен, нижняя губа характеризует человека скорее капризного, чем волевого.

Что касается бюста Растрелли, то, хотя он и был «одописец» в скульптуре, подобно Тредиаковскому в поэзии, он был правдив. Так, он не смог приукрасить лица Анны Иоанновны (в группе с арапчонком) — правда не позволила. И Петр его правдив в своем историческом величии, как правдива Анна в своем безобразии, несмотря на то, что скульптор ставил своей целью «прославить» Анну.

Заметка «Русские исторические портреты XVIII века» взята из записной книжки А. Фадеева за 15 декабря 1952 года. Заметка написана после прочтения книги Г. В. Жидкова «Русское искусство XVIII века» (Издательство «Искусство», 1951).

СУРИКОВ

Поражает, что у этого могучего художника-монументалиста, в отличие от Репина, к примеру, так неинтересны эскизы к его большим картинам. У Репина они часто интереснее самих картин. Очевидно, Суриков подходил к ним только как к чему-то технически вспомогательному, конструктивному.

Стоит взять эскизы к самым прекрасным его картинам — «Боярыня Морозова», «Меншиков в Березове», «Утро стрелецкой казни», чтобы заметить: те же детали в картинах неизмеримо сильнее. Безотносительно к картинам, взятые сами по себе, эскизы неинтересны. То же в отношении эскизов целого. Как часто у Репина — наоборот! Или даже у неизмеримо менее даровитого Васнецова. Эскиз к васнецовской картине «После битвы» (хранится в нестеровском собрании в Уфе) куда выразительнее, острее, чем сама картина, похожая на конец акта в дурной опере.

Однако, как художник, Суриков крупнее Репина в силу большей народности, по темпераменту, а главное столкновения характеров. Всегда — две борющиеся силы. По тщательности подбора лиц, их выпуклости и выразительности, композиционному выдвиганию на первый план и даже по густоте цвета, всегда можно увидеть, кому Суриков сочувствует. Сравни всю правую часть картины «Боярыня Морозова» с левой, казаков и туземцев в «Покорении Сибири». «Меншиков в Березове» —

вторая сила не изображена, но подразумевается. В Суворове — тоже. Впрочем, мощь суворовского движения подчеркивается мощью природы, которую приходится преодолевать. Путь движения войска почти нереален, ибо в действительности этим путем пройти нельзя. Конь Суворова поставлен там, где стоять коню явно невозможно. Однако в этой «нереальности», в преувеличении, может быть, и заключена истинная сила этой картины. Несмотря на формальные погрешности, она производит незабываемое впечатление.

«Утро стрелецкой казни» было бы совершенно потрясающей картиной, если бы Петр не был так внутренне и внешне незначителен. Это грешит против исторической правды. И по силе столкновения характеров надо бы более монументального и умного Петра — тогда конфликт был бы наполнен подлинным историческим содержанием и потрясал бы еще более.

В «Степане Разине» хороша только композиция — выход челна на необъятный волжский простор. Сам Степан — оперный. Расположение фигур в челне, выражения лиц не мотивированы. Люди между собой не связаны единством действия или настроения. В картине нет цели, — идейный разброд.

Не всегда удачны у Сурикова и отдельные, самостоятельные пейзажи. Рядом висят виды краснойрской и крымской природы и безводной пустыни, и нет между ними глубокой принципиальной разницы. пейзажи лишены мысли.

Суриков силен там, где трагические коллизии. Здесь равно ему по силе русского художника нет.

Прекрасен «Старик на огороде» — солнечная, удивительно светлая по сравнению со всеми суриковскими картинами (даже по сравнению с «Боярыней Морозовой»). Изумительны лицо старика, руки, ногти на больших пальцах ног, капуста на огороде, весь задний пейзаж. Но, пожалуй, в ней нет никакого принципиального отличия от Репина. Во всяком случае, под ней могла быть подпись и не Сурикова.

Трагизм в лучших картинах Сурикова есть трагизм народных движений прошлых эпох. При всем сочувствии к ним, этим движениям, исключительная сила правды исторической в показе их обреченности. По глубине исторического прозрения Суриков не имеет себе равных, пожалуй, во всей мировой живописи.

От безыдейной археологической реставрации старины, музейности его берегла биография: уроженец Сибири, где еще живы были не только предания, а и характеры патриархальной древности, он почувствовал живой дух народных движений прошлого.

Несомненно также косвенное влияние народничества, очень своеобразно преломленное, характерное для первого периода его творчества — 1873—1887 («Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова»).

Манера письма грубоватая, тяжелая, сильная. Многоцветность. Композиция, если учесть множество фигур в их сочетании с природой, — гениальная.

Суриков во время поездки за границу писал Чистякову о том, что Тинторетто совсем не гнался за отделкой, как Тициан, а он «только схватывал конструкцию лиц, просто одними линиями в палец толщиной... Ах, какие у него в Венеции есть цвета его дожеских ряс, и с такою силою вспаханных и пробороженных кистью, что, пожалуй, по мощи выше «Поклонения волхвов» Веронеза Простяк художник был»¹.

Пожалуй, это же можно сказать о Сурикове...

Заметка «Суриков» взята из записной книжки А. Фадеева за 1 марта 1937 года. Запись сделана после посещения выставки картин В. И. Сурикова.

¹ «Мастера искусства об искусстве», т. IV. Исогиз. М. 1937.

На разные темы

1

Недостаток многих произведений современности, особенно драм, объясняется тем, что авторы не являются подлинными господами, хозяевами своих идей.

Если «бунт» Ибсена не имел определенной цели, то и его «бунтующие» почитатели не сознавали истинного содержания своего «бунта», и Ибсен их удовлетворял. Современники же наши, не ставшие подлинными господами своих идей, не в состоянии

удовлетворить пролетариат, особенно авангард его, ясно сознающий цели и содержание своего «бунта».

«Фогт: — Великое воспоминание служит залогом роста вперед.

Бранд: — Да, если с жизнью есть связь живая, Вы же курган воспоминаний славных превратили в убежище для дряблости душевной».

Таковы многие из наших, так называемых «исторических» романов и поэм, где авторы не столько поднимают опыт прошлого во имя настоящего и будущего, а прячутся в прошлое от настоящего.

Заметка взята из записной книжки А. Фадеева за 27 января 1935 года.

2

КАЧАЛОВ В РОЛИ ИВАРА КАРЕНО

Гамсун дает Ивара Карено, как фигуру трагическую, объективно положение Ивара Карено трагико-комическое. Талант Качалова в том, что он дает последний, объективно-верный вариант без всякого нажима на комическое и при большой субъективной убежденности Карено.

Заметка «Качалов в роли Ивара Карено» взята из записной книжки А. Фадеева за 16 февраля 1935 года. Речь идет об исполнении народным артистом СССР В. И. Качаловым роли Ивара Карено в пьесе К. Гамсуна «У врат царства» в постановке МХАТ.

3

В социологической литературной критике совершенно недостаточно вскрыть непоследовательность, неправильность, односторонность, слабость, незрелость и т. п. взглядов автора, а гораздо важнее определить их конкретно-исторические причины; слабостями какого класса или слоя (и на каком этапе борьбы трудящихся за свое освобождение) они являются; нет ли, несмотря на эти недостатки (в глазах авангарда), движения вперед с точки зрения предыдущих позиций этого класса; а отсюда — что является сильным, действительным, убедительным, могущим быть использованным нами — при всех недостатках — в произведениях данного автора.

В этом, в частности, глубокое отличие ленинских статей о Толстом от плехановских. Плеханов, в сущности, ограничился полемикой со взглядами Толстого, чтобы — упаси бог — их не приняли за социалистические. Это необходимо. Но это совсем, совсем мало. Ленин же разобрал Толстого глазами хозяина истории: что Толстой отражает в масштабе всей борьбы; чем велик и полезен; чем слаб и вреден и почему.

Заметка взята из записной книжки А. Фадеева за 3 марта 1935 года.

4

ЧИТАЯ СТАНИСЛАВСКОГО...

Станиславский о собственном ощущении на сцене и о впечатлении зрителей: часто при прекрасном ощущении себя не доходишь до зрителя и — наоборот.

Актеры хотят играть то, чего им не хватает в жизни (некрасивый — красавца, пожилая актриса — первую любовницу и т. п.). Найти свое амплуа. До какого абсурда доходит актер, когда он пользуется театром для самопоказывания.

Красной нитью — борьба со штампом.

Искусство — порядок, стройность, цельность, единство (все компоненты подчинены общему замыслу).

Еще о штампе: внимание и чувство отдается не тому, что происходит сейчас на сцене, а тому, что происходило когда-то на других сценах, откуда черпаются образцы. (То же и в литературе!)

Тренировка и дисциплина.

Классические роли нужно отливать, точно бронзовые монументы.

Творческие муки. Чувствуешь это нечто. Оно в тебе, стоит его схватить, а оно куда-то исчезает. «С пустой душой» без духовного содержания подходишь к сильному месту роли. «Буфера» не дают приблизиться к сильному чувству.

Комизм произведения, сатира — сами собой вскрываются, если отнестись ко всему происходящему с большой верой, серьезно (см. Белинского).

Нарастание чувства. Обычно у актеров — от пиано сразу к фортиссимо, и на нем держатся. По С[таниславскому] — нужен долгий переход нарастания и сдерживания и короткий удар фортиссимо.

При неокрепшем даровании — не браться за непосильные роли. Не давать непосильной работы чувству.

«Когда играешь злого, ищи, где он добрый».

Характерные актеры и актеры, играющие себя. Любить роль в себе, а не себя в роли.

Пример подхода от внешнего к внутреннему: наклеенный выше другого ус помог раскрыть характер. (У Л. Толстого — роль стеаринового пятна в одной из работ художника Михайлова в «Анне Карениной»).

Еще о непосильных ролях. Они требуют насилия над собой, и испуганное чувство выставляет «буфера» в виде условности, актерских штампов.

В репертуаре артиста, среди большого количества сыгранных им ролей, попадают несколько таких, которые сами собой слагались в его человеческой природе. Стоит прикоснуться к такой роли, и она оживает без мук творчества, без исканий и почти без технической работы.

Есть мужественный лиризм, мужественная нежность и мечтательность, мужественная любовь. Сентиментализм — это лишь плохой суррогат чувства.

Опыт роли Отелло. Подтверждение мысли о том, что нельзя браться за роли, которые «дай бог одолеть в конце своей сценической карьеры». И о том, что интуиция без техники, без умения, не может решить дело.

Роль конструкций, скульптурных предметов на сцене, помогающих актеру. Живописные плоскостные декорации дают иллюзию для зрителя, но актеру они не помогают. Даже самый гениальный актер, если он стоит один перед рампой, в состоянии привлечь на себя внимание зрителя только очень короткий срок.

Заметки «Читая Станиславского...» взяты из записных книжек А. Фадеева за 3—20—21 марта и 22—28 апреля 1935 года.

Записи сделаны в процессе чтения книги К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве».

5

5-я СИМФОНИЯ ШОСТАКОВИЧА

Изумительной силы. Прекрасна 3-я часть. Но конец звучит не как выход (и, тем более, не как торжество или победа), а как наказание или месть кому-то. Страшная сила эмоционального воздействия, но сила трагическая. Вызывает чувства тяжелые.

Заметка «5-я симфония Шостаковича» взята из записной книжки А. Фадеева за 18 марта 1938 года.

6

К ПОЛЕМИКЕ С А. ДЕРМАНОМ

Он забывает проблему наследования. Литературное явление надо объяснять не только базисом, но и в ряду литературного развития: что от чего идет в смысле традиции, влияния, наследования У меня не «сведение к сходству» с «забвением различий», а борьба с узостью, догматизмом, ограниченностью в понимании старого реализма для установления многообразия, различия, индивидуального разнообразия, многосторонности форм в социалистическом реализме: для этого надо по-новому рассмотреть наследство, чтобы понять — что от чего идет, что можно обогатить.

Заметка «К полемике с А. Дерманом» взята из записной книжки А. Фадеева за 23 марта 1940 года.

7

СТАТЬЯ ТЬЕРИ МОНЬЕ («Аксион Франсез». 10.12.42 г.)

О тяжелых материальных обстоятельствах жизни французских писателей и художников.

Поль Валери «вынужден был без конца греть коченеющие пальцы о сосуд с горячей водой».

Характерно повышение интереса к книгам и спроса на них среди читателей. Автор объясняет это исчезновением ряда возможностей занять свой досуг — нет «ночной жизни», нельзя путешествовать, передовая пресса сократилась и выродилась, кино обеднело. И появилась потребность «в более прочных и менее легковесных интеллектуальных ценностях». Но спрос нечем удовлетворить — нет бумаги. Бумага распределяется государством. Литература в руках «диктатуры официальной бюрократии». Решают они и полезность, и вред с точки зрения «политики и морали» и художественной ценности. (О, если бы наши любители буржуазных свобод, жалующиеся на диктатуру советскую в дни войны, знали бы, что их коллеги во Франции в лапах худшей из буржуазных диктатур!)

СТАТЬЯ ЖОЗЕФА ВУАЗЕНА В «ЭФФОР»

(Клермон Ферран, 10.1.43 г.)

Какова будет французская литература после войны?

«Мы прекрасно сознаем, что в настоящее время французам не хватает одного из главнейших условий для великих взлетов Нам недостает идеала». Автор паки и паки находит «идеал» в пацифизме.

Заметки «Статья Тьерри Монье» и «Статья Жозефа Вуазена» взяты из записной книжки А. Фадеева за 3 августа 1943 года.

8

Ни на Западе, ни в Америке такой прозы, как наша, уже давным-давно нет. А поэзии у них и вообще нет, — ее нет у них уже более четверти века, так же как и музыки.

Чтобы иметь представление о советской прозе за 28 лет ее развития, достаточно составить следующую библиотеку, в которую не войдут замечательные исторические романы, созданные нашими писателями, а только произведения с советской темой:

«Хождение по мукам» А. Толстого, «Тихий Дон», «Поднятая целина» Шолохова, «Цемент» Гладкова, «Растратчики», «Я сын трудового народа», «Сын полка», «Время, вперед» Катаева, «Двенадцать стульев», «Золотой теленок» Ильфа и Петрова, «Барсуки», «Соть», «Белая ночь» Леонова, Избранные повести и рассказы В. Иванова, «Города и годы», «Братья» Федина, «Зависть» Олеси, «Дневник Кости Рябцева» Огнева, «Педагогическая поэма» Макаренко, «Два капитана» Каверина, «Спутники» Пановой, «Одиночество» Вирты, Избранные рассказы Н. Тихонова, «Дикая собака Динго или повесть о первой любви» Фраермана, «Народ бессмертен» В. Гроссмана, «Виринея» Сейфуллиной, «Белая гвардия» Булгакова, Избранные повести и рассказы Пришвина, «Чапаев» Фурманова, «Железный поток» Серафимовича, «На востоке» Павленко, «Буйные травы» Егорова, «Это было в Ленинграде» Чаковского, «Танкер «Дербент» Крымова, «Бессмертие» Югова, Избранные рассказы Козина, «Хирург» Емельяновой, «Боль-

шой рейс» Клосс, «Севастополь» Малышкина, «Морская душа» (избранные рассказы) Соболева, «Дни и ночи» К. Симонова, избранные повести и рассказы А. Гайдара. А если добавить исторические романы? Вот какой исторической библиотекой можно было бы это пополнить:

«Петр I» А. Толстого, «Кюхля», «Смерть Вазир Мухтара» Тынянова, «Одеты камнем» Форш, «Цусима» Новикова-Прибоя, «Капитальный ремонт» Соболева, «Севастопольская страда» Сергеева-Ценского, «Белеет парус одинокий» Катаева, «Дмитрий Донской» Бородина, «Первые радости» Фемина, «Емельян Пугачев» Шишкова, «1916 год» Льва Успенского, «Порт-Артур» Степанова, «Из Гоши гость» Давыдова, «Степан Разин» Чапыгина, «Иван Грозный» Костылева, «Иван III» Язвицкого и др.

Если добавить сюда такие фантастические, сказочные веши, как «Три толстяка» Олеси, «Кладовая солнца» Пришвина, «Уральские сказы» Бажова, можно видеть, сколь многообразна современная русская проза.

Пусть-ка хоть одна из стран Западной Европы или Соединенные Штаты попробуют составить за этот же срок подобную библиотеку!

Заметка взята из записной книжки А. Фадеева за 30 мая 1946 года.

9

Правильное положение Арагона, поддержанное Гароди: «Единственная свобода, которая чего-либо стоит, это свобода говорить правду», «Именно отсюда начинается свобода. Вне ее есть только люди заблуждающиеся, т. е. наименее свободные из людей».

Роже Гароди далее: «Для всех, кто участвует в прогрессивном движении истории и кто запечатлевает в нем каждую свою мысль и каждый свой акт, жизнь приобретает новый смысл и новый стиль. Герой тот, кто подчиняет свою жизнь торжеству этих восходящих сил истории. И в искусстве, прежде всего являющемся героической совестью эпохи, господствует такой тип героя. Художник не только свидетель, но и активный участник борьбы. В центре его творчества — концепция человека. И ни один художник не может назвать себя художником, если он не видит этого нового лица человека и героя, того, чью смерть и жизнь мы в эти годы борьбы и жертв видели тысячи раз».

Мысль о том, что могут быть разные формы выражения при общей «концепции человека». Манера выражать человека, по-видимому, связана с нашим представлением о нем... Сказать, что поле поисков и изысканий не закрыто в этой области, не значит утверждать, что «все эстетики хороши».

«Формализм — эстетика декаданса».

«Экзистенциалист, подобно рыбаку, тащит сеть с уловом индивидуумов известного сорта. Он тщательно их описывает и серьезно заявляет: «Мир таков!» Это правда, человек «таков» там, где вы его уловляете...» «Вместо того, чтобы восстать против такого аспекта разлагающейся действительности, экзистенциализм заключает союз со всем, что в нем есть самого зверского». «Мы (т. е. коммунисты) солидарны со всем, что рождается, развивается и растет и мы против всего, что распадается и умирает».

Заметка взята из записной книжки А. Фадеева за 22 апреля 1950 года. Написана в связи с дискуссией среди французских писателей-коммунистов по вопросам эстетики.

10

ИЗ ПИСЬМА АРХИТЕКТОРА В. П. СТАСОВА (1769—1848) К ЖЕНЕ

«По свойству моему или лучше сказать по моей натуре, мне нужно для исправления моей должности по моей профессии совершенное спокойствие духа, без которого я не только с честью, но и с успехом упражняться не могу, а потому прошу, так как от должности моей зависит все благополучие наше и наших детей, оставлять меня, когда я в кабинете, в совершенном покое».

Старик был прав, — о, как он был прав!

Заметка «Из письма архитектора В. П. Стасова к жене» взята из записной книжки А. Фадеева за 22 апреля 1950 года.

11

О МНОГСОБРАЗИИ ФОРМ ВНУТРИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

В поэзии я воспитан на Некрасове. Но если бы я всю жизнь читал только Некрасова, я чувствовал бы, что многие стороны моей души остаются неудовлетворенными. Я — по потребности души — наряду с Некрасовым читаю лермонтовского «Демона» и гетевского «Фауста» и байроновского «Чайльд Гарольда». В конце концов мне, в общем, наплевать, как это называлось в старину — или называется сейчас — «реализм» или «романтизм», важно, чтобы за этим стояла правда, и важно, чтобы все стороны и потребности моей души, все ее разнообразные поэтические струны были затронуты, проявили себя и нашли отзвук.

Это не только свойство моей души, это свойство всякой мало мальски развитой человеческой личности. И уж если говорить о личности современного советского человека, то потребности души его шире и разносторонней, чем у какого-либо человека в истории.

И если Н. Грибачев сегодня пристаёт к горлу с ножом и требует: читай только меня и Недогонова — это социалистический реализм, а все, что не похоже на это, это даже не романтизм, а просто формализм и все это от лукавого, — то современный человек вправе ответить ему: «Идите вы к черту с таким социалистическим реализмом, тогда лучше давайте старый реализм и старый романтизм, там моей душе просторней!»

Н. Грибачев и другие, столь же талантливые, но узкие в своих взглядах на поэзию люди не понимают, что социалистический реализм призван не сузить, а расширить возможности поэзии, возможности выражения себя в поэзии по сравнению со старым реализмом и романтизмом. Социалистический реализм в поэзии вполне допускает форму «романтическую» и даже «символическую» — лишь бы за этим стояла правда.

Все клянутся Маяковским, называя его первым социалистическим реалистом в поэзии, забывая, что в его поэзии форма «романтическая», условная была господствующей. Это не мешает ему, однако, быть первым социалистическим реалистом в поэзии.

Нельзя не любить чудесную поэзию Твардовского, Исаковского, но трудно в то же время лишиться себя потребности читать нечто современное, написанное в духе (форма неповторима, ибо суть другая, но «в духе») «Фауста», или «Демона», или «Чайльд Гарольда».

Сила Маяковского в том, что он один был необыкновенно разносторонен в области формы. Пушкин был гений, ибо вмещал все.

Какие богатые возможности таятся в этом смысле в советской поэзии, показала она сама в дни Отечественной войны. Патриотический подъем народа привел в звучание ее многообразные струны: «Сын» Антокольского, «Василий Теркин» Твардовского, «Киров с нами» Тихонова и «Пулковский меридиан» Инбер, Исаковский и Щипачев, Сурков и Алигер, Симонов и Прокофьев, Маршак — таков был диапазон только русской поэзии. Она должна и дальше развиваться на столь разных путях, единая по духу.

Заметка «О многообразии форм внутри социалистического реализма» взята из записной книжки А. Фадеева за 22 апреля 1950 года.

12

Часто обнаруживаемые противоречия между тем, что художник говорит в своих художественных произведениях, и тем, что он выражает в статьях и высказываниях и что принято называть его общественными, политическими, георетическими взглядами, — не есть противоречие между творчеством и мировоззрением, как это принято думать, а есть противоречие в мировоззрении. Неверное представление об этом создано на основе неверного истолкования высказывания Энгельса о Бальзаке.

«Я считаю одной из величайших побед реализма, одной из наиболее ценных черт старика Бальзака то, что он принужден был идти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков, то, что он видел неизбежность па-

дения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи, и то, что он видел настоящих людей будущего там, где их единственно и можно было найти».

Энгельс говорит в первом случае не о мировоззрении в целом, а о «политических предрассудках». Подчеркивая — Бальзак «видел», Энгельс тем самым не выключает творчество Бальзака из мировоззрения. Иначе пришлось бы трактовать творчество не материалистически, а идеалистически, как некое «подсознательное, интуитивное начало», противоположное разуму, — некую «интроекцию», «вчувствование» и пр.

Нельзя считать «мировоззрением» только философские, теоретические, политические взгляды и высказывания, минуя весь многообразный жизненный опыт человека. Это книжный взгляд на мировоззрение. Согласно такому взгляду миллионы людей и вовсе «лишены» мировоззрения. А между тем, жизнь учит не хуже книг, хотя без книг и нельзя выработать цельного и всеобъемлющего взгляда на мир.

Блестящий пример социального, классового анализа подобных противоречий, равно отражающихся и в творчестве и в теоретических, общественных высказываниях писателя — статьи Ленина о Толстом, — Ленин прямо говорит о кричащих противоречиях в мировоззрении Льва Толстого. Вообще эти статьи — образец критического анализа. Человек, занимающийся критикой, не должен, однако, забывать, что Ленин не занимался эстетическим анализом, без которого статья собственно-критическая, литературно-критическая не может считаться завершенной.

Заметка взята из записной книжки А. Фадеева за 19 августа 1950 года.

13

ИЗ КНИГИ АЛЕКСЕЯ КОЖЕВНИКОВА «ЖИВАЯ ВОДА»

Говорит Домна Борисовна: «Люди все время идут через нельзя. Давно ли нельзя было летать? Когда-то даже обогреться не умели и тоже, наверно, думали, что нельзя. Нельзя, немислимо — это только трудно, пока не умеем. А не нас ли Ленин учил, Сталин учит, как одолевать трудности! Мало ли несбыточного сделали советские люди — все время шли через нельзя! В нашей стране уже завоевано бесконечное можно... Больше думайте о несбыточном — больше и сбудется».

Молодец!

Заметка взята из записной книжки А. Фадеева за 8 сентября 1950 года.

14

Разработать тему о так называемой «романтической», то есть лже-романтической школке в наши дни, т. е. о теории, которая революционную романтику рассматривает не как предвосхищение завтрашнего дня на основе объективного развития, а как «приподымание», «идеализацию» жизни. Это — проявление субъективизма в литературном творчестве и в литературной науке. Теория «бесконфликтности», затухания борьбы со всеми живыми носителями взглядов и психологии собственности соседствует с лже-романтической школкой («лакировка» действительности).

С другой стороны, надо сказать, что путаница в вопросах содержания и формы усилилась в связи с тем, что борьба против так называемого «приподымания», «идеализации» была понята некоторыми как отказ от заострения, гиперболизации образа, отказ от типичности, связанной со сгущением, обобщением. И уж, конечно, эти вульгаризаторы посчитали, что социалистический реализм будто бы отрицает символизм, условность и сказочность.

Революционная романтика, как существенная сторона социалистического реализма, и «романтическая форма», как одна из разновидностей в многообразии форм социалистического реализма, — это вещи разные.

Не надо приукрашивать действительность, надо видеть ее завтрашний день. Это — одна из самых существенных сторон социалистического реализма. Изображать же это можно и в форме, близкой к классическим реалистическим романам (то есть на быто-

вой основе), и в форме, родственной «Фаусту» или «Демону», романтической, или просто сказочной, или условной, в общем, в любой форме, позволяющей выразить правду.

Заметка взята из записной книжки А. Фадеева за 16 января 1955 года.

15

В применении к поэзии — понятие «риторика» употребляется сегодня только как осуждение. Но, в числе прочего, многосторонне развитая человеческая душа нуждается порой и в риторической поэзии. Никто из гениальных поэтов не чуждался риторики. Осуждения заслуживает плохая, неумная риторика. Величественное иногда требует риторики. Она плоха, когда «подменяет», и хороша на своем месте.

Заметка взята из записной книжки А. Фадеева за 2 марта 1955 года.

16

Высказывание Маркса о древнегреческом искусстве часто трактуется неверно. Как будто Маркс утверждает, что только произведения искусства (в данном случае греческого) сохраняют для нас свое значение. Как будто Маркс отрицает тот непреложный факт, что и положение Гераклита, например, сохраняет для нас свое значение («Все течет, все изменяется»)!. В высказывании Маркса вовсе нет указания на исключительность искусства в этом смысле, а поставлен вопрос, вернее задача — объяснить почему, на основании каких законов произведения искусств прошлых эпох могут служить для нас, в известном смысле, образцом.

Мысль Гераклита «Все течет, все изменяется» хотя и сохраняет свое значение, но не имеет значения «образца» сегодня, когда есть диалектический материализм, а Венера Милосская остается, в известном смысле, образцом.

Было бы, конечно, неправильно сказать, что все последующее в науке, даже вершина ее — диалектический материализм — полностью «снимает», отбрасывает, делает ненужным все предыдущее. Нет, такая мысль неверна: лучшее, передовое в науке прошлого продолжает учить и сегодня. Это лучше всего объяснено Лениным в его речи на III съезде Комсомола. Нельзя считать себя образованным, воспользовавшись только выводами самой передовой науки, не зная того, что ей предшествовало. Многое в науке прошлых времен, в известном смысле, тоже сохраняет значение образца. Например, учение Дарвина еще дает и много будет давать человечеству в эпоху, когда диалектический материализм поднял естествознание на более высокую ступень по сравнению с Дарвином. В литературной науке мы и сегодня опираемся на то передовое, что предшествовало марксизму, — на Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Но (с ленинской поправкой) нельзя не согласиться с мыслью, высказанной Герценом в письме к сыну по поводу науки в ее практическом значении: «Из твоих писем я никак не вижу, чтоб ты, сверх занятий по части физиологии и пр., особенно читал что-нибудь дельное. Ог допс (а между тем) без чтения нет настоящего образования, нет и не может быть ни вкуса, ни слога, ни многосторонней шири понимания; Гете и Шекспир равняются целому университету. Читением человек переживает века, не так, как в науке, где он берет последний очищенный труд, а как попутчик, вместе шагая и сбиваясь с дороги.

Чтение газет и журналов очень хорошо, но я говорю о книгах, о нескольких книгах, без которых человек не есть полный человек». (Подчеркнуто везде мною; эту мысль Герцена напомнил мне Я. Эльсберг. — А. Ф.)

Значит, в подлинном, большом искусстве есть еще нечто отличное от науки, что позволяет искусству прошлого жить для нас. Это «нечто» есть то специфическое, что отличает искусство от других надстроек, — чувственная конкретность изображаемого.

По Гегелю — художественное произведение занимает середину между непосредственной чувственностью и идеализованной мыслью. Оно еще не представляет собой чистой мысли, но оно вопреки своему чувственному характеру уже больше не представляет собой голого материального существования. Чувственное в искусстве

одухотворяется, т. к. духовное выступает в нем, как получившее чувственную форму.

В отношении древнегреческого искусства, кстати сказать, явления изобразительного искусства не случайно сохраняют во времени большее эстетическое воздействие на нас, чем другие виды искусства: Венера Милосская больше сохраняет значение о б р а з ц а, чем даже Гомер, Аристофан, Эсхил. Но я бы не сказал, что Венера Милосская с ее гармонией, характерной для «детства человеческого общества», более впечатляет современного человека, чем творения Микельанджело, или Леонардо да Винчи, или Рембрандта — с переданными в этих творениях страстями, борением, конфликтами души, конфликтами общественными. Это еще более справедливо по отношению к более поздней литературе. Здесь прав Герцен: созерцая эти творения или читая Гете и Шекспира, мы «вместе шагаем, сбиваясь с дороги» и — добавлю от себя — находя истину. В этой борьбе, присущей классовым обществам, где передовое, прогрессивное человечество борется с отживающим, косным, реакционным, античеловеческим, — искусство и литература с их конкретной, чувственной изобразительной силой передают, так сказать, с а м ы й п у т ь, с а м у ю д и а л е к т и к у борьбы, с переживаниями, страстями, и люди сегодняшнего дня находят черты, близкие, родственные, волнующие, затрагивающие струны их души. Но это не только не снимает, а, наоборот, предполагает социальную обусловленность и социальную функцию явлений литературы и искусства в их историческую эпоху. Развитие общества на основе классовой борьбы не перестает быть поступательным развитием человеческого общества в целом.

Заметки взяты из записных книжек А. Фадеева за 3—17 марта и 10 апреля 1955 года.

17

Пустые диалоги и мусор в авторской речи, столь характерные для современной прозы, это то же самое, что лишние жесты у актера В. Пашенная рассказывает о том, как в театральной школе учил ее А. П. Ленский: «Я помню, как он держал мои руки, когда я бессмысленно их поднимала и опускала, и заставлял понять, чем вызывается то или иное движение. Все становилось ясным. Все ненужное, фальшивое исчезало, обнажалось внутреннее состояние, сценические действия ученика облекались в правильную внешнюю форму».

Заметка взята из записной книжки А. Фадеева за 29 марта 1955 года.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

БОРИС АГАПОВ

★

О ХОРОШЕМ И О ПЛОХОМ

(Из заметок об очерке)

Дыханье правды сурово, но чисто.

Ромен Роллан

(«Жизнь Микельанджело»).

В 1953 году на сентябрьском Пленуме ЦК были вскрыты и обнародованы большие беды нашей колхозной деревни, недостатки руководства сельским хозяйством.

Было сказано, что в ряде отраслей сельского хозяйства нарушен один из коренных принципов социалистического хозяйствования — принцип материальной заинтересованности трудящихся.

Было сказано, что могучая техника, которой Советское государство оснастило машинно-тракторные станции, используется плохо.

Было сказано, наконец, что «важнейшей причиной серьезного отставания ряда отраслей сельского хозяйства является неудовлетворительное руководство колхозами, МТС и совхозами со стороны партийных, советских и сельскохозяйственных органов, особенно в деле подбора, расстановки и воспитания кадров в сельском хозяйстве и проведения партийно-политической работы в деревне».

То есть речь шла об отношениях между людьми в деревне. Неправильности в подборе, в воспитании людей, в отношениях между людьми в деревне были отмечены как важнейшая причина серьезного отставания сельского хозяйства.

Наряду с критикой положения в сельском хозяйстве на Пленуме были предложены и утверждены меры для резкого повышения уровня сельскохозяйственного производства.

Такого повышения решено было достигнуть в течение двух-трех лет.

Миновали эти три года, и оказалось, что достигнуто такое повышение, такой уровень производства, какого не достигало сельское хозяйство нашей Родины никогда.

Широко известны радостные итоги минувшего года, их в Советском Союзе знает каждый — миллиарды пудов зерна, миллионы тонн молока, миллионы пудов мяса и всяких иных сельскохозяйственных продуктов, наполнивших склады, элеваторы, заводы.

Это подлинная победа, замечательная тем, что она была достигнута не только без всяких уступок несоциалистическим методам хозяйствования, а, наоборот, именно в результате дальнейшего развертывания ленинских, советских принципов экономической политики государства, в котором социализм победил и утвердился. Эта победа показала в огромных масштабах преимущества социалистической системы над капиталистической.

Немало поработали над темой советского села наши писатели и публицисты. Среди многочисленных произведений о деревне очеркам и рассказам Валентина Овечкина принадлежит особое место.

* *

Какова позиция, которую занял Валентин Овечкин в своих очерках о советском селе?

Следует ли он шаг в шаг за ученым-агрономом, внедряясь в тайны плодородия и решая споры между приверженцами Вильямса, Лысенко, Мальцева и иных корифеев, уверенный, что только в этом и заложена основа богатства?

Или он взял на себя роль ходока, да еще из отстающего колхоза, и сетует от его имени, не желая знать ничего, кроме его бед?

Или, наконец, думая только о должном и забыв о том, что есть еще и сущее, без которого читатель принимать литературу не желает, он вот-вот ударит величание, так что небу жарко станет, уже зная, как ответить на упреки в безбожном своем вранье: «Вижу ростки нового!»

Позиция Валентина Овечкина совсем иная.

Он действительно не хуже иного агронома разбирается в агротехнике.

И действительно болеет бедами колхозников, да еще из самых отстающих колхозов.

И уж — слов нет — отлично представляет себе цели колхозного строя и видит ростки нового всюду, где их возможно увидеть... Но для себя он нашел особый путь разобраться в деревенских делах — путь единственно правильный.

Какой же?

* * *

Пестра деревня! Что ни область, что ни район — все иное: и обычаи, и благосостояние, и дороги, и избы, и планы... Даже в одном районе можно встретить совсем разные колхозы — по уровню, по организованности, по дисциплине... «Этот колхоз вряд ли еще справится с такой-то задачей, а другому она как раз по плечу», — говорит директор МТС Долгушин. — Для одного колхоза это увлекательная мечта, рывок вперед, для другого — скучный пройденный этап... «Власть Советов» может сегодня приступить уже к строительству соцгорода на месте старого села. На текущем счету у них свободных средств три миллиона. Круглосуточные детские ясли, детсады, Дворец культуры, радиоузел, водопровод, колхозный санаторий — на все хватит у них сил... А где-то в другом колхозе надо добиваться пока еще хорошего выхода на работу...»

Непохожи и люди. Если пробежать взглядом от областного центра, через районный город к селу — сколько самых разных судеб, своеобразных характеров, сколько борющихся интересов, сколько несогласных точек зрения! И главное, сколько разных людей — и хороших и плохих!

Не много в нашей литературе страниц, столь плотно заселенных людьми, как у

Овечкина. И пейзажи, и интерьеры, и подробности внешнего облика героев — все потеснил автор как бы для того, чтобы побольше рассказать о человеческих судьбах и мыслях.

Творчество В. Овечкина характерно тем, что страницы его очерков находятся как бы под очень высоким давлением со стороны реальной действительности. За ними ощущается кипение жизни, как за стенками мощного котла — кипение воды. Мы знаем, что лишь немного проникает в очерк из того многого, что есть в жизни. Но чувство великой сложности этой жизни, пестроты ее нас не покидает. Деревня — это океан человеческий, и горе тому художнику, который вздумает писать о ней, самонадеянно представляя ее себе как однородное и легко регламентируемое явление. Такие попытки в литературе не приводили к успеху.

Уметь слушать деревню — это свойство дано Овечкину. Он прислушивается к ее голосу еще на фронте.

...В тяжком наступлении, гоня гитлеровцев к границе, идут со своей частью комбат Петренко и капитан Спивак. Они полны забот о подготовке к каждому сражению, боевая страда требует от них напряжения всех душевных и физических сил, но как только выдается часок перед боем или часок после боя, их мысли улетают к родной деревеньке, где комбат — агроном, а капитан — из колхозников и где прорву дел надо переделать для того, чтобы залатать прорехи военного времени. Чем ближе подходят они к границе, тем больше становится то письмо, которое они решили написать секретарю своего райкома партии товарищу Сердюку. С фронта, из дыма сражений, пишут они не о своих боевых подвигах, а о том, каково их мнение о руководстве в районе и в колхозе, о том, что следует делать в деревне после войны, да и о нем самом, о Сердюке, Семене Карповиче, что тяжеловат на подъем, привык руководить по телефону, а сейчас район надо вытаскивать в передовые и для этого одного телефонного провода мало... Письмо росло, оно впитывало в себя соображения и мечты множества крестьян — солдат, с которыми приходилось встречаться авторам в окопах и на марше.

Окончилась война, вернулись комбаты и капитаны к своим избам, а письмо это все пишется, и пишет его писатель Овечкин, озабоченный процветанием деревни, насто-

роживший все внимание, чтобы услышать и впитать как можно больше мнений народных о том, как следует хозяйствовать в колхозной деревне.

— Нужны ли кормодобывающие бригады? Ведь за зимозку скота отвечает один бригадир со своими людьми, а корма заготавливает ему другой бригадир, другие люди. И валят вину друг на дружку...

— Мельниц в селах нет! Негде колхозникам муки себе смолоть.

— Как быть с престольными праздниками? Творится пьяное безобразие, люди неделями гуляют в самую горячую пору. Что этому противопоставить?

— Как бороться со взяточничеством? Может быть, следует наказывать только того, кто берет, чтобы разрубить круговую поруку, взаимное укрывательство взяточника и его «клиентов»?

— Только ли в богатых колхозах можно вводить ежемесячное авансирование? А может быть, именно потому, что в отстающих колхозах упала материальная заинтересованность работников, там особенно нужно это авансирование как стимул?..

Десятки подобных проблем требуют своего разрешения, стучатся в сознание — о них говорят люди в колхозах, о них пишет Овечкин.

Но ведь и престольные праздники, и мельницы, и все остальное — первоочередное и второстепенное — все зависит от людей. Каковы же эти люди в деревне?

Среди них немало таких, которые отнюдь не достойны воспевания.

Вот, например, тип номер один: Егор Трапезников. Человек, весьма строго разъясняющий колхозникам их задачи и неустанно убеждающий их честно трудиться. Был он завмельницей, был председельсовета, предколхоза — отовсюду выгоняли Трапезникова за грязные дела. Теперь он живет спекуляцией. Всю осень брал в автоколонне машины, скупал у колхозниц картошку и возил ее в Донбасс продавать.

Вот тип номер два. Один вид его чего стоит! С пышными рыжими усами, высокого роста, в хромовых сапогах, начищенных до зеркального блеска, в галифе... Лоснящееся сытое лицо его говорит, что он хорошо спит, плотно ест и вообще доволен жизнью.

Именно этот объедала и опивала, невежда и вор — один из «деятелей», которые развалили большой колхоз «Рассвет

и подорвали веру его участников в колхозное движение.

Грустную картину являет колхоз, попавший во власть к мазурикам.

Кузнец Сухоруков рассказывает: «...Егор Трапезников здесь целую шайку развел, когда еще был председателем. На рынок полномочным по колхозной торговле назначал жинкиного родича Ваську Жмакова. По полгода жил в городе, и кто его там учет, проверит, что почем продавали, ежели на базаре цены каждый день меняются? Обьездчиком в поле держали пьянчугу Мишку Святкина, который за литру водки голый по селу среди бела дня пробежит. А зерно ночевало в кучах на всех токах, и сторожей не было. И шофером на машине работал Мамченкин брат родной, Степка. Люди, может, не скажут, а кабы ту машину допросить, на которой Степка ездил, она бы рассказала, сколько тонн пшенички перевезла в город на мельницу, сколько муки из той пшенички Васька Жмаков на базаре продал!.. Пьют же, сукины сыны, до ума помрачения!.. Сами пьют и кого хошь возле себя споят. Приезжал прошлым летом следователь из Троицка, так они его так накачали на прощание, что тот и портфель протер об колесо, все бумажки растерял по дороге».

И вот хозяйства уже нет, есть нищета и развал. Мы входим в коровник — грязный, с дырами-просветами в соломенной крыше... Скот нечищенный, тощий. Доярки обзленные, готовые все бросить. Молоко сдаивается на землю — нет посуды. Условия работы и оплаты труда таковы, что доярке выгоднее, чтобы телят и молока было не больше, а меньше. Ведал коровником когда-то честный Касьяныч, но клика затаскала его по судам, оклеветала, отлучила от колхозных дел. Гибнет не только хозяйство, гибнут, чахнут хорошие люди...

Трапезников хоть и происходил из бедняцкой семьи, однако с юности усвоил себе понятие о мире кулацкое. И «революционности» его хватило только на то, чтобы урвать себе лично побольше землицы. Когда это совершилось, Егор принялся громоздить свой хутор, обзавелся лошадьми, скотом, машинами и уже был на пути к кулацкому богатству, когда началась коллективизация. Тут он понял, что выбранный путь к состоятельности закрыт, и занял иную позицию: вошел в колхоз и стал в нем тунеядцем и спекулянтом.

С безжалостной точностью изображает подобных людей Овечкин, не скрывая от читателя всех бед, которые они приносят, разоблачая козни, которые они творят.

Они — преступники, воры и лодыри, родина их — капитализм; разоблачение и возмездие рано или поздно обеспечено им.

Есть в деревне и другие люди, которые тоже тормозят движение вперед нашего общества, мешают техническому прогрессу, там и тут способствуют запущенности сельского хозяйства. Этим людям нельзя назвать преступниками. Субъективно они даже честные люди, они ничего не присваивают себе незаконно, они много работают. И, однако, эти люди приносят больше вреда, чем пользы! Таков Борзов.

Не буду восстанавливать в памяти читателя образ этого крепкого, властного, сурового администратора, грозный окрик которого был знаком всему району, перед кем трепетали нижестоящие и на кого могли опереться недальновидные из стоящих выше в уверенности, что Борзов в любых условиях выполнит ему приказанное, а как он этого добьется — его дело.

Борзов не одинок. Со всей прямотой Овечкин показывает нам опасность того положения, когда люди, призванные воспитывать народ, направлять сознание и деятельность крестьян к строительству богатой и счастливой жизни, на деле оказываются тормозом в движении вперед.

Овечкин исследует поведение подобных «деятелей» в очень острой ситуации. Он наблюдает их реакцию на тяжкое, безвыходное положение колхоза «Рассвет» в период посевной.

Директор МТС Долгушин, подлинный коммунист, реагировал на беды колхоза очень ясно и очень естественно: он, как и подобает большевику, обратился к силам народа, направил их на борьбу со злом, и они освободили колхоз от туеядцев. Совсем иначе отнеслись ко всему этому Маслеников и Медведев. Их вовсе не интересует, что в колхозе «Рассвет» шайка мазуриков захватила в свои руки все хозяйство, что там год от году нищали крестьяне, наконец, что даже весенний сев находился там под угрозой срыва... Нет, Маслеников и Медведев озабочены совсем другим: Долгушин стоит им поперек дороги. Долгушин действует там, где они многие годы бездействовали. Долгушин устроил самовольно общее собрание колхоза, которое сбросило гнилое руковод-

ство. Больше всего на свете они боятся потерять свой авторитет. Честь мундира — вот их идол. Их не радует, что человек, увидев тяжкое положение, в котором оказался коллектив, разбудил дремавшие творческие силы людей и поднял их из подавленности к труду... Нет, они всерьез обеспокоены... нарушением субординации, тем, что в область их деятельности (в данном случае бездеятельности) вмешался кто-то и сделал что-то, чего они сделать не умели или не хотели.

Как всегда бывает в таких случаях, они стремятся не столько осудить хороший поступок (что, конечно, не легко), сколько опорочить того, кто его совершил. Какое им дело до того, что старый человек пошел с большого московского поста в захолустную МТС добровольно, как коммунист, из побуждений идейных. Видя в нем опасного для своего «авторитета» пришельца, они именно это и стремятся подвергнуть сомнению.

«— ...Да откуда вы, собственно, взялись у нас, такой самостийник? Кто вас выдвигал, рекомендовал на ответственный пост в деревню? Надо все-таки, — Маслеников остановился перед Медведевым, — проверить, запросить Московский Комитет. Как он там работал в главке?

Кровь бросилась в лицо Долгушину.

— В райкоме партии лежит моя учетная карточка. Там вся моя жизнь записана — где и как я работал, — сказал он, подняв голову».

И в ответ на эти гордые слова честного коммуниста Маслеников с маху, безжалостно, походя опорочивает всю биографию человека:

«— Да знаем мы, как у нас иногда учетные карточки заполняют! Хотят избавиться от ненужного человека и отпускают его с чистым личным делом, лишь бы уехал поскорее. Скатертью дорожка! Выдвижение называется!»

Так «укрепляют свой авторитет» эти люди. Лишенные творческой жилки, боящиеся всего нового, они видят единственную для своей скудости возможность командовать: бессловесность подчиненных.

И недаром, потерпев поражение в беседе с умным и творчески одаренным Долгушиным, Медведев, оставшись один, бормочет дрожащими губами:

«— Ну, погоди, мы собьем с тебя спесь! Шелковым станешь! Будешь навьятяжку

вставить вот перед этим столом, в этом кабинете!..»

Дисциплина и чувство ответственности за порученное дело — условия, без которых немыслима планомерная коллективная деятельность людей. А поскольку социалистическое общество построено именно на планомерной коллективной деятельности, эти условия становятся решающими. Однако качество их особое, и это очень важно понимать.

Дисциплина нового типа основана на уважении человека к самому себе. Если я занимаю какой-то пост, если я выполняю какое-то дело, я не могу не подчиняться тем, кто руководит его выполнением. Я буду презирать себя, если окажусь нерадивым, неаккуратным, ленивым или нерешительным в исполнении общего плана по указаниям, которые идут от руководителей. И раз я понимаю суть этого плана, ясно вижу цель, я буду точен в исполнении приказов, направленных к достижению цели.

Но есть и другая дисциплина. В ней главное — трепет за свое положение, страх перед начальством. Не цель, не план, а начальник является в ней главной движущей силой. Высокая цель и широкий план — это только слова, которые я и другие будем произносить, требуя от подчиненных дисциплины. Но главное — это страх, главное — это воля начальника.

Стоит ли пояснять, какой род дисциплины идет от ленинского понимания сознательности и роли человека в коллективе.

Борзов, Медведев, Маслеников, Холодов — это люди дисциплины страха. Они сами боятся и требуют, чтобы их боялись. Они считают, что сами могут действовать только в пределах регламента и что подчиненные должны действовать только по регламенту, который ими предложен. Никаких отступлений и никаких изобретений! Никаких новшеств и никакой самостоятельности мысли! Им все кажется, что вокруг них сплошь лентяи или — что еще страшнее — сплошь враги. Им кажется, что инициатива народа, что демократия опасны, что стоит развязать эти силы, и тогда им — беда.

Между тем в наше время, на сороковом году Советской власти, производительные силы страны возросли столь огромно, стали столь многообразны, что регламентировать их полностью из центра невозможно,

и каждая область, каждый район, каждый колхоз и каждая МТС должны сами в своих пределах сообразать о своем развитии и пестовать свою инициативу. А задача вышестоящих руководителей прежде всего в том, чтобы направлять эту творческую мысль в согласии с большими планами государства, понуждать ее к большей смелости и глубине и — помогать. Помогать всеми силами — советом, знаниями, средствами, людьми.

Среди всех способов воспитания и всех видов поддержки приказ и выговор — не самые лучшие!

Отметим некоторые черты, которые свойственны людям типа Борзова и Медведева.

Прежде всего их особенностью является народобоязнь. В то время как подлинный коммунист не только не боится народа, но непрестанно встречается с ним, узнает от людей, что плохо и что хорошо в его деятельности как коммуниста, прислушивается, чего народ хочет и что он осуждает, работники типа Медведева стремятся все делать келейно, по возможности единолично, среди послушных им людей. Искусственно, вопреки советской системе и ленинским принципам партийной демократии, они возводят стену между собой и народом, отгораживаются от народа, стараются так устроить свою работу и свою жизнь, чтобы народа не видеть, с народом не общаться.

Вторая особенность этого рода людей. Вытекающая из первой или, во всяком случае, тесно связанная с ней, состоит в том, что для них форма становится содержанием и средства становятся целью.

Во всякой организации должны существовать правила подчинения, информации, контроля, взысканий, поощрений и т. д. — все эти регламентации всегда вытекают из существа и целей организации, всегда связаны с ними, но отнюдь не равны им. Они существуют для лучшего выполнения этих целей, иногда имеют решающее значение для успеха, однако человек, который озабочен только ими, обрекает себя на уозость, формализм, бюрократизм и кончает тем, что, превратив средства в цель, уже забывает о главных задачах своей организации. Ему кажется, что лучше, чтобы все замерло и дело не двигалось, чем произошло бы какое-нибудь нарушение правил.

Обычно такие люди свою деятельность направляют на то, чтобы не подпускать

инициаторов к живому делу, вводить творчество нового в столь тесные рамки регламента, что оно там задыхается и гибнет. Они даже карьеру свою строят на этом пуризме регламента и лезут вверх до тех пор, пока не назревает необходимость очистить организацию от мешающих элементов. Тогда они свергаются со своих постов и все начинают сначала. Они знают, что когда-нибудь какому-нибудь бюрократу понадобятся их тупая непреклонность в выполнении буквы приказа и полное безразличие к людям.

Сцена, которую мы привели выше, характерна для подобного рода людей. С жизненной правдивостью, без всяких смягчающих приемов рассказал о ней Овечкин и достиг своей цели: читатель с ненавистью следит за репликами бюрократов, проникается симпатией к смелому, инициативному народолюбцу — коммунисту Долгушину. Горько и больно слышать ранящие его безжалостные, злые слова, направленные к тому, чтобы лишить человека достоинства, унижить его, внушить ему рабское чувство виноватости и испуганности. Удастся это — и человек уже не опасен бюрократу, он становится только штатной единицей...

Можно ли это терпеть?!

Многого нельзя терпеть из того, о чем пишет В. Овечкин. Если бы выписать из его очерков все, что рассказано о враждебном советскому созиданию, о мешающем устройству колхозной жизни, если бы устроить своего рода выставку деревенских бед, в очерках Овечкина изображенных, — иной критик, видящий единственную задачу литературы в том, чтобы «ярко и красочно воспевать» хорошее и обходить плохое, с возмущением воскликнул бы:

— Это клевета! Автор сгущает, автор обобщает, автор мажет черной краской нашу действительность!

И, однако, любой здравомыслящий человек, свободный от предвзятости, видит, что нет никакой клеветы, никакого лака — ни черного, ни розового, а есть правда жизни, есть советская публицистика, советский очерк.

Как же вмещает в себя наша советская литература, жизнеутверждающая, оптимистическая, светлая, столь прямой и жестокий рассказ о недостатках, бедах, промахах, ошибках, о скверных, злых, тупых, себялюбивых людях, да еще зачастую облеченных властью?

* *
*

Очерки Овечкина написаны не от первого лица. В них нет и вставок в виде писем или дневниковых записей того персонажа, который должен выражать мнение автора. Однако можно точно сказать, что среди всех персонажей очерков наиболее законченным, наиболее определившимся является не Борзов, не Опенкин, не Мартынов, а Овечкин.

Овечкин рассказывает нам о множестве людей и событий, казалось бы, просто потому, что он — художник, человек острого глаза, хорошей памяти, пытливого ума, много видевший и умеющий рассказывать. Но, пусть это и незаметно на первый взгляд, рассказывая, он доказывает, доказывая, он борется, и вскоре вы понимаете, что перед вами не только искусство, но и программа. Человек, ее развивающий, черпает из жизни факты и характеры, ее подтверждающие и ее разъясняющие. Он пользуется средствами литературы, для того чтобы заразить вас теми идеями и чувствами, которыми сам обуреваем и которые считает необходимыми в людях, чтобы добиться высокого подъема сельского хозяйства.

Да, вероятно, желание поднять деревню и обеспечить народу изобилие еды, а государству — изобилие сырья, стремление добиться хорошей, счастливой жизни для крестьянства и есть главное движущее начало его творчества, истинный мотив его работы: писатель хочет войти в жизнь как ее устроитель, чтобы силой искусства побудить людей эту жизнь улучшить.

Такого улучшения жизни писатель может добиваться путем публицистическим, ставя перед обществом те или иные вопросы — организационные, хозяйственные, юридические.

Писатель может идти к этому путями искусства, изображая характеры и поведение людей, которые помогают или мешают движению общества вперед.

Но всегда именно эта цель — движение общества вперед, к коммунизму — будет формировать произведение советского писателя.

Может быть, именно в этом и состоит одна из главнейших черт социалистического реализма? И, может быть, многих зарубежных идеологов, критиков, писателей отталкивает и пугает именно эта черта нашей литературы?

Все читатели помнят секретаря райкома партии Мартынова. С него начинается очерк «Колхозные будни», он проходит по всем очеркам этого цикла.

Мартынов — коммунист в подлинном смысле этого слова. В противоположность Борзову, он видит в партии ее существо, то есть прежде всего ее цели, ее борьбу во имя этих целей. Бюрократам и педантам он кажется еретиком.

В неуважении к партии обвиняет один из таких формалистов Мартынова. Он уже готов расценить «поведение» Мартынова как преступление, а всего-то и было дела, что Мартынов потребовал от выступавших на партийном собрании не парадных речей по бумажкам, а живых высказываний о том, как они, члены партии, работают с людьми, как помогает им вышестоящая парторганизация, как борются они с бюрократизмом пустопорожных собраний, бесконечных и стандартных резолюций...

И люди оживились, заиграл их ум, они стали выкладывать свои беды и обиды — а ведь без этого нельзя ни беду победить, ни обиду изжить! Они принялись предлагать новое. Это и драгоценно для настоящего партийного руководителя. В противоположность Борзову и иже с ним, Мартынов и другие коммунисты не только чужды народобоязни, но жаждут учиться у народа, верят в силы народа. Думается, это их основная черта.

Марья Сергеевна говорит о том, как должны себя вести районные партийные и советские руководители:

«...пусть... обедают пяток колхозов и отчитается перед избирателями. И пусть люди свободно говорят, пусть запишут даже в протокол, как они его работу оценивают. А то ведь у нас привыкли только перед верхами отвечать. Таких случаев не было, чтобы народ разжаловал, скажем, председателя облизполкома. Вот они и не очень-то оглядываются на низы, на колхозников. Все равно, мол, не от вас зависит наше благополучие...»

Мы уже упоминали о собраниях, которые из скучного ритуала во имя протокола становятся действующей созидающей силой, выражением коллективного разума людей. Мало того, что на них решаются важнейшие вопросы колхозной жизни, они еще являются школой хозяйствования, школой коммунизма, где воспитываются для будущего миллионы крестьян.

У нас часто говорят о единстве партии и народа. А между тем далеко не всякому удается действовать в духе этих слов.

Коммунисты очерков Овечкина живут этой идеей, хотя и не декларируют ее.

Интересно следить за тем, как Мартынов работает с людьми. Кажется, ни одна минута его жизни не проходит без этой работы. Ибо для него общение с народом и воспитание народа — не только работа, а прежде всего потребность.

Перечитайте главу из очерка «В том же районе», которая начинается словами: «Однажды мне пришлось быть в кабинете Мартынова, когда он принимал посетителя...»

Вот он принимает посетителей. Идут самые разные люди — старушка с предложениями о воспитании сельской молодежи, ветеринар с соображениями о кормлении скота, бывший чемпион Европы по французской борьбе, решивший заняться преподаванием физкультуры, колхозный кузнец, заботящийся о том, чтобы как-то поднять деревенских мастеровых...

«Я спросил у Саши Трубицына:

— При Борзове тоже много людей приходило в райком?

— Нет, тогда меньше было посетителей, — ответил Трубицын. — Только те приходили, кого он сам вызывал. И вот еще что замечательно: очень мало идут по личным делам, с какими-нибудь жалобами, просьбами. Большинство — с предложениями, советами. После каждого приема мне приходится печатать докладные записки в обком на двадцать страниц!»

Глава, из которой цитируются эти слова, называется «Инженеры человеческих душ». Речь идет о коммунистах.

«— Насколько мне помнится, — возразила Марья Сергеевна, — это было сказано о писателях.

— Ничего. Писатели не обидятся, поделятся с нами этим званием. К нам оно тоже подходит. Во всяком случае, партработники должны быть инженерами человеческих душ!..»

Райком оказывается центром, куда тянутся все, кто своим творчеством хочет помочь расцвету деревни. Работники райкома в свою очередь ищут людей, которые могут поднять производство, культуру...

Услышали в райкоме о Дорохове. Интересный человек: был председателем колхоза, поднял хозяйство, с войны пришел майором... Теперь живет в лесу, исключали

его из партии, судили... И едут к Дорохову, выясняют, что за человек, убеждаются, что пострадал несправедливо, и вот Дорохов снова на работе и уже поднимает народ к новым успехам.

Но в рассказе Дорохова о его печальной истории мелькнуло упоминание о какой-то тете Поле, как видно, хорошем человеке.

«— А что это за тетя Поля?.. Где она сейчас! Как работала? Что за женщина?..»

И вот уже разыскана Полина Егоровна, бывший бригадир МТС, женщина золотая, трактористка, механик по призванию... Плохо сложилась ее судьба, оказалась она не у дел, из-за несправедливости пришлось ей уйти из МТС... Коммунисты едут к ней, беседуют, и Полина Егоровна опять в МТС, опять орудует с техникой на пользу колхозу.

Но бывают случаи и посложнее. Почему Семидубовская МТС, которая была одной из лучших в области, стала средненькой? Что случилось с директором ее, хорошим коммунистом Гловым?

«...Почему ты, Иван Трофимыч, в последние годы хуже стал работать? Почему, прямо скажем, уши опустил?»

Нелегко разобраться в этом вопросе. Тут и годы сказались, и бюрократы руку приложили, и помощи от района не было... Как говорится, сложный комплекс! Другими словами: еще одна задача для коммунистов — инженеров человеческих душ...

Можно было бы сказать, что у райкома партии есть дела поважнее, чем возиться с тетей Полей или поднимать поникшие уши Трофимыча. Но именно так и думал и говорил Борзов, который за лесом не видел деревьев, за абстрактным понятием общества не хотел замечать отдельных людей, это общество составляющих. Между тем мышление настоящего коммуниста-марксиста не может действовать абстрактно, отрываясь от реальности и рассматривая мир только в заранее установленных догматических нормах. Марксистское мышление исходит из реальных явлений, изучает их происхождение, их развитие и только на этой основе делает оценки и намечает дальнейший путь.

Жизнь показала, что Марья Сергеевна Глов, Полина Егоровна, Дорохов и другие «отдельные» люди, когда коммунисты нашли их и поставили их на нужное дело, стали центрами влияния партии, стали возбудителями общественной энергии, то есть оказались не только «отдельными» людьми,

но и творцами общества. В этом видит Овечкин путь к процветанию деревни. Когда человек окрылен уверенностью в успехе, когда он чувствует значение и силу своей инициативы, когда он знает, что все доброе будет поддержано руководителями, а злое осуждено, — тогда он будет работать в полную силу.

Писатель не идет шаг за шагом за агрономом, видя свою цель только в пропаганде передовой агротехники, не присоединяет свой голос к сетующим и грустящим по поводу отставания отстающих колхозов, не ищет сенсационных разоблачений для литературных спекуляций...

Он занимает совсем иную позицию. Какую?

Все изложенное выше уже дает ответ на этот вопрос.

Он занимает позицию партийного организатора колхозной жизни.

Среди активных, идейных, настоящих коммунистов, таких, как Долгушин, Мартынов, Опенкин, Борзова, Сухоруков и многие другие создатели колхозов, есть и автор очерков Валентин Овечкин, активность которого и ощущается читателем на каждой странице, хотя слово «я» в очерках почти не встречается.

Этот партийный организатор не мыслит абстрактно. С первой до последней страницы каждого из своих очерков он старается дознаться причин отставания, он собирает факты, выпытывает их от людей, отбирает важнейшие, сопоставляет, раскладывает на части жизнь на своем лабораторно-письменном столе и потом вновь собирает, чтобы представить миру для изучения, для исправления.

Эта позиция партийного устроителя жизни достойна самого пристального внимания литераторов.

Начало настоящей статьи посвящено краткому и неполному перечислению бед деревенской жизни, которые описывает Овечкин. Он не пытается их преуменьшить. Он не обставляет их описание всякими рессорящими словечками, которые должны были бы показать, что автор — боже упаси! — отнюдь не думает обобщать и говорит только об «отдельном случае», о «недостаточно продуманных действиях»... Нет, он смело и точно излагает симптомы и причины разложения колхоза «Рассвет», он решительно и четко рисует портрет бюрократа — партийного руководителя, он

со всей прямотой говорит об организационной сутолоке и неразберихе, которая происходит от плохого, неумелого руководства, он не жеманничает в описаниях бездушия, тупой, деревянной казенщины, злых отношений начальства к «маленьким» людям... Мы видим и бездорожье, и бедность, и малокультурность, и страх перед начальством — ничего не хочет скрывать или малевать розовой краской сердитый автор.

А как прикажете ему поступать?

Литература есть процесс двусторонний и добровольный.

До тех пор, пока роман или стихи не прочитаны, они только бумага с буквами, но не литература. А они могут быть и не прочитаны, если на чтение их не будет доброй воли читателя.

Читатель же тем меньше будет читать современную литературу, чем дальше будет она от его, читателя, жизни. Если литература будет изображать жизнь не такой, какой ее знает и переживает читатель, он ее читать не станет.

Такое явление произошло в театре, когда некоторые зрительные залы сперва оказались полными наполовину, потом наполовину пустыми, а потом опустели совсем. Зритель стал выключать театр, как он выключает радио, когда оно ему не интересно. К счастью, это произошло далеко не со всеми пьесами, но и того, что произошло, было довольно, чтобы забить тревогу. Тревога вылилась в осуждение «теории бесконфликтности».

Так как в жизни каждого зрителя не меньше трудного, чем легкого, сложного, чем простого, то зритель хоть и не сказал: «Чего вы мне врете про жизнь?», но просто перестал смотреть многие пьесы.

Обиделся? Нет. Он не обиделся, а потерял интерес. Заподозрил, что искусство — это одно, а жизнь — совсем другое. А ему, то есть нам всем, надо, чтобы искусство отражало не благие пожелания критиков или руководителей журналов или театров, а отражало жизнь и показывало, каким каждому из нас надо быть и каким не следует быть и кого надо осудить, а с кого следует брать пример. Вот и получилось, что, когда некоторые спектакли в театрах стали перепевами всем известных истин, да еще на самые скучные мотивы, люди отошли от этих спектаклей, и спектакли тем самым перестали существовать, хотя и происходили, ибо второго участника процесса искусства, а именно зрителя, не было.

Как же должен поступать литератор — драматург, сценарист, романист, — в данном случае автор очерков о деревне?

Ведь если он скроет все эти беды или на каждую навесит украшения и оговорки — он будет врать? А как же может он врать, когда он пишет отнюдь не для литературных критиков, большинство которых не имеет возможности сличить его очерки с подлинной жизнью, а пишет он прежде всего для колхозников, для сельских коммунистов, то есть для людей, которые находятся в ожесточенной борьбе с этими реально существующими бедами и, увидев, что очерки ни слова не говорят об этих бедах, бросят книжку: здесь нам нечему учиться, у нас все условия совсем другие.

Больше того и хуже того. Может быть, Борзов и иже с ним, прочитав гладенькую книжицу, в которой они выглядят примером мудрого руководства, и приветят автора, но уж к трудовым людям деревни ему лучше будет не показываться: люди будут молчать или говорить с ним языком отчетов и плохих передовиц и сердца свои ему не откроют.

На кого же ему равняться? На Борзова или на народ? На Масленикова или на Мартынова?

А если на Мартынова, то как же изобразить его деятельность, когда она и началась с борьбы против борзовщины и идет под знаком этой борьбы?

Отказаться описывать эту борьбу — значит призвать людей деревни отказаться от самой борьбы, внушить им мысль, что все хорошо, кроме природы. Вот природа, это действительно бяка, а Борзов... он, конечно, в отдельных поступках не совсем, так сказать, допониает, но в общем и целом, в основном, так сказать, как правило, он... И бедный колхоз «Рассвет» останется колхозом «Закат», каким он был до вмешательства партии в лице Долгушина. И Медведев, севший на место Борзова, по-прежнему будет глушить все передовое, все живое, чего родник неисчерпаем в нашем народе.

Но ведь писатель, если он советский писатель, отвечает за колхозное движение так же, как и член бюро райкома или обкома. Какое же право имеет он замазывать глаза всем коммунистам района, области, страны, уверяя их, что единственным врагом урожая и изобилия является нехорошая природа? Ведь всякому ясно, что

нехорошая природа не единственный враг, что, кроме природы, в жизни людей есть миллионы препятствий, трудностей, и мешающих обстоятельств, среди которых не последними являются косность, эгоизм, некультурность, рвачество и т. д.

Литература должна учить людей распознавать эти плохие вещи и показывать, как их следует преодолевать. Она должна вооружать людей против плохого, чтобы освободить каждого человека от наивного взгляда не только на других, но и на себя самого.

Но, скажут нам, этим же занималась и литература критического реализма?

Но социалистический реализм возник не на голом месте, без предшественников. Он отрицает критический реализм, как литературу социализма, но он включает в себя его опыт — опыт исследования жизни без иллюзий, опыт близости к правде.

Однако, хотя этот опыт, эти законы правдивого и глубокого изучения жизни продолжают действовать в искусстве социалистического реализма, вместе с тем они оказываются в подчиненном положении по отношению к более высокому опыту, более высоким законам искусства. Эти более высокие законы состоят прежде всего в том, что жизненный материал исследуется в его развитии исторично и организуется так, что не только обьясняет жизнь, но и говорит об изменении ее путем революционной практической деятельности.

Подчеркнутые слова весьма близки к тем, которыми Маркс, Энгельс и Ленин определяли диалектический материализм в его преимуществах по сравнению с механическим материализмом Фейербаха и его предшественников.

Не только отображать жизнь анатомически точно, такой, какова она есть, без всяких иллюзий, но понимать, видеть и изображать ее в развитии, исторично.

Не только отображать жизнь, но всем строем искусства направлять сознание людей на изменение ее к лучшему, на освобождение ее от пережитков прошлого, поощрять, вдохновлять людей к созданию все более богатых духовно и материально форм этой жизни.

Эти черты являются существенными для литературы социалистического реализма.

Осуждение плохого становится частью более широкого целого — утверждения хорошего, должного, во имя создания совершенного, справедливого, коммунистического общества.

Этой существенной для социалистического реализма чертой обладают в полной мере очерки Валентина Овечкина.

Несмотря на то, что в них с большой силой и яркостью развернута критика наших нынешних недостатков и наших нынешних людей, вы все время чувствуете, что недостатки эти преходящи, что у нас, в социалистическом обществе, их можно исправить и — больше того — что исправлять их пусть и трудно, но увлекательно. С напряженным вниманием следите вы за тем, как советские люди, окрыленные высокими целями нашего общества, ищут путей, чтобы освободить колхозы от всего мешающего, привести деревню к богатству.

С высоты этой позиции, которую нельзя назвать иначе, как исторической, хотя, казалось бы, ничего столь возвышенно исторического в очерках о колхозных буднях нет, но именно с этой высоты вам не кажутся страшными и обескураживающими любые беды, которые рисует автор в согласии с правдой жизни. У вас только набухают кулаки, чтобы пуститься в драку против тех, кто скудоустою духа и эгоизмом своим мешает движению вперед и ставит рогатки на пути к счастью наших людей.

А люди эти хорошие.

Ощущение, что наши люди хорошие и что они добьются чудесной жизни, не покидает читателя, хотя пока еще никаких особых разносолов, дворцов, автострад Овечкин нам в деревне средней полосы России и не нарисовал.

Нарисует ли?

Обязательно нарисует, когда они станут там обыденным явлением. Возможно, что очень скоро. Но уж если он их нарисует, будем уверены: это правда, ибо мы видели сами, что этот писатель правдив.

Уверенность народа в правдивости его писателей есть главный источник общественной силы нашей литературы.



ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Л. ДЕНИСОВОЙ И В. ЖДАНОВА «МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОЛ В ОСВЕЩЕНИИ ПРОШЛОГО»

В номере 8 журнала «Новый мир» за 1956 год была напечатана статья Л. Денисовой и В. Жданова «Модернизация и произвол в освещении прошлого», в которой авторы критиковали книгу В. Г. Баскакова «Мировоззрение Чернышевского». Эта книга и рецензии на нее, появившиеся в печати, обсуждались в Институте философии АН СССР. Заместитель директора этого института М. Э. Омеляновский прислал в редакцию журнала «Новый мир» выписку из постановления дирекции Института философии об итогах обсуждения книги В. Г. Баскакова. Этот документ мы здесь публикуем:

«...Обсуждение книги показало, что автор ее допустил необоснованные утверждения по многим важным вопросам, связанным с деятельностью Чернышевского и его соратников, в частности с созданием революционного центра всероссийского масштаба и революционных кружков в различных городах страны. Неправильно, бездоказательно также утверждает автор, что Чернышевский стал материалистом уже в 1845 г. В ряде разделов книги автор допускает модернизацию, необоснованно сближает мировоззрение Чернышевского с марксизмом.

Особенно нетерпимыми являются в книге грубые фактические искажения, в том числе архивных материалов, а в некоторых случаях неправильное цитирование, извращающее подлинный смысл высказываний Чернышевского по ряду вопросов (о Сипайском восстании в Индии, отношении Англии к Индии и др.).

Необходимо отметить, что В. Баскаков применяет недопустимые методы крикливой, зашательской критики, например, в адрес Б. П. Козьмина, М. М. Розенталя и др., на что В. Г. Баскакову неоднократно указывалось.

Серьезные недостатки и ошибки книги В. Г. Баскакова связаны с тем, что он не

воспринял критику и все замечания, которые были даны ему в процессе обсуждения рукописи в Институте (работа обсуждалась 5 раз), хотя автор и благодарил за критику и заявлял, что замечания учтены. Более того, т. Баскаков, имея неоднократные предупреждения о недопустимости наклеивания ярлыков и зашательской критики, часть верстки книги (последнюю главу о борьбе вокруг наследства Чернышевского) опубликовал без ведома Института, которая не была подписана и издательским редактором т. Ворошилиным. В связи с этим дирекцией Института 24 марта 1956 года принято решение, в котором было осуждено поведение В. Г. Баскакова, нарушившего установленный порядок публикации работ, подготовленных Институтом к печати.

В рецензиях и выступлениях при обсуждении книги дана в основном правильная критика книги В. Г. Баскакова, вскрыты были серьезные ее недостатки и пороки. Однако нельзя признать правильным утверждение в рецензии, опубликованной в журнале «Новый мир», о том, что Чернышевский остался в пределах антропологического материализма (см. журнал «Новый мир» № 8, стр. 247—248, 1956 г.). Известно, что уже Герцен, по определению Ленина, вплотную подошел к диалектическому материализму, а Чернышевский сделал новый шаг в развитии философии революционного демократизма. Чернышевский, как указывал Ленин, остался на уровне цельного философского материализма, а в области критики агностицизма находился на уровне Энгельса.

Необходимо отметить, как неправильное по своему содержанию и тону, выступление доцента Энергетического института А. Г. Назаркина, в котором он критиковал книгу Баскакова по существу характеризо-

вал как выразителей буржуазной идеологии.

При обсуждении большинство выступавших, остро критикуя крупные недостатки книги В. Г. Баскакова «Мировоззрение Н. Г. Чернышевского», вместе с тем отмечали, что книга является результатом многолетней работы автора и имеет свои положительные стороны (известная систематизация материала, изучение и использование большого количества архивных документов и др.).

Дирекция постановляет:

1. Опубликовать материалы обсуждения книги В. Г. Баскакова в журнале «Вопросы философии».

2. За нарушение установленного порядка публикации работ и игнорирование критики, которая была высказана при подготовке рукописи к печати и безответственное отношение к использованию источников, что привело к ряду грубых искажений фактов, объявить В. Г. Баскакову строгий выговор.

3. Принять к сведению заявление В. Г. Баскакова о признании им отмеченных недостатков и искажений в книге, а также осуждение им недопустимых методов научной работы».

Публикуя решение дирекции Института философии, редакция с удовлетворением отмечает, что в результате длительного общественного обсуждения книги В. Г. Баскакова «Мировоззрение Чернышевского» и откликов печати на нее институт согласился с оценкой серьезных недостатков книги. В ходе дискуссии, оказавшейся плодотворной для выяснения ряда научных вопросов, была полностью подтверждена та характеристика книги, которая дана на страницах «Нового мира». Правда, дирекция института оговаривает свое несогласие со статьей в одном пункте: в решении указано, что Чернышевский, по мнению авторов статьи, будто бы «остался в пределах антропологического материализма». Но это — явное недоразумение, ибо такого утверждения в статье нет. Именно на тех страницах журнала, которые упомянуты в решении (№ 8, стр. 247—248), говорится о том, что «вели-

кий революционер во многом преодолевает узость антропологического принципа» (стр. 247); авторы статьи критикуют В. Баскакова за недооценку «заслуги Чернышевского как ученого-новатора, во многом преодолевшего противоречия антропологического материализма» (стр. 248). Таким образом, из статьи «Нового мира», которая не ставила своей задачей специальное рассмотрение вопроса о характере материализма Чернышевского, нельзя сделать вывод о том, что этот мыслитель «остался в пределах антропологического материализма».

Участники дискуссии в Институте философии справедливо говорили о научной несостоятельности самого метода исследования, основанного на стремлении подогнать факты под известную схему, на фальсификации документов и модернизации исторического прошлого. Именно применение этого метода привело к тем серьезным ошибкам, о которых сказано в публикуемом документе, и, по сути дела, поставило книгу В. Баскакова вне науки. Наиболее действенный способ повышения уровня научных исследований состоит не в том, чтобы увеличивать количество внутренних обсуждений (как видим, они не всегда способствуют успеху!), а в том, чтобы неуклонно и последовательно осуществлять на практике принципы подлинно научной марксистско-ленинской методологии. Только этим путем можно предотвратить возможность появления таких работ, как книга В. Баскакова.

В дискуссии, связанной с книгой «Мировоззрение Чернышевского», приняли участие литературоведы, историки, критики, философы — сотрудники разных научных учреждений. Дав всесторонний разбор книги, они общими усилиями помогли оценить ее по существу, причем во многих случаях обсуждение, выйдя за пределы одной книги, касалось ряда важных научных вопросов. В связи с этим полезно напомнить о плодотворности совместного обсуждения научных работ, о необходимости усиления дружеских контактов между представителями разных отраслей знания; такие контакты, бесспорно, будут способствовать повышению качества научных исследований в области философии, литературоведения, истории.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Перцов. Всеволод Вишневский в своих дневниках.— **Д. Благой.** О казусах и ляпсухах.— **М. Алесеев.** Драматизм простого рассказа.— **И. Борисова.** Герои и события.— **Л. Лазарев.** С добрым чувством.— **В. Сквозников.** В кольце пустых фраз.— **Е. Елагина.** Песни бури и гнева.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Ливенцов. К истории Народного фронта в Западной Украине.— **А. Хавин.** Труд по истории народного хозяйства.— Инженер **М. Голей.** В мире кристаллов.— Кандидат географических наук **И. Забелин.** Друг угнетенных негров.

Литература и искусство

Всеволод Вишневский в своих дневниках

В третьем томе собрания сочинений Всеволода Вишневского объединены его дневники с первых дней, буквально с первых часов, Великой Отечественной войны до конца 1942 года. Последняя запись сделана 31 декабря 1942 года и фиксирует встречу Нового, 1943 года в осажденном Ленинграде.

Вс. Вишневский вел свои записи ежедневно, иногда ежечасно, отмечая события и переживания и размышления свои по поводу происходящего. Изумляет последовательность, выдержка, самообладание, чувство долга, которое заставляло автора делать свои записи в совершенно неподходящих условиях, например в момент непосредственного нападения немцев на корабль, где находился Вс. Вишневский, во время воздушных налетов в Ленинграде, когда стены дома качало и все ходило ходуном, в бомбоубежище, и т. д. и т. п.

Перед нами человеческий документ, который нельзя читать без волнения. Что связывает разрозненные записи, сделанные часто почти в протокольном стиле, связью горячий, все накаляющейся от начала к концу книги, превращая отдельные детали, куски в

сплав, в единое целое? Образ рассказчика, автора дневников, образ, полный большой моральной красоты и обаяния.

Автор несколько раз говорит о своем долге летописца, имея в виду, что его записи должны послужить будущему.

Вс. Вишневский предстает в своих дневниках как человек, как писатель, как военный, как агитатор. Наиболее сильное, а иногда просто потрясающее впечатление производят те страницы дневника, где с нами говорит человек, Человек с большой буквы — коммунист, русский человек, для которого Россия, Родина и Партия сплавлены в одно неразрывное.

Я не знаю, с каким поэтическим произведением сравнить по силе выразительности такие обращения к России:

«Первые корреспонденции о битве за Орел — Вязьму. Ожесточенные встречные удары, контратаки.

Россия, милая, стой, бейся! Надо устоять!»

Или:

«17 ноября 1941 года (149-й день войны).

...Величайшее наслаждение — Ленинград ночью: сейчас звездно, северное сияние и чистая музыка (из радиорупоров) над прямыми, темными улицами... «Половецкие пляски»... Россия любимая, все к ногам твоим! Иду с душой, очищенной

от всего,— я весь только во времени, в истории, в воинственной поэзии... Минутами это нестерпимо высоко — ликующе освобожденно! В мечтах — парад мира и победы... Советские русские люди должны пройти со своими знаменами, чтя павших и ликую перед всем миром...

Меня спускают с облаков: люди голодные,— по несколько дней не обедают. В «Норде» очередь за стаканом пустого чая. Ощущение голода у ленинградцев все сильнее. Худеют».

Я привел эти выдержки из дневников, потому что никакая характеристика их не может передать того непосредственного ощущения моральной чистоты и силы, которыми пронизаны все записи Вс. Вишневского. В этом главное значение этого человеческого документа, который сам по себе является свидетельством силы советских людей, объясняет роль морального фактора в нашей победе.

Однако наряду с этим значением дневники Вс. Вишневского важны в познавательном отношении. Из повседневных записей бригадного комиссара, лучшего агитатора Ленинграда, мы почерпнем очень много важных сведений о состоянии осажденного города, о настроении его жителей, узнаем множество драматических деталей быта героического города. Для познания Вс. Вишневского-художника дневники тоже дают богатый и неожиданный материал. Даже в записях, сделанных в самые напряженные и опасные минуты — непосредственно в обстановке боя,— никогда не утрачивается момент эстетический. Вот-вот могут пустить ко дну судно, где находится автор дневников, а он записывает:

«Затишье... Изумительные облака и освещение: ярко-белые кучевые облака, темный фон... Два огромных взрыва (очаги огня)».

Или:

«Мы разворачиваемся. Прохладно. Сумрачно. потемневшее море. Горит Купеческая гавань.

Дымовая завеса с эсминца. Опять невдалеке разрыв. Светлое небо, черный дым; ниже — серый, светлый.

Разрывы трехорудийных залпов по «Кирову». Он в завесе. Залп. У соседнего эсминца — вторая дымовая завеса.

Грандиозная картина. Пол горизонта в черном дыму, в просветах — мигание клотиков. Напомнило «Сотворение мира» Айвазовского».

И в ряде других мест дневников, уже в более «спокойный» период, когда блокада Ленинграда породила особый осадный быт, появляются записи, вскрывающие впечатлительность — живописную, эстетическую — автора-летописца, его тонкую, изощренную душу художника, для которого пластическая, цветовая характеристика мира всегда важна, потому что вне явлений он не может раскрыть сущности.

Нельзя не подчеркнуть еще одну особенность отношения к происходящим событиям, которая делает чрезвычайно поучительными дневники Вс. Вишневского. Это умение от мелких, хотя и непосредственно важных для существования, фактов подниматься к явлениям общезначимым. Эта черта показывает одновременно и человека и художника в авторе дневников. Характерно, например, что, фиксируя воздушный налет, он не прекращает записей на темы общеполитического значения:

«Снаряд или взрыв?.. Здание наше качнуло...

Любопытнейшие документы: письмо и заявление немецкого летчика, перешедшего на сторону Красной Армии (в Лозовеньке). Летчик заявляет, что он готов драться против Гитлера, так как он возмущен фашистскими зверствами в Харькове, Таганроге и других местах, утайкой правды о войне и т. п.

6 часов.— Снова качнуло здание... Тяжелые снаряды? Давно не бывшая бомбежка?.. Снова качнуло, в третий раз...

В Германии обостряются трудности с рабочей силой, вспыхивают эпидемии, нехватка железнодорожного состава... (Еще снаряд, бьют методически через каждые 5—7 минут).

Радиооповещение по району об артиллерийском обстреле».

Все, о чем сообщается в скобках, не прерывает большой целеустремленной работы мысли.

Вот такой дневник (по-видимому, один из многих человеческих документов Отечественной войны) может стать основой для будущего художника, о котором мечтал Вс. Вишневский, так записывая свои мысли:

«Борьба стратегий, воли, систем, идей, концепций, характеров!.. Борьба, превосходящая, думается мне, изобразительные средства литературы, искусства. Кто может дать художественный синтез этой битвы с двумя миллиардами участников?»

Весьма значительны размышления автора дневников на темы искусства и организации писательского труда во время войны. Работникам наших военно-политических организаций и учреждений стоит задуматься над теми вопросами, которые ставит дневник Вс. Вишневого в этой области.

В дневнике есть ряд интересных мыслей, характеризующих эстетический кодекс Вс. Вишневого — революционного романтика. Вот его принципиальная декларация:

«Я витаю в небесах», как говорят иные, которые любят эмпирику, факты, людское кишение... Возможно... Большой мир идей, романтики, страстей мне ближе, понятнее мира сухо-кобылинских сплетений и извращений. Впрочем, я достаточно зряч, чтобы видеть и этот «мирок». Видеть, как некоторые «товарищи» шлют своим обожаемым любовницам посылки с черной икрой (в голодном Ленинграде!); видеть, как некоторые берут дважды большой автономный паск (без оснований), как ими снабжают «нужных» друзей. Все это я вижу, и мне глубоко противно... И я перевожу взор на Ленинград исторический и сегодняшний, на традиции, на общие проблемы войны... Право, я, как человек, как писатель, как драматург, не хочу копаться в случайных людских отбросах. Не в том смысл! Если я напишу о Ленинграде и флоте, я напишу песнь, гимн героям... Их много, их больше!»

Эстетический кодекс Вс. Вишневого раскрывается в его остром неприятии натурализма. Характерно, что все детали, которые фиксирует Вс. Вишневский в своем дневнике, не имеют ничего общего с «фактографией»; они пропущены сквозь горнило большой мысли, горячего сердца.

Записи развертываются с напряженностью сюжетной, видишь, ощущаешь безмерное напряжение писателя-воина, вдохновенного творца, выполняющего задание партии.

Откуда берутся силы? Вот ответ:

«Мне все время хочется выступать. Я иду в одну, другую, третью аудиторию, рассказываю о войне, о положении на фронтах, о ленинградских новостях и бодро людей. Это самые радостные, самые хорошие, самые горькие встречи в моей жизни. Я не забуду этих бледных лиц с неподвижными внимательными глазами, устремленными на меня с вопросом и надеждой».

Сильное впечатление оставляют записи, в которых фиксируется работа автора-агитатора над собой,— его неустанное пополнение своих знаний, чтение Ленина, изучение сводок, подбор материала о положении страны на фронтах и в тылу, рост промышленности военной и гражданской, статистика противника. Все это для того, чтобы насытить свои речи фактами, данными, конкретными справками.

Необычайно широк круг чтения Вс. Вишневого в области художественной литературы. Его дневники, несомненно, представят интерес для историка литературы, поскольку в них содержатся не только общие размышления о литературе и искусстве, но и множество конкретных оценок, хотя и кратких, но необыкновенно сильно и остро мотивированных. Читая, удивляешься, как мог автор сохранить самообладание в условиях, как будто не очень располагающих к эстетическим оценкам, но потом удивление проходит, когда автор дневника сообщает, что взялся специально перечитывать Эдгара По, чтобы проверить, как он будет восприниматься, и пришел к выводу, что на фоне ленинградской действительности американский писатель-фантаст кажется «бытовиком».

Читаешь дневник со все возрастающим интересом, «как роман», как произведение сюжетное. Задаешь вопрос себе: откуда этот возрастающий интерес? Ответ можно дать такой: хотя фиксируются факты и размышления самого разнообразного характера, но в дневниках Вс. Вишневого нет описательности (а она и губит обычно повествование, делает его скучным). Все время острая, оценивающая мысль вовлекает вас в отношение автора к тому или другому событию или явлению, не позволяет вам озадачиться спокойным, требует присоединиться к точке зрения автора дневника. В книге есть сюжет оценивающей мысли и герой — замечательный человек, который открывает свою душу. Поэтому захватывает вас и размышление о том, что ленинградские трагедии не могут сбить пристального взгляда наблюдателя, желающего глубже разобраться в ходе войны, и мысль о бесконечности жизни, о том, что «все будет в вечном ритме, в вечном потоке», и сообщение о записи рассказа госпитального повара, которого он подробно расспрашивал о прежнем кулинарном искусстве и о его жизни.

В дневниках Вс. Вишневого читатель встречает множество имен. Автор ведет беседу с общественными деятелями, со своими товарищами по работе, с рядовыми жителями Ленинграда. Его замечания откровенны, остры, хотя, конечно, несвободны в отдельных случаях от такой эмоциональной окраски, которая в дневнике естественна, но не может претендовать на роль объективной истины. Они фиксируют конкретный момент, иногда мгновенное настроение, передают не столько факты, сколько впечатления. Этим и дороги подобные записи.

Предельная честность с самим собой, каждодневная, подтверждаемая делом, поступком, придает этому человеческому документу силу воспитательную. Не сфальшивит этот человек, который даже в разговоре с самим собой говорит о своей любви к людям, о своем восхищении, восторге, гордости — чувствах, которые рождают у него ленинградцы. Нужно было знать Всеволода Вишневого, человека, для которого Россия, Партия, Народ были неразлучны, были живы, были всегда с ним, никогда не оставляли его наедине с самим собой, чтобы оценить такую запись:

«Шел домой один, белой ночью. Тишина... Великолепие улиц, садов, запахи сырого камня... Просторы Невы... Я поцеловал металл Троицкого моста... Здесь в 1917 году шли матросы, здесь закипала борьба. Шел усталый, а было хорошо... В светлом небе — аэролаты заграждения...»

«...поцеловал металл Троицкого моста...» — в этом романтическом порыве наедине с самим собой весь Всеволод Вишневский — человек и художник.

Мало в этих дневниках чисто личных мотивов. Там, где они пробиваются (парадокс, если принять во внимание дневник, как жанр интимный!), они действуют очень сильно, до слез. И опять же автор говорит в них о себе, как о частице Ленинграда, России, Партии.

«Едем по таким знакомым местам. Вот мой детский путь в гимназию по Загородному, вот казармы гвардии, Технологический институт, Варшавский вокзал, с которого я 24 декабря 1914 года уехал на фронт, Балтийский вокзал, откуда мы шли в Октябрьские дни против войск Керенского — Краснова».

Вот уж, поистине, как у Маяковского, — пусть вспоминают лирики стихи, под которые влюблялись, мы рады вспомнить и строки, под которые Деникин бежал от Орла.

Любопытно, что сам автор дневника почувствовал эту свою особенность. Он задумывается над тем, что представляет собой его дневник (в ноябре 1942 года), и делает по этому поводу 5 ноября такую запись:

«В последнее время думаю об этом дневнике. Он фиксирует ряд фактов, мыслей... Но я как-то стесняюсь писать о своем внутреннем духовном брожении, эволюции... Я не пишу или пишу мало о моих фантазиях; об обычных человеческих странностях; о личном; о бытовых мелочах... В силу врожденной или выработанной привычки — я пишу главным образом о войне, о политических событиях. Впрочем, разве уйти современникам из «плена политики»?.. Еще Наполеон заметил Гете об этом: рок заменен политикой. Душа, мозг пронизаны тем же».

Это очень важная запись. В значительной степени она верно передает характер дневника. Но не вполне. В дневниках есть и лирика, и личное в узком смысле слова, и «духовное брожение...». Всего этого не так уж много, но таков уж этот замечательный человеческий документ, в «котором отразился век и современный человек» с его высокой душой, не себялюбивой, а отданной общему.

В. ПЕРЦОВ.

★

О казусах и ляпсусах

«Ученые Записки», изданные в 1956 году Белорусским государственным университетом, навсегда войдут в круг «горе-

И. В. Гуторов. О десятой главе «Евгения Онегина» А. С. Пушкина. Ученые Записки Белорусского государственного университета имени В. И. Ленина. Выпуск XXVII. Серия филологическая. Редактор проф. И. В. Гуторов. Минск. 1956.

стных замет», связанных с историей отечественной филологической науки. Непрерывно вводит их в этот круг открывающая сборник статья, представляющая собой странную смесь заимствованных из чужих рук воинствующих полужанров, далеко идущих «теоретических» претензий и наряду с этим полной неискушенности в области

научно-исследовательского анализа, подменяемого безудержной квазинаучной фантастикой. Автор статьи — И. В. Гуторов, доктор филологических наук. Название — «О десятой главе «Евгения Онегина» А. С. Пушкина». Однако под этим нейтральным и безусловно делающим честь скромности автора названием таится самое что ни на есть сенсационное содержание.

Читая эту статью, проходишь через целую гамму сменяющих друг друга весьма разнообразных эмоций.

Первый раздел статьи, «Творчество Пушкина и народная память», внушает чувство недоумения. Прежде всего И. В. Гуторов указывает, что в разных изданиях сочинений Пушкина текст некоторых его произведений порой печатался по-разному — обстоятельство общеизвестное и печальное, хотя из хода рассуждений автора не очень-то понятно, плохо это или хорошо, скорее получается, что хорошо. При этом смешиваются воедино случаи, когда речь идет о произведениях, напечатанных самим Пушкиным (например, посвящение к «Полтаве»), и о произведениях, которые по цензурным условиям долгое время не могли быть опубликованы и распространялись в списках. Отмечает автор и «явные казусы» (очевидно, он имеет в виду «ляпусусы»), «когда в изданиях одного и того же научного учреждения (автор, ничтоже сумняшеся, отождествляет здесь издательство «Academia» и Академию наук СССР.— Д. Б.) одно и то же стихотворение печатается в основном тексте в разных редакциях». Все это приводит его к «общетеоретическому (?) выводу», «что непредназначенные для печати стихотворения Пушкина распространялись устно или в письмах, имели много авторских редакций и активно варьировались, видоизменялись, т. е. фольклоризировались самими современниками еще при жизни поэта». Почему этот в основном давно уже известный факт является «выводом», да еще «общетеоретическим», — ведомо одному автору статьи. Очевидно, он считает, что «общетеоретическое» значение придает всему этому слово «фольклоризировались», которое на самом деле имеет совсем другой смысл и употреблено здесь явно незаконно: «фольклоризировались» можно сказать о тех литературных произведениях, которые были усвоены широкими народными массами, стали безыменными и бытовали в народе в устной передаче. Однако в отличие от «ка-

зусов» и «ляпусусов» автор употребляет здесь это слово совершенно сознательно. В этом убеждает выдвигаемая им довольно странная «теория», согласно которой «все слои населения выступают самыми активными... исследователями, комментаторами и сказителями (?)» «художественного наследия великого поэта».

Однако чувство недоумения быстро, при переходе ко второму и третьему разделам статьи («Несколько документов о существовании десятой главы «Евгения Онегина» и политическом характере ее содержания» и «Пушкинский шифр десятой главы «Евгения Онегина» и результаты ее дешифровки») сменяется чувством досады, поскольку здесь на многих страницах подробно пересказываются (главным образом на основе широко распространенного комментария к «Евгению Онегину» профессора Н. Л. Бродского) давно известные вещи. Зато читатель, который, вопреки этому чувству, продолжит чтение статьи, будет вознагражден сторицей. Не может не заинтриговать уже самое название следующего раздела: «Фольклоризированная десятая глава романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» с примечаниями, комментариями, пояснениями и указаниями некоторых разночтений». Здесь каждого, даже самого хладнокровного читателя не может не охватить невольный трепет. Оказывается, И. В. Гуторов впервые публикует в печати не более и не менее, как полный текст семнадцати строф сожженной Пушкиным 10-й главы, до сих пор известных нам только в небольших и зачастую совершенно фрагментарных отрывках (за исключением лишь одной строфы, полностью сохранившейся в пушкинских черновиках). Помимо того, в новой публикации содержатся (в начале и в конце) две вовсе не известные строфы.

Где же, в каком архиве или частном собрании обнаружил И. В. Гуторов это драгоценное сокровище, публикация которого, если удостоверена его подлинность, составляет одно из важнейших событий в истории советского пушкиноведения? Ответ на этот вопрос довольно неожидан. Публикуемый текст, оказывается, «широко (?) распространяется среди студентов и научной интеллигенции СССР». А «в статье приводится список, полученный от студентов-заочников филологического факультета МГУ в 1953 г.». Да, как видим, источник несколько необычный. Но тем более исследователь, опира-

ющийся на такой источник, обязан прежде всего тщательно проверить и обосновать степень его достоверности. Это словно бы понимает и сам И. В. Гуторов. «Правда,— попутно замечает он,— говоря о произведении величайшего гения и основоположника реалистической литературы великого Пушкина, мы должны брать под сомнение буквально все, что не написано рукой самого поэта». Золотые слова! Но тем в большей степени должен был бы он сам взять «под сомнение» текст, который стал «широко распространяться» впервые в 1953 году, то есть через сто двадцать три года после сожжения Пушкиным его 10-й главы, и появился неизвестно откуда. Однако никаких сомнений у И. В. Гуторова не возникает. Публикуемый им текст, считает он, говорит сам за себя: «...высоко поэтически обрисовать всю эпоху дворянской революции в России, начиная с 1812 г. (?) до декабрьского восстания включительно», не мог никакой «другой поэт из прошлого и настоящего русской литературы»; мог это только один Пушкин. К тому же еще один «веский» аргумент: все это «художественно изложено, ритмически (?) оформлено в определенном стихотворном размере, свойственном только роману «Евгений Онегин», и зарифмовано (!) в строго канонизированной пушкинской строфе...». И еще: «Стихотворно опозитизировать, логически (!?) зарифмовать (!) и органически (?) включить в стройную «онегинскую» строфу эти близкие (?) по идее революционной борьбы имена Лувеля (!) и Бабефа (!) мог только сам Пушкин...»

Итак, по мнению И. В. Гуторова, все сомнения в принадлежности новопубликуемого текста Пушкину начисто снимаются тем, что в нем, во-первых, говорится об «эпохе дворянской революции» и, во-вторых, что он написан «онегинской» строфой. Можно ли считать подобную «аргументацию» сколько-нибудь достаточной и хоть в малейшей мере убедительной? Неужели И. В. Гуторов никогда ничего не слышал о многочисленных и порой весьма искусных литературных мистификациях, неоднократно имевших место не только вообще в мировой литературе, но, в частности, и в отношении Пушкина? Неужели ему ничего не известно о прошумевшей в свое время истории с окончанием пушкинской «Русалки», выданным автором ее, Зуевым, за подлинный текст самого поэта, причем в доказательство авторства Пушкина выступил со специальным

исследованием такой авторитетный ученый, как академик Корш? Другой случай; этого же рода имел место уже в советское время с окончанием пушкинского отрывка о Юдифи («Когда владыка ассирийский...»), которое также ввело было в заблуждение некоторых авторитетных пушкинистов и вызвало бы дальнейшие споры, если бы сам автор мистификации не признался, что он пошутит. Поэтому обязанностью всякого исследователя было поставить перед собой вопрос: не имеем ли мы и здесь дело с очередной мистификацией? А именно на такой ответ наталкивает не только отсутствие какого бы то ни было авторитетного источника публикуемого нового текста, но и хотя бы минимально внимательный анализ последнего.

Опубликованный текст обличает в его авторе несомненное знание исторических фактов, так же как фактов биографии и творчества Пушкина, и несомненное же умение владеть стихом. Однако нетрудно заметить, что последнее не всегда находится, как говорится, на необходимом уровне. В качестве примера можно привести хотя бы такие строки, как «Свободомысленных (!) князей», «чуть руки в кровь (!) не обогрил», «На наше войско клал (!) расчет», «своей рукой забить (!) царя», «Там закипал (!) серьезный (!) кризис (!)», «И силы обществ добровольных (!)», и т. д. и т. п.

Нет, если «ритмически оформить» и «логически зарифмовать» онегинскую строфу автор опубликованного текста и может, то сообщить всему этому ни с чем не сравнимую легкость и непринужденную простоту пушкинского поэтического языка ему явно не удастся. Но это еще полбеды! Главное в том, что автор оказывается подозрительно осведомленным в последующей литературе, и в частности в советской литературе о декабристах. Так, не известные ли слова Льва Толстого о «дубине народной войны» откликаются в строчке-обращении к русскому народу эпохи войны 1812 года: «Уже держа в руках дубину»? Равным образом не цитированные ли В. И. Лениным знаменитые строки Герцена о декабристах напоминают строка о них же: «Семья борцов, богатырей»? Строка о Бестужева-Рюмине — «Солдатам Пушкина читал» — явно подсказана показаниями самого Бестужева-Рюмина и некоторых других декабристов, данными ими следственной комиссии, причем показания эти были впервые опубликованы только в советское время.

Однако автор новопубликуемого текста пошел здесь и еще дальше: ведь в показанных говорится о чтении «Кинжала» и других «вольнодумческих» стихов Пушкина не «солдатам», для которых они были бы совершенно непонятны, а офицерам.

Итак, с одной стороны, настораживающая осведомленность в том, что еще не могло быть известно Пушкину, с другой — «явные казусы», сиречь ляпсусы! Примером такого явного ляпсуса являются и предшествующие только что приведенной строке о Бестужеве-Рюмине стихи:

Там вольнодумческие строки
Имели всюду ход (!) широкий (!),
И удержат потоки строф (?)
Не мог Шервуд (?), ни Бенкендорф (?).

К слову «Бенкендорф» И. В. Гуторов делает следующий комментарий, или примечание, или пояснение: «А. Х. Бенкендорф — шеф жандармов и начальник Третьего отделения царской охранки (?!), следственный (?) палач декабристов и цензурный (?) тиран (!) А. С. Пушкина». Очень хорошо сказано! Если не всегда точно, зато крепко! Но ведь шефом жандармов, «следственным палачом» и цензурным тираном Бенкендорф стал после разгрома восстания, а в данных строках речь идет о периоде до восстания. Столь же непонятно, кстати, упоминание в этом контексте и имени предателя декабристов Шервуда, в функции которого никак не входило препятствовать распространению «вольных» стихов Пушкина. Таким образом, как видим, слова «строф» и «Бенкендорф» не только представляют собой дурную рифму, но и «зарифмованы» они здесь если и «логически», то в явном несоответствии с исторической действительностью.

Однако самым странным является то обстоятельство, что автор опубликованных И. В. Гуторовым полных строф 10-й главы «Евгения Онегина» не очень ясно представляет себе развитие сюжета и композицию романа в целом. В заключающей публикации и доселе совершенно неизвестной строфе рассказывается о новой встрече Пушкина с его героем — Онегиным — в Михайлов-

Вдруг радость! Нет, вообразите!
С письмом от Пестеля к Никите —
Ну кто б вы думали гонец?
— Онегин! — Пушкин! — Наконец!

Не вдаваясь в оценку политического содержания этих примечательных строк (Оне-

гин стал доверенным лицом Пестеля!), так же как и мало понятного маршрута Онегина (из Тульчина в Петербург через (!) Михайловское), обратим лишь внимание на следующее. О пребывании Онегина на юге и о встрече его с Пушкиным в Одессе говорится в первоначальной восьмой главе романа. Там же упоминается и об их скорой разлуке: Онегин «пустился к неским берегам», а Пушкин «уехал в тень лесов тригорских». В соответствии с этим в первоначальной девятой (в окончательном тексте—восьмой) главе повествуется о приезде Онегина в Петербург, о его новой встрече с Татьяной, о страстном, встряхнувшим все его существо («Онегин, как дитя, влюблен») увлечении ею и о безнадежном его исходе. Только после этого и должна была следовать десятая глава, в которой действительно могла бы идти речь о каком-то сближении героя с декабристами. Между тем автор только что приведенной строфы заставляет Онегина делать в 10-й главе (ехать с юга в Петербург) то, что он уже сделал в 8-й. Такой хронологический и композиционный просчет сам Пушкин, конечно, никак не мог бы допустить.

Таковы только некоторые аргументы, заставляющие весьма заподозрить какое бы то ни было отношение Пушкина к новоопубликованному тексту. Однако непоколебимую уверенность автора публикации они едва ли способны хоть в какой-либо степени смутить. От любых возражений он заранее укрылся созданной им же «теорией» пресловутой «фольклоризации» пушкинского творчества. Он готов и прямо согласиться, что «даже не только по качеству стихов, но и по их содержанию очень многое в фольклоризированной десятой главе «Евгения Онегина», несомненно, не принадлежит Пушкину». Но в то же время он совершенно убежден, что «эту славную поэтическую хроникку, дошедшую до нас, пусть в измененном виде, мог написать только Пушкин».

Однако каким же путем она до нас дошла? О! И этот путь через сто с лишним лет совершенно точно известен И. В. Гуторову. Сперва 10-я глава распространилась среди современников Пушкина, которые «конечно, многое в этой главе романа... сознательно или бессознательно переиначили, кое-что извратили или совсем опустили, а многое и просто не могли воспроизвести. Еще больше отступлений от пушкинского текста было допущено последующими поколениями грамотных людей, которые также активно видо-

изменяли доставшийся им в наследство этот художественно-политический материал, беспрестанно варьируя его в продолжение целого столетия. Подвергаясь, таким образом, вполне законно всевозможным способам (?) фольклоризации, эта глава сохранила свой основной революционно-декабристский дух и, преодолев все рогатки самодержавно-полицейской цензуры, дошла и до наших светлых социалистических дней».

Не правда ли, как все просто, ясно и убедительно? Да, конечно, если бы хоть одно из утверждений И. В. Гуторова, хоть один из этапов этого сложного векового пути мог быть подтвержден хоть какой-либо ссылкой на реально существовавшие и известные нам факты или документы, если бы вся эта набросанная столь уверенной и размашистой кистью картина не была плодом чистой фантазии ее автора, основанной на уже известном нам «общетеоретическом выводе», согласно которому «все слои населения выступают» «сказителями» пушкинского творчества. Но на этом наш теоретик не успокаивается. Сделанная им публикация толкает его на нелепые теоретические размышления. Именно этому посвящена последняя глава его капитального исследования, которая так и называется: «Некоторые общетеоретические выводы о значении десятой фольклоризированной главы «Евгения Онегина» для дальнейшего изучения творчества А. С. Пушкина». Значение это чрезвычайно велико. Новая публикация «уточняет», «помогает», «может содействовать» пониманию пушкинского романа в стихах, отношения Пушкина «к декабристам и декабризму», решению ряда текстологических вопросов. «Уже в силу всего этого,— заканчивает И. В. Гуторов, — представляет-

ся безусловно полезным довести до сведения советских читателей хотя бы один из вариантов (?) этого своеобразного вида устно-поэтического народного творчества (?), условно (эта оговорка впервые сделана автором только под самый конец его статьи.— Д. Б.) названного нами фольклоризированной десятой главой «Евгения Онегина», в основе которой, вне всякого сомнения (!), лежат подлинно (!) гениальные стихи великого народного поэта».

Увы! То, что для И. В. Гуторова оказывается «вне всякого сомнения», на самом деле вызывает сомнения, и весьма серьезные. Это существенно меняет и самооценку автора. Не полезно, а вредно вводить в читательский оборот под именем Пушкина то, что, по всей видимости, является грубой литературной фальсификацией. Не полезно, а вредно под видом серьезного научного исследования печатать, пусть произвольную, на него пародию. Не полезно, а вредно в статье, публикуемой в университетских «Ученых Записках», давать студенчеству образец абсолютно некритического отношения к анализируемому материалу, терминологической путаницы и ничем не оправданных, высосанных буквально из пальца «общетеоретических» притязаний. Невольно задаешь себе в этой связи и еще один, последний вопрос. Авторам, мы знаем, свойственно порой совершать самые разнообразные «казусы». Ну а как же просмотрела этот явный ляпсус редакция? Ответ до необычайности прост. Его находим в непосредственном соседстве, на обороте титульного листа того самого тома «Ученых Записок», который открывается статьей И. В. Гуторова, доктора филологических наук: «под редакцией профессора Гуторова И. В.».

Д. БЛАГОЙ.

★

Драматизм простого рассказа

Самоубийство Веньки Малышева, героя повести П. Нилина «Жестокость», одновременно неожиданно и закономерно. Оно подготовлено ходом событий и логикой отношений, но его не могли предугадать ни читатели, ни близкие Веньке люди. Может быть, сам герой не знал о нем за минуту до того, как выстрелил себе в висок. Это — редкое в искусстве и трудное решение:

кульминация скрыта до последнего момента, но развернута с непреклонной убедительностью. Самоубийство Веньки обнаруживает значение некоторых мотивов повести, которые казались почти случайными. Можно было бы назвать их трагическими. Однако поступок героя не вызван неизбежностью. Он справедливо осужден товарищами Веньки и автором повести. Он не разрешает противоречий — напротив, он затягивает их еще сильнее. Герой оставляет поле боя про-

П. Нилин. Жестокость. Повесть. «Знамя» №№ 11, 12 за 1956 год.

тивникам, которые не имеют права и не будут им владеть.

Повесть входит в цикл «Подробности жизни»; она рисует не трагическую коллизию, а жестокие подробности. Их внутренний смысл становится ясным только в финале. Вначале определение «подробности» воспринимается почти буквально: жанровые зарисовки, психологические наблюдения. Они поданы без претензий. Их своеобразие в том, что они увиденны свежими глазами. О жизни маленького сибирского городка в начале двадцатых годов рассказывает восемнадцатилетний комсомолец. Работа сотрудника уголовного розыска стала для него привычной. Ему, конечно, по-человечески знакомы и тревога и страх; однако опасность, а может быть, и гибель представляются ему естественными условиями службы. Он не склонен их героизировать. Борьба с бандитскими отрядами и навивная любовь к незнакомой девушке Юлии для него равноправные, не противоречащие друг другу стороны жизни. В образе Веньки и в образе его друга, от лица которого ведется повествование, мужская суровость и скрытность слиты с мальчишеской мечтательностью и чистотой. Первые комсомольцы глухого уезда, где атаман бандитов объявил себя «императором вся тайги», живут сложной, напряженной жизнью. Однако сами они не замечают необычности своего положения. Непосредственный взгляд рассказчика отмечен способностью открывать незнакомые оттенки явлений. Бытовые подробности в повести Нилина приобретают весомость и остроту.

Например, казалось бы, совсем мало говорится в повести о нэпе. Только мимоходом возникает фигура Долгушина, владельца ресторана «У медведя», угодливого, подобоострастного, втайне ненавидящего комсомольцев, которые ходят к нему в ресторан, скрывая свое смущение за презрительным отношением к хозяину. Долгушин показан неподвзято, мельком, но роль и положение нэпмана в классовой борьбе тех лет раскрыты в этом образе отчетливо.

Повесть не рассказывает подробно о работе комсомола. Только однажды герои приходят на собрание в «сумрачный и тихий» клуб, где человек сорок — все комсомольцы города и уезда — обсуждают судьбу Егорова, который, на беду свою, участвовал в крестинах. Да еще герои загадывают о будущем, о социализме и о своем месте в будущем, да еще Венька в решаю-

щие минуты напоминает товарищу об ответственности комсомольца за все и за всех, да еще письмо свое к девушке, которую любит «неотвратимо... тревожно и горестно», тот же Венька кончает словами «с комсомольским приветом». Но и из частных подробностей складывается картина.

В отсутствии внешней живописности, в подчеркнута обыденной интонации рассказа — секрет его достоверности. Бандиты на допросе закуривают, «благодарно почемсываются»; они похожи на усталых ямщиков. «Степенный делушка с блестящей, голой, словно намазанной маслом, головой и с жидкой седенькой бородкой» оказывается крупным бандитским «связчиком», «молодая румяная женщина в пестрой косынке, натянутой на самые брови, под которыми смеются дерзкие глаза», — любовницей бандитского атамана. Все подробности жизни просты, но все они значительны и драматичны.

В «Жестокости» они имеют несколько иной смысл, чем в предыдущей повести того же цикла — «Испытательном сроке». Там П. Нилин был щедрее. Атмосфера времени интересовала его и сама по себе. Он раскрывал ее во множестве ярких деталей. Внутренние противоречия героев намечались лишь исподволь — в незаметных черточках поведения людей, в незначительных, казалось бы, оттенках их взглядов. Конечно, контраст между Зайцевым и Егоровым — героями «Испытательного срока», стажерами губернского уголовного розыска — строился не только на несходстве их характеров, но и на противоположности мировоззрений. Однако выявлялся он пока еще только в мелочах, отчасти в спорах Зайцева с руководителем стажеров Журом, но не в прямом столкновении. «Пусть они потом поспорят, будут сильно и непримиримо враждовать», но на страницах повести они еще друзья. Конфликт еще не развернулся, поэтому бытовые подробности в «Испытательном сроке» могли иметь самостоятельный смысл. В «Жестокости» они строго сведены к центру, сюжетному и идейному.

Если в «Испытательном сроке» небогатая фабула — история испытания двух стажеров — развивалась непринужденно и открыто, то в «Жестокости» она связана не вполне ясными даже рассказчику «тонкими и трепетными нитями». Их держит в руках Венька Малышев, задумавший «опасное и неожиданное дело». Эти нити ведут к Лазарю Баукину. В интриге повести он глав-

ное действующее лицо. Он появляется лишь в нескольких эпизодах, но в разговорах и мыслях героев он присутствует постоянно. Лазарь — самая большая удача Веньки и одновременно его трагедия. Лазарь — враг бесстрашный и неукротимый. Рассказчику запомнились его «небольшие прищуренные медвежьих глаза», которые «светились яростью». Он вызывает ненависть у всех сотрудников уголовного розыска, прежде всего у начальника. Только Венька относится к нему со странной приязнью и вниманием. Венька заставил Лазаря задуматься. Он подвел Лазаря к решению нелегкому для него, но неизбежному. Кавалер четырех георгиевских крестов, обманутой офицерами и попами, колчаковец, хладнокровный убийца, на груди у которого татуировка «Смерть коммунистам», но, кроме того, бедный крестьянин, смолокур и охотник, Лазарь начинает понимать бесцельность и несправедливость дальнейшей борьбы с Советской властью. Когда ему удалось бежать из заключения, он не присоединился к банде, но «по добромуговору» с Венькой задумал и осуществил поимку «императора всея тайги» Кости Воронцова. Повесть приглушенно, опуская многие звенья, рассказывает об этой операции, о том, как Венька ночью, в метель является к невесте «императора» Кланьке Звягиной, как почти против воли она становится участницей заговора, как, «презирая опасность», Венька неотступно следует за Лазарем и его товарищами по топким таежным тропам, напоминая им о себе и об общем их деле, о том, наконец, как летним утром в доме у Кланьки Лазарь при помощи других людей, которые вчера еще были бандитами, взял Костю Воронцова, человека с лицом богатого купца или молодого священника, «атамана одной из самых крупных банд, отличавшейся особой свирепостью». Сюжет повести полон скрытой напряженности. Автор вводит в действие социальные и психологические мотивы, которые звучат проникновенно, хотя о классовой борьбе в деревне и до Нилина писали много и хорошо. Портреты Лазаря, Кости Воронцова, Кланьки — беглые, неразвернутые, но они передают и социальный тип и психологическую светотень. П. Нилин мог бы ограничить содержание повести рамками сюжета. Поимка бандитского главаря могла бы стать финалом. Повесть и в этом случае имела бы художественный вес. Однако Нилин пошел дальше.

Явный конфликт «Жестокости» проявляет еще и глубоко затаенные противоречия. Для автора и для Веньки они становятся в результате даже более важными, чем борьба с бандитами, исход которой исторически предreshен. На последних страницах повести неожиданно роковую роль сыграли люди, почти не участвовавшие в развитии действия, казавшиеся персонажами второстепенными, даже жанровыми. Символическое значение получила, например, жалкая фигура Якова Узелкова.

Узелков — антипод Веньки. Дело даже не в том, что Венька — сильный, молчаливый и смелый, а Узелков — тщедушный хвостун и пустозвон. Важно иное: Венька — романтик, Узелков — приспособленец. Венька — один из тех людей, которые даже маленькие свои поступки, даже интимные желания и настроения меряют высокой меркой революции. Требования долга приобрели для него обязательность безусловного рефлекса. По натуре порывистый, он удивляет своей выдержкой. Он чувствует сильнее других, но скрывает свои чувства лучше, чем другие. Лишь унижение и стыд он не сумел перенести. Юноша, выросший в захолустье, прочитавший мало книг, ежедневно сталкивающийся с грязными, низменными и жестокими сторонами жизни, «хитрый и даже грубый», он полон возвышенной веры в социализм и в человека. В этом он противоположен Узелкову. Узелков и Малышев — исконные враги.

Веньку характеризует рассказчик — его подчиненный и друг. Он относится к Веньке, как младший брат к старшему. Они единомышленники, но общие их убеждения Веньке дано сильнее выразить и полноценнее воплотить. П. Нилин использовал точный литературный прием: поручив рассказ верному другу Веньки, он показал и близость рассказчика Малышеву и различие между ними. Друг Веньки сомневается там, где Венька действует. Он склонен заботиться о себе там, где Венька думает о людях. Оба они любят одну девушку — Юлию, но лишь для Веньки она стала судьбой. Тонкое различие между этими двумя характерами во многом объясняет непримиримость конфликта Веньки и Узелкова.

Корреспондент губернской газеты, высокомерный и нахальный невежда, который кичится своим образованием, Узелков — человек никчемный. Его претензии не подкрепляются его возможностями. Поэтому он

так охотно прикрывается цитатами и лозунгами, ссылками на превратно толкуемую «высшую необходимость». Он как бы слагает с себя ответственность. Беспринципность он хотел бы оправдать интересами читателя, газеты, общества, комсомола. Он принимает заповедь «все дозволено», как и формулу «цель оправдывает средства». Он высокопарно жмет в своих статьях, равнодушно собирается потопить комсомольца Егорова, непоправимо больно ранит Веньку. Низкопробный фельетонист носит маску передового общественного деятеля.

Его «любимый образ» — мадам Бовари. Он считает себя непонятой натурой, «истинно мыслящим человеком», оказавшимся в обществе пошляков и вандалов. Кстати, образ Бовари «особенно увлек» и Юлию. Характер Юлии в повести только слегка намечен. Может быть, это намеренная недосказанность: Юлия — красивая мечта, Венька полюбил ее еще до того, как узнал, Юлия — прекрасная «далекая возлюбленная». Все же то, что о ней известно, позволяет думать, что ее романтизм не «романтика» Узелкова. Для Узелкова роман Флобера мог стать тайным оправданием аморальности, для Юлии — призывом к достойной и поэтичной жизни. Близость Узелкова и Юлии мнимая. По-настоящему Узелков близок лишь начальнику уголовного розыска, хотя до поры до времени это и было незаметно.

Что же роднит между собой таких несхожих, таких, казалось бы, далеких друг от друга людей?

В разных обликах и аспектах в повести проходит тема правды. То, что Узелков приукрашивает ее в статьях, может быть, и мелочь. Однако характерно — Венька возмущен этим, а начальник угрозыска одобряет. И начальник и Узелков верят в спасительную благую ложь. Венька отставляет трудную, но правду. Узелков считает возможным исключить из комсомола Егорова, хотя он почти ни в чем не виноват: «Иногда в политических интересах надо сурово наказать одного, чтобы на этом примере научить тысячи». Для Веньки это «жульнические присмы». Начальник использует их охотно. Когда Лазарь взял бандитского атамана, начальник задумал преподнести это как достижение милиции, как свое достижение. Веньку он решил наградить, «Узелкову все рассказать в своих красках», «а Лазаря и других вывести в расход». Начальник свозкорыстные поступ-

ки оправдывает ссылками на «высшую политику». «Он стремится поднять авторитет Советской власти», — внушительно разъясняет Голубчик. Венька не принял этих рассуждений — он покончил с собой. Другой мотив самоубийства Веньки лишь оттеняет решающий и главный. В письме к Юлии Венька признался в неловкой для него правде. Иначе он не считал возможным поступить. Юлия сочла эту правду ненужной и оскорбительной. Письмо попало к Узелкову, «и он ударил Веньку... по самому сердцу...».

Узлы затянулись так крепко, обстоятельства сложились настолько серьезно, что самоубийство стало возможным. Конечно, Венька подчинился не разуму, а порыву. Конечно, он мог бы и должен был поступить иначе. Но порыв его глубоко обоснован.

Правда — не отвлеченная категория. Это и вера в народ, и совесть коммуниста, и энтузиазм комсомольца. Правда — вместительное, емкое понятие. Правда — это и справедливость. Для Веньки Советская власть — самая правдивая и справедливая, она не нуждается в приукрашивании, она самая сильная. Врать — значит бояться; это доказывают и начальник и Узелков. Оба берегут свое положение, оба хлопочут о своих успехах. Они не считают с тем, что справедливости заслуживают и Егоров и Баукин, что справедливость не разделяется на большую и маленькую. Узелков упрекает Веньку за его человечность, называя ее «христианской моралью». Парадоксально, что нелепый Узелков бросает этот упрек бесстрашному Веньке, парадоксально, но симптоматично. Фальшивая демагогия — оружие таких, как Узелков. Начальник тоже любит напомнить, что только он властен рассуждать, должность заменяет ему аргументы. Узелков и начальник хотели бы присвоить себе право говорить от имени народа. В «Жестокости», как и в «Испытательном сроке», ведется спор об истинном и ложном понимании социалистического гуманизма. Не всегда побеждает тот, кто прав. Венька выручил комсомольца Егорова, но он не смог спасти ни бывшего бандита Лазаря, ни себя. Это печальная утрата, это тяжелый укор, это и отступление. «Но запомнилось мне особенно крепко.. — признается рассказчик, — как бодро шел после похорон Узелков рядом с нашим начальником». «Я все время думаю о Веньке, о том, что, если бы ему привелось сейчас увидеть

Узелкова, он сам бы не простил себе этой минутной слабости».

Разная бывает жестокость. «...бывает всякому», — говорит Венька, оглянувшись на окна дома, где осталась любовница пойманного атамана бандитов. Борьба всегда жестока, тем более классовая борьба. Другое дело, когда Голубчик убивает пятнадцатилетнего мальчишку — бандитского адьютанта, из которого можно было бы сделать «просто мирового парня». Это жестокость неоправданная и ненужная. Но самое губительное и страшное, утверждает Нилин, — жестокость обмана, несправедливости.

Так жестокие подробности повести наполнились обобщенным смыслом. Повесть рассматривает проблему, важную не только для тех лет, когда происходит действие «Жестокости», но имеющую и принципиальное значение. Поступки начальника угрозыска и Узелкова противоположны гуманистическим принципам советского строя. Их «теоретические» обоснования не имеют ничего общего с марксистским политическим разумом. Неблаговидная основа и «теории» и практики этих «деятелей» исследована писателем тщательно. Поэтому повесть, рассказывающая, казалось бы, о частном случае, утверждает в то же время ведущие идеи нашего общества, нашей литературы — подлинный советский гуманизм и справедливость. Верный и точный исторический колорит «Жестокости» не мешает восприятию ее главного внутреннего мотива. Спокойная

обстоятельность повести лишь оттеняет ее высокую одухотворенность.

В произведении Нилина своеобразный эстетический строй. Конкретность описаний и характеров освещена развитием внутренней темы. Выразительность мысли выводит повесть из бытового круга, но живые детали и даже юмор мешают ей стать сухой. «Жестокость» покорила своей атмосферой, насыщенной тревогой и тайной, раздумием и страстью, но переданной в манере неторопливого безыскусного сказа. Повесть во многом следует традиции классической новеллы: она еще раз демонстрирует преимущества острого сюжета, реалистической точности и «подводного течения».

Конечно, классическая норма воспринята Нилиным не полностью. Нилин вводит публицистические диалоги и отступления: он стремится выразить больше того, что заключено в событиях и героях. Рассказчик и Венька высказывают мысли, которые кажутся в их устах слишком философичными, — так нарушается порой единство стиля и психологическая закономерность. Конечно, это ощутимый недостаток. Однако он вполне понятен, он оборотная сторона достоинства. Нилин хочет прояснить до конца то, что представляется ему важным. Он предпочитает повториться, нежели недосказать. Что ж, в конце концов это оправдано его насгойчивым стремлением к правде.

М. АЛЕКСЕЕВ.

★

Герои и события

«Для романиста важные события истории, — считал легкомысленно всем известный Александр Дюма, — это то же, что для путника — огромные горы: он смотрит на них, приветствует мимоходом, но не взбирается на их вершину. Так ли это?» — пишет Михаил Козаков в романе «Крушение империи» и самим романом опровергает изящный афоризм знаменитого романиста. Находясь у подножия горы, нельзя оценить ее величие. И Козаков не проходит мимо вершин — он смело штурмует их, ибо только с высоты открываются исторические дали.

Козаков не сразу решил на штурм. Сначала, как путник Дюма, он хотел прой-

ти мимо «огромных гор». В первой части этого романа, вышедшего еще до войны под названием «Девять точек», герои романа выступают скорее лишь как современники событий, чем как деятельные участники их. Исторические события для них только далекий фон. Но логика жизни ломала сюжет. Сами герои потребовали, чтобы история вместе с ними жила в романе, чтобы она распоряжалась их судьбами. Иначе их характеры и биографии оказались бы немотивированными. И писатель подчинился. Серьезно и требовательно относясь к своему труду, он многие и многие годы работал над книгой, переделывал целые куски ее, некоторые части писал заново, другие исключал совсем, пока, наконец, в 1954 году не счел свой труд законченным.

События Февральской революции, явив-

Михаил Козаков. Крушение империи. Роман в четырех частях. Редактор Л. Красногладова. 816 стр. Гослитиздат. М. 1956.

шиеся основой романа М. Козакова, беспримерно сложны, и не только для историка, но и для художника: писателю, решившемуся писать о Феврале, предстоит показать людей и классы, которые добиваются одного и того же — свержения самодержавия, — но по совершенно противоположным причинам; они идут к одной цели, но абсолютно разными путями. Ему предстоит показать врагов, которые сегодня оказались союзниками, а завтра вновь станут врагами, еще более ожесточенными.

М. Козаков во многом решил эту задачу. Он описал Февральскую революцию так широко и детально, как никто до него. Тем не менее сказать, что роман Козакова — это роман о Феврале, было бы не точно. Это скорее роман о том, как разрушалось антинародное государство, как распадалась колоссальная государственная система, некогда могучая, а ныне изжившая себя. Поэтому с такой тщательностью описывает Козаков царя, Распутина, царских министров, Думу, «борьбу» буржуазных партий, охранку, весь ненавистный народу механизм власти, который душил страну и который предстояло взорвать. Февраль выступает в романе как неизбежное следствие краха системы, начавшегося давно, но ускоренного войной.

Точность исторического взгляда определила хронологическую стройность романа. Роман ограничен строгими календарными рубежами, действие его начинается в канун военного, четырнадцатого года и завершается третьего апреля семнадцатого года — выступлением Ленина на броневике. Первые три части посвящены мировой войне; четвертая, последняя, — Февральской революции.

Но верность передачи исторических обстоятельств, богатство исторических деталей еще не делают роман историческим — какими бы захватывающими эти обстоятельства ни были, какими бы колоритными ни казались эти детали. Исторический роман начинается там, где есть исторически верные характеры, там, где эпоха «просвечивает» в каждом, даже самом интимном поступке героя. Николай II и Распутин — исторические лица, но одно их присутствие не прибавило бы роману историзма. И Козаков скрупулезно выписывает характер Николая, потому что бездарность последнего самодержца — это не только его личная человеческая беда, это неизбежная беда изжившей себя системы. Николай по-

является в немногих сценах, но с ним всегда входит слабоволие, скудоумие, бесцветность, неспособность быть тем, чем он должен быть. Из его «вдохновенно»-патриотической речи в день объявления войны Козаков цитирует только обрывки фраз. Зато душевное состояние Николая в эту минуту он описывает с издевательской детальностью.

«Голос начал делать перебои, в чередовании слов произошла несколько раз заминка: это память, словно ослабевший, разжимающийся кулак, силится сохранить до конца в своем зажатии выпадающие слова, собранные ею с приготовленного, написанного еще вчера мемориального листка в спокойном Петергофе...»

Луч солнца опять дотянулся до лица и непроизвольно, проклятый, щекочет сейчас ноздри.

«Пропустить фразу? Ведь все равно листок целиком обнародуют!»

Николай подергивает два раза плечом... словно что-то укусило его в лопатку или царапает где-то в том месте перекрахмаленное белье, — и уже торопливой и взволнованней кончает, освобождая совсем свою память:

— Уверен... что все, начиная с меня, исполнят свой долг до конца. Велик бог земли русской!»

Распутин появляется только в одном эпизоде, но в «ореоле» такого смрадного мракобесия, что гнилость царизма, опирающегося на этого кликушествовавшего «старца», кажется почти осязаемой.

Козаков не скрывает своих симпатий и антипатий. Писатель как будто не отделяет себя от действия; правда, он нигде не говорит о самом себе, но он всегда оставляет за собой право вмешаться в ход событий и этим правом пользуется часто. Такая близость автора к действию романа, возможно, объясняется тем, что в романе много автобиографического, личного. Эта подчеркнутая тенденциозность тем более своеобразна, что она сочетается со щепетильно объективным анализом психологии врага.

Так с тончайшим психологизмом, с безукоризненной — и тем более убийственной — объективностью описана царская охранка. Она занимает в сюжете видное место. С ней переплетаются судьбы всех главных героев книги. Не для вящего интереса насыщает Козаков роман «танствами» охранного дела, не во имя занимательности знакомит он читателя с кухней жандармской работы.

Писать о самодержавной империи и не говорить о ее полицейской сущности было бы исторически неверно. Дело не в том, что Козаков обеднил бы картину, а в том, что он искажил бы ее. К моменту своего крушения царизм слился с охранкой, потому что основным содержанием его существования стала защита от революции, которую представляли уже не одиночки и десятки, а миллионы людей. Но всевластие охранки, широко «масштабы» ее деятельности были только имитацией могущества режима. На самом деле усиливающаяся мощь охранки свидетельствовала о растущем бессилии монархии.

От министра внутренних дел до рядовых агентов охранной армии — целый мир с его собственными законами, с его собственной этикой, но с такими же, как во всем государственном аппарате, своекорыстием, карьеризмом, интриганством, беспринципностью, — отразился в романе Козакова. Тонко и беспощадно вскрывает писатель психологию людей, рекрутируемых в охранку. Мотивы у этих людей различны, но всех объединяет одно — осознанный или неосознанный индивидуализм, который у наиболее рьяных и последовательных выливается в звериную ненависть к народу.

Пантелеймон Кандуша в своем роде «романтик», «поэт» охранного дела. Он презирает своих коллег, потому что «в его представлении это были ремесленники», «без внутренней преданности и идее своей службы». Иное дело Кандуша — он служит «вдохновенно», азартно. Пощупать, проверить, поймать — изысканнейшее наслаждение для «ловца человеков». Его энергия жаждет размаха. Он томится в глухом провинциальном городке, он рвется в Петербург. И не только из соображений карьеры — он мечтает о тайной безыменной власти над сильными мира, он хочет преследовать крупного врага.

Эсер Иван Митрофанович Теплухин, напротив, ненавидит охранку, тяготеет связью с ней. Но он вынужден выполнять жандармские поручения, потому что скомпрометировал себя предательством и боится разоблачения. Жизненная философия Теплухина не оригинальна — жить свободной жизнью, наслаждаться всеми проявлениями ее; жить, чтобы жить. И в революцию его привела скорее всего авантюрная жажда сильных впечатлений. Ему предоставляется выбор: быть разоблаченным, жить в позоре, но больше не предавать, или остаться в

ореоле революционера, политикаторжанина, но быть тайным предателем. Из двух вариантов он выбирает тот, который не революции, а ему принесет меньше зла. Политическая и моральная беспринципность бросает бывшего революционера в лагерь апологетов самодержавия.

В своем романе писатель выдвинул на первый план несколько ведущих персонажей, но с каждым из них в книгу вошла вереница второстепенных, третьестепенных и просто эпизодических лиц. За Львом Карабаевым, депутатом Думы, одним из лидеров кадетской партии, входят его партийные коллеги во главе с Милоковым, председателем Думы Родзянко, английские парламентарии во главе с Ллойд-Джорджем, политические деятели Норвегии, Швеции, Франции. И хотя вся эта плеяда отодвигает иногда Карабаева на второй план, он никогда не теряет в романе ведущей роли.

В Карабаеве наиболее полно, наиболее завершено воплотились и психология кадета и кадетский протест против самодержавия. У Льва Карабаева есть брат — крупный фабрикант Георгий Карабаев. Соседство этих двух образов знаменательно. Родство по крови как будто символизирует идейное единство Карабаевых, хотя на первый взгляд характеры братьев почти противоположны: Лев лиричен, гуманен, некорыстолюбив настолько, что в молодости дважды отказался от блестящей карьеры, он идеальный семьянин. Георгий резок, деспотичен, это циник, делец, алчный приобретатель, изощренный эксплуататор. Но, по сути дела, они однородны: «политическая совесть русской интеллигенции», Лев Карабаев правомерно защищает империалистические интересы своего брата. «Призрак революции, лик мятежной пугачевщины» — вот что заставляет Льва Карабаева быть левым. По внешности — ненависть к монархическому деспотизму и ко всем проявлениям его, а по сути — органическое родство с ним, — вот что такое эта кадетская «совесть». Не случайный «совестливый» Карабаев на протяжении романа совершает целую серию предательств и подлостей. Безупречно корректный, он не гнушается вскрыть письмо, адресованное дочери, когда заподозрил ее в близости к социал-демократической организации. Он с брезгливостью относится к охране, но пытается замаять дело Теплухина, разоблаченного в связях с нею, потому что такое разоблачение видного служащего его брата может запятнать

карабаевскую фамилию. Он предан своей партии и своей левизне, но он изменяет им, когда ему понадобилась от монархистов услуга. За какую услугу поступился Карабаев убеждениями? Не за деньги, не за пост — это было бы не в его характере. Он сдает позиции ради спасения страстно любимой дочери, арестованной на большевистской явке. Причина, казалось бы, благородная, но — следствие?! В конце романа Карабаев, теперь министр Временного правительства, мечтает возвратиться к управлению, взять на службу буржуазному правительству наиболее талантливых министров монархии, которых революция загнала в касематы Петропавловской крепости. Придя к власти, он ничего не собирается менять по существу.

Не случайной поэмой и идейно и композиционно образ Карабаева объединяет в романе монархически-буржуазный лагерь, хотя в этот период буржуазия боролась с монархией. Несмотря на то, что на какой-то момент интересы буржуазии слились с интересами революционного народа, в сюжете романа пролетариату и его партии буржуазия противопоставлена, а с царизмом она сопоставлена.

Единственным до конца последовательным борцом против самодержавия выступает в романе партия большевиков. Важнейшее достоинство романа Козакова состоит в том, что он изобразил революцию как результат творчества народных масс. Следуя лучшим эпическим традициям, он вывел народ на авансцену романа. В его романе народ не фон, а полноправный герой. Мысль о народе — творце революции — звучит в романе не как априорная истина; она воплощена в целой серии блестяще выполненных массовых сцен. Умение строить мас-

совые сцены — трудное и редкое умение. Козаков обладал этим редким даром.

Сюжет романа построен так, что по мере развития действия большевики занимают в нем все большее место, завладевают все большей территорией романа, оттесняя постепенно Карабаевых, которые в первых частях были на первом плане. В большевистский лагерь входит все самое чистое и честное. На разных ступенях этого восхождения находятся дочь Карабаева — Ирина, студент Федя Калмыков, журналист Фома Асикритов.

К сожалению, один из главных героев этой линии — профессиональный революционер Сергей Ваулин — не вполне удался Козакову. Он написан несколько суховато, несмотря на то, что писатель щедро предлагает Ваулину самые разнообразные ситуации: он на улице с бастующими рабочими, в тюрьме, на явочной квартире, в типографии за печатанием газеты, на митинге, на заседании Петроградского комитета, в семье, с любимой девушкой. Но богатство ситуаций еще не делает характер полнокровным. Аморфность образа Ваулина объясняется, возможно, тем, что Козаков сделал акцент не столько на характере Ваулина, сколько на содержании его деятельности.

Композиция романа оригинальна, хотя далеко не бесспорна. Козаков смело пошел на смешение жанров. «Крушение империи» — это и роман-хроника, и роман-детектив, и политический роман, и семейно-бытовой. Не всегда эта разножанровость выглядит органично. Но, может быть, в какой-то мере и благодаря ей так ощутим в романе темп и колорит эпохи, бурной и противоречивой.

И. БОРИСОВА.

★

С добрым чувством

Борис Горбатов — один из популярнейших советских писателей. О нем как будто бы немало писали: во всяком случае, наиболее значительные книги Горбатова рецензировались широко и охотно. Но — странное дело — мы перелистали библиографические справочники за пятнадцать лет и убедились, что не так легко отыскать

А л. И о н о в. Борис Горбатов. Очерк жизни и творчества. Воспоминания. Редактор А. Снорый. 184 стр. Сталинское областное издательство. 1956.

серьезную, обстоятельную статью, рассматривающую творческий путь Горбатова, особенности его большого и самобытного дарования.

Только недавно появилась наконец первая книга о Борисе Горбатове. Она вышла в свет в Сталино и принадлежит перу донецкого литератора Алексея ИONOва. Может быть, это не имеет прямого отношения к делу, но хочется сказать, что появление книги ИONOва — реальное свидетельство того, как в Донбассе, на родине Горбатова, бережно

хранят память о нем, любят и ценят его произведения. И это по-настоящему трогает — точно так же, как огорчает, что в Москве до сих пор не вышло ни одной серьезной монографии о творчестве Горбатова.

Книга Ионова состоит из двух частей: очерка жизни и творчества и воспоминаний, в которых автор рассказывает о своих встречах с Горбатовым. Но все-таки эта книга внутренне едина; она спаяна тем, что отношение к Горбатову автора — выступает ли он в качестве исследователя или делится своими воспоминаниями — остается неизменным: очень теплым, задушевным, сердечным. Да, теплым и сердечным... Мы уже как-то отвыкли от того, что о любимом писателе можно (или, лучше сказать, нужно) писать с любовью и трепетом, не пряча ни добрых чувств, ни даже восхищения в холодновато-бесстрастной, академической манере. Ионов не скрывает того, что ему очень нравятся книги Горбатова, что многое в них дорого и близко его сердцу, что ему по душе самый стиль и художественный склад этих книг. И эта манера критика, не таящего своего расположения к писателю, не должна страшить даже тех, кто постоянно опасается «вкусовщины», необъективных оценок, излишних восторгов. Доброе отношение к Горбатову не помешало Ионову сказать, что у писателя бывали и неудачи, что даже в лучших его книгах не все одинаково хорошо.

И что, наверное, не менее важно: многие страницы очерка написаны так, что за горбатовскими образами встает обаятельная фигура их создателя — романтика и жизнелюба, мечтателя и реалиста, человека чуткой и щедрой души. Приведем одно из таких очень характерных для книги Ионова мест: «Нам известны вдохновенные страницы, полные то лиризма, то суровой торжественности, то сострадания к человеческому горю, — превосходные страницы из «Писем товарищу», «Непокоренных», первого тома романа «Донбасс» и других произведений Горбатова, но глава, которая должна была служить продолжением «Донбасса», глава, где писатель как бы и сам прощается с милым его сердцу донецким краем и где слышится, возможно, его собственный вздох сожаления — «а уж молодости нет, и ее не воротить!...», — эта глава является бесспорной вершиной его творчества».

Есть писатели, которые рассказывают только о своем поколении. Идут годы — взрослеют их герои. И вот приходит время, когда жизнь «детей» становится для таких

художников загадкой: они хорошо знают лишь жизнь «отцов». Есть другие писатели: они не расстаются с молодостью, они хорошо видят черты новых поколений молодежи. Таким писателем был Борис Горбатов: он писал и о первых комсомольцах («Мое поколение», «Юность отцов»), и о тех ребятах, что в годы пятилеток воевали за каждую лишнюю тонну угля («Донбасс»), и о молодежи, сражавшейся против гитлеровцев («Непокоренные»).

И при этом лучшие герои его книг обязательно несут в себе какую-то частицу жизни писателя. Ведь Горбатов и сам в двадцатые годы в Донбассе «будоражил комсу», в тридцатые — дневал и ночевал на новостройках, зимовал в Арктике. Пришла война — он в армии. И очерк Ионова серьезно выиграл оттого, что в нем рассказывается, как много личного вложил Горбатов в свои книги.

Мы специально остановились прежде всего на некоторых, как нам кажется, специфических чертах книги Ионова, потому что в остальном этой книге присущи и достоинства и слабости, характерные для большинства популярных критических очерков, авторы которых выступают «первооткрывателями» того или иного писателя. Достоинства подобных очерков в том, что в них впервые собран воедино значительный материал, зачастую малоизвестный, освещающий весь путь писателя, что предпринята первая попытка осмыслить эволюцию писателя, определить общий пафос его творчества и то место, которое оно занимает в литературном процессе. Все это есть и в очерке Ионова. Более того, там немало точных характеристик отдельных образов, интересных и самостоятельных наблюдений над стилем и художественной структурой книг Б. Горбатова. Вместе с тем очевидны и слабости рассматриваемого очерка, слабости, как уже говорилось, весьма типические для подобного рода критических работ.

Многое просто упущено. Незаслуженно мало и слишком общо говорится, например, о работе Горбатова-журналиста. А это очень важно — и не только потому, что писатель много сил отдал газете, а прежде всего потому, что некоторые особенности его дарования развились благодаря занятиям журналистикой. Ведь сам Ионов в воспоминаниях приводит признание Горбатова: «О своих вещах я всегда думал: это — газета». Выпала из поля зрения исследователя и другая большая тема. Горбатов был ярким

и сильным драматургом, и вряд ли есть основания считать его пьесы чем-то «второразрядным», не заслуживающим внимания. Почему же Ионов, сказав несколько ничего не значащих фраз о «Юности отцов», лишь назвал «Закон зимовки» и даже не упомянул о написанной в 1944 году пьесе «Одна ночь»? Конечно, в будущем Ионову или другим исследователям, которые будут заниматься творчеством Горбатова, эти пробелы придется восполнить. Но не только эти...

В очерке Ионова, как уже говорилось, разбросано немало верных, любопытных замечаний, плодотворно и оправданно само направление работы критика, но порой он, ограничиваясь частными наблюдениями, останавливается перед общими выводами, отступает там, где нужно выявить те или иные внутренние закономерности творчества писателя. Приведем два примера. То и дело в связи с анализом разных произведений Горбатова мы находим в очерке вскользь брошенные замечания о «своеобразном лиризме», о романтичности героев, о «прямом авторском обращении к воображаемому товарищу и современнику». И только сам Горбатов в воспоминаниях Ионова говорит о себе совершенно определенно: «Я романтик, вот что». Да, Горбатов — романтик и лирик. Но его волнует романтика особого рода. Это романтика будней, повседневного упорного труда. Любимые герои Горбатова — простые, скромные, самоотверженные и очень деловые люди. Поэтому Арктика, которой посвящена обширная литература приключений и из ряда вон выходящих характеров, даже Арктика для Горбатова — «Обыкновенная Арктика». И если всерьез говорить об особенностях его творческой манеры, то прежде всего нужно понять именно это, потому что здесь ключ, раскрывающий особенности образной структуры и художественной ткани произведений Горбатова. Вероятно, тогда бы Ионов куда решительнее и убежденнее опровергал, например, распространившееся в критике мнение, что журналист Сергей Бажанов, от имени которого ведется повествование в романе «Донбасс», — лицо лишнее в произведении. Ведь эта точка зрения и возникла-то потому, что критика вершила суд над художником, не считаясь с природой его дарования.

И второй пример. У каждого писателя есть характеры, к которым он настойчиво возвращается на протяжении всего творческого пути. Обычно это те характеры, которые отражают процесс осмысления худож-

ником очень значительных общественных явлений. Невозможно глубоко раскрыть идейно-художественные устремления писателя, не выявив эту общность характеров, не установив, что за проблематика стоит за ней. Ионов отмечает сходство некоторых образов в произведениях Горбатова, но он не пытается выяснить, почему же писатель вновь и вновь возвращается к этим образам, что примечательного нашел он в них, что за явление действительности приковывает его внимание. А над этим стоит задуматься. С одной стороны, Глеб Кружан — любитель парадной шумихи, превратившийся в грубияна и самодура, который на все возражения и замечания отвечал одним: «Что-о? Клади билет на стол! Всех из комсомола выгоню!»; Алексей Гайдаш, возмнивший себя непрерываемым авторитетом, выродившийся в болтуна и демагога, заслуживший у комсомольцев презрительную кличку «вождик»; Виктор Абросимов, который потерял голову от высокого назначения и пытался прикрыть неважные дела в угольном тресте показным энтузиазмом. С другой стороны, скромные, принципиальные, по-настоящему деловые и никогда не порывающие тесных связей с массами руководители — Степан Яценко, Светличный, Андрей Воронько. Горбатов много думал над тем, какими чертами должен обладать подлинный революционер, вожак масс, партийный руководитель. Он убежден, что с этим высоким званием несовместимы зазнайство и демагогия, карьеризм и шкурничество, фразерство и безответственность. Образы, созданные Горбатовым, были позитивным или негативным отражением определенного типа революционера. Блестящий портрет такого революционера нарисовал основатель Коммунистической партии Италии Антонио Грамши. Мы приводим его слова, потому что, нам кажется, они дают очень ясное представление о том идеале революционного деятеля, который освещал и творчество Горбатова. «Революции,— говорил Грамши,— нужны люди с ясным умом, люди дела, которые позаботились бы, чтобы в булочных всегда был хлеб, чтобы движение поездов происходило точно по расписанию; люди, которые снабдили бы предприятия сырьем, сумели наладить в стране обмен промышленной и сельскохозяйственной продукцией, обеспечили свободу и личную безопасность граждан, защитили их от нападения бандитов, обеспечили правильное развитие всей общественной жизни страны, а не обрекали народ на

отчаяние, на безумную междоусобную резню. Смех (и слезы) вызывают попытки разрешить какую-либо из этих проблем хотя бы в масштабах одной деревни, насчитывающей сотню жителей, посредством показного воодушевления и безудержной фразеологии. Тот, чья деятельность сводится лишь к напыщенной фразеологии, к неудержимому словоизлиянию, к романтическому воодушевлению, тот — демагог, а не революционер».

Одно из положений очерка Ионова вызывает у нас возражения. Правда, справедливости ради нужно сказать, что Ионов не первым высказывает эту точку зрения: в последние годы она начала довольно широко распространяться, — и тем более ее следует опровергнуть. Речь идет о том, что творчество Горбатова чрезмерно «привязывают» к Донбассу. Споры нет, Горбатов никогда не порывал связи с родными местами, любил этот суровый пролетарский край, в основу многих его произведений легли до-

некие впечатления. И все-таки можно ли назвать писателя, как это делает Ионов, «певцом шахтерского края»? Разве творчество Горбатова укладывается в географически точные рамки? Кстати, не этот ли «областной» пафос, легко объяснимый и даже отчасти оправданный в книге донецкого литератора, — причина того, что Ионов очень вяло, явно ниже своих возможностей написал о такой чудесной книге, как «Обыкновенная Арктика»?

Прочитав книгу Алексея Ионова, которая нас обрадовала сердечным, горячим отношением автора к Горбатову, мы вспомнили о том, что в былые годы у русских литераторов существовал обычай: в память о талантливом писателе товарищи выпускали сборник, куда входили произведения, посвященные ему, и воспоминания о нем.

Этот хороший обычай следовало бы возродить.

Л. ЛАЗАРЕВ.



В кольце пустых фраз

Вопрос о традициях классического наследства в современной литературе до сего дня, к сожалению, не имеет сколько-нибудь разработанной методологической основы. Поэтому каждый, кто к нему приступает, вынужден полагаться на свои силы и действовать на свой риск и страх, руководствуясь лишь общими положениями нашей эстетики. Но зато каждому, кто отваживается вновь и вновь заняться этой проблемой, предоставляется заманчивая возможность избежать трафарета, сказать свое слово в теории и, может быть, даже способствовать практике нынешнего литературного движения.

Не приходится много говорить о важности уточнения хотя бы самых понятий традиции и традиционности. А об их роли просто нельзя умолчать — и о ней пишут немало, но пока очень мало определенного, конкретного, дельного.

В суждениях о литературных традициях установилась тоже некая «традиция»: либо ограничиваться частными сопоставлениями

(что может, впрочем, в отдельных случаях привести к ценным наблюдениям), либо отделяться общими фразами, что при всех обстоятельствах ни к чему путному не приводит. Больше того: разговор о любом произведении, индивидуальном творчестве и т. д. необходимо предполагает специальное знакомство с данным произведением, творчеством. А о традициях иногда почему-то находят приличным говорить без такого особого знакомства, говорить «вообще», пытаясь загипнотизировать читателя речениями, обкатанными донельзя в процессе долгого и неумеренного употребления.

Статья В. А. Ковалева «Борьба за творческое развитие классических традиций в советской литературе» представляется в этой связи особенно поучительной. Открывая сборник, изданный Академией наук СССР, эта статья обещает быть академически основательной и претендует на известную программность. А мера претензий определяет и меру требований. Однако и самый скромный экзамен статья В. Ковалева вряд ли может выдержать.

Пышно и обаятельно звучат заголовки разделов статьи: «Значение традиций в процессе творчества. Преемственность в развитии литературы», «Традиции русской классической литературы. Кристаллизация

В. А. Ковалев. Борьба за творческое развитие классических традиций в советской литературе (послевоенный период). «Вопросы советской литературы». Сборник III. Редакторы В. Тимофеева и В. Ковалев. Издательство АН СССР. М. -Л. 1956.

художественных традиций социалистического реализма» и им подобные. «Новейшие идейно-художественные достижения и завоевания,— утверждает В. Ковалев,— создаются лишь благодаря постоянному взаимодействию между опытом настоящего и опытом прошлого, на основе взаимодействия между устоявшимися лучшими традициями и живым опытом новых исканий и решений». Если бы в статье был дан хотя бы единственный мало-мальски доказательный пример того, как осуществляется это «взаимодействие», она могла бы быть небесполезной. Но ничего подобного в ней нет. «Художественное многообразие советской литературы,— пишет В. Ковалев в другом месте,— основано на широком обращении писателей к художественному опыту, мастерству всей литературы прошлого и настоящего, к творческому использованию лучших художественных завоеваний античного искусства и классицизма, романтического и реалистического направлений в мировой литературе, фольклора». Все это бесспорно, как вообще бесспорны прописи, но ни малейшей попытки показать и разъяснить, как происходит «широкое обращение» и «творческое использование», в статье нет. Дальше утверждения того, что усвоение есть усвоение, а развитие есть развитие, исследовательская мысль автора не идет.

Чем же заполнены страницы весьма пространной работы? Главным образом неумеренным повторением одних и тех же суждений крайне общего порядка. Речь идет в них о неоспоримых достоинствах советской литературы, но говорится об этих достижениях по существу так убого, тривиально, голо, хотя иногда, впрочем, и с ужимкой («...разве сфера экономики не может стать ареной раскрытия качеств героя нашего времени?»), что никакого ответного чувства в читателе, кроме усталости, этот словесный поток вызывать не в состоянии. Стандартным, а потому бесцветным декларациям под стать и «аргументация»: вместо пусть немногих, но со вкусом подобранных и разобранных примеров В. Ковалев печатает чуть ли не столбцами списки произведений, столь калейдоскопичные, что в глазах буквально рябит от инициалов, имен и кавычек.

Так, на странице 22: «В первые годы после окончания войны появился ряд новых интересных произведений. Многие писатели старшего поколения создают в это время свои лучшие произведения...» (скобка — и список имен). «Пришли в литературу новые

силы. Широко стали известны имена писателей...» (перечень). «Малые» жанры блестяще представлены творчеством...» (имена). «Естественно, что события Отечественной войны продолжали привлекать внимание советских писателей. Появились такие произведения, как...» (следует список из шестнадцати названий). На странице 23: «Труд рабочих и инженеров нашел отражение в романах...», «Деревне посвящены произведения...» (списки). На странице 24: «Особенно ярко созданные в последние годы образы молодежи в таких произведениях, как...» (перечень). На странице 25: «К числу значительных произведений на исторические темы принадлежат...» (перечень). На странице 26: «В последние годы у нас побывали индийские, китайские, корейские, польские и другие делегации литераторов, приезжали всемирно известные писатели...» (имена). «В послевоенной литературе имеется немало произведений, показывающих зарубежную политическую жизнь, борьбу сил прогресса против сил реакции в капиталистических странах. Таковы...» (снова имена и названия).

А кроме списков — неутомимое кружение в море общих мест: «Единые в своей основе принципы художественной реалистической типизации находят многообразное творческое воплощение, и это позволяет нашей литературе более всесторонне охватить современную жизнь, полнее обрисовать действительность советских людей, глубже раскрыть их психологию, их мысли и чувства, находить все новые аспекты в изображении действительности, в познании жизненных закономерностей, в раскрытии исторической перспективы. Достижения современной литературы неразрывно связаны с творческим усвоением традиций русской литературы XIX века. Классические традиции, творчески преобразованные, мы найдем и в ...», и снова перечисление, снова «широкая картина», «глубинные процессы», «художественное совершенство», «удивительная ясность», «полнота выражения чувств» и т. д. — все в одном абзаце.

Утверждения, конечно, справедливые, за ними стоят большие победы социалистического искусства. Но в статье это не ощущимо — лишь слова, слова, слова... Самые общие, невыразительные, и ничего более.

Впрочем, неверно было бы думать, что отсутствие оригинальных мыслей и шаблонность застраховывают статью от ошибок. Да, в ней нет оригинальных заблуж-

ждений, но зато достаточно ходячих, уже много раз отмечавшихся. Будем великодушны и не станем журить нерасторопного автора за то, что он все еще по старинке поносит Достоевского и превозносит Бабаевского. В конце концов и тот и другой здесь только очередные члены перечисления. Кстати, составители нашли нужным оговорить, что сборник, вышедший в 1956 году, подготовлен в 1954-м, — словно это указание само по себе должно парировать всякие упреки за отставание материала от жизни.

Но и для пройденного уровня 1954 года сомнительным выглядело бы утверждение автора, что «мы наследуем прежде всего, конечно, демократическую и социалистическую литературу прошлого, продолжаем прежде всего ее традиции. Это для нас — главное и основное в культурном наследии, но вместе с тем мы наследуем и элементы прогрессивной буржуазной и дворянской литературы прошлых эпох». Никакой расшифровки этого поверхностного демагогического утверждения, понятно, нет: всякая проверка этого возмутилась бы таким принижением высочайших вершин классики (увы, не «социалистических» и даже подчас не «демократических» в буквальном смысле этих слов!), высокомерным снисхождением к «элементам». Нельзя забывать, в особенности в научном сочинении, что демократичность (не говоря уже о социализме) — понятие исторически конкретное и притом не экспрессивное, но политическое. Поэтому, даже не углубляясь в далекую историю, можно назвать немало шедевров литературы, которые нельзя просто объявить «демократическими», тем более «социалистическими» (наугад укажем на творчество Гоголя, Лермонтова, Гончарова, о которых не менее рискованным было бы говорить, что они нетленны лишь постольку, поскольку несут в себе элементы демократизма или социализма. То обстоятельство, что марксистская идеология наследует прежде всего революционно-демократические традиции в философии, социологии и эстетике, еще вовсе не предопределяет решения вопроса о традициях в

художественной литературе. Эта тема совсем не такая метафизически плоская, как ее пытается представить автор статьи. Старое-престарое обыкновение отождествлять степень прогрессивности общественно-политических взглядов с мерой художественного таланта находит в лице В. Козалева верного, но запоздалого прозелита.

Однако самую безрадостную картину представляют те места статьи, где предпринята попытка как-то определить, что же, собственно, «мы наследуем». Под традициями в литературе автор разумеет «общность в подходе художников к жизни, в их идейной устремленности, понимании ими своей роли в жизни общества, в их эстетических позициях». «Традиции, — продолжает он, — это прежде всего преемственность в подходе к большим вопросам жизни народа и страны и в решении этих вопросов». Такая общая формулировка верна, но далеко не достаточна: традиция предполагает, конечно, не только преемственность общественных взглядов и «творческое развитие» гуманистических идей прошлого, но вместе с этим особое тяготение к тем или иным формам в широком смысле слова (жанр, способ воссоздания характера, особенности выразительных средств и пр.), предпочтительное внимание к ним; традиция неизбежна в области, уже ранее разработанной, «обжитой». Всякая такая освоенная форма неизбежно традиционна в самом прямом значении. Поэтому, например, главная задача состоит, вероятно, не в том, чтобы в творчестве какого-нибудь советского романиста искать черты сходства с Толстым или Гончаровым, но в том, чтобы увидеть и принципиально понять новый роман как определенное звено в историческом и национальном развитии этого жанра, этой разновидности. При таком подходе к вопросу о художественной традиции известный парадокс о том, что новаторство есть форма усвоения традиций, выглядит не столь неожиданным. Во всяком случае только конкретный подход к проблеме позволяет выйти из кольца пустых фраз.

В. СКВОЗНИКОВ.

Песни бури и гнева

*Буря, я — часть твоя, и в борьбе
Я подобен тебе.*

Карл Либнехт.

Антология, лежащая сейчас перед нами, посвящена поэзии новейшей. Между тем стихи, вошедшие в нее, обрываются на 1953 году. Как явствует из выходных данных, антология была сдана в набор в 1954 году, но вышла только в 1955-м. А выйдя, долго еще вылеживалась на складах издательства, пока наконец в 1956 году появилась на прилавках книжных магазинов.

Эта академическая медлительность в выпуске книги находится в разительном противоречии с ее актуальностью, нужностью, необходимостью, особенно в наши дни. Сейчас, когда правящие круги Западной Германии все усиленнее возрождают и культивируют реакционное искусство, когда в своих пропагандистских целях реваншисты используют произведения, служившие грязным и кровавым целям фашизма, боевой накал немецкой демократической поэзии приобретает особую силу.

Поэзия эта всегда была верным товарищем и вдохновителем немецкого народа в его героической борьбе против реакции, контрреволюции, фашизма. Она выражала его лучшие думы и превращала в боевые лозунги его требования и желания.

Антология, вышедшая с таким неоправданным запозданием, открывает одну из самых значительных и славных страниц в истории немецкой поэзии. Не только в СССР, но и в Германии не было сборника, где бы с такой полнотой была представлена прогрессивная немецкая поэзия нашего времени.

Поэзия эта, все еще недостаточно исследованная и известная, имеет огромное значение в борьбе немецкого народа за свободу. У нее большие и славные традиции. За ней стоят чудесный юмор и искрящееся веселье безыменных шванков и шпрухов, мудрость народных «разумений», воинственный пафос «марсельез» XVI века. В ней выразились гнев и ненависть народа против вековых угнетателей. Ей предшествовали памфлеты немецких гуманистов, озорные шванки Сакса. В ее русле воз-

«Немецкая демократическая поэзия 1914—1933 гг.». Составление, редакция переводов, вступительная статья и комментарии И. Фрадника. 830 стр. Государственное издательство художественной литературы. М. 1955.

никли басни великого просветителя Лессинга, баллады Бюргера, сатира Шубарта и стихи молодого Гете.

В прошлом столетии, в годы общественного подъема тридцатых—сороковых годов, немецкая демократическая поэзия достигла небывалой высоты. Ее пестовали Маркс и Энгельс, и она стала мощным оружием революционной борьбы. Гейне и Гервег, Веерт и Фрейлиграт и множество других поэтов, выступившие как трибуны революции, создали поэзию, которая дышала страстью и гневом, вдохновляя пролетариат на борьбу.

В нашу эпоху демократические поэты всей силой своего таланта встали на защиту народных масс, участвовали в их борьбе. Они первые подняли голос против империалистической войны. Они воспели восстание Спартака и дрались на баррикадах революции восемнадцатого года. В период Веймарской республики голос этих поэтов будил общественное мнение, призывая дать отпор собиравшей силы реакции.

Не зная страха и колебаний, немецкие демократические поэты боролись с фашизмом. И палачи мстили этим поэтам, пытали их в застенках, убивали в тюрьмах и на площадях.

В условиях жесточайшего натиска реакции немецкой демократической поэзии приходилось порой уходить в подполье. И для того, чтобы изучить ее поток на протяжении всего его бурного течения, понадобилась большая, во многом оригинальная исследовательская работа, тем более что ей не предшествовали никакие другие труды.

Составитель сборника И. Фрадкин шел здесь часто по целине. Не только огромное количество текстов, в большинстве своем нам еще не известных, но и самый «аппарат» книги: вводная статья, характеризующая политическую обстановку и развитие поэзии в Германии, биографии авторов, представленных в антологии, обширный политический и смысловой комментарий к стихам — все позволяет рассматривать сборник как книгу, насущно необходимую для всех любителей поэзии, специалистов-филологов, студентов.

Антология демократической поэзии замечательно разнообразна. В нее включены

стихи поэтов — Мюзама, Бехера, Вайнерта, Брехта, творчество которых давно стало достоянием широкого читателя. Сюда вошли и произведения, почти забытые или еще не известные за пределами Германии, но такие, которые несут на себе приметы времени, останутся памятником эпохи. Словом, здесь представлены все поэты, роль которых Карл Либкнехт определил так:

День придет — не во сне — наяву,
Когда цепи я разорву,
Разорву и ринусь в бескрайний простор,
Забущую над высями гор,
Над землей и над ширью морской,
Забущую в массе людской,
В мозгах и в сердцах бедноты,
Я — бурный, как ты!

(Перевод Демьяна Бедного)

Углубляясь в демократическую поэзию XX века, составитель вскрыл в ней новые, глубокие, еще мало разведанные пласты: «стихи из ящиков письменного стола», написанные в годы фашистского режима, но ставшие достоянием читателя много позднее; стихи немецкого подполья, эту «Песню шепотом», как их назвал поэт Гюнтер Вайзенборн, передававшиеся из уст в уста; стихи героев Сопротивления, скрытые в тайниках, найденные в камерах смертников.

Но в антологию вошли не только произведения, принадлежащие определенным авторам. В нее включена и поэзия безыменная, фольклор нашего времени: массовые песни революции, которые распевались германским пролетариатом в 1918 году, — «Вперед, на бой!», «Молодая гвардия», «Песня о Лойне», антифашистские песни тридцатых годов, сложенные в гитлеровских тюрьмах и лагерях и ставшие достоянием немецкого народа, — «Болотные солдаты», «Бухенвальд», «Десять ворчунов».

Открыв и разведав огромный материал, разнообразный по содержанию и форме, составитель проявил большую критическую широту. Руководствуясь политической значимостью произведений, их ролью в революционной мобилизации масс, он собрал поэтов — многих и разных, раскрепостив их от принадлежности, часто формальной, к той или иной литературной школе. Вот почему в антологии нашли место стихи тех символистов и экспрессионистов, которые выступали с произведениями, выразившими демократические идеи. В нем представлены поборники «поэзии политической эстрады», то есть поэзии прежде всего изуст-

ной, и приверженцы «новой вещности», стремившиеся строить стихи только на строгом изложении фактов. Составителя интересовала не школа, а поэты, не эстетическое кредо авторов, а их стихи. И он привлек всех, чьи произведения несли прогрессивное начало. Таковы стихи Газенклевера, направленные против бойни 1914 года, Толлера — об ужасах окопных будней, Брехта — всей силой ненависти бьющие по классовому врагу, Бехера, выступившего как глашатай революции, Кубы — певца пролетариата. В антологию вошло большое количество произведений, обращенных против фашизма, среди них ставшие уже классическими «Вопросы читающего рабочего» Брехта, «Немецкая мать» и «Ион Шеер и товарищи» Вайнерта, «Человек, который молчал» Бехера.

Огромное впечатление производят стихи, написанные перед казнью героями Сопротивления: «Моабитские сонеты» Гаусгофера; стихи Харро Шульца-Бойзена, организатора подпольной «Красной капеллы»; звучащая в ритмах средневековой бродяжьей баллады трагическая «Песнь о жилище мертвецов»; послания Адама Кукхофа, написанные перед самой казнью: «Жене», «Сыну Уле», или его «Разговор моих двух «я» на тюремных нарах», в котором борец подводит итог делу своей жизни:

Мы едины существом и ликом.
Есть ли грань меж мною и тобой?
Знай: поэт на рубеже великом —
Лишь дыханье бури мировой!

(Перевод В. Левина)

Чрезвычайно большой интерес представляют стихи последнего раздела, отражающие борьбу за строительство мирной демократической Германии. Многие из них уже стали массовой песней, традиции которой так крепки в немецком пролетариате и о значении которой писал еще в 1913 году Ленин. В своей заметке о развитии рабочих хоров в Германии Ленин особенно подчеркивал необычайную важность революционной пропаганды посредством песни. И эту же мысль Ленин провел в своей статье о Потье, которого он называл «одним из самых великих пропагандистов посредством песни». «Когда он сочинял свою первую песню, — писал Ленин, — число социалистов рабочих измерялось, самое большее, десятками. Историческую песню Евгения Поттье знают теперь десятки миллионов пролетариев...»

Богатство демократической немецкой поэзии, вмещенное в антологию, кажется неисчерпаемым. Читая ее, как бы перелистываешь историю Германии с августа 1914 года по 1953-й.

Однако стихи, даже самые политически острые, не есть иллюстрация или рассказ об исторических событиях, а между тем именно так, видимо, представлял себе свою книгу И. Фрадкин, разбив ее на четыре раздела и четко ограничив хронологическими рамками произведения первой мировой войны и германской революции; стихи периода Веймарской республики; антифашистскую поэзию времен фашистской диктатуры и ее падения и, наконец, то, что создано в последние годы, в годы борьбы за построение новой, демократической Германии.

И все же, как ни строен этот план, строгое его выполнение обедняет картину творческого развития поэтов и многообразия поэзии. Читатель должен «ловить» Бехера, Вайнерта, Брехта, Кубу и многих других, ища их по разделам, где они все помещены «вразбивку» и «вперемешку», в зависимости от того, какую тематику призваны освещать их стихи в данный исторический момент. Думается, что такое дробление мешаает воспринимать поэтов во всем их развитии, многообразии и глубине. Тем более, что и строгий отбор поэтического материала только как политического тоже обедняет поток демократической поэзии. Правда, провести этот принцип до конца оказалось невозможным. Есть такие поэты, у которых гражданская тема совершенно неотделима от того, что принято называть собственно лирической. Пример тому — уже приводившиеся стихи поэта Сопротивления Адама Кукхофа. Он лирик, затрагивающий самые интимные и личные темы. Но его лирика несет на себе ярчайшие черты самой трагической эпохи в истории германского народа и героической борьбы его лучших сынов. Поэзию Брехта мы привыкли воспринимать только как остро сатирическую, гражданскую. Тем не менее лирические «Воспоминания о Марии А.», помещенные рядом с великолепной «Непобедимой надписью», лишь расширяют творческий диапазон Брехта, делают его поэзию еще многограннее. Этот пример подчеркивает, что из творчества других поэтов, вошедших в сборник, тоже не надо было так строго выключать стихи, не имеющие непосредственно политико-иллюстративно-

го значения. Прежде всего это относится к Бехеру: совсем не вошли его стихи о любви, очень мало представлена пейзажная лирика, в которой с особой силой сказался патриотизм Бехера и его ненависть к фашистским палачам.

Стихи ведущих демократических поэтов нашей эпохи — явление выдающееся не только по тематике, но и по мастерству, с которым она воплощена. На этой стороне следовало бы больше остановиться не только в предисловии, но и в самых комментариях. Тогда мы больше узнали бы о художественной эволюции Бехера, о своеобразии и остроте сатиры Мюзера, о значении стихов агитатора и трибуна Вайнерта, о глубине лирики Петера Хухеля... Следовало бы больше остановиться на новом мастерстве, которое внесли в поэзию наших дней демократические поэты.

Стихи, вошедшие в антологию, в большинстве своем появляются у нас впервые. Но раз переведенные на русский язык, они тем самым, как говорил Белинский, «усвоены» русской поэзией.

Число и разнообразие переводчиков, принявших участие в создании этой книги, почти так же велико, как количество авторов. Здесь присутствуют Демьян Бедный, Е. Долматовский, А. Безыменский, В. Инбер, С. Кирсанов, В. Луговской, С. Маршак, И. Сельвинский. Здесь выступают и наши поэты-переводчики: Н. Вильмонт, Л. Гинзбург, М. Зенкевич, В. Левик, И. Миримский, В. Нейштадт, Л. Пеньковский, Т. Сикорская и С. Болотин, Е. Эткинд и многие другие. Есть среди них и молодые переводчики — Е. Николаевская, А. Големба, и совсем начинающие — М. Коробов, И. Снегова. Конечно, не все переводы в книге находятся на одинаковой высоте, как не равнозначна и художественная ценность подлинников. Но общая культура переводов высока, и во многих из них отчетливо определился творческий почерк и своеобразие переводчиков. Для того чтобы подвергнуть анализу переводы антологии, нужна специальная, посвященная именно этому вопросу статья.

Наше знание немецкой демократической поэзии после выхода этой книги возросло. Хотелось бы, чтобы появились подобные же сборники, которые открыли бы нам сокровища демократического искусства других стран.

Е. ЕЛАГИНА.

Политика и наука

К истории Народного фронта в Западной Украине

После победы Великой Октябрьской социалистической революции и создания в семье свободных народов нашего государства — Украинской Советской Социалистической Республики большая часть украинских земель на Западе еще долго находилась под игом капитализма. Но трудящиеся Западной Украины не прекращали упорной борьбы за свое освобождение. Под руководством коммунистов они героически боролись за установление на западноукраинских землях Советской власти, за воссоединение с Советской Украиной.

Одному из важнейших периодов революционной борьбы западноукраинского населения посвящена книга Б. Дудыкевича «Под знаменем Народного фронта», вышедшая на украинском языке во Львове. В ней — впервые в исторической литературе — освещен процесс создания в Западной Украине в середине тридцатых годов единого антифашистского Народного фронта.

Автор книги — в прошлом участник революционной борьбы, — воссоздавая события двадцатипятилетней давности, не только использует архивные документы, но обращается и к личным воспоминаниям.

В начале книги характеризуется положение Западной Украины под властью панской Польши. Западноукраинские земли фактически находились на положении бесправной колонии, капиталистическая эксплуатация соединялась с остатками полуфеодальных отношений, а социальный гнет — с национальным бесправием. Три четверти пахотной земли и 95 процентов лесов в Западной Украине находилось в руках церкви, кулаков, чиновников. Две трети крестьян были безземельными или малоземельными. Тяжелая нужда, кабальные условия труда, многочисленные повинности, налоги и штрафы приводили к массовому обнищанию трудящихся, к вымиранию населения от голода и болезней.

Автор подчеркивает, что оккупационные власти не допускали украинцев в государственный аппарат, на предприятия, закрывали украинские школы и другие культурные учреждения, а реакционная буржуаз-

ная печать именовала украинцев дикарями и варварами.

Заключив в 1934 году союз с фашистской Германией, польское реакционное правительство Пилсудского — Бека ввело в стране открытый фашистский террор. Широкие размеры приобрели проводившиеся фашистскими правителями кровавые «пацификации» — набеги банд карателей на села и целые районы в Западной Украине. Во время этих набегов «пацификаторы» убивали тысячи ни в чем не повинных людей.

Неопровержимые факты, приведенные Б. Дудыкевичем, разоблачают украинских буржуазных националистов и тесно связанную с ними католическую реакцию, которые охотно поддерживали антинародную политику польских колонизаторов и помогали буржуазно-фашистским правителям создавать на западноукраинских землях плацдарм для нападения на СССР. В книге показано, что различные буржуазно-националистические реакционные объединения не только помогали полиции подавлять возмущение народа, но и сами принимали активное участие в физическом уничтожении коммунистов и других прогрессивно настроенных украинцев.

Несмотря на жесточайший фашистский террор, Коммунистическая партия Западной Украины вместе с Коммунистической партией Польши возглавила революционное движение народных масс и развернула борьбу за создание единого антифашистского Народного фронта. Эта борьба значительно усилилась в середине тридцатых годов, когда в революционные бои были втянуты сотни тысяч рабочих и крестьян.

Центром революционных выступлений западноукраинских трудящихся был город Львов. Здесь только в 1936 году состоялось 318 забастовок, которые охватили 94 тысячи человек. Наиболее важным из львовских событий 1936 года явилась апрельская забастовка, вызванная расстрелом польской полицией краковских рабочих. На улицах Львова выросли баррикады. Разгорелись жаркие бои рабочих с полицией и войсками. Над баррикадами реяли красные знамена. «Да здравствует Советская Республика!», «Да здравствует Советский Львов!» — было начертано на них.

В книге приведен интересный материал

Богдан Дудыкевич. Під прапором Народного фронту. Спецредзкція В. Маланчука. 108 стр. Книжково-журнальне видавництво. Львів. 1956.

об участии в революционном движении прогрессивной интеллигенции — писателей, журналистов, учителей, артистов. 16—17 мая 1936 года во Львове был проведен антифашистский конгресс деятелей культуры. Около полутора тысяч участников конгресса выразили свою солидарность с Народным фронтом и поддержали требование трудящихся о воссоединении западно-украинских земель с Советской Украиной.

Новый, социалистический строй развязал творческие силы миллионов трудящихся Западной Украины, открыл простор для небывалого развития производительных сил. Промышленность Западной Украины дает сейчас стране нефть и уголь, сельскохозяйственные машины и газовую аппаратуру, строительные материалы и писчебумажные изделия. Огромные преобразования произошли и в сельском хозяйстве. Крестьяне Западной Украины твердо пошли по пути коллективизации.

В Западной Украине насчитываются сейчас тысячи общеобразовательных школ, десятки техникумов, технических училищ и средних специальных школ, более двадцати вузов. Во Львове создан филиал

Академии наук УССР, открыт филиал Центрального музея В. И. Ленина. В западных областях возникли сотни библиотек, клубов и домов культуры. Во всех областных центрах имеются театры.

Трудящиеся западных областей Украины свято хранят память о героических борцах, отдавших свою жизнь за свободу, за воссоединение со своими единокровными братьями на Востоке. Имя активного участника львовских событий В. Миронюка присвоено одному из львовских заводов. Места, связанные со стачками, антифашистскими демонстрациями и другими революционными событиями, отмечены мемориальными досками. Славные традиции прошлого, как справедливо подчеркивает автор, помогают трудящимся бороться за новые и новые успехи социализма.

Книга «Под знаменем Народного фронта», воскрешающая героические страницы борьбы западноукраинских трудящихся за свое освобождение,— ценный вклад в украинскую историческую науку.

В. ЛИВЕНЦОВ,

*главный библиограф Государственной
публичной библиотеки УССР.*



Труд по истории народного хозяйства

Последний том фундаментального исследования члена-корреспондента Академии наук СССР П. И. Лященко «История народного хозяйства СССР» венчает жизненный подвиг выдающегося советского ученого. Свыше тридцати лет назад им было опубликовано начало исследования, и с тех пор ученый неустанно работал над избранной им темой. Лишь тяжелая болезнь и смерть вырвали перо из его рук.

Это первый и единственный пока труд, охватывающий всю историю народного хозяйства нашей страны.

Во всех трех томах ученый широко и творчески использует богатейшее теоретическое наследие В. И. Ленина: его классические труды, посвященные развитию капитализма в России, империализму, крупнейшие произведения советского периода, многочисленные статьи за разные годы. На страницах третьего тома получила отражение огромная

многогранная деятельность В. И. Ленина, руководившего построением основ социалистической экономики, планового хозяйства, созданием научно обоснованной программы превращения экономически отсталой России в передовую социалистическую державу.

Перед читателем проходит экономическая история нашей Родины за полторы тысячи лет. Огромное количество архивных материалов перебрал автор, начиная с древнейших летописей, множество давно забытых книг и брошюр, узкоспециальных статей разыскал, чтобы по крупницам добыть нужные материалы.

И этот, не будет преувеличением сказать, титанический труд, которого хватило бы на коллектив иного научно-исследовательского института, проделал один человек. Какая верность избранной теме, какая целеустремленность, какой замечательный пример для нашей молодежи, вступающей в науку!

Всякая книга по экономике строится на цифрах, таблицах, документах. И нередко эти на первый взгляд сухие, «скудные» материалы отпугивают читателя. Но П. И. Ля-

П. И. Лященко. История народного хозяйства СССР. Том III. Социализм. Редакторы В. Булыгина и В. Шамберг. 644 стр. Госполитиздат. М. 1956.

щенко обладал редким даром мастерски группировать цифры и в одной умело построенной таблице убедительно раскрывал глубочайшие процессы, происходящие в народном хозяйстве.

Вот, например, в третьем томе (стр. 255) автор приводит небольшую таблицу, характеризующую распределение производственных ссуд через систему сельскохозяйственной кооперации за четыре года (1926/27—1929/30 гг.). Эта таблица убедительнее иного фоллианта показывает экономическую политику Коммунистической партии и Советской власти, направленную к развитию коллективизации.

Приводимые П. И. Лященко цифры говорят, доказывают, документы, с которых только что стерта архивная пыль, оживают, переключаясь с современностью.

Хочется отметить еще одно большое достоинство труда. Все три книги написаны прекрасным литературным языком и могут служить образцом подлинной экономической публицистики.

Думается, именно это качество работы П. И. Лященко помогло специальному исследованию проложить себе путь к широким кругам читателей. Первые два тома, посвященные многовековой истории народного хозяйства в докапиталистическую эпоху и в эпоху капитализма, выдержали ряд изданий. В последнем, третьем томе ученый воссоздает историю социалистической экономики от первых декретов Советской власти до начала пятой пятилетки.

Третий том, как и два первых, привлекает читателя не только обилием фактических материалов, но и умением обобщить их и, отталкиваясь от отдельных деталей, нарисовать общую картину. Показательна в этом смысле, например, глава, посвященная национальной политике Советской власти: хозяйственному строительству в национальных республиках, социалистической индустриализации отсталых районов.

Ни одна отрасль хозяйства не ускользнула от внимательного взгляда вдумчивого исследователя.

Будучи специалистом по аграрному вопросу, которому он посвятил немало лет своей жизни, П. И. Лященко сумел осветить и проблемы индустриализации и показать развитие народного хозяйства страны во всем его многообразии.

Не только молодые читатели, для которых эпопея гражданской войны, восстановитель-

ного периода, довоенных пятилеток выглядит далекой историей, но и люди старшего поколения, бывшие свидетелями и активными участниками этих событий, найдут для себя в книге немало нового. С большим интересом, например, читается обнаруженный автором в архиве устав Ключниковской коммуны Вологодской губернии, возникшей в феврале 1918 года. Этот документ раскрывает чаяния деревенской бедноты.

Ярко показано состояние промышленности к 1925 году. Очень ценны разнообразные материалы по развитию отдельных отраслей индустрии в годы пятилеток. Автор приводит много неизвестных цифр, делает интересные обобщения, выводы.

Таковы большие достоинства нового тома.

В то же время этот том не свободен от некоторых серьезных недостатков. Они заслуживают особого внимания, так как типичны для значительной части работ по экономике и истории советского общества. Некоторые из них не зависят от автора. В своем предисловии П. И. Лященко справедливо подчеркивает, что «по некоторым разделам автор не имел возможности использовать необходимые материалы».

В то время как второй том исследования изобилует чрезвычайно интересными и ранее не известными архивными материалами, пролившими новый свет на ряд важнейших проблем развития капиталистической промышленности, в третьем томе цитируется лишь несколько архивных документов, притом касающихся исключительно деревни и относящихся лишь к 1918—1920 годам. Не приведен ни один документ из богатейших архивов Госплана, ВСНХ, Наркомтяжпрома. А между тем в них содержатся ценнейшие материалы, ждущие исследователя. К сожалению, до последнего времени значительная часть этих архивов была недоступна для историка. Ряд важнейших статистических данных тоже был опубликован уже после выхода третьего тома.

Нельзя не коснуться и других недочетов. В объемистом томе не нашлось места для того, чтобы хоть самым кратким образом показать деятельность даже таких выдающихся руководителей социалистической промышленности, как Ф. Э. Дзержинский, В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе и другие.

Так и получилось, что история социалистической экономики выглядит безликой, тогда как со страниц двух первых томов

исследования встают образы десятков деятелей того времени.

Серьезный недостаток рецензируемого тома — лежащая на нем печать лакировки исторических событий и, как следствие этого, умолчание о трудностях. В результате у читателя порой складывается впечатление, что все победы давались советскому народу слишком уж легко. Так, например, яркую и неповторимую главу в историю социалистической индустриализации вписали в 1931—1932 годах коллективы Сталинградского тракторного и Горьковского автозавода своей борьбой с трудностями освоения производства. Историк народного хозяйства должен был раскрыть корни этих трудностей, показать большие организационно-технические выводы, сделанные из уроков Сталинграда и Горького. К сожалению, автор обошел эти выводы молчанием.

Правда, кое-где на страницах книги читатель встречает слово «трудности». Но говорится о них скороговоркой, мимоходом. Именно так, например, освещено положение в угольной промышленности Кузбасса и Караганды в годы войны (стр. 525, 526). Неправильно утверждение автора, что «образовавшийся в 1941 году (после начала войны. — А. Х.) разрыв между потребностями в электроэнергии и мощностью станций был быстро ликвидирован». Недостаток электроэнергии в течение всей войны, да и в первые послевоенные годы нередко лимитировал работу промышленности, сказывался на быте населения. Не рассказано о трудностях, которые советскому народу пришлось преодолеть и в первые годы послевоенного восстановления.

Третий том вышел в свет уже после смерти П. И. Лященко. Это возлагало особую ответственность на редакторов. К сожалению, они не устранили даже грубых фак-

тических ошибок, вкравшихся в книгу и видных, что называется, невооруженным глазом. Так, например, на странице 280 одно из старейших московских предприятий — Московский инструментальный завод — значится среди вновь построенных, а между тем в другом месте (стр. 283) он фигурирует среди реконструированных. На странице 395 читатель с изумлением найдет в списке металлургических заводов, строившихся во второй пятилетке, Кузнецкий № 2, Бакальский, Халиловский, Челябинский. В действительности же, хотя строительство Кузнецкого № 2 и Бакальского заводов первоначально и намечалось вторым пятилетним планом, они вовсе не строились. Челябинский сооружался уже во время войны, о чем сами редакторы могли бы прочитать в том же томе на странице 532. К строительству Халиловского завода было приступлено лишь в пятой пятилетке. На странице 564 читатель узнает о вводе в строй восстановленного в четвертой пятилетке Калининского паровозостроительного завода. Между тем в Калининe никогда не было такого предприятия, а восстановлен был вагоностроительный завод.

Хочется надеяться, что вслед за первым опытом создания истории строительства социалистического хозяйства мы получим новые труды, авторы которых учтут и сильные и слабые стороны работы П. И. Лященко.

Читатель ждет не только монографий и коллективных трудов. Нужны сборники архивных документов по истории индустриализации, коллективизации, Великой Отечественной войны, новые статистические сборники, отражающие экономику отдельных отраслей хозяйства областей, республик.

А. ХАВИН.

★

В мире кристаллов

Кристаллы окружают нас всюду. Мы строим из кристаллов, ходим по кристаллам, добываем кристаллы из земли, обрабатываем их на заводах, создаем изделия из кристаллических материалов, изучаем и широко применяем кристаллы в лабораториях, едим кристаллы, лечимся

М. П. Шаскольская. Кристаллы. Редакторы В. А. Лешковцев и Е. Б. Кузнецова. 228 стр. Гостехиздат. М. 1956.

кристаллами и даже сами частично состоим из кристаллов. Что же такое кристаллы?»

Так начинается книга М. П. Шаскольской. Автор не интригует читателя загадками и не старается поразить его. Просто и ясно, в живой очерковой форме открывает нам книга удивительный и увлекательный мир кристаллов, в котором мы живем.

При строго научном содержании книга

не уводит читателя в область теоретических абстракций. Примеры из практической жизни помогают представить сложные процессы и явления.

В главе «Кристаллы в природе», например, рассказывается о снежинках, являющихся не чем иным, как кристалликами льда. Эти кристаллы могут быть очень опасными. Когда в переохлажденные облака врывается летящий самолет, начинается бурная кристаллизация. Самолет оказывается облепленным грудой быстро растущих кристаллов льда. Автор приводит воспоминания прославленного летчика Валерия Чкалова. Во время полета через Северный полюс на пути в Америку сантиметровый слой льда покрыл почти весь самолет. Специальный прибор — антиобледенитель — не смог предотвратить опасность. И только мужество и поразительная находчивость отважных авиаторов спасли их от трагической катастрофы.

Прошло несколько лет, и ученые нашли более простой и несравненно более надежный способ борьбы с обледенением самолетов, чем антиобледенитель. Оказывается, достаточно сбросить с самолета, пролетающего над переохлажденным облаком, кристаллики твердой углекислоты (то есть того самого «сухого льда», который мы так часто видим у продавцов мороженого), чтобы в несколько минут закристаллизовать облака на многие километры вокруг. Переохлажденные облака выпадают снегом, горизонт проясняется и — путь самолету открыт.

Не правда ли, как просто! Но для того, чтобы найти это средство, нужно было изучить процессы роста и образования кристаллов в природе, раскрыть многие ее тайны, проникнуть в кристаллическую структуру вещества.

Каждая глава книги обогащает читателя новыми знаниями. Он узнаёт о многообразии форм и видов кристаллов, встречающихся на нашей планете — на суше, в море и в воздухе; получает много полезных сведений о жизни Земли, о кристаллах во Вселенной. Он знакомится с различными способами искусственного выращивания необходимых для современной техники кристаллов — из паров, расплавов, растворов.

Кристаллы служат человеку не только в технике. Автор рассказывает об их использовании в науке, искусстве, медицине. С помощью кристаллов можно слышать неслышимые звуки, видеть и фотографиро-

вать в темноте, обнаруживать дефекты в стальных изделиях.

Книга, несомненно, привлечет внимание читателя. Однако нельзя не сделать автору и некоторых упреков.

В книге очень скупо показана связь кристаллографии с другими науками — математикой, физикой, химией, минералогией, металлографией и петрографией. Это не дает возможности получить полное представление о кристаллографии как науке, ее месте в системе человеческих знаний. В главе «Свойства кристаллов» следовало больше внимания уделить механическим, электрическим и магнитным свойствам кристаллов, чтобы у читателя не создалось представления о наличии у кристаллов в основном только оптических свойств. В книге отсутствуют описания ферритных и особенно полупроводниковых кристаллов, широко применяемых в современной технике.

Последняя глава — «Кристаллы служат человеку» — могла быть полнее и ярче. Ей не хватает, например, подробного рассказа о широком и многообразном применении в технике кристаллической слюды, являющейся лучшим изолятором-диэлектриком. Трудно себе представить, как развивалась бы электро- и радиотехника, если бы в руках творцов радиолокационных установок, автоматических и тепломеханических устройств, электрических генераторов новых мощных гидроэлектростанций и многих других электротехнических и радиотехнических машин, приборов и аппаратов не было бы такого замечательного минерала, как слюда. Мало внимания уделено такому оригинальному кристаллическому минералу, как асбест, кристаллы которого имеют вид тонких волокон. Асбест широко применяется в промышленности строительных материалов.

Слишком кратко рассказано об одном из важнейших способов выращивания кристаллов — из расплава.

Есть в книге некоторые недостоверные утверждения. Автор указывает, например, что «советскому минералогу Д. П. Григорьеву, по-видимому, первому удалось осуществить синтез слюды». В действительности почти за полстолетия до Д. Григорьева кристаллы слюды искусственным путем получали П. Хрущев в Петербурге, Гетефельд и Пеан де Сенжиль в Париже. Что же касается заслуги Д. Григорьева, то она состоит в том, что он первым опреде-

лил значение фтора в процессе слюдообразования и первым дал научную основу всех последующих работ по синтезу слюды.

В книге приводятся имена многих ученых, труды которых сыграли положительную роль в развитии кристаллографии. Жаль, что при этом оказались забытыми или почти обойденными такие крупные ученые, как Болдырев, Бокий, Флинт и другие,

являющиеся авторами фундаментальных исследований и трудов в области кристаллографии.

Содержательную, хорошо оформленную книгу М. П. Шаскольской можно смело рекомендовать широким кругам читателей. Она откроет им много интересного, неведомого, нового.

Инженер М. ГОЛЕЙ.

★

Друг угнетенных негров

В Лондоне, в Вестминстерском аббатстве, есть могила с необычной эпитафией. На мраморной доске высечено: «Перенесенный верными руками через сушу и море, покоится здесь Давид Ливингстон, миссионер, путешественник и друг человечества».

Ливингстон скончался на берегу озера Бангвеоло, в центре Африканского континента. Это случилось в мае 1873 года, но путешествия его закончились только в апреле 1874 года. Необычайно было это по смертное путешествие. Друзья Ливингстона — негры — похоронили его сердце в своей земле, набальзамировали тело и девять месяцев несли на руках к морю, к порту Занзибар. Оттуда гроб Ливингстона попал в Азию, в Аден, и лишь затем — на его родину, в Англию.

Негры бережно сохранили все записи, сделанные Ливингстоном в последние годы жизни, и только благодаря этому дневники путешественника стали достоянием человечества. На русском языке сочинения Ливингстона издавались лишь частично, и поэтому предпринятое Географгизом издание его трудов — «Путешествия и исследования в Южной Африке» и «Путешествие по Замбези» (первое издание вышло в 1867 году, второе — в 1948 году) — заслуживает безусловного одобрения.

Есть в эпитафии Ливингстона одна неточность: он назван миссионером. На самом деле уже после первого путешествия (а их было три) Ливингстон отказался от этой деятельности, выйдя из членов Лондонского миссионерского общества.

Давид Ливингстон. Путешествия и исследования в Южной Африке. Редактор С. Н. Кумкес. 392 стр. Географгиз. М. 1955.

Давид Ливингстон, Чарльз Ливингстон. Путешествие по Замбези. Редакция и примечания И. И. Потехина. 384 стр. Географгиз. М. 1956.

Ливингстон по праву считается одним из крупнейших исследователей Африки. Мужество его было беспредельным. Невозможно перечислить все испытания, выпавшие на его долю во время многолетних странствий. Ни отсутствие средств, ни тяжелые болезни, ни угроза смерти — ничто не могло остановить исследователя. Пешком и на лодке, переходя от одного племени к другому, совершал он труднейшие путешествия, которые охватили всю Южную Африку и значительную часть Центральной. В сущности, он открыл для европейцев эти районы Африканского материка, сообщив правильные сведения о их геоморфологическом и геологическом строении, о климате, растительности, животных, о населении. Читатель найдет на страницах его книг множество удивительно тонких и интересных зарисовок быта негритянского населения. Кого, например, не удивит тот факт, что негры из племени баквейнов еще до знакомства с европейцами делали прививки против оспы.

Ливингстон совершил много открытий, но сам утверждал, что важнейшим из них считает открытие высоких человеческих качеств у негров, которых относили к «низшей расе». Для него не существовало различий между «белыми» и «черными», он с огромным уважением относился к своим спутникам по экспедиции — неграм, используя их опыт и знания.

Ливингстон выступал убежденным противником работорговли. Он боролся против рабства настойчиво, гневно, не щадя ни сил, ни времени, нередко с большим риском для себя. Известны случаи, когда он и его спутники освобождали рабов и отпускали их на родину. Его заслугой является то, что английское правительство формально приказало занзибарскому султану прекратить работорговлю.

Ливингстон приводит наглую фразу главарей голландских колонизаторов о неграх: «Мы заставляем их работать на нас на том основании, что мы разрешаем им жить в нашей стране». Буры не занимались работоторговлей — они захватывали у негров детей и «приручали» их у себя на фермах, превращая в послушных рабов. «Для человека любой цивилизованной страны, — писал Ливингстон, — трудно представить себе, чтобы люди, обладающие общечеловеческими свойствами (а буры нисколько не лишены лучших свойств нашей природы), осыпав ласками своих детей и жен, все, как один, отправлялись хладнокровно расстреливать мужчин и женщин, правда, другого цвета кожи, но таких же людей, которым свойственны чувства привязанности к своей семье». Во время таких набегов буры и пополняли свои хозяйства малолетними рабами, уничтожив их родителей. Ливингстон не устал разоблачать рабовладельцев, и они отвечали ему ненавистью, грозили расправой. Однажды буры сожгли дом Ливингстона и разграбили его имущество.

С горечью записал Ливингстон в своем дневнике следующие глубоко справедливые слова: «Никто не может представить, как отрицательно действует система рабства на самих рабовладельцев, которые были бы не хуже других людей, если бы не этот странный дефект, мешающий им почувствовать, как низко и неблагоприятно не платить за оказанные услуги».

Ливингстон путешествовал в то время, когда его соотечественники, английские колонизаторы, активно вытесняли из Южной Африки буров. Ливингстон мало интересовался политикой. Не понимал он и сути колонизаторских устремлений Англии. Читатель неизбежно обратит внимание на это обстоятельство, прочитав те страницы, где Ливингстон пишет о взаимоотношениях с туземными жителями: он осуждал голландцев, португальцев, арабов, но наввно полагал, что английский закон «не делает различия между черными и белыми людьми»,

что англичане якобы выступают против порабощения негров.

Разумеется, он глубоко заблуждался. Еще в 1814 году, то есть до путешествий Ливингстона, некто Чарльз Соммерсет, бывший английским губернатором Капской колонии, заявлял, что «рабы в этой колонии являются единственным видом собственности, представляющим ценность; земля ничто в сравнении с ними».

И до сих пор империалисты угнетают народы Африки. Нравы, царящие в Южно-Африканском Союзе, то есть именно там, где путешествовал и боролся Ливингстон, служат тому наглядным доказательством. Не много на земном шаре капиталистических стран, в которых расовая дискриминация — этот позорный пережиток прошлого — принимала бы такие откровенные и жестокие формы. Внутренняя политика руководителей Южно-Африканского Союза, входящего в Британское содружество наций, направлена на закабаление и превращение всех «неевропейцев» в даровую рабочую силу.

Ливингстон пытался бороться с рабовладельцами путем убеждения. Ныне с каждым годом ширится национально-освободительное движение в странах Африки. Героическая борьба египетского народа против империалистов Англии, Франции и Израиля, борьба участников освободительного движения в Алжире — все это свидетельствует, что система колониализма, уже давно обанкротившаяся, рухнет во всем мире, и недалеко то время, когда все население Африки само будет распоряжаться своей судьбой. Борьба негров против дискриминации встречает сочувствие всего прогрессивного человечества.

Тем дороже память о тех, кто начинал эту борьбу в одиночку, жертвовал собой, стремясь облегчить участь других. Среди отважных гуманистов прошлого одно из самых видных мест принадлежит Ливингстону — другу угнетенных негров.

Кандидат географических наук
И. ЗАБЕЛИН.



ждения человеку, попробовавшему этого самого...

Члены клуба сидели спокойно и внимательно. Дышали отдельными редкими вздохами...

...к одиннадцати часам вечера будьте здесь в том же переодевании, как вчера...

У него остановилось биться сердце...

М-те Зеферин... вежливо ему кланялась, а иногда даже обменивалась подходящим словечком, бросала на него сногшибательный взгляд своих черных глаз и исчезала с шелестом шелка, не преминув при этом показать свою восхитительную ножку и даже чуть-чуть повыше...

Поверхностность и бессодержательность их сношений не спасала его...

Чем я только не рискую теперь через вас?

Она повторила свои указания, перемеживая их с ласковыми словами и завлекающими взглядами...

Наружно я пользовался общим уважением и почетом, но моя настоящая сила основывалась на секретнейших, ужаснейших, преступнейших сношениях... И я, с виду такой перед вами безобидный, невинный, был атаманом этой опаснейшей и преступнейшей разбойничьей шайки...

...я убежден, что если бы в канале, в котором он сейчас выкупался, была не вода, а только кровь его жертв, то этот презренный негодяй был бы не суше, чем вот как он есть теперь.

Я тоже никогда не делаю

по его, как вы, вероятно, сами знаете. Но тут разница...

Он нашел то место, где лежал Гарри, отыскал следы плоских ног м-ра Рэберна, когда тот поднимал его за шиворот...

Он сделал привычку ездить всегда с большим комфортом...

В освещенном отверстии двери м-р Роллс увидел голову м-ра Ванделера в глубокой задумчивости...

Но вот Джон Ванделер чем-то затруднился: видимо, он тащил из-за подкладки большую вещь...

...я бы даже отказался брать на себя это дело, если бы не громкая репутация к вам, м-р Скримджир...

Корень всему этому делу, с виду такому странному, ваш отец и еще одна личность...

...ему даже сделалось завидно на этот веселый семейный обед...

Через вас я сохраняю о нем приятное воспоминание...

Все это (и еще многое другое в том же роде!) напечатано черным по белому стотысячным тиражом в городе Орджоникидзе в 1956 году.

Хочется еще отметить, что к двум этим рассказам имеется только одно «прим пер.», из которого следует, что экспресс между Лондоном и Эдинбургом «называют иногда» «летучим шотландцем». Об остальном читателю предоставляется догадываться самостоятельно: что такое «мания» или

«клерджимен», как надо произносить и понимать выражение «vogue Lagalégs», почему дорожный сундук неоднократно именуется «саротогским» и пр.

В книге нет ни предисловия, ни послесловия, ни, в частности, попытки объяснить происхождение названия «Новые арабские ночи». А читателю было бы и понятнее и интереснее, если бы он знал, что во времена Стивенсона в Англии существовал жгучий и небескорыстный интерес к Востоку с его сказочными богатствами.

Хочется воскликнуть: «Куда смотрел редактор?» Но вопрос этот адресовать некому — фамилия редактора также отсутствует в книге. Невольно приходит в голову, что в этом анонимном издании фамилия автора (Стивенсон) уцелела случайно, по недосмотру корректоров (их фамилии присутствуют, равно как и фамилия «ответственного за выпуск» — судя по всему, лица вполне безответственного).

Поскольку на страницах «Нового мира» уже поднимался вопрос о низком качестве некоторых переводов, публикуемых периферийными издательствами, нам кажется уместным ознакомить редакцию, а при ее помощи и читателей журнала с этим вопиющим образцом издательской недобросовестности, бескультурья и безграмотности.

В. ТИПОТ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

ИВ МОНТАН. Солнцем полна голова. Воспоминания, записанные Жаном Дени. «Искусство». М. 1956. 144 стр. Цена 5 р. 75 к.

Ив Монтан — широкие крылья славы, гром аплодисментов, гул восхищения, ослепительный блеск рампы, цветы, восторги... Но вот мы дочигываем до конца книжку и думаем о другом — о тяжелом пути, который ведет к вершинам успеха. Монтан не «счастливчик», вытянувший выигрышный билет в жизненной лотерее. У него суровая, трудная судьба. Он родился в Италии в 1921 году. Вскоре его семья, спасаясь от преследований фашистов, перебралась во Францию. Одиннадцать лет он начал работать на макаронной фабрике, потом в парикмахерской. Впервые как актер он выступил, когда ему было 18 лет. Но прежде чем стать профессиональным певцом, он был молотобойцем, металлистом, докером и просто безработным.

После знакомства с книжкой «Солнцем полна голова» становится особенно ясно, что простота Ива Монтана-актера не просто манера сценического поведения. В ней проявляется его существо, его человечность, внутренний демократизм. И, может быть, в этом одна из причин его огромного успеха у тысяч и тысяч простых людей.

Книга прекрасно издана: широкий формат, приятный шрифт, четкие крупные фотографии. Особенно хочется отметить рисунки художника Л. Б. Збарского — они очень «в духе» всей книжки.

Л. ТООМ. Аугуст Якобсон. Критико-биографический очерк. «Советский писатель». М. 1956. 179 стр. Цена 3 р.

Аугуст Якобсон за послевоенные годы завоевал своими драматургическими произведениями широкую известность не только в нашей стране, но и за ее пределами. Его пьесы «Жизнь в цитадели», «Борьба без линии фронта», «Два лагеря», в основе которых лежит борьба двух миров, острая критика старого мира, главным образом его идеологии, были поставлены во многих театрах Советского Союза и стран народной демократии. Однако до сего времени на русском языке не вышло более или менее обобщенного труда о творчестве А. Якобсона.

Критик и переводчик Лидия Тоом в аннотируемой книге стремится проследить в хронологическом порядке творческий путь

А. Якобсона, начиная от первого его прозаического произведения «Поселок бедных грешников» (1927) — романа, во многом воспроизводящего мрачную, наполненную тяжелым трудом жизнь рабочей семьи самого Якобсона, и кончая последним его произведением — пьесой «Старый дуб».

Критик не проходит мимо тех трудностей и внутренних противоречий, которые были характерны для роста писателя. Богатый и многообразный творческий путь А. Якобсона он связывает с путем развития эстонской литературы последних десятилетий.

Н. МИХАЙЛОВСКИЙ. Таллинский дневник. Военное издательство. М. 1956. 168 стр. Цена 4 р. 20 к.

Книга эта как бы альбом лаконичных, но ярких зарисовок, сделанных военным корреспондентом о неравном поединке артиллеристов с фашистскими самоходками, когда каждая минута боя казалась вечностью, или о схватке краснофлотцев с окружившими их гитлеровцами, или о борьбе советского корабля с «юнкерсами» в открытом море.

Автор рассказывает о том, что сам видел и пережил вместе с советскими воинами в дни героической обороны Таллина и самоотверженной борьбы Балтфлота при переходе из Таллина в Кронштадт. Отдельные страницы посвящены встречам в боевой обстановке с писателями Вс. Вишневским и Ан. Тарасенковым, профессором-литературоведом О. В. Цехновицером.

Книге предпослано предисловие адмирала Ю. А. Пантелеева.

Б. БЕКНАЗАР-ЮЗБАШЕВ. Страна Белого и Голубого Нила (очерки о Республике Судан). Госполитиздат. М. 1956. 80 стр. Цена 90 к.

«В первый день 1956 года на африканском материке родилось новое независимое государство — Республика Судан. На флаштоке правительственного здания в Хартуме, где в течение полувеска висели флаги Великобритании и Египта, взвился государственный флаг новой республики. Владычеству Англии в этой стране, прикрывавшемуся так называемым «совладением» с Египтом, настал конец».

Так начинаются очерки о Республике Судан, в которых автор дает описание этой страны, ее географии, истории, экономики, а также борьбы суданского народа за независимость своей родины.

СДАЮТСЯ В ПЕЧАТЬ...

Тематический план Государственного издательства географической литературы имеет два больших раздела: научная литература и научно-популярная литература. Какие книги выйдут в Географгизе в ближайшее время?

Не много рек на земном шаре, которые, подобно великой китайской реке Хуанхэ, обладают столь большим «непостоянством», что неоднократно меняли свое русло. Хуанхэ недаром заслужила название «блуждающей реки»: устье ее «блуждает» на огромной территории. Капризная река, протекающая по северной части Великой Китайской равнины, причинила немало бедствий населению, опустошая во время наводнений прилегающие районы. Но люди народного Китая решили обуздать Хуанхэ и превратить ее из коварного врага в верного друга. Течение реки перекрывается плотинами, на ней создаются водохранилища. Начато строительство первой мощной гидроэлектростанции в ущелье Санмынся. Об этом читатели прочтут в книге В. И. Зайчикова «Блуждающая река Хуанхэ».

Советский инженер К. К. Клопов, побывавший в Демократической Республике Вьетнам, написал книгу «В стране Юга».

К этой книге примыкает книга Т. Н. Щегловой «Вьетнам». Она дает достаточно полное представление о физической географии этой самой южной из стран народной демократии — о ее живописных лесистых горах, обширных равнинах, покрытых яркой зеленой рисовых полей, богатом животном мире.

Самая густо населенная часть Индонезии — остров Ява (более пятидесяти миллионов человек). В книге «У подножья Махамеру» немецкий ученый-географ Карл Гельбиг рассказывает о своих поездках по Яве на протяжении двух последних десятилетий, о ее природе, хозяйстве и жителях. Мы знакомимся с Джакартой и другими городами страны, с жизнью и бытом индонезийцев, преодолевающих печальное наследие голландского колониализма. Книга богато иллюстрирована.

Имя «следопыта Дальнего Востока» — путешественника и писателя В. К. Арсеньева — хорошо известно самым широким читательским кругам. К сожалению, не все литературное наследие Арсеньева собрано и опубликовано. Выпускаемая Географгизом книга писателя «Жизнь и приключения в тайге» содержит материалы экспедиций знаменитого путешественника 1908—1912 годов. Материалы эти в виде отдельных очерков печатались в разное время в дальневосточных периодических изданиях. Теперь они впервые появляются отдельной

книгой, содержащей и ряд впервые публикуемых статей. Открывает ее очерк о В. К. Арсеньеве, написанный его другом, литературоведом профессором М. К. Азодовским.

Книга «Через океан на дрейфующих льдах» представляет собой сборник материалов участников пяти дрейфующих станций «Северный полюс».

В центре Карского моря расположен уединенный остров. На нем зимуют полярники, проводящие научные изыскания. Об их жизни и работе, о суровой природе острова рассказывает П. А. Маковеев в книге «Остров Уединения».

Впервые в советское время будут переизданы классические труды средневековых монахов и путешественников Плано Карпини и Гильома Рубрука, побывавших в сороковых и пятидесятых годах XIII столетия в Монголии и оставивших ценные описания этих путешествий. В них сообщаются многочисленные данные о физической географии страны, быте и нравах монголов, их государственной и военной организации. Труды Плано Карпини и Гильома Рубрука служат важнейшими источниками наших знаний о Монгольской империи в средние века (после смерти Чингисхана).

Существовала ли Атлантида? Этот вопрос до сих пор окончательно не разрешен наукой. Со времен Платона продолжают споры между учеными об этом полуполюгендарном материке, который был, возможно, расположен между Африкой и Южной Америкой и навсегда скрылся под водой в результате грандиозного наводнения. В своей книге «Атлантида» Н. Ф. Жиров делает попытку обобщить научные гипотезы об Атлантиде. Автор склоняется к мысли, что материк этот существовал.

В приведенном списке книг, которые вскоре поступят на прилавки книжных магазинов, мы почти не упомянули переизданий. К слову сказать, Географгиз отводит им в своих планах не так уж мало места, так же как и небольшим по размеру монографиям. Нужно пожелать издательству почаще выпускать крупные монографии, которые оставили бы след в географической науке. Ждут, например, своего воплощения такие темы, как Восточная Сибирь, Север СССР, Дальний Восток. Мало крупных работ по экономической географии Китая, Индии, Японии, Индонезии, Монголии, а также по Польше, Венгрии.

Подобные книги, несомненно, найдут своего читателя. Они крайне нужны широкому кругу людей, непосредственно прикасающихся с географией: преподавателям географии, студентам, научным сотрудникам, участникам экспедиций.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Постановления декабрьского Пленума ЦК КПСС 1956 года. 16 стр. Цена 20 к.

Ленин о пропаганде и агитации. 528 стр. Цена 8 р. 75 к.

Георге Георгиу-Деж. Статьи и речи. Издание в двух томах. Том I. 484 стр. Цена 10 р. 85 к. Том II. 448 стр. Цена 9 р.

Л. И. Зубок. Очерки истории США. 592 стр. Цена 10 р. 70 к.

Е. А. Лебедев. Иордания в борьбе за независимость. 128 стр. Цена 1 р. 55 к.

А. З. Манфред. Великая французская буржуазная революция. 288 стр. Цена 5 р. 50 к.

Светозар Маркович. Избранные сочинения. 920 стр. Цена 16 р.

П. Софинюв. Страницы из жизни Ф. Э. Дзержинского. 128 стр. Цена 1 р. 50 к.

Л. Фотиева. Из жизни Ленина. 84 стр. Цена 1 р.

В. Франклин. Избранные произведения. 632 стр. Цена 11 р.

Л. В. Черепнин. Русская палеография. 616 стр. Цена 16 р. 50 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Берце. Вышли мы все из народа. Роман. Перевод с латышского. 471 стр. Цена 7 р. 75 к.

Э. Капиев. Записные книжки. 417 стр. Цена 5 р. 65 к.

Л. Ковин. Дороже жизни. Роман. 492 стр. Цена 8 р. 25 к.

А. Сирас. Арарат. Роман. Перевод с армянского. 602 стр. Цена 10 р. 25 к.

В. Смирнов. Открытие мира. Повесть. Книга 2. 414 стр. Цена 7 р. 90 к.

В. Овечкин. Трудная весна. 470 стр. Цена 8 р. 35 к.

И. Рядченко. Навстречу штормам. Стихи. 99 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Хечумян. У нас на юге. Роман. Перевод с армянского. 340 стр. Цена 5 р. 85 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Садриддин Айни. Дохунда. Роман. Перевод с таджикского. 404 стр. Цена 8 р.

Дебора Вааранди. Стихотворения и поэмы. Перевод с эстонского. 152 стр. Цена 2 р. 50 к.

Таир Жароков. Стихотворения и поэмы. Перевод с казахского. 256 стр. Цена 5 р.

П. И. Замошский. Сочинения. В двух томах. Том I. 791 стр. Цена 15 р. Том II. 592 стр. Цена 12 р.

Ю. Олеша. Избранные сочинения. 496 стр. Цена 8 р. 85 к.

Илья Садофьев. Стихотворения. 175 стр. Цена 3 р. 40 к.

Стихи индийских поэтов. Перевод с хинди и урду. 424 стр. Цена 9 р.

Антон Таммсааре. Новый нечистый из самого пекла. Роман. Перевод с эстонского. 260 стр. Цена 4 р. 80 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Кирилл Андреев. Три жизни Жюля Верна. 313 стр. Цена 5 р. 80 к.

Н. Вирта. Крутые горы. Роман. 664 стр. Цена 14 р. 5 к.

А. Грачев. Падение Тисимо-Реттоо. Приключенческая повесть. 296 стр. Цена 5 р. 90 к.

В. Захарченко, Ю. Попов, А. Стародуб. Будапешт, октябрь—ноябрь 1956 г. (о том, что мы видели своими глазами). 104 стр. Цена 2 р. 40 к.

В. Каверин. Открытая книга. Трилогия. Часть третья. 264 стр. Цена 6 р.

И. Котенко. Первый след. Очерки и рассказы. 192 стр. Цена 2 р. 40 к.

Е. Пермитин. Ручьи весенние. Роман. 368 стр. Цена 6 р. 85 к.

В. Солоухин. Разрыв-трава. Стихи. 128 стр. Цена 2 р. 65 к.

Г. Уэллс. Избранные научно-фантастические произведения в трех томах. I том. 496 стр. Цена 8 р. 90 к. II том. 503 стр. Цена 8 р. 95 к. III том. 496 стр. Цена 9 р.

ДЕТГИЗ

И. Андроников. Рассказы литературоведа. 128 стр. Цена 2 р. 90 к.

В. Архангельский. По земле Ярославской. 192 стр. Цена 4 р. 45 к.

В. Болдырев. На берегах Полярного океана. 184 стр. Цена 3 р. 40 к.

А. Введенский. О девочке Маше, о собаке Петушке и о кошке Ниточке. Повесть для маленьких детей. 128 стр. Цена 8 р.

Гао Юй-бао. Я хочу учиться. Повесть. Книга I. Перевод с китайского. 256 стр. Цена 5 р.

Девушка-лебедь. Сказки народов Югославии. Перевод с сербско-хорватского. 136 стр. Цена 2 р. 85 к.

Муса Джалиль. Мои песни. Стихи. Перевод с татарского. 216 стр. Цена 3 р.

М. Езерский. Сила земли. Историческая повесть. 168 стр. Цена 3 р. 60 к.

Б. Ивантер. Выстрел. Повести и рассказы. 224 стр. Цена 3 р. 90 к.

А. Муис. Сурапати. Историческая повесть. Сокращенный перевод с индонезийского. 158 стр. Цена 5 р.

А. Рыбаков. Бронзовая птица. 272 стр. Цена 4 р. 55 к.

Стальной цветок. Рассказы современных французских писателей. 136 стр. Цена 3 р.

Н. Тихонов. Рассказы. 416 стр. Цена 8 р. 50 к.

Фунг Куан. Побег с Пуло-Кондора. Перевод с вьетнамского. 150 стр. Цена 3 р. 35 к.

Шолом-Алейхем. Истории для детей. Перевод с еврейского. 176 стр. Цена 4 р.

Юнке Альваро. Мужчины двенадцати лет. Рассказы. Перевод с испанского. 200 стр. Цена 3 р. 80 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

АКАДЕМИИ НАУК СССР

Африканский этнографический сборник. 285 стр. Цена 17 р. 30 к.

И. С. Брагинский. Из истории таджикской народной поэзии. 496 стр. Цена 20 р.

И. Бэлза. Мария Шимановская. 186 стр. Цена 11 р. 25 к.

И. А. Гладков. От плана Гоэлро к плану шестой пятилетки. 349 стр. Цена 11 р. 60 к.

Народы Австралии и Океании. 852 стр. Цена 46 р.

А. А. Ничипорович. Фотосинтез и теория получения высоких урожаев. 93 стр. Цена 3 р. 65 к.

Низам Нурджанов. Таджикский народный театр. 339 стр. Цена 21 р. 90 к.

Н. Г. Сенин. Общественно-политические и философские взгляды Сун Ят-сена. 215 стр. Цена 8 р. 60 к.

К. С. Сухов. Вирусы. 370 стр. Цена 24 р. 25 к.

Сельскохозяйственная эрозия и борьба с ней. 373 стр. Цена 25 р.

М. В. Фомичева. Очерки экономического строительства на северо-востоке Китая. 215 стр. Цена 7 р. 85 к.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. И. Ленин. Военная переписка (1917—1920). 276 стр. Цена 5 р. 30 к.

Важнейшие операции Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Сборник статей. 623 стр. Цена 14 р. 20 к.

С. Васильев. Портрет партизана. Трилогия. 146 стр. Цена 4 р. 20 к.

В. Вишневский. Война. Эпопея. 351 стр. Цена 6 р. 35 к.

Г. М. Горбатов. Советские войны в завершающих боях (апрель—май 1945 г.). 79 стр. Цена 2 р. 15 к.

А. И. Котляр, Б. В. Кожевников. Вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей. 120 стр. Цена 1 р. 90 к.

К. В. Пензин. Черноморский Флот в обороне Одессы (1941 год). 126 стр. Цена 3 р. 35 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Д. Н. Айдит. Краткая история Коммунистической партии Индонезии. Перевод с английского. 54 стр. Цена 90 к.

Анна Павлова. 1881—1931. Перевод с английского. 190 стр. Цена 7 р. 65 к.

Дж. Бернал. Наука в истории общества. Перевод с английского. 735 стр. Цена 40 р.

Анри Валлон. От действия к мысли. Очерк сравнительной психологии. Перевод с французского. 237 стр. Цена 7 р. 50 к.

Го Мо-жо. Эпоха рабовладельческого строя. Перевод с китайского. 269 стр. Цена 9 р. 95 к.

Э. Линдгрен. Искусство кино. Перевод с английского. 191 стр. Цена 10 р. 90 к.

Монополистический капитал в Западной Германии. Сборник. Перевод с немецкого. 213 стр. Цена 6 р. 10 к.

Кабирадж Нарahari. Национально-освободительное движение в Бенгалии. Перевод с бенгальского. 124 стр. Цена 2 р. 35 к.

Элен и Скотт Нириг. США сегодня. Перевод с английского. 271 стр. Цена 5 р. 10 к.

С. Финкелстайн. Реализм в искусстве. Перевод с английского. 258 стр. Цена 10 р. 30 к.

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агапов (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов,**
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренев,**
М. К. Луконин, А. М. Марьямов, Е. Успенская, К. А. Федин

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 5/1-57 г.

Подписано к печати 25/II-57 г.

А 01248. Формат бумаги 70×108/16. 9 бум. л. — 24,66 печ. л. · Тираж: 140.000. Зак. № 71.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 9 руб.